

Повести и рассказы. Генрик Сенкевич

Том первый

ГЕНРИК СЕНКЕВИЧ

Классик польской литературы, замечательный новеллист, один из самых прославленных мастеров исторического романа за всю историю его развития, Сенкевич завоевал своими произведениями широкую популярность и читательскую любовь не только у себя на родине, но и за ее пределами. По числу переводов на другие языки он превзошел многих польских художников слова, в том числе и знаменитых поэтов, давно признанных учителями и духовными вождями своего народа. В нашей стране его произведения начали переводить и издавать более ста лет назад. С тех пор читательский интерес к Сенкевичу не ослабевает, причем рассказы, повести, романы выдающегося писателя появляются как в русских переводах, так и на языках других народов СССР.

Чему обязан Сенкевич такой славой? Конечно, прежде всего художественной выразительности своих творений, умению создавать живые и яркие образы, писать просто, доходчиво и на редкость увлекательно. Уже в раннем творчестве он обнаружил способность пробудить в читателе горячее и неподдельное сочувствие к героям, которые появлялись на страницах его книг, заявил о себе как художник-реалист, обладающий зоркой наблюдательностью, видящий темные стороны современной ему действительности и умеющий сказать о них правдиво и откровенно.

Исторические романы Сенкевича заняли видное место в золотом фонде польской художественной культуры. Для них характерны занимательность повествования, обилие приключений, динамичность сюжета, языковое мастерство и пластичность образов. Последнее качество особенно важно: ведь Сенкевич не просто увлекает читателя (увлекательные книги создавались и другими авторами), он его учит, воспитывает, облагораживает. Романы знаменитого писателя знакомят нас с людьми необычными, сказочно яркими и вместе с тем близкими читателю лучшими чертами своего нравственного облика. Верность и благородство, сила духа и неустрашимость, стойкость в беде и умение выше собственных забот поставить служение высоким целям, любовь к отечеству, жизненная активность – вот какие качества сконцентрированы в положительных героях книг Сенкевича, в тех, кого он любит и изображает, не скрывая своей любви. Но одновременно писатель умеет показать и осудить предательство, коварство, себялюбие, пробудить в читателе гнев против зла в человеке и в отношениях между людьми, Создает он и образы разноплановые, трагические и расцвеченные блеском юмора, рисует людей, чей облик противоречив, в ком совмещаются хорошее в дурное, но при этом неизменно верит в человека, в его способность преодолеть слабость и воспрянуть духом. Для широкого польского читателя книги Сенкевича во многом стали школой патриотизма. Написанные в тяжелое для народа время, они поддерживали веру в лучшее будущее, будили интерес к отечественной истории, укрепляли национальное самосознание. За рубежом они привлекли внимание многочисленной читательской аудитории к прошлому и настоящему польского народа, к его богатой культуре, ознакомили с некоторыми особенностями польского национального характера, а своим нравственно-эмоциональным содержанием воздействовали на почитателей Сенкевича не меньше, чем в его родной стране. Социально-бытовые романы писателя получили, пожалуй, более скромную, по сравнению с историческими, известность. Но проявившиеся в них писательская зоркость к изменениям в нравах и интересах общества, выразительность в обрисовке персонажей, даже второстепенных, разнообразие красок, при этом использованных, дали и этим произведениям долгую жизнь.

В литературной судьбе Сенкевича были свои сложности. Идеиный облик писателя был

неоднозначен и противоречив, претерпевал изменения, испытывал возрастающее влияние социального консерватизма, ослаблявшего подчас – в большей или меньшей степени – общественное значение его произведений. Восторженное читательское восприятие и при жизни писателя, и после его смерти в ряде случаев расходилось с суждениями критиков и ученых. Некоторые литераторы-демократы, справедливо критиковавшие консервативные тенденции в творчестве Сенкевича и предвидевшие, что за слабые стороны его книг ухватятся (так и было) глашатаи польского национализма, в полемическом увлечении иногда умаляли художественную значимость его произведений, а иногда, признавая ее, недооценивали гуманистическое содержание творчества писателя. Нельзя, однако, не отметить, что читательских симпатий Сенкевич никогда не терял. Верны ему оставались и те, кто признавал узость его идей, но дорожил художником ярким и своеобразным. Судьба творческого наследия писателя показала неправоту тех историков литературы, которые, решая проблему Сенкевича, предлагали признать его лишь мастером увлекательного повествования и творцом образов легендарно-сказочного звучания. Присутствие Сенкевича в национальной культуре продолжает носить и в наше время активный характер. Это подтверждает хотя бы тот горячий прием, который оказал зритель фильмам, поставленным по его романам – «Крестоносцы», «Пан Володыевский», «Потоп».

Конечно, сегодняшний читатель смотрит на Сенкевича по-своему, иначе, чем современники писателя. Неизменной, однако, остается радость от общения с художником, создавшим мир замечательных героев, чьи судьбы так волнуют и захватывают всех, кто обращается к книгам прославленного мастера польского слова.

* * *

Генрик Сенкевич родился 5 мая 1846 года в имении Воля Окшейска на Подлясье, недалеко от Лукова (ныне это Седлецкое воеводство). Предки его с отцовской стороны, жившие в старой Литве и несшие военную службу, лишь в XVIII веке перешли из мусульманского вероисповедания в католическое и приобрели шляхетство. Дед во время наполеоновских войн был офицером, а потом лесничим, отец – небогатым арендатором. Мать была происхождения познатнее: Цецишовские считались в родстве с известными литовскими фамилиями. Шляхетство никаких средств к жизни, разумеется, не давало: юный Генрик был предназначен к тому, чтобы добывать хлеб своим трудом. Гимназические его годы прошли в Варшаве (одновременно Сенкевич репетиторствовал, побывал в гувернерах). В 1866 году он сдал экзамен на аттестат зрелости и продолжил учение в варшавской Главной школе (после 1869 года преобразована в Императорский университет) на филологическом факультете. Университетские занятия Сенкевич в 1871 году оставляет (не сдавая заключительного экзамена по греческому языку). К этому времени он уже выступал в печати (опубликовал два очерка о старопольских поэтах), закончил повесть из студенческой жизни – «Напрасно» (опубликована в 1872 году, после того, как автор послал ее знаменитому писателю Ю. И. Крашевскому и получил одобрительный отзыв). На жизнь он зарабатывает газетной работой, сотрудничая в нескольких разнохарактерных изданиях: эпизодически – в радикально-позитивистском «Пшегленде тыгодневом», активнее – в умеренной «Ниве» и консервативно-нейтральной «Газете польской», где он ведет постоянные рубрики. Особенно интересны его фельетоны-хроники, подписанные псевдонимом «Литвос». (Так же Сенкевич подписывал и свои рассказы.) Газетная работа была для будущего писателя хорошей школой, учила наблюдательности, помогла выработать свой стиль, овладеть манерой непринужденной беседы с читателем.

Литературная деятельность Сенкевича началась в годы, когда в настроениях польского общества, под влиянием поражения восстания 1863–1864 годов, жестоко подавленного царизмом, происходят примечательные сдвиги. Мыслители и литераторы нового поколения (их и в печати зовут «молодыми») предлагают порвать со шляхетским прошлым, «романтикой» эпохи восстаний. Новое направление, вошедшее в историю общественной мысли под названием «варшавский позитивизм», выдвинуло программу приспособления к сложившейся в 60-е годы обстановке, учета потребностей социально-экономического развития страны. Они призывали примириться на время с существующей ситуацией и, используя легальные возможности, развернуть мирную созидательную работу во имя буржуазного прогресса. Позитивистский лозунг «органического труда» требовал от соотечественников активной деятельности ради подъема экономики, распространения культуры и просвещения. Провозглашая культ науки и положительных знаний, считая, что распространение научного мировоззрения способно привести к демократизации общественных отношений, позитивисты (среди почитаемых ими авторитетов были Ч. Дарвин, О. Конт, Д.-С. Милль, Г. Спенсер, И. Тэн) призывали молодежь учиться и учить других. Лозунг «работы у основ» предполагал содействие просвещению народных масс, активизации их национального сознания.

Позитивистская программа служила интересам буржуазии и выражала настроения интеллигенции, стремившейся в эпоху интенсивного капиталистического развития Королевства Польского выйти на первый план в общественной жизни. Позитивисты были противниками революционной борьбы и рабочего движения, которое делало тогда на польских землях первые шаги.

На литературу позитивизм оказал серьезное влияние. Он требовал от нее насыщенности актуальным общественным содержанием, проповеди современных идей (теория так называемого «романа с тезисом»), борьбы против тех отживших понятий, которые были выработаны временами шляхетского господства, и утверждения таких этических норм, которые диктовались новым временем, необходимостью работать и овладевать знаниями. Конечно, иногда у писателей, склонных пренебречь требованиями художественности, не имевших большого таланта, позитивистские лозунги подвергались крайнему упрощению, но в творческой практике авторов наиболее значительных они означали: глубокое познание действительности, ее реалистическое отображение, предполагавшее зачастую такие наблюдения и выводы, которые были шире позитивистской программы и даже противоречили ей. Активными публицистами позитивистского направления были среди литераторов Александр Свентоховский, Болеслав Прус, критик Петр Хмелевский. Влияние позитивизма испытали в своем творчестве Элиза Ожешко и Мария Конопницкая. В числе сторонников этого направления был на заре своей литературной деятельности и Сенкевич.

Первые его новеллы из цикла «Юморески из портфеля Воршилки» (1872) по содержанию своему не выходят за рамки позитивистской проповеди. В какой-то степени они могут рассматриваться как социальные трактаты в беллетристической форме, где в основу повествования лег конфликт между полным добрых намерений сторонником новых идей, восторженным демократом и окружающей его помещичьей средой, которая равнодушна к общественному благу и травит молодого энтузиаста («Нет пророка в своем отечестве»). Талантливость автора дала себя знать в удачно подмеченных деталях, в метких зарисовках (первоначальный замысел сатирического цикла виделся Сенкевичу, по его признанию, как «нечто вроде «Мертвых душ» Гоголя»).

Смолоду у писателя заметно тяготение к образам колоритным, необычным для читателя, выделяющимся на фоне повседневной жизни. Колоритность он находил

зачастую в подробностях сельского, шляхетского уклада, в людях старого времени. Характерны эти тенденции для «маленькой трилогии» (во многом автобиографической), которую составляют «Старый слуга» (1875), «Ганя» (1876) и «Селим Мирза» (1877).

Эти воспоминания о юности проникнуты лирическим настроением, грустью, сожалением о совершенных ошибках. Чувствуется в них романтическое любовное отождествление с прошлым шляхетским жизненным укладом, прежней деревенской патриархальностью, представленной идиллически. Заметна склонность писателя к психологизму, особенно в изображении главного героя, от лица которого ведется повествование. В художественном отношении рассказы не равноценны: «Селим Мирза» значительно уступает двум первым. Может быть, это связано с цензурными условиями: Сенкевич не мог рассказать о гибели героя в восстании 1863 года (как это было с реальным прототипом Селима) и оторвал его от родной среды, отправив... на франко-прусскую войну.

Заметным явлением в литературе 70-х годов стала небольшая повесть «Наброски углем», опубликованная Сенкевичем в 1877 году. Сочетание сатиры, гротеска и трагического звучания придало произведению большую художественную силу. «Наброски углем» вызвали в печати споры. Изображение крестьян, невежественных и забитых, беззащитных перед самым наглым обманом и произволом, поражало своей беспросветностью и оценивалось критикой по-разному. Болеслав Прус, например, увидел в произведении Сенкевича суровую правду, обвинение имущим классам, равнодушным к бедствиям простых людей, и подтверждение актуальности позитивистских лозунгов. Но были высказаны и упреки в крайнем пессимизме, грубости и сгущении красок, предвзятости по отношению к пану и ксендзу.

Сенкевич был возмущен подобными замечаниями. «Я имею смелость,— говорил он в одном из писем,— писать о вещах, которых до сих пор никто не касался, я создаю первую крестьянскую повесть, в которой выступает не идеальный поселянин, а подлинный мужик и его жизнь, а эти люди меня не понимают [...] Какой глупой представляется мне эта паршивая клика «друзей литературы» [...], вопящая из всех сил, что если кто ненароком откажется идеализировать дурака-шляхтича, то он уж и изменил всему родному, отчизне и прочему. О паршивцы! О бараньи головы!»

Сенкевич не сошел с избранного пути. Для лучших его рассказов из народной жизни характерен суровый реализм. Особенно выразительны рассказы о гибнущих крестьянских детях: «Янко-музыкант» (1879) и «Ангел» (1880). Первый стал в России, пожалуй, самым известным из ранних произведений писателя: около сорока изданий только до 1917 года. В ином аспекте поставлена детская тема в рассказе «Из дневника репетитора» (1879; по цензурным соображениям переработан, причем второй вариант называется «Из дневника познанского учителя»). Автор пишет об убийственных для ребенка школьных порядках в условиях, когда польский язык подвергался преследованиям как со стороны царизма, так и в результате германизаторской политики прусских властей.

В повести «Бартек-победитель» (1882) снова поднимается вопрос о темноте и забитости крестьянина, которые на руку его угнетателям. Герой повести живет в той части польских земель, которая находилась тогда под прусским владычеством. Он служит в прусской армии, идет на войну с французами, отличается в бою и настолько привыкает повиноваться начальству, что уже не может следовать зову сердца и быть заодно с соплеменниками. Позитивистские надежды на мужика, который просветится и отстоит существование нации, пойдя за «образованными классами», представлены тут как беспочвенные. Скептическое отношение к тем доктринам,

которые захватили писателя в молодости, обрисовывается в повести с полной очевидностью.

В 1876 году Сенкевич отправляется в Америку. Он обязался рассказать о своих впечатлениях в серии газетных корреспонденций, в частности – о всемирной выставке в Филадельфии. Входило в планы поездки и участие в создании небольшого польского поселения в Калифорнии. Предприятие это окончилось неудачей, хотя, наряду с Сенкевичем, его поддерживала и знаменитая актриса Хелена Моджеевская, которая как раз тогда с триумфом начала выступления на американских сценах. Писатель странствовал, охотился, бывал в горах, знакомился с простыми американцами. В Соединенных Штатах он пробыл до марта 1878 года. Наблюдения этих лет легли в основу нескольких рассказов и серии очерков, составили цикл «Письма с дороги» (1876– 1878).

Американские впечатления Сенкевича были неоднозначны. Бесспорно, ему импонировали оживленная промышленная деятельность, демократические формы жизни, бывшие тогда еще в ходу, мужественные люди, которые осваивали американский Запад (рассказ «В прериях», 1878). Но сказал писатель и о том, что Америка не исчерпывается романтикой в духе романов Купера, Брет-Гарта и других. В Нью-Йорке он побывал в кварталах, где увидел грязь и нищету, бедняков различных национальностей, мрущих от голода и болезней. Горечь и возмущение вызвало у польского писателя положение индейцев, которых, по его выражению, «белые не считают за людей, а в истреблении их видят заслугу перед человечеством». Судьба индейцев подсказала Сенкевичу темы рассказов «Орсо» (1879) и «Сахем» (1883).

Писатель часто встречается с польскими эмигрантами. Об их участи он пишет: «Доля их тяжка, страшна, и тот, кто нарисует верную картину их жизни, тот создаст эпос людской нищеты». Такую картину создал Сенкевич в повести «За хлебом» (1880). Но им разработан – в рассказах «На маяке» (1881) и «Встреча в Марипозе» (1882) – и другой аспект эмигрантской темы. Это были рассказы о патриотизме простых людей, не потерявших на чужбине чувства связи с польской культурой. В них звучала гордость за язык народа, польское поэтическое слово, способное поддержать человека и духовно преобразить его.

В целом пребывание за границей не сделало Сенкевича апологетом капиталистического развития. В «Письмах из Парижа» (пробыв больше года в Западной Европе, писатель вернулся в Варшаву лишь в ноябре 1879 года) он сопровождает описание «парижских ночей» таким комментарием: «Для полноты картины не хватает только, чтобы среди этой толпы, улиц, колона и света появился полупьяный Нерон на колеснице, запряженной тиграми, и чтобы эти толпы встретили его криком: «Ave Caesar dive!» Публицистика Сенкевича, относящаяся к этому времени, свидетельствует о демократических симпатиях автора, которые в начале 1879 года достигли зенита, чтобы затем резко пойти на убыль. Сенкевич пишет: «Удары молотов, стук телег, свист локомотивов – там трудится французская демократия [...] Если у Франции есть какая-либо надежда на будущее, то она именно в демократии, в тех классах, которые еще не были призваны к политической жизни. Прочие классы стары, испорчены, изжили себя, заражены скептицизмом». На Польшу, считая ее положение совершенно иным, писатель такого рода оценок не распространял,

Рассказы, созданные Сенкевичем до 1882 года, принадлежат к числу лучших его достижений в этом жанре. Он создает и в последующие годы новеллы, очерки, притчи, юморески, но излюбленной его формой будет отныне роман. Любопытно, что тематика некоторых крупных произведений была Сенкевичем как бы предварительно

опробована в рамках «малого жанра». Так, рассказ «Татарская неволя» (1880) предваряет романы о войнах XVII века, повесть «Та, третья» (1888) – возвращение к современной тематике, «Пойдем за ним» (1893) – «Камо грядеши».

Новеллы были для Сенкевича школой реалистического мастерства. В основе его литературных взглядов лежит признание реализма направлением, наиболее соответствующим духу времени. В статье «О натурализме в романе» (1881) Сенкевич писал: «Фантазия – это, согласно преобладающим ныне понятиям, творческая сила, но она, чтобы не создавать призраков, теней или китайских иероглифов, должна находиться под стражей правдоподобия, истины и реальности. Художественная литература [...] если она хочет иметь какое-либо значение, хочет сохранить жизненность, хочет воздействовать на людей и восприниматься ими, должна звучать, как гигантское эхо, в котором будут слиты все гласящие о себе стремления сердца и разума, должна быть ответом на животрепещущие вопросы, правдивым объяснением жизни, минувшей и нынешней, показом ее светлых и темных сторон, – а прежде всего она должна быть истиной. Таков исходный пункт реализма в широком его понимании».

Во многом эта характеристика была программой на будущее, но одновременно и обобщением творческой практики Сенкевича 70-х годов. Современники относятся к нему как к надежде польской литературы. Варшавская издательская фирма начинает в 1879 году печатать первое собрание его сочинений.

Достигнутый Сенкевичем в новеллах уровень мастерства оценили по достоинству прозаики следующего поколения. Особенно значительной признавали они роль Сенкевича-новеллиста в совершенствовании языка художественной литературы. Стефан Жеромский писал о прозе Сенкевича: «Кто пережил ее влияние в молодости, тот должен признать, что на фоне тогдашнего писательского искусства это было новое слово, иное, собственное, извлеченное из просторечия, из повседневного языка шляхты, горожан и крестьян». Известный критик Игнаций Матушевский изобразительное мастерство Сенкевича характеризовал так: «Одно слово, но поставленное в надлежащем месте, одно на первый взгляд обыденное, но необычайно меткое и живописное сравнение, одно прилагательное, как бы нехотя присоединенное к существительному, – и перед нашими глазами сразу встает выпуклый и живой персонаж, рисуется образ, ситуация, сцена».

Тогда расцвет польского реалистического рассказа, который приходится на последнюю треть XIX века (произведения Пруса, Ожешко, Дыгасинского, чуть позже – Конопницкой, Жеромского, Реймонта и др.), наступил при весьма заметном участии и влиянии Сенкевича-новеллиста.

На рубеже 70–80-х годов во взглядах Сенкевича происходит перелом. Писатель разочаровался к этому времени в позитивистской программе: он сознавал, что ее сторонникам не удалось сколько-нибудь изменить и улучшить положение нации, и в итоге отверг ее как неспособную по-настоящему вдохновить художника. Польский народ жил в ту пору в условиях двойного – социального и национального – гнета, должен был вести борьбу против польского капиталиста и помещика и против иноземных захватчиков. Могучей силой в освободительной борьбе стало в последние десятилетия XIX века рабочее движение. Из целого комплекса выдвинутых эпохой задач Сенкевичу представлялась наиболее важной для литературы необходимость воздействовать на общество в патриотическом духе, поддерживать и укреплять национальное самосознание в пору ужесточившихся гонений на польский язык и культуру. В позитивистских лозунгах писатель не видел достаточной опоры для деятельности в этом направлении, а она представлялась ему теперь более важной, чем постановка социальных проблем, характерных для его раннего творчества. Под

конец 70-х годов Сенкевич отходит от прежних убеждений. Сыграли тут свою роль и установившиеся с 1879 года контакты писателя с польскими политиками в Галиции, ярыми консерваторами и традиционалистами. Во Львове 14 марта была поставлена пьеса Сенкевича «На одну карту». Она не открыла в авторе драматургического таланта и не пережила своего времени. Писатель, противопоставляя идеи (как «преходящее») нравственным требованиям (как «вечному»), признавая, что будущее за «новыми людьми», моральной правотой наделил аристократов. Свентоховский определил драму как «поворотный пункт, от которого Сенкевич без принуждения и в духе своих затаенных убеждений повернул в сторону консерватизма».

Тогда же стабилизируется жизненная ситуация писателя. В Венеции он знакомится с Марией Шеткевич, дочерью шляхтича старого закала, владельца богатого литовского имения, и предлагает ей руку и сердце. Родители после некоторых колебаний (жених не имеет солидной профессии и репутации, зато имеет долги) дают согласие на брак. В 1881 году Сенкевич женится и вскоре становится отцом семейства: в 1882 году появляется на свет сын Генрик-Юзеф, в 1883-м — дочь Ядвига.

В конце 1881 года группа варшавских общественных деятелей и журналистов приступает к изданию новой ежедневной газеты либерально-консервативного направления под названием «Слово». Дать либеральным идеям создатели газеты собирались платить самую умеренную, по и консерватизм, по их мнению, должен был обойтись без отпугивающих читателя крайностей. Сенкевич (которого в январе 1882 года Главное управление по делам печати в Петербурге утвердило редактором «Слова») писал Ю. И. Крашевскому на этот счет так: «Задачей нашей будет насаждение здравого прогресса на основе уважения к национальной традиции и вере [...] Мы будем почитать религию как средство национального сопротивления, но вовсе не намерены создавать клерикальный орган, подчиняющий наши проблемы церковной политике. Мы не станем и органом аристократии, хотя недоброжелатели обвиняют нас в таком намерении. Мы хотим стоять на национальной почве, оберегать национальный дух, дабы он не ослаб, и заниматься нашим делом в той мере, как нам это позволят. Иначе говоря, мы хотим быть изданием умеренным и разумно прогрессивным, но при этом патриотическим, то есть оберегающим нацию от доктрин, которые ослабляют или вовсе убивают патриотическое чувство». Вредными доктринами Сенкевичу представлялись социалистические учения.

С такой программой «Слово» не могло обогатить польскую общественную мысль своего времени. В историю литературы оно вошло благодаря Сенкевичу-писателю, который был редактором газеты до середины 1887 года. Он печатал здесь фельетоны, рецензии, новеллы. А со 2 мая 1883 по 1 марта 1884 года на страницах «Слова» (и одновременно в краковской газете «Час») публикуется роман «Огнем и мечом». Известность он приобретает огромную, вызывает споры, похвалы и нападки. В аристократических салонах, ставя модные тогда «живые картины», используют сцены из этого романа. Сенкевич в это время пишет продолжение — роман «Потоп», который печатается уже в Варшаве, Кракове и Познани: 23 декабря 1884 года публикацию с «Потопа» начинает «Слово», 24-го — «Час», а 25-го — «Дзеньник познаньски» — и почти два года, по начало сентября 1886 года, читатели трех газет следят за приключениями героев Сенкевича[1]. Наконец, тем же порядком выходят в свет — с июня 1887 по май 1888 года — главы «Пана Володьевского». Так возникла знаменитая историческая трилогия Сенкевича, произведение, на котором в первую очередь зиждется его слава как художника, его значение как национального писателя.

Действием трилогии охвачена примерно четверть века: с 1647 по 1673 год. Почему Сенкевич обратился именно к этому времени и вообще почему ушел от современности

в историю, объясняет он сам: «Не лучше ли, не здоровее ли – вместо того, чтобы рисовать нынешнее состояние умов, нынешних людей, их бедность, несогласие с самими собою, тщетные потуга и бессилие, – показать обществу, что были времена еще худшие, более страшные и отчаянные, но, несмотря на это, наступило возрождение и спасение. Первое может окончательно расхолодить и привести в отчаяние, второе – прибавляет сил, питает надежду, будит желание жить».

Для Речи Посполитой середина XVII века и вправду была временем «страшным и отчаянным». Начавшемуся экономическому упадку страны сопутствовал кризис политического устройства и социальных отношений. Феодальная эксплуатация крестьянства, полностью прикрепленного к земле и лишенного элементарных прав, достигла крайних пределов. Центральная власть была существенно ограничена и ослаблена. Монархией Речь Посполитая была скорее формально. Выборность короля и широкие права сейма превратили ее фактически в шляхетскую республику. Требование обязательного единогласия депутатов сейма («либерум вето») открыло дорогу к тому, чтобы парализовать его деятельность и срывать принятие необходимых решений. Огромную силу приобрели магнатские группировки, враждовавшие с королем и между собой, прибегавшие зачастую к покровительству иноземных государей и служившие их интересам. Господствующий класс, эгоистичный и недалекосудный, держался пути, оказавшегося гибельным для страны. Внутренней слабости Речи Посполитой сопутствовало и ухудшение ее международного положения. Дали себя знать губительные последствия польской феодальной экспансии на восток. Швеция использовала внутренние польские неурядицы и поражение Речи Посполитой в войне против восставшего украинского народа и пришедшего ему на помощь Русского государства. На юге возобновила военные действия Турция. Образовавшееся Бранденбургско-Прусское государство стало для поляков еще одной угрозой извне. Войны, следуя одна за другой, выжгли и выморили страну. Особенно пострадали города, наступил упадок их культуры – материальной и духовной. Речи Посполитой пришлось примириться с утратой ряда территорий, в том числе – исконных польских земель на севере и западе страны. Шляхетская республика при всем своеобразием политического устройства, при исключительности ее учреждений, не имевших аналогии в тогдашней Европе, в XVII веке все-таки устояла. В 1683 году Ян III Собеский как полководец, как «защититель христианства» прогремел на всю Европу, разбив турок под Веной. Очень скоро, правда, в ходе Северной войны, Карл XII снова привел шведские войска на польскую землю, и изгнать их удалось лишь благодаря тому, что союзником польского короля Августа II был Петр I, нанеший шведам сокрушительное поражение. При всем этом Речь Посполитая сохранила государственное существование до конца XVIII столетия.

Если бы Сенкевич звал к анализу и критике прошлого, он, по всей вероятности, меньше был бы очарован XVII веком и изобразил бы его по-иному. Но цель писателя заключалась не в этом. Он не собирался внушать неприязнь к феодальной старине и укреплял патриотизм, не стремясь вооружать читателей против старого мира, превращать в подпольщиков и революционеров. (Это уже потом, особенно в годы антигитлеровского Сопротивления, молодые польские патриоты при выборе звучных подпольных кличек вспоминали подчас о таких героях трилогии, как Кмициц или Скшетуский.) Сенкевич утешал: сейчас народ в беде, но ведь смертельная угроза нависала над ним и раньше, важно сберечь язык и культуру, сохранить национальное самосознание и дожидаться лучших времен. Важно, следовательно, знать и любить национальное прошлое в его неповторимости. И как раз XVII век, канун упадка Польши, виделся Сенкевичу полным исключительной красочности, виделся невозвратным временем, когда шляхетские нравы и обычаи были предельно своеобразны, воплощали в себе «польское начало», когда – в хорошем и дурном – ярко проявились черты национального характера.

Исторический роман может служить решению разных задач: показу тех сил, которые определяют развитие общества, переоценке событий и лиц, прояснению связей между прошлым и современностью и т. д. Для автора трилогии главным было при помощи художественного вымысла создать живой и красочный мир, непохожий на современность, противопоставляемый ей и в силу этого привлекательный для читателя.

Между временем создания трилогии и описанными в ней событиями лежала огромная временная дистанция: больше двухсот лет. Сенкевич-художник придавал этому большое значение. В изображении прошлого, в оценках, которые дают ему герои и повествователь, находит свое проявление, а подчас и доминирует, мировосприятие, характерное для людей XVII века, такое, каким оно представлялось Сенкевичу. Стремясь избежать модернизации изображения, внутренний мир героев трилогии писатель рисовал, исключая какую бы то ни было усложненность. Нравственные заповеди шляхтича давно минувшего столетия, тогдашнее понимание долга сводились в психике героев к простейшим наказам: будь добрым католиком, храни верность отчизне, врагов ее руби беспощадно, служи благородным дамам, не нарушай клятв. Реальный XVII век, каким мы знаем его из истории и литературы (конечно, в гораздо большем объеме, чем мог знать Сенкевич), был в ряде отношений и интереснее и сложнее: знал духовные искания, сомнения, вероисповедные споры, умел рассуждать критически. Для Сенкевича, который обращался прежде всего к читательскому воображению и чувству, первейшим литературным источником были многочисленные в XVII веке шляхетские мемуары (среди которых выделялись образностью, яркостью языка знаменитые «Записки» Яна Хризостома Пасека, использованные автором трилогии и как бесценный клад сведений, и как эталон стиля). Рассказ в трилогии ведется от автора. Повествователь не "персонифицирован, имени и биографии не имеет. Но пожелай мы его себе представить, он был бы нами определен скорее всего как человек того же времени. Ибо почти нигде он не выдает, что знает свершившееся спустя столетия, и не отмежевывается от сотворяемого им мира.

Сенкевич не хотел вместе с тем, чтобы читатель смотрел на его героев свысока. Он дал им перевес над современниками в цельности характеров, в силе и непосредственности чувства. Его персонажи влюбляются с первого взгляда, легко ссорятся и так же легко примиряются, бросаются друг другу в объятия и обнажают сабли. Это люди давнего, невозвратимого времени — не питомцы сухого и сдержанного промышленного века. Писатель хорошо знал, что делает, когда, создавая героев, использовал мотивы фольклора, отразившие вековую мечту о человеческом совершенстве. Подобно тому, как странствующий герой сказки пользуется помощью славных молодцев, Скшетуский, главный герой романа «Огнем и мечом», оказывается рядом с феноменальным силачом Подбипяткой (который орудует сказочных размеров мечом), несравненным мастером клинка Володыевским, бесподобным хитрецом Заглобой. (Читатели романа подмечали, впрочем, в этой четверке и сходство со славными мушкетерами Александра Дюма). Да и основной сюжет исторических романов Сенкевича, безошибочно рассчитанный на читательское сочувствие — поиски героем пропавшей возлюбленной, — восходит не только к Вальтеру Скотту, но и к сказкам, персонажи которых (по собственному легкомыслию или из-за происков злых сил) теряют своих красавиц и вновь находят их после страданий и подвигов, после долгого хождения по мукам.

Гиперболизированы — в духе народного эпоса — и чувства, и деяния героев. Любопытно, что в период работы над «Потопом» Сенкевич просил прислать ему «Записки» Пасека и перевод «Илиады», сделав такое признание: «Вторую из этих

книг я постоянно и каждый раз читаю, когда работаю над каким-либо крупным произведением».

А с другой стороны, далекий век в изображении Сенкевича страшен и жесток. Потоками льется кровь. Горят села и города. Свершаются мучительные казни (со всеми подробностями рассказано в «Пане Володыёвском», как умирает на колу сын Тугай-бея). Война не щадит слабых и безвинных: их грабят, убивают, отдают в рабство. Жизнь человеческая перестает иметь цену.

Польское государство XVII века было шляхетским. Еще ранее шляхта завоевала полноту политических прав, формальное внутрисословное равенство, которое из-за имущественных различий было, конечно, фикцией (что хорошо показано в трилогии). Шляхтичами были и богатейший магнат, и его слуга, и однодворец-землепашец. Общими были презрение к «хаму» – мужику, к иноверцам и иноземцам, вера в исключительность Речи Посполитой. Как раз в то время утвердилась доктрина «шляхты-народа», согласно которой принадлежность к народу была привилегией только

«благородного сословия», а крестьянин и горожанин от общественных дел отстранялись и лишались гражданских прав. Тогда же среди шляхты, несмотря на предостережения и мрачные пророчества публицистов и сатириков, поэтов и проповедников, в которых не было недостатка, сложилась наивная вера в то, что все как-нибудь уладится, что бог по оставит благочестивых католиков. Смотреть па события трилогии глазами их современника значило видеть их глазами шляхтича. Так и получалось у Сенкевича, Современные ему прогрессивные литераторы сочли его исторические романы апологией шляхты. Станислав Бжозовский, один из талантливейших польских критиков начала XX века, писал: «В уме Сенкевича вся сфера бытия, весь жизненный уклад, вся польская шляхетчина выдолбили свои формы таким образом, что только сквозь их призму он может видеть мир и не замечает всего, не согласного с этими формами. Стилизует ли Сенкевич? Нет, он стилизованно чувствует. Он живет, дышит стилем шляхетской жизни». Нет ли здесь полемического преувеличения? Возможно, есть. Но, прочитав трилогию, мы легко увидим, чем было вызвано суждение критика.

Единообразие во взгляде на события – «хорошо то, что хорошо для шляхетской Речи Посполитой» – отозвалось резкими диссонансами в идейном звучании отдельных частей трилогии, ибо неодинаково было объективно-историческое значение этих событий.

Восстание под руководством Богдана Хмельницкого, нанесшее удар по господству польской шляхты на Украине, в романе «Огнем и мечом» получило совершенно превратное изображ;ение. Казачеству Сенкевич отказывал в праве на борьбу за свободу и самостоятельность, считая таковую изменой, поскольку, как неоднократно говорится в романе, Речь Посполитая слабнет от междоусобий, а целостность государства должна быть превыше всего. Движение крестьян изображалось как бессмысленный кровавый бунт. Соответственно этому трактовались и исторические деятели. Искажение исторической правды в «Огнем и мечом» для современного читателя, знающего другие книга об этом времени, прежде всего созданные украинскими советскими писателями, настолько очевидно, что в комментариях не нуждается. Но надо отметить, что в Польше это было также в свое время замечено и печатно раскритиковано сразу же после выхода романа. Болеслав Прус, крупнейший писатель-реалист, в обстоятельной и объективной рецензии, отметив мастерство Сенкевича, упрекал его в неполноте исторической картины, где нет «эксплуатируемого народа», нет «преследуемых православных попов», нет «тех, кого

били, у кого забирали имущество, жен или дочерей», нет «жадных на деньги малых и больших панов», где «обо всем этом лишь мельком иногда упоминается». В этом же духе критиковали «Огнем и мечом» многие другие польские литераторы.

Роман «Потоп», по приближенности к исторической правде, несомненно, самый лучший в трилогии, был посвящен борьбе польского народа против шведской интервенции. Придя из «Огнем и мечом» в новый роман, герои начали воевать за правое дело. Прославляемая Сенкевичем традиция здесь в существенных моментах смыкалась с народно-патриотическим сознанием, которое выработалось в XIX веке, в эпоху национальных восстаний. В «Пане Володыёвском» автор создал апофеоз многолетнего и бескорыстного воинского служения, напомнил о заслугах Речи Посполитой в борьбе против турецкой опасности, которая нависла в XVII столетии над христианской Европой. Поскольку в истории польского народа этот век был временем торжества контрреформации, шляхетскому патриотизму романист зачастую придавал религиозную окраску, ставя его (иногда и в несогласии с фактами) в зависимость от приверженности к католической вере.

Среди современных Сенкевичу польских историков были такие, кто, размышляя о причинах утраты страной независимости, отмечал возникшие в феодальные времена слабости государственного строя Речи Посполитой. В публиковавшихся тогда трудах приводились факты, позволявшие критически отнестись к польскому шляхетскому прошлому. Сенкевич спорил в своих романах с теми выводами историков (преимущественно консервативного направления), которые представлялись ему пессимистическими и не приносящими нации пользы. Но нельзя сказать, что он их вообще игнорировал. И сочинения историков, и опубликованные источники он изучал основательно, положил их – разумеется, выборочно – в основу исторического фона трилогии. Посмотрим же, что сказано в его романах о старопольской шляхте и магнатах.

В одной из первых глав «Огнем и мечом» Сенкевич предоставляет слово Хмельницкому, и тот так говорит о польском господстве на украинской земле: «Погляди, что на Украине творится. Гей! Земля-кормилица, земля-матушка, земля родимая, а кто тут в завтрашнем дне уверен? Кто тут счастлив? Кто веры по лишен, свободы не потерял, кто тут не плачет и не стонет? Только Вишневецкие, да Потоцкие, да Заславские, да Конецпольские, да Калиновские, да горстка шляхты! Для них староства, чины, земля, люди, для них счастье и бесценная свобода; а прочий народ в слезах руки к небу заламывает, уповая на суд божий, ибо и королевский не помогает!» Конечно, на это следует возражение: народного вождя Сенкевич – устами шляхтича Скетуского – упрекает в самомнении и гордости, призывает суд над панами предоставить богу, ссылаясь на то, что шляхта воюет, мол, с турками и татарами. На обвинения в адрес казаков и восставших крестьян романист не скупится и далее. Но одновременно он свидетельствует, что «вся Украина до последнего человека восстала», что «бунт ширился, как полая вода, когда она катится по равнине и – моргнуть не успеешь – все более необозримое пространство заливают». И вот это-то признание силы народного гнева мы не можем не считать и обвинением – пусть вынужденным – хозяйничанью шляхты на Украине,

Дело шляхты, как этого требовал авторский замысел, должно было найти в романе своего защитника, вождя. Над нерешительными и слабыми возвышается, по мнению Сенкевича, один Иеремия Вишневецкий, кто хотя бы силой гнева способен сравняться с Хмельницким. («По обе стороны Днепра блуждали тогда два призрака: один – для шляхты – Хмельницкий, другой для взбунтовавшегося простонародья – князь Иеремия».) Князя писатель вопреки истории (в этом были согласны все критики романа) силится представить полководцем и образцовым гражданином, который ради

права способен поступиться гордостью. Но приведено и другое мнение. Богдан Хмельницкий говорит: «Это враг мой и народа украинского, отступник от нашей церкви и изверг». И любопытно: все доблести, из которых складывается писательский облик Вишневецкого, очерчены в сущности бледно, невыразительно. Одной лишь черте его характера веришь безоговорочно: это жестокости. Князь велит убивать восставших, «чтоб они чувствовали, что умирают», и прежде всего таким запоминается читателю.

Роман о шведском нашествии («Потоп») – это, в сущности, роман о магнатской измене. В одной из первых глав повествуется о капитуляции великопольской шляхты под Уйстером, с чего и началась иноземная оккупация. «Люди у нас сейчас пекутся больше о своем добре, чем о сохранении Речи Посполитой», – говорит изменник Радзеевский. И расчеты его оправдываются: магнаты сдаются, произнося величественные фразы, и просят пощадить их имения; за своими воеводами идет и шляхта, которой достаточно посулить сохранение прежних вольностей. Как олицетворение зла, непомерного, болезненного честолюбия и цинического расчета изображены братья Януш и Богуслав Радзивиллы, которые поставлены в центр повествования и играют весьма важную роль в судьбе главного героя. Сенкевич создает обобщение исторического масштаба: в образах двух братьев представлены два человеческих типа, два «стиля жизни», характерных для старопольского магнатства (один из Радзивиллов придерживается традиции, другой – во всем следует пришедшим с Запада обычаям). Это два варианта «черного характера» (мрачно-зловещий и авантюрный), тождественные в одном: в сознательной решимости приложить руку к умерщвлению родины. «Такой народ должен погибнуть, должен быть унижен, должен пойти на службу соседям!» – говорит Богуслав, называющий Речь Посполитую «куском красного сукна», который рвет на части «множество хищников».

Конечно, появляются у Сенкевича и те сановники, которые верно служат королю и Речи Посполитой. Но они иногда очерчены эскизно, без яркой выразительности (как славный Стефан Чарнецкий в «Потопе», а позднее Ян Собеский в «Пане Володыёвском», тогда еще только гетман), подчас трактуются чуть иронически (Павел Сапега) или же показаны так, что читатель видит: их измена еще впереди (Любомирский).

Когда в «Погоне», предсказывая гибель Речи Посполитой, наемник на шведской службе говорит о «безумцах, своевольниках, злодеях и предателях, обитающих в этой стране», речь идет о шляхте. И герой, который эти слова случайно слышит, признается себе, что это правда, «страшная, жгучая, но неподдельная правда».

Любимые герои Сенкевича должны стать доказательством того, что правда исторического момента не предопределяет приговора истории. Мы уже говорили, как писатель возвысил их над современностью. В какой-то мере он ставил своих героев выше и давнего времени. Исключением среди тысяч малодушных представлены в «Огнем и мечом» защитники Збаража. Страну захлестнул потоп предательства и отступничества, но его волны разбиваются об обороняемый горсткой отважных Ясногорский монастырь. Избранным рыцарским братством становятся стражи рубежей Речи Посполитой – Володыёвский и его товарищи.

Как приблизить к читателю необыкновенных людей, призванных оправдать свое время, как сделать их достоверными? Сенкевич добивается этого разными приемами. Скшетуский (самый идеальный в четверке героев «Огнем и мечом») должен вызвать наше сочувствие своим страданием, своей пылкой любовью, бросающей вызов жестокому веку, терзаниями в разлуке и, наконец, своим подвигом. Только в детальном описании пути из Збаража этот герой на мгновение обретает, пожалуй,

живость и достоверность. В последующих же романах он отступает на задний план, ибо автор не находит для него новой роли. Желая, чтобы Подбипятка запомнился читателю, автор «Огнем и мечом» сочетает в этом образе, казалось бы, несовместимое: сверхчеловеческую силу и голубиную кротость, смешное и трогательное – с тем, чтобы жизненный путь этого чуть нелепого великана завершился патетически, мученической кончиной, уподоблением литовского шляхтича святому Себастиану. Невероятное бойцовское умение Володыёвского сочетается с малым ростом (может быть, зло способ- приблизить героя к читателю), влюбчивостью и неудачливостью в брачных планах. А затем, в заключительной части трилогии, повествование (что у писателя в этом цикле исключение) на время уходит в сферу мирной частной жизни, раскрывая душевные достоинства героя, с тем чтобы больнее отозвался в сердце читателя трагический конец книги.

Есть, однако, у Сенкевича и характеры, которые своей разносторонностью и живостью обязаны как авторскому чувству художественности, так и их обусловленностью изображаемым в трилогии временем. С художественной точки зрения они имеют особую важность: отблеск их падает и на менее полнокровные персонажи, в общении с ними другие герои кажутся при чтении достовернее.

Анджей Кмициц из «Потопа» кое в чем повторяет Скшетуского: его возлюбленная тоже попадает в руки соперника, и он награждается личным счастьем за верное служение Речи Посполитой. Но характер его обусловлен эпохой, о которой в романе сказано: «Нет повиновения, ибо повиновение противно свободе; нет правосудия, ибо некому приводить в исполнение приговоры и всяк, кто посильнее, попирает их...» Кризис польского политического устройства выразался, между прочим, и в том, что право сплошь и рядом попиралось насилием. Кмициц, такой, каким он описан в первых главах «Потопа», – дитя войны, олицетворение самого дерзкого насилия. То, что он делает в Литве, – это обыкновенный разбой. Но человек этот, от природы смелый, добрый, пылкий и верный, так простодушно убежден в превосходстве сабли над законом и обычаем, что именно в нем читатель ощущает героя изображенной в романе эпохи. Патриотический оптимизм не позволил, однако, автору оставить молодого шляхтича в заблуждении и пороках. Его герой идет по пути исправления и духовного преобразования. В Кмицице Сенкевич видел в какой-то мере воплощение черт не только шляхетского, но и национального характера и полагал, как свидетельствует, роман, что любовь, тяжкие испытания, религия способны поставить такого человека на службу доброму делу.

И редкий из критиков, писавших о трилогии Сенкевича, не выделял из числа ее героев великолепного пана Заглобу, не восхищался этим созданием писателя, не причислял его образ – по живости, пластичности, завершенности – к литературным шедеврам. Многие отыскивали ему родственников в творениях таких гигантов литературы, как Рабле, Шекспир и Сервантес, указывали па фольклорное происхождение этого героя, по крайней мере в отдельных чертах (трусоватый, по хвастливый солдат, удачливый не по заслугам вояка из сказок и древних драматических действий). И это было тоже формой признания и восхищения. Образ Заглобы присутствует во всех частях трилогии, меняясь и обогащаясь новыми гранями. Гуляка, балагур, неутомимый выдумщик, появившийся в первых главах «Огнем и мечом», он затем оказывается спасителем княжны Елены, другом лучших бойцов польского войска, сам начинает совершать подвиги, приобретает славу военными хитростями. В дальнейшем он один из главарей п любимцев шляхты, ее предводитель на войне и при выборах короля, смутьян и крикун, сотрапезник и остроумный собеседник магнатов, нужный им человек. Шляхетская старина – со странностями и парадоксами, реальностями и мифами – в нем воплотилась и обрела литературное бессмертие.

Прус делил персонажей Сенкевича на нереальных и реальных. Об одном из последних он писал так: «Вот Редзян, слуга Скшетуского, болтливый, упорный в ненависти, гордый шляхетством, хлопотливый, как муравей, везде, где можно и где нельзя, собирающий деньгу. Он верен, он оказывает Скшетускому огромные услуги, но никогда – бескорыстно, всегда умеет что-нибудь выпросить. А как хитер этот негодник, хоть и молод, как он лжет не из любви к искусству, а ради выгоды – какой из него получится со временем сутяга и денежный мешок!»

Коллективный портрет шляхты, который складывается из таких персонажей, как Редзян, из действующих лиц, которые появляются ненадолго, из героев, сошедших со страниц использованных документов, начертан, если к нему приглядеться повнимательнее, не одними светлыми красками.

Справедливость требует отметить и то, что в грандиозном полотне, которое создал Сенкевич, все-таки нашлось место, хоть и скромное, для людей из народа. «Огнем и мечом» изобилует выпадами против «черни буйной», а все же в одном из эпизодов о задушевных народных чаяниях говорит старый крестьянин: «А мы вот полагаем, что на панов черная година пришла. И не будет... ни панов, ни князей, одни казаки, вольные люди будут...» Богун, лихой казак, соперник Скшетуского, изображен и ярче, и живое, и поэтичнее, чем польский гусар. Он способен – со своей беззаветной храбростью, романтической несчастной любовью – привлечь не меньшее сочувствие читателя. Даже рисуя фигуру Хмельницкого в основном черными красками, Сенкевич на некоторых страницах все-таки (словно одергивая себя) дает понять, что речь идет о неординарном человеке, о крупномасштабной личности, называя предводителя народной войны не только «змием», но и «орлом», не только «лисом», но и «львом».

В «Потопе» простые люди предстают как сила, спасающая отечество. «Именно шляхта и магнаты, – пишет Сенкевич, – становилась на сторону шведов, а простой народ только о том и думал, как бы дать отпор врагу...» В одном из батальных эпизодов героем становится крестьянский паренек, который взял в бою шведское знамя. Горцы приходят на помощь возвращающемуся на польские земли королю. Многократно говорится о крестьянах, которые – несмотря на жестокие кары со стороны оккупантов – истребляют шведских солдат. Матьер божья, по Сенкевичу, вразумила поляков, оборона Ясногорской обители поддержала их дух. Но заметим: перед рассказом о событиях, связанных с Ченстоховой, много говорится о грабеже и насилиях, творимых иноземным войском и вызывающих отпор со стороны масс, – и это верно реальным историческим фактам. Стихия народного гнева оказывается сильнее «потопа» иноземного нашествия и смывает его с лица польской земли. Признает писатель и правоту историков, связывавших слабость старой Польши с угнетением народа шляхтой. Король Ян Казимир в «Потопе» торжественно заявляет: «С великим сокрушением в сердце моем сознаю, что по справедливости более прочих карает меня господь, вот уже семь лет насылая всякие бедствия на королевство мое за то, что стонет в ярме убогий пахарь...» И Сенкевич, и читатель знают, что эти слова остались только словами.

За пределами Польши трилогию – и причины этого понятны – воспринимали прежде всего как увлекательное, приключенческое повествование. Действие в нем развивается стремительно. Читательский интерес непрерывно подогревается неожиданными поворотами сюжета. Герои очерчены так, что без труда запоминаются, не походят один на другого – даже второстепенные – и не сливаются в читательской памяти в одну массу. Польский читатель восхищается и языком романов, который не только красочен и ярок, но выдержан в звонком, захватывающем

ритме, архаизирован же в не очень значительной степени. Колорит эпохи передается меткостью речи и строгим отбором языкового материала. Обильны здесь вкрапления в речь персонажей латинских слов и выражений, что являлось характерной особенностью старопольской книжно-речевой манеры, особенно в XVII веке. Век этот был замечателен расцветом мемуарной, эпистолярной и ораторской прозы. И в языке трилогии это чувствуется: стоит обратить внимание хотя бы на речи, с которыми обращается к шляхте пан Заглоба, построенные по всем правилам риторики.

Сенкевич добивался от читателя не только увлеченности сюжетом, не только неслабнувшего интереса к тому, что будет дальше. Он заставлял его волноваться и переживать. Он убеждал его, что в жизни по-настоящему ценны благородство и дружба, верность и храбрость. Лишь избранные так живут в его романах, но этим и оттеняется непреходящая ценность высоких чувств. Он соблюдал (почти всегда) канон благополучного конца, соединял счастливые пары, вознаграждая самоотречение,— и этим шел навстречу читателю, заставлял верить в обоснованность веками отстаиваемого права на счастье, верить в то, что борьба за него не безнадежна.

Кроме того, трилогия вводит читателя, конечно, в первую очередь польского, в мир патриотических чувств. Часто она остается лишь первой ступенью в гражданском воспитании. Неизбежным оказывается, когда читатель вступает в возраст более зрелый, расширение тех знаний о прошлом, которые были ранее заложены. Возникает критическое отношение к авторскому консерватизму, происходит расставание с трилогией ради книг более глубоких. Иногда трилогию зачисляют в юношеское чтение и перечитывают, чтобы вспомнить свои отроческие годы. Но во всех случаях присутствие трилогии в сознании тех, кто ее знает и любит, оказывается прочным и заметным.

С конца 80-х годов писатель снова обращается к современной тематике и создает романы «Без догмата» (1889– 1890) и «Семья Поланецких» (публиковался в 1893– 1894 годах). Популярность романов Сенкевича лишь со временем позволила ему упрочить свое материальное положение, хотя книгоиздатели (не только в Польше) наживали на их публикации немалые деньги. Личная жизнь писателя складывается несчастливо. Еще в период его работы над трилогией, в 1885 году, умирает Мария Сенкевич. В 1893 году писатель вновь женится на юной Марии Володкович. Молодая пара венчается в Кракове, обряд совершает ксендз-кардинал, новобрачные едут в Италию, и сразу же происходит разрыв. Через два с лишним года римская курия соглашается признать брак недействительным. Все эти годы писатель много путешествует, лечится на заграничных курортах, бывает в европейских столицах, совершает поездки в Италию, Грецию, Испанию, в Египет и на остров Занзибар. Газеты в 1891– 1892 годах печатают его «Письма из Африки».

Социально-бытовые романы Сенкевича менее увлекательны, нежели исторические. Выше других оценивался критикой роман «Без догмата». К этому, надо признать, были все основания. Сенкевич в этом произведении коснулся серьезного, отраженного рядом европейских литератур явления: того кризиса сознания, одним из симптомов которого в XIX веке считалось появление «умных ненужностей», молодых людей, пораженных болезнями воли. (В этой связи неоднократно говорилось, например, о родстве между «бездогматовцем» Сенкевича и типом «лишнего человека» в русской литературе.) М. Горький писал, что Сенкевич изобразил крах индивидуализма как мировоззрения, а герой его, отмеченный печатью вырождения, стоит в одном ряду с созданиями предшественников (Мюссе) и современников писателя (Бурже, Пшибышевский). «Мы видим,— писал Горький в статье «Разрушение личности»,— что «исповедь сына века» бесчисленно и однообразно повторяется в целом ряде книг и

каждый новый характер этого ряда становится все беднее духовной красотой и мыслью, все более растрепан, оборван, жалок. Грелу Бурже – дерзок, в его подлости есть логика, но он именно «ученик»; герой Мюссе мыслил шире, красивее, энергичнее, чем Грелу. Человек «без догмата» у Сенкевича еще слабее силами, еще одностороннее Грелу, но как выигрывает Леон Плошовский, будучи сопоставлен с Фальком Пшибышевского, этой небольшой библиотекой модных, наскоро и невнимательно прочитанных книг!»[2]

К началу 90-х годов польский реалистический роман имел на своем счету замечательные достижения. Элиза Ожешко создала самое широкое из своих полотен – роман «Над Неманом». Болеслав Прус опубликовал «Куклу» – одно из вершинных достижений польского реализма. Автор «Без догмата», обратившись к современности, нашел свой круг проблем, свою повествовательную манеру.

Детальностью и завершенностью психологического анализа, мастерским воспроизведением движений души в целом богатстве оттенков роман существенно обогатил польскую литературу. Сенкевич сам говорил, что хочет воссоздать «кусочек души сложной и больной, но подлинной», изобразить человеческую натуру «глубже, чем она обычно берется, особенно в польских романах». Дневник героя должен был (и Сенкевич считал, что этого отчасти добился) «производить впечатление не литературного произведения, но чего-то совершенно реального, что действительно имело место». Такая форма повествования соответствовала характеру героя, зараженного скептицизмом, склонного к самоанализу, способного судить и осудить себя, способного определить (но не вылечить) болезни своей души. Плошовский находит в себе «человека усталого, который лишен жизненной силы». Собственную склонность к рефлексии он определяет как вещь губительную: «Анализ – это нечто схожее с ошипыванием цветка. Он чаще всего портит красоту жизни, а вместе с нею и счастье, то единственное, что имеет смысл».

История упущенного счастья, любви, вспыхнувшей поздно и ставшей мучением, была не нова в литературе. Сенкевич попытался, однако, по-своему определить причины, в силу которых приходят на свет люди из племени «бездогматовцев». («Имя мое – легион», – говорит его Плошовский.) Читатель увидит, что главной в ряду отмеченных писателем причин была принадлежность героя к миру тех, кто может жить не трудясь, потребляя созданное другими. Поклонник красоты, склонный к эстетизму и созерцательности, Плошовский сам не является натурой творческой и становится скорее разрушителем прекрасного.

Другой причиной был полный отрыв героя от национальной почвы, равнодушие к проблемам народа, космополитические вкусы и образ жизни. Духовной связи с соотечественниками Плошовский не имеет и, пожалуй, даже не ощущает ее необходимости. В этой линии романа Сенкевич не расходится с теми современными ему писателями (Элиза Ожешко и другие), которые резко критиковали аристократический космополитизм и были когда-то идейными соратниками автора «Янко-музыканта». Но писатель, давно порвавший с позитивистскими идеалами молодости, хотел теперь предъявить счет учителям своего поколения, глашатаям культа положительных знаний, и шире – атеизму и материалистической философии вообще. (Приступая к работе над романом, Сенкевич выразил желанно перечитать Спенсера в Тэна, Милля и Дарвина, «всех позитивистов».) Идейный крах польского позитивизма был фактом, как фактом был и рост «упадочных» настроений, болезненного декадентства. Буржуазная философия действительно не могла уже ответить на большие вопросы времени. Это и смущает героя Сенкевича, который так характеризует мысль своего века: «Я восхищаюсь твоей трезвостью, преклоняюсь перед точностью твоих анализов, но при всем том ты сделала меня несчастным. Ты

сама признаешь, что на в силах ответить на вопросы первостепенной для меня важности. Однако у тебя хватило силы подорвать мою веру, которая на эти вопросы давала мне ответ не только твердый, но и полный отрады и утешения». Философия и наука оказываются виновными в ослаблении авторитета традиционной морали, наделяющей человека «катехизисной простотой души». Такая вот «простота» дает религиозной Анеле, женщине, которую любит Плошовский, нравственную силу и превосходство в споре с «бездогматовцем».

Сенкевич-художник избежал, однако, в своем романе явных упрощений, назойливо-дидактических сюжетных решений. Его герой, которого любовь, властная и трагическая, полностью преобразует, вытравив эгоизм и научив понимать, сочувствовать, сопереживать, в заключительных главах выглядит куда крупнее, трагичнее, самоотверженнее, чем его Анеля. (Именно эта линия книги, «славянское толкование любви к женщине», привлекла внимание Л. Н. Толстого, которому чрезвычайно понравился роман Сенкевича.) «Бездогматовец» не кается, не ищет утешения в том, чему не верит, и с мужественной трезвостью признает собственную обреченность, невозможность счастья своего и возлюбленной: «Приговор нам уже вынесен. Надо быть слепым, чтобы не видеть, что какая-то сила, мощная, как целый мир, разделяет нас. Кто она и как называется – я не знаю. Я знаю только, что, став на колени и колотя головой о пол, моля и плача, я, может, и сдвинул бы горы, но ее не умолпл». Из жизни, после смерти любимой, он уходит по своей воле – и, в сущности, нераскаянным скептиком.

В следующем своем романе Сенкевич меняет аспект повествования: психологический анализ уступает место широкоплановому изображению образа жизни той среды, к которой принадлежал и которую знал писатель. Его «Семья Полапецких» имела с предыдущим романом определенные сюжетные связи и явилась, можно сказать, второй частью диалогии. Но преобладали в ней персонажи совершенно иного типа и склада, нежели в «Без догмата».

Прежде всего это относится к главному герою, Станиславу Поланецкому. Это как бы «анти-Плошовский», человек разумный и положительный, способный идти в ногу с эпохой торжества буржуазии, зарабатывать деньги и в достатке содержать семейство. По Сенкевичу, это новый человек, «работник» (конечно, не в смысле старых позитивистских лозунгов), а в сущности – это рыцарь заурядного приобретательства, которое даже и не окутывается фразами о служении национальному делу. Проницательный и надежный делец, он совершает спекуляции, которые не имеют морального оправдания. Стремления его не возвышаются над столь скромной житейской целью, как выкуп имения жены (что должно означать возвращение «здоровой» части шляхты к выполнению патриотической миссии: сельское хозяйство, служение земле). Ограниченность житейских целей этого героя может быть великолепным примером того «снижения идеалов» в литературе, о котором говорила польская демократическая критика конца прошлого века.

Поначалу читатель по без интереса следит за отношениями героя с добродетельной и симпатичной Марыней Плавицкой. (Вероятно, «семейная мысль» романа привлекла к себе внимание Л. Н. Толстого, оценившего «Семью Поланецких» положительно.) История знакомства, разрыва и соединения в браке двух молодых людей переходит в историю их дальнейшей семейной жизни, в ходе которой герой грешит и раскаивается, усваивает твердые религиозные принципы, учится ценить самоотверженную женскую любовь. Лишь под конец событий, лишь осознав в дни опасной болезни жены непрочность своего благополучия, он отрешается от того отношения к женщине, которое писатель характеризует следующим образом: «Когда он пришел к полной уверенности, что она является его собственностью, он и не думал

о ней больше, чем следует думать о собственности».

Невыразительность героя требовала, пожалуй, гагой манеры повествования. Подробный и детальный рассказ, уместный в исторических романах, когда речь шла о судьбах людей ярких и значительных, здесь, в обрисовке современника, измельчавшего и потускневшего, оказался не вполне подходящим. Не были сильной стороной романа и страницы, касавшиеся умственной жизни эпохи. Сенкевич подметил, например, оживление в тогдашнем обществе интереса к идеям польского мессианизма, по изложению их (старым профессором Васковским) было упрощенным и едва ли не карикатурным.

Сам автор «Семьи Поланецких» не относил роман к числу своих крупных удач. Демократическая критика утвердилась в своем мнении о Сенкевиче как о консерваторе. Ст. Бжозовский признал книгу «романом польской буржуазии». О буржуазности ее содержания говорил и А. П. Чехов, чей отзыв был сделан, впрочем, в частном письме и не предназначался для печати: «Цель романа: убавлять буржуазию в ее золотых снах. Будь верен жене, молись с ней по молитвеннику, наживай деньги, люби спорт – и твое дело в шляпе и на том и на этом свете. Буржуазия очень любит так называемые «положительные» типы и романы с благополучными концами, так как они успокаивают ее на мысли, что можно и капитал наживать, и невинность соблюдать, быть зверем и в то же время счастливым»[3].

Тем не менее и этот роман интересен сегодняшнему читателю. Познавательное значение его несомненно. Сенкевичем были подмечены явления, которые не привлекали внимания других современных авторов. Во многом он дополнил созданный литературой портрет шляхетского современника. Бесспорно наличие в книге ярких страниц, интересно задуманных образов и сюжетных линий, которые в другой художественной структуре могли бы зазвучать по-иному, гораздо сильнее. Живо изображено дворянское оскудение и вызванные им перемены в мыслях и нравах. Показана и сила, которую по-прежнему имеют в обществе превратные понятия, основанные на праздности и эгоизме, пренебрежение мыслью и духовной красотой – все, что в литературе XIX века часто связывалось с понятием «свет». Среда, которая живет по этим понятиям, пагубна для чистых, творческих натур. (Это иллюстрирует печальная история поэта Завидовского.) Уродливость дворянского воспитания, искореняющего здоровые начала, приучающего ко лжи и бездумному эгоизму, иллюстрируется несколькими женскими образами. Писатель с горечью отмечает, что устои, хранить которые, по его мнению, призваны польские женщины, находятся под угрозой: «Есть у нас женщины, которые бога и заповеди религии носят в сердце, а есть и такие, которые из нашей католической религии делают себе католический спорт, – такие громче всех болтают и растут, где их не сеяли». В мире «Семьи Поланецких» люди теряют подлинность. Царит притворство в его различных вариантах: будь то комедиантство старого Плавицкого, поза декадента Букацкого или стремление адвоката Машко капаться удачливее и богаче, чем на самом деле. Сенкевич, однако, к таким человеческим качествам и поступкам, которые достойны обличения, сатиры, довольно часто относится со снисходительным благодушием. В романе ощущается подчас какая-то фальшивость интонации, лишаящая произведение Сенкевича той художественной цельности, которая характерна для лучших его вещей.

Работа над «Поланецкими», романом солидным и объемистым, утомляла, как можно предполагать, самого автора. («Я даже не в состоянии сказать, как я устал», – пишет Сенкевич, поставив в рукописи слово «конец».) Не исключено, что уже в эти дни ему мечталось возвращение к историческому роману. Проходит месяца четыре – и начинается работа над «Камо грядеши» (в оригинале латинское: «Quo vadis»). Она

длится примерно год: написанное немедленно идет (с марта 1895 года по февраль 1896-го) на страницы варшавской, краковской, познанской газет. О том, как возник замысел романа, Сенкевич позднее рассказывал так:

«Это было следствие разных причин. У меня была многолетняя привычка перед сном перечитывать древних римских историков. Я делал это не только из любви к истории, которой всегда весьма интересовался; но также из-за латыни, которой я не хотел забывать. Эта привычка позволяла мне без труда читать латинских поэтов и прозаиков и вместе с тем будила все более горячую любовь к древнему миру.

Всего сильнее привлекал меня из историков Тацит. Вчитываясь в его «Анналы», я неоднократно чувствовал искушение изобразить в художественном произведении два противостоящих друг другу мира, из которых один представлял собой правящую мощь, всесильную административную машину, второй же – исключительно силу духа». Далее Сенкевич говорит, что с художественной точки зрения сложившийся замысел увлек его прежде всего «теми великолепными формами, в которые умел облечь себя древний мир».

Действительно, в польской литературе эпохи разделов время упадка могущественной империи изображалось многими авторами: достаточно назвать драму Зыгмунта Красинского «Иридион». Добавим к этому, что Сенкевич работал над романом в годы, когда остро ощущался кризис общественного устройства, старой культуры, когда считанные годы оставались до революционных событий, которые оказали огромное влияние на судьбы польского народа. Это наложило свой отпечаток и на восприятие новой книги Сенкевича: в ней отыскивали параллели с современностью, толковали ее (отвлекаясь от конкретного исторического материала) как прославление стойкости борцов за новые революционные идеи. Ее охотно читали члены возникших на польских землях социалистических организаций. Рецензия на «Камо грядеши», появившаяся в краковской социалистической газете, называлась... «Революционный роман».

Сенкевича, конечно, не стоит считать виновником подобных преувеличений, и таких толкований замысел романа не предусматривал. Писатель, верный своим консервативным взглядам, задумал «истинно христианскую эпопею» и полагал, что она станет произведением более важным, чем все им до сих пор написанное. Художественный результат, однако, – что признают едва ли не все исследователи и критики, в том числе и католического направления, – несколько разошелся с замыслом.

Дело в том, что, изображая античный мир, идущее к гибели язычество, Рим «огромный, жадный и хищный, а вместе с тем распушенный и прогнивший до мозга костей», Сенкевич опирался на многочисленные источники, штудировал многочисленных латинских авторов, изучал обширные научные труды и литературные произведения, посвященные императорскому Риму, короче – имел дело с реальной действительностью, получившей отражение в памятниках литературы и искусства. Для обрисовки же первых христиан писатель посчитал в общем достаточной легенду, христианскую мифологию, католическую агиографию – без отклонений от официальной интерпретации и со сравнительно скромными дополнениями.

Здесь уместно вспомнить, что богатство и разнообразие изучаемых автором источников были, по Сенкевичу, непременным условием создания исторического романа, оправданием его существования. В статье «Об историческом романе» (1889) он писал: «Возможно ли верно и правдиво воссоздать человека минувшего времени? Я не думаю подвергать сомнению значимость непосредственных наблюдений, а утверждаю

лишь, что изучение прямых и точных свидетельств, которые оставили после себя прошлые века, может таковые полностью заменить, а иногда и превзойти». Разная степень оснащенности историческими данными сказалась, несомненно, на яркости изображения в «Камо грядеши» противостоящих друг другу миров. На одной стороне были пластически выразительные образы, тщательно обрисованный бытовой фон, на другой – кроме хорошо знакомой читателю проповеди – эмоциональная окрашенность, патетика, экзальтация или же идилличность. Языческая культура выглядит богаче и привлекательнее, чем втайне набирающее сторонников новое мировосприятие. Сенкевичу кажется, что вопрос о том, почему победило христианство, в развернутом ответе не нуждается. Он требует, чтобы ему верили на слово: раз за новую веру люди отдают жизнь – значит, в ней есть смысл. Пожалуй, одна лишь причина смены религии раскрыта в романе с достаточной художественностью: невозможность жить, как жили раньше, от последнего раба до высших лиц империи, в жестоком страхе, под постоянной угрозой смерти.

Причем в некоторых местах романа страх обитателей Рима – это боязнь не только императорского гнева, но и мести со стороны поработенных. Когда апостол Павел убеждает знатного патриция в преимуществах новой веры, в речах его слышатся отзвуки современных созданию романа настроений: «У тебя тысячи слуг, но завтра эти слуги могут выпустить из тебя кровь... А вот я провозглашаю любовь и учение, которое приказывает властителям любить подданных, господам – рабов, рабам – служить из любви...»

Изображая Рим, «владыку мира» и его «язву», Сенкевич показывает читателю общество, уже обреченное. «Жестокость, о которой даже варвары не имели представления», «преступления и безумный разврат» – это признаки агонии. Трон занимает Нерон, комедиант, убийца, поджигатель. (Его облик, в котором доминируют черты патологической извращенности: стремление любой ценой возвыситься над людьми, трусость и полная аморальность – обрисован в выразительно-гротескных топах.) Двор погряз в Наступлениях и разврате: философы и поэты обречены на смерть, наступило время выскочек и невежд. Но это время Сенкевич, с его замечательным художественным тактом, отнюдь не отождествляет с античностью и язычеством. Человеком не только упадочного времени, но и славной традиции, великой культуры, писатель делает реальное историческое лицо, Петрония, автора «Сатирикона». Он единственный в романе, кто противостоит христианству не из безнравственности (как в целом Неронов Рим), а видя несовместимость нового учения со старым наследием, не находя в нем близкого себе творческого начала: «Греция была прекрасна и сотворила мудрость мира, мы создали силу, а что, я спрашиваю, может сотворить это учение?»

Совершенство этого образа покойный Ю. Кшижановский, крупнейший в нашем веке знаток Сенкевича, усматривал «в необычайном богатстве физических и психических качеств». «С виду любитель удобств и праздности, – писал ученый о Петронии, – он обладает силой спортсмена наших времен, является образованным и талантливым писателем, соединяет редкую ясность ума с умением овладеть любой самой трудной ситуацией; прея;де же всего он духовно независим».

Краски, которыми обрисована христианская община, куда менее ярки, образы сторонников новой веры в сумме менее выразительны. Одни просто иллюстрируют догмы учений (например, Главк, смиренно отпускающий причиненное ему страшное зло), другие в большей степени связаны с исторической реальностью, как, например, суровый фанатик Крисп, чьи обличения по духу своему близки к предсказаниям Апокалипсиса, древнейшего из евангельских текстов, близкого к изображаемому времени. Зато объемным и достоверным получился у Сенкевича (по

крайней мере, до своего раскаяния и мученичества) Хилон, доносчик на христиан, фигура зловещая и одновременно жалкая, вышедшая из мрачной тьмы унижений, нищенства и порока. Это Хилон во время пожара Рима говорит с иронией римскому патрицию: «Одни впали в безумие, другие выли от отчаяния, но я видел и таких, которые выли от радости, ибо, о господин, много на свете дурных людей, которые не могут оценить благодеяний вашего мягкого правления и тех справедливых законов, на основании которых вы у всех отбираете имущество и присваиваете себе».

Есть в романе и любящая пара, которой, как и в других романах Сенкевича, должен сочувствовать и сочувствует читатель. Есть и разлука, и грозная опасность. Препятствием, которое разделяет влюбленных, является тут, однако, различие верований: Виниций – язычник, Лигия – христианка, Их путь друг к другу – это история обращения Виниция, переплетенная с интригующим повествованием о поисках, утратах, чудесном спасении.

Лигия и ее слуга Урс, необыкновенный силач, для автора были важны еще в одном отношении: Сенкевич обозначил символическую связь между романом о раннем христианстве и польской темой. Героиня – дочь вождя племени лигов, живущего где-то в районе нынешней Силезии, и имя ее звучит по-славянски: Калина. Сила Урса, трижды спасающего свою царевну, вступающего в действие, когда без силы не обойтись, когда не спасут кротость и молитвы, приводит действие к счастливому концу, которого Сенкевич в очередной раз не пожелал лишить читателя.

Роман «Камо грядеши» – вследствие почти универсальной известности его сюжетной основы – доставил Сенкевичу мировую славу. Переведенный на десятки языков, он прошел по всей планете, от Америки на западе до Японии на востоке. Вторгался роман и в другие виды искусства. Инсценировки его заполнили театральные сцены (о том, как играли «Камо грядеши» в русской провинции, упоминает, например, в одном из рассказов А. И. Куприн). Сенкевич при жизни дождался постановки двух фильмов по этой книге: во Франции и в Италии. Художник Ян Стыка выставил в Париже панораму, иллюстрировавшую роман. Была и опера на сюжет из «Камо грядеши».

К мировой славе Сенкевича, и без того великой, следующий его исторический роман, «Крестоносцы», многого добавить не мог. По занимательности он уступал и трилогии, и «Камо грядеши». Но были у романа – это многие заметили – такие художественные достоинства, которые свидетельствовали о продолжающемся совершенствовании мастерства писателя. Роман был задуман еще в 1892 году, но реализация замысла была отложена ради «Семьи Поланецких» и «Камо грядеши». Лишь закончив роман о временах Нерона, Сенкевич смог снова обратиться к национальному прошлому, на этот раз к эпохе более отдаленной, более славной и более счастливой, чем XVII век. «Крестоносцы» писались четыре года (их публикация длилась с февраля 1897 по июль 1900 года). По продуманности конструкции, крепкой взаимосвязи сюжетных линий, переплетению двух планов повествования: изображение частной жизни и народной судьбы, – роман можно считать самым совершенным из крупных произведений Сенкевича. Наконец, примечательны «Крестоносцы» и организующей роман историко-философской мыслью. Столкновение между королем Владиславом Ягелло (Ягайло) и Тевтонским орденом последовательно изображается как конфликт между правом и грубым насилием, который, по мнению писателя, проходит через всю мировую историю. Ягелло изображен как король-миротворец, который берет за меч, становится полководцем лишь тогда, когда ясна неотвратимость смертельной схватки между Орденом и народами, оказавшимися жертвами тевтонского натиска. Все действие романа, его сюжетные линии, судьбы

главнейших героев являются как бы подготовкой грандиозного патетического финала. Этим финалом становится описание знаменитой Грюнвальдской битвы 1410 года. Наш читатель знает обстоятельства, связанные с этим великим событием: народы нашей страны, литовцы и славянские племена, дрались в этой битве плечо к плечу с поляками против коварного агрессора. При чтении «Крестоносцев» он убедится, что в изображении натиска немецких феодалов на земли славян и балтийских народов Сенкевич был верен исторической правде. Роман вышел в годы, тогда идеологи пангерманизма прославляли своих предшественников, тевтонских рыцарей, когда велась германизация польских земель, и публикация его была, бесспорно, фактом большого гражданского значения. Надо заметить, что Сенкевич не становился при этом на позицию националистической предвзятости: в романе упоминается, например, о том, что немецкое население земель, подвластных Ордену, стонало от гнета крестоносцев и ненавидело их.

Сенкевич тщательно изучал имевшиеся источники. На первом месте среди них была, конечно, «История Польши» знаменитого Яна Длугоша, почти современника описываемых событий (он родился через пять лет после Грюнвальдской битвы). Большой интерес к этим временам проявляли польские историки XIX века. Да и не только историки: художник Ян Матейко создал грандиозное полотно «Грюнвальдская битва».

Но, конечно, XIV век и начало XV оставили памятников куда меньше, чем XVII столетие. Светская литература на польском языке почти не оставила текстов того времени, старопольский литературный язык только начал тогда складываться. Сенкевичу же надо было воссоздать колорит далекого прошлого со всей красочностью и достоверностью. Он обратился к сокровищнице народной культуры, к народной речи.

В языке «Крестоносцев» стилизация, пожалуй, более заметна и более своеобразна, чем в трилогии. Использовать в целях архаизации латынь и идущие от нее языковые конструкции было нельзя (наступление латыни приходится лишь на XVII век). Те выражения и специфические термины, которые можно было взять из средневековых памятников, Сенкевич использовал, но их было мало, и не ко всем ситуациям они подходили. Нужного ему стилистического эффекта писатель добивался, используя простонародный диалект, вставляя в текст (прежде всего в диалоги) слова и полис обороты из речи горцев, жителей Татр, которую, часто бывая в Закопане, изучил прекрасно. Сенкевич исходил из того, что народная речь, изменяющаяся медленнее, чем литературный язык, ближе к языку средневековья. При этом языковое чутье и чувство меры предохранили писателя от затемнения текста: диалектизмы и архаизмы употреблялись лишь такие, которые без труда понимались читателем.

Примечательно, как показан в романе быт рыцарского сословия, к которому принадлежали герои «Крестоносцев», сословия, тогда еще не превратившегося в ту шляхту, которая знакома нам по трилогии. Среди его обычаев и занятий Сенкевич выделяет те, которые близки к простонародным нравам. Некоторая грубоватость, простоватость обозначают в романе принадлежность персонажей давнему времени. При этом больше, чем в других исторических романах, автор отводит места картинам повседневной, мирной жизни. Динамичность повествования, в целом более замедленного, нежели в трилогии, основана в «Крестоносцах» на чередовании будничного и необычного, спокойных дней и резких поворотов в человеческих судьбах, на показе зависимости частной жизни от жизни народа.

Говорится в романе и о приходе в Польшу новых веяний. Их приносят прибывающие с запада рыцари. Прививаются они при дворах короля, князей и епископов, а для

рыцарства в целом привлекательны в неодинаковой степени. Збышко из Богданца с увлечением следует рыцарским обычаям, готов драться во имя дамы, которой служит. Его дядя Мацько, воин умелый и храбрый, больше думает о хозяйстве, добыче, благосостоянии рода, не чужд лукавства и скопидомства. Те, кто победнее (вроде Вилька и Чтана), бытом и воспитанием от простолюдинов мало отличаются. Словом, благородное сословие хотя и сознает свое превосходство над всеми прочими (по мнению Мацька, рыцарская честь требует, чтобы его племяннику голову рубили не «на том самом сукне, на котором рубят горожанам»), но еще не вырыло оно, как показывается в романе, той пропасти между собой и простолюдинами, которая налицо в повествовании о XVII веке.

Польша, которая показана в «Крестоносцах», вовсе не такая католическая, как в трилогия. Мироощущение людей средневековья писатель тоже хочет представить далеким от читательского. Христианство, например, изображено как лишь недавно утвердившаяся вера, как нечто новое, еще не совсем привычное, переплетающееся с реликтами язычества (ибо корнями язычество уходит в народное бытие, неотрывно от местной, славянской почвы). Зых из Згожелиц, сосед рыцарей из Богданца, говорит, например, так: «Взять хоть бы и нас, живем мы как будто в христианской стороне о порой и у нас на болоте кто-то смеется, да и дома хоть и бранятся ксендзы, а все лучше оставлять этой нечисти на ночь миску соседней, иначе так станет в стену скрестись, что глаз не сомкнешь...»

Средневековье представлено автором «Крестоносцев» в двух аспектах. Преобладает (именно вокруг нее концентрируется имеющийся в романе юмор) стихия жизнелюбия, телесного и душевного здоровья, человеческого самоутверждения. Но отображена в повествовании и другая сторона средних веков, связанная с религиозной экзальтацией, властью церкви, мыслями о загробном существовании. Линии Мацька и Збышка противостоит трагическая история Юранда, который из сурового мстителя превращается в мученика, смирившегося и простившего своих врагов, — и это обращение читатель может объяснить только всем тем ужасным и нечеловеческим, что выпало по долю рыцаря из Спыхова. Видения смертельного врага Юранда, крестоносца Зигфрида, и его самоубийство представляют в книге тот аспект средневекового быта и мировосприятия, который пронизан суеверным страхом и мрачным мистицизмом. В жизни Збышка появляются две девушки (так здесь выглядит треугольник, почти обязательный для романов Сенкевича) — и как бы в противовес Данусе, которая представлена веществом хрупким и нежным, не созданным для этого мира, появляется Ягенка, олицетворение силы и здоровья.

«Крестоносцы» не исчерпали интереса Сенкевича к национальной истории. В 1903–1905 годах он пишет роман «На поле славы», действие которого происходит во времена короля Яна Собеского, а в последние годы жизни работает над романом «Легионы». (Имеются в виду польские легионы, сражавшиеся в конце XVIII — начале XIX века на стороне Франции.) Первый из них до уровня прежних исторических романов не поднялся и популярности не приобрел, второй был только начат.

В последний период жизни Сенкевич, крупнейший художественный и нравственный авторитет для своих соотечественников, литературные занятия совмещает с рядом общественных выступлений. Он поддерживает важнейшие культурные инициативы, активно участвует, например, в работе юбилейного комитета по сооружению памятника Адаму Мицкевичу в Варшаве, присутствует на открытии памятника. Принимает участие и филантропической деятельности, оказывает помощь больным и нуждающимся художникам.

В 1900 году польская общественность устроила торжественное празднование юбилея

Сенкевича: отмечалось 25-летие его литературной деятельности. На средства, собранные юбилейным комитетом, было приобретено имение Обленгорек (неподалеку от города Кельцы, ныне там находится музей Сенкевича) и поднесено писателю в дар от соотечественников. Ягеллонский университет, старейший в Польше, избрал Сенкевича почетным доктором. Были отклики на юбилей и за рубежом; в России его отметила пресса, состоялись литературно-художественные вечера, посвященные автору «Крестоносцев». Венцом славы Сенкевича стало присуждение ему в 1905 году Нобелевской премии.

По-прежнему все эти годы Сенкевич бывает не только в Варшаве и Обленгореке, но и в других частях Польши, часто выезжает за границу. В 1904 году он женится на своей племяннице Марии Бабской.

Международная известность Сенкевича придает особый вес его публицистическим выступлениям. Неоднократно протестовал писатель против преследований польского языка и культуры в Германии. Когда в 1901 году стало известно о расправе прусских школьных властей с польскими детьми в городе Вжесня, Сенкевич выражает в печати свое возмущение этими варварскими действиями. В 1906 году он обращается с открытым письмом к Вильгельму II, стремясь привлечь общественное мнение европейских стран на сторону своих соотечественников. Выступает писатель и в защиту прав польского языка в школах Королевства Польского.

С литературными кругами России, где переводы книг Сенкевича издавались обычно сразу же после публикации оригинала, где выходили в свет собрания его сочинений, писатель поддерживал в эти годы постоянные отношения. В 1908 году он откликнулся на юбилей Л. Н. Толстого: в «Русских ведомостях» была опубликована его статья, в которой говорилось о величайшей роли этого писателя в жизни русского народа. Академия наук в Петербурге избрала Сенкевича в 1896 году членом-корреспондентом, а в 1914-м — почетным академиком.

Во время революционных событий 1905 года в Королевстве Польском Сенкевич вновь демонстрирует свой политический консерватизм. Он сотрудничает с деятелями буржуазно-националистической партии эндеков (выдвигался даже проект выставления его кандидатуры в депутаты Государственной думы). На революцию 1905 года Сенкевич откликнулся романом «Омут» (1909–1910). Этот роман решительно недостоин его таланта. Художественно несостоятельный, он изобилует грубыми нападками на социалистов, которых писатель изображает как погромщиков и разрушителей культуры, руководствующихся личными, корыстными побуждениями.

Среди произведений, написанных Сенкевичем на закате жизни, выделяется повесть для юношества «В пустыне и джунглях» (1910–1911). Героями повести являются польские дети, которые, попав в Африку, преодолевают различные опасности, проявляют мужество и присутствие духа. Эта книга Сенкевича и в наше время пользуется любовью юного польского читателя.

С началом первой мировой войны Обленгорек был занят австрийцами, Сенкевич направляется в Вену, а затем в Швейцарию. Здесь он деятельно участвует в работе Комитета помощи жертвам войны в Польше. Здоровье писателя ухудшается, 15 ноября 1916 года Сенкевич умирает. В 1924 году прах писателя был перенесен в Варшаву и захоронен в кафедральном соборе святого Яна.

Б. Стахеев

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
СТАРЫЙ СЛУГА

Наряду со старыми управителями, приказчиками и лесниками с лица земли почти совсем исчез и вымирающий тип старого слуги. Помню, в годы моего детства у родителей моих еще служил один из таких мамонтов; но недалеко то время, когда лишь кости подобных ископаемых будут изредка находить ученые где-нибудь на старых кладбищах, под толстым слоем забвения. Звали его Миколай Суховольский, и был он шляхтичем из шляхетского поселка Сухая Воля, о котором часто упоминал в своих рассказах. К отцу моему Миколай перешел по наследству от его блаженной памяти родителя, при котором был ординарцем во времена наполеоновских войн. Когда Миколай поступил в услужение к моему деду, он и сам в точности не помнил и на вопрос этот отвечал, понюхивая табак:

– В ту пору и я еще был желторотым, да и у пана полковника, упокой господи душу его, еще молоко на губах не обсохло.

В доме моих родителей он исполнял самые разнообразные обязанности: был и официантом, и лакеем; летом в роли приказчика присматривал за жатвой, в зимнюю пору – за молотью; у него хранились ключи от винного погреба, от чуланов и кладовой, он же заводил и часы, но прежде всего он брюзжал.

Я не помню случая, когда бы Миколай обошелся без воркотни. Ворчал он и на отца моего, и на мать; я боялся его как огня, хотя и любил; в кухне он затевал перебранку с поваром, молодых лакеев таскал за уши по всему дому и никогда ничем не был доволен. Когда он бывал под хмельком, что случалось с ним каждую неделю, все его сторонились; и не то чтобы он позволял себе вступать в пререкания с паном или с пани, но как привяжется он к кому-либо, так и ходит за ним целый день и все придирается и зудит.

За обедом он стоял за стулом отца, но сам не прислуживал, а только следил за прислуживающим лакеем и с необыкновенным ожесточением отравлял ему существование.

– Зевай, зевай по сторонам, – ворчал он, – я тебе покажу, как оглядываться. Видали! Нет того чтобы мигом подать, будет теперь волочить ноги, как старая корова в походе. Ты только оглянись еще раз! Он не слышит, что его пан зовет... Перемени пани тарелку. Чего пасть разинул? Ну что? Видали? Нет, вы посмотрите на него!

В разговоры, ведиющиеся за столом, он всегда вмешивался и всегда всему противился. Иной раз, бывало, отец, сидя за столом, обернется к нему и скажет:

– Миколай, после обеда вели Матеушу запрягать лошадей: мы поедем туда-то.

А Миколай:

– Ехать надумали? Отчего же не ехать? Ого! На то и лошади. Пусть-ка лошади себе ноги поломают по такой дороге. Визит так визит. Господам-то можно. Разве я запрещаю? Я не запрещаю. Отчего бы и нет! И счета могут погодить, и молотьяба может погодить. Визит-то – он больше к спеху.

– Наказание с этим Миколаем! – крикнет подчас отец, выйдя из себя.

А Миколай свое:

– Да разве я говорю, что я не дурак. Я знаю, что дурак. Управитель-то поехал любезничать с княжеской экономкой в Неволов, а господам с визитом нельзя ехать? Или их визит хуже княжеской экономки? Можно слуге, можно и пану.

И уж как заладит старый брюзга одно и то же, невозможно его унять.

Мы, то есть я и меньшой брат, боялись его, как я уже упоминал, чуть ли не больше, чем нашего гувернера, ксендза Люд-вика, и несомненно больше, чем обоих родителей. С сестрами он обходился учтивее. Даже называл их «паненками», хотя они были моложе, зато нас «тыкал» без всяких церемоний. Для меня, однако, было в нем нечто особенно притягательное – это пистоны, которые он всегда носил в кармане. Не раз, бывало, после уроков я робко вхожу в буфетную, улыбаюсь как только могу любезнее и, подольстившись со всей обходительностью, заискивающе заговариваю:

– Миколай! Добрый день, Миколай. Вы будете сегодня чистить оружие?

– Чего тебе тут надо? Вот повяжу тебе тряпку – и баста.

А затем передразнивает меня:

– Миколай! Миколай! Понадобятся пистоны, тогда Миколай хорош, а нет, так хоть волк его заешь. Шел бы лучше учиться. От стрельбы ума не наберешься.

– Я уже кончил уроки, – отвечаю я, едва не плача.

– Кончил уроки. Гм! Кончил. Учится, учится, а голова, как пустой ранец. Не дам, и все тут. – Говоря это, он уже шарил по карманам. – Еще попадет ему в глаз пистон, а отвечать будет Миколай. Кто виноват? Миколай. Кто дал стрелять? Миколай.

Продолжая ворчать, он шел в комнату отца, вынимал пистолеты, продувал их, уверяя еще раз сто, что все это на черта сдалось, потом зажигал свечу, вкладывал пистон и давал мне целиться, но и тогда еще нередко нес я тяжелый крест.

– Как он пистолет держит, – говорил Миколай, – что твой цирюльник – клистир. Где уж тебе свечи гасить, разве что задувать вместо причетника в костеле. В ксендзы тебе идти, за упокой читать, а не быть солдатом.

Тем не менее он обучал нас своему прежнему военному ремеслу. Часто после обеда я и мой брат учились маршировать иод его команду, а вместе с нами маршировал и ксендз Людвик, у которого это получалось очень смешно.

Несколько минут Миколай искоса поглядывал на него, а потом, хотя он только и боялся и уважал одного ксендза, не утерпев, говорил:

– Эх, и маршируете же вы, ваше преподобие, точь-в-точь как старая корова.

Мною, как старшим, он больше всего командовал, и мне больше всего доставалось. Однако же, когда меня отдавали в школу, Миколай ревел так, как будто случилось страшное несчастье. Родители рассказывали мне, что потом он еще сильнее захандрил и пилил их недели две. «Взяли да и увезли дитя, – говорил он. – Пускай его помирает! У-у! У! А на что ему школа? Будто он не помещик. Латынь

будет учить? В Соломоны его прочат. И что это за распутство! Уехало дитя, уехало, а ты, старик, топчись из угла в угол да ищи, чего не терял. На черта это сдалось!»

Помню, когда я в первый раз приехал на праздники, в доме все еще спали. Едва начинало светать; утро было зимнее, шел снег. Тишину нарушал лишь лай собаки да скрип колодезного журавля па скотном дворе. Ставни в доме были закрыты, только в кухне ярко горели окна, заливая розовым светом сугроб под завалинкой. И вот я подъезжаю, грустный, расстроенный, потому что первый мой табель был совсем неважный. Просто я еще не успел оглядеться, не привык к школьным порядкам, к дисциплине и на первых порах растерялся. Я боялся отца, боялся сурового молчания ксендза Людвика, который привез меня из Варшавы. Поддержки ждать было неоткуда, и вдруг – смотрю: открывается дверь из кухни, и старый Миколай с красным от стужи носом бредет по снегу, неся на подносе чашки с горячими дымящимися сливками.

Увидел он меня да как крикнет: «Паничек, золотой мой, драгоценный!» – и, поспешно ставя поднос, опрокидывает обе чашки, облапливает меня за шею и давай обнимать и целовать. С того дня он всегда уже величал меня паничем.

Тем не менее потом он попрекал меня этими сливками добрые две недели. «Несет человек преспокойно сливки, – говорил старик, – а он тут-то п подъезжает. Выбрал тоже время, в самый раз...»

Отец хотел или, по крайней мере, сулил выдрать меня за привезенные мною две посредственные отметки – по каллиграфии и по-немецкому; но, с одной стороны, мои слезы и обещания исправиться, с другой – вмешательство моей обожаемой матери и, наконец, скандалы, которые устраивал Миколай, этому воспрепятствовали. Миколай не имел представления, что за тварь – эта каллиграфия, но о наказании за немецкий и слышать не хотел.

– Да что он, лютер или какой шваб? – говорил он. – А пан полковник знал, что ли, по-немецки? А вы-то сами (тут он оборачивался к моему отцу) знаете? А? Когда мы встречали немцев под... как бишь он зовется? Под Лейпцигом и черт весть где еще, так мы, грит, не разговаривали с ними по-немецки, а все ж таки, грит, они-то, грит, живо показывали нам спину, и, грит, все тут.

В старости Миколай отличался еще одним свойством. Он неохотно рассказывал о походах, в которых некогда участвовал, но в редкие минуты, когда на него найдет, бывало, добрый стих, он вдруг разговорится и уж тут врет напропалую. Однако делал он это без злого умысла, – должно быть, в старой его голове все события перемешались и выросли до фантастических размеров. Что бы он где ни услышал о военных похождениях времен своей молодости, все он приписывал себе и деду моему, полковнику, и сам свято верил в то, что рассказывал. Иной раз на гумне, надзирая за крепостными, которые молотили хлеб, он как начнет разглагольствовать, так мужики и работу побросают и, опершись на цепи, слушают, разиня рты, его рассказы. Тут он, бывало, спохватится – и давай орать:

– Вы чего пасти на меня уставили, точно пушки, а?

И опять: таки-так! таки-так! Какое-то время слышался лишь стук цепов, ударяющих по соломе, но, с минуту помолчав, старик снова начинал:

– Пишет мне сын мой, что нынче произвели его в генералы у королевы Пальмиры.

Хорошо ему там, грит, жалованье, грит, большое получает, только то, грит, что морозы стоят там страшные...

Кстати сказать, с детьми Николаю не повезло. Сын у него действительно был, но большой негодяй; едва он подрос, как бог весть что натворил, затем бежал из дому и бесследно исчез; была у него и дочь, в свое время, говорят, чудо-девушка, но потом стала путаться со всеми служащими, какие только жили в деревне, и, наконец, произведя на свет дочь, умерла. Дочь ее называли Ганей. Она была моя ровесница, прелестная, но хрупкая девочка. Помню, нередко мы с ней играли в солдаты: Ганя была барабанщиком, а крапива – нашим неприятелем. Добра и кротка она была, как ангел. Ей тоже выпала тяжкая доля в жизни, но эти воспоминания сюда не относятся.

Возвращаюсь поэтому к рассказам старика. Я сам слышал его рассказ о том, как в Мариамполе однажды взбесились у улан восемнадцать тысяч лошадей, которые вдруг через все заставы ворвались в Варшаву. Сколько же народу они затоптали! Что это был за судный день, покуда их переловили, легко себе представить! В другой раз он рассказал, но уже не на гумне, а всем нам, в доме, следующую историю:

– Хорошо ли я дрался? А что же, разве не мог я хорошо драться? Раз, помню, была война с австрияком. Стою это я в шеренге, ну, говорю, в шеренге, а тут подъезжает ко мне главнокомандующий противной стороны, стало быть, австрияков, и говорит: «Эй ты, Суховольский, я, грит, тебя знаю! Кабы мы, грит, поймали тебя, враз, грит, всю бы войну и прикончили».

– А о полковнике он не упоминал? – спросил мой отец.

– А как же! Я ведь так и сказал: «Тебя, грит, с полковником».

Ксендз Людвик, потеряв терпение, заметил:

– Ну и лжешь ты, Миколай, словно особое жалованье за это получаешь.

Старик нахмурился и хотел было огрызнуться, но так как ксендза он побаивался и уважал, то решил смолчать, однако, желая загладить свои слова, через минуту прибавил:

– Вот то же самое говорил и капеллан ксендз Секлюцкий. Раз как ткнул меня австрияк штыком под двадцатое, то бишь под пятое ребро, стало мне худо. Ну, думаю, придется помирать – и исповедуюсь в грехах своих всемогущему господу богу перед ксендзом Секлюцким, а ксендз Секлюцкий слушает, слушает, да под конец и говорит: «Побойся, грит, ты бога, Миколай, да ты же все солгал!» А я ему на это: «Может быть, но больше я ничего не помню».

– И вылечили тебя?

– Ну вот, вылечили, вылечили! Чего меня лечить? Я сам себя выходил. Намешал два заряда пороху в мерочку водки да как глотнул ее на ночь, так на другой день встал здоровехонек, что твоя рыбка.

Я бы и больше наслушался этих небылиц и больше бы их записал, если бы ксендз Людвик – не понимаю, кстати, почему – не запретил Николаю их рассказывать, боясь, что они «окончательно вскружат мне голову». Бедный ксендз Людвик, будучи ксендзом и мирным деревенским жителем, не знал, во-первых, что у каждого юноши,

которого буря выгоняет из тихого семейного уголка на широкую арену жизни, неизбежно не раз будет кружиться голова, а во-вторых, что кружат головы отнюдь не старые слуги и их рассказы.

Да и вообще влияние Миколая не могло быть для нас вредным, напротив: старик сам следил за нами и за нашим поведением даже чересчур усердно и сурово. Это был человек добросовестный в полном смысле этого слова. Со времен солдатчины у него сохранилась одна прекрасная черта – именно эта добросовестность и точность в выполнении приказов. Помню, одну зиму волки стали производить у нас огромные опустошения и обнаглели настолько, что по ночам повадились стаями забегать в деревню. Отец мой, сам страстный зверолов, решил устроить облаву, но ему хотелось, чтобы руководил ею сосед наш, пан Устжицкий, известный охотник на волков, и он напсал ему письмо, потом позвал Миколая и сказал:

– Арендатор едет сейчас в город, ты отправишься с ним, но по дороге выйдешь в Устжице и отдашь пану письмо. Только смотри – непременно привези мне ответ; без ответа не возвращайся.

Миколай взял письмо, собрался и уехал с арендатором. Вечером арендатор вернулся – Миколая нет. Отец думал, что он, должно быть, заночевал в Устжице и вернется завтра вместе с нашим соседом. Между тем проходит день – Миколая нет, проходит второй – нет, третий – нет. В доме стоп стоит. Отец, испугавшись, что на старика напали волки, когда он возвращался, рассылает людей. Ищут везде, но не находят ни следа. Отправляется нарочный в Устжицу. В Устжице говорят, что Миколай был, но пана не застал и допытывался, где он может находиться, потом занял у лакея четыре рубля и ушел неизвестно куда. Мы голову ломали, стараясь понять, что все это могло означать. На следующий день вернулись из других деревушек с сообщением, что нигде его не нашли. Мы уже начали его оплакивать, но на шестой день, к вечеру, когда отец отдавал распоряжения в конторе, за дверью вдруг послышалось шарканье ног, покашливание и негромкая воркотня, по которой он сразу узнал Миколая.

Действительно, то был Миколай, простуженный, исхудавший, усталый, с ледяными сосульками на усах, сам на себя не похожий.

– Побойся ты бога, Миколай! Что ты делал столько времени?

– Что делал, что делал, – ворчит Миколай. – А что мне было делать? В Устжице я пана не застал и поехал в Бзин. В Бзине мне сказали, что на черта я туда тащился, потому что пан поехал в Каролювку. Поехал и я туда. В Каролювке его уже в помине не было. Ему-то нужда, что ли, чужие углы обживать? Что же он, не пан? Пешочком-то не ходит. Верно я говорю. Из Карлювки пошел я в город, потому что говорили, будто пан в уезде. А что ему делать в уезде? Он не какой-нибудь войт. Поехал себе в губернию. Что же, мне возвращаться было, что ли? Я и пошел в губернию и отдал ему письмо.

– Ну и дал он тебе ответ?

– Дать-то дал. Как же не дать, только все смеялся надо мной, да так, что все зубы до единого было видно. «Пан твой, грит, звал меня охотиться в четверг, а ты, грит, мне письмо отдаешь в воскресенье. Уже, грит, охота кончилась». И опять засмеялся. Вот оно – письмо. Чего ему не смеяться? Будто он...

– А что же ты ел за это время?

– Да какая беда, что не ел со вчерашнего дня? Будто я тут голодаю. Будто мне ложку похлебки жалеют? Не ел, так сейчас поем...

С тех пор никто уже не давал Миколаю безоговорочных приказаний, и всякий раз, когда его куда-нибудь посылали, ему говорили, что делать, на случай если он кого-нибудь не застанет дома.

Но вот несколько месяцев спустя Миколай поехал в ближний город на ярмарку покупать рабочих лошадей, а толк он знал в лошадях как нельзя лучше. Вечером пришел управляющий сказать, что Миколай вернулся, лошадей купил, но вернулся избитый и стыдится показываться на глаза. Отец тотчас пошел к нему.

– Что с тобой, Миколай?

– Подрался, – буркнул он коротко.

– Постыдился бы ты, старик. Буянить вздумал па ярмарке? Совсем потерял рассудок. Стар ты, а глуп! Да ты знаешь ли, что другого за такой поступок я бы выгнал вон? Постыдился бы ты! Верно, напился пьян. Тебе должно пример показывать людям, а ты мне их портишь.

Отец мой действительно рассердился, а сердился он не на шутку. Но удивительнее всего было то, что Миколай, который обычно в таких случаях не лез за словом в карман, на этот раз молчал как убитый. Видно, обозлился старик. Напрасно пытались расспрашивать его другие, что да как это случилось. Он только огрызался и никому не сказал ни слова.

Однако потрепали его основательно. Наутро он расхворался так, что пришлось посылать за доктором. В конце концов доктор выяснил, как было дело. За неделю до этого отец задал взбучку приказчику, и тот на другой же день сбежал. Отправился он к некоему пану Цоллю, немцу, злейшему врагу моего отца, и поступил к нему в услужение. На ярмарке оказался и пан Цолль вместе с бывшим нашим приказчиком и несколькими батраками, которые пригнали на продажу откормленных на убой волов. Пан Цолль первый заметил Миколая, подошел к его телеге и принялся поносить моего отца. За это Миколай обозвал его отступником, а когда пан Цолль прибавил еще какое-то оскорбление по адресу отца, Миколай оплатил за него кнутом. Тогда на него набросились приказчик и батраки Цолля и избили его до крови.

Отец мой, услышав этот рассказ, едва не заплакал. Он не мог себе простить, что распек Миколая, который сознательно умолчал об этой истории. Когда он выздоровел, отец пошел его пожурить. Старик вначале ни в чем не хотел признаваться и, но своему обыкновению, ворчал, но потом расчувствовался и пустил слезу, так же как и отец. После этого отец вызвал Цолля на дуэль, которую немец надолго запомнил.

А между тем если бы не доктор, самоотверженный поступок Миколая так бы и остался никому не известным. Тем не менее этого доктора Миколай долгое время ненавидел. А произошло это так: у меня была прелестная молодая тетушка, сестра отца, которая жила у нас. Я очень ее любил, потому что добра она была так же, как хороша собой, и меня ничуть не удивляло, что любили ее все, в том числе и доктор, человек молодой, умный и весьма уважаемый во всей округе. Вначале Миколай благоволил к доктору, даже называл его молодцом и говорил, что тот ловко сидит на коне; но когда доктор стал бывать у нас с явными намерениями

относительно тети Марыни, чувства Миколая к нему изменились до неузнаваемости. Он стал обходиться с ним вежливо, но холодно, как с совершенно посторонним человеком. Прежде, бывало, он нередко ворчал на него. Когда иной раз он поздно засиживался у нас, Миколай, кутая его в дорогу, бубнил: «И что это по ночам шататься? Никуда не годится, да и где это видано!» Теперь он перестал ворчать, зато молчал, как истукан. Милейший доктор скоро понял причину этой перемены, и хотя по-прежнему добродушно улыбался старику, в душе ему, наверно, было неприятно.

Однако тетя Марыня не разделяла вкусов Миколая и, к счастью молодого эскулапа, питала к нему прямо противоположные чувства; и вот в один прекрасный вечер, когда луна освещала гостиную как-то особенно красиво, когда с садовых клумб вливалось в открытые окна благоухание жасмина, а тетя Марыня пела за роялем: «*Jo questa notte sogno*», доктор Стась приблизился к пей и спросил дрожащим голосом, знает ли она, что он жить без нее не может. Тетя, разумеется, выразила сомнение по этому поводу, после чего начались взаимные излияния и клятвы с обращением к лупе, призывавшейся в свидетели, и так далее, все в таком же роде, как это обычно бывает в подобных случаях.

К несчастью, как раз в эту минуту вошел Миколай звать их к чаю. Увидев, что происходит, он бегом бросился к отцу, но тот ушел осматривать дворовые постройки, и, не застав его дома, старик отправился к моей матери, которая, мягко улыбаясь, попросила его не вмешиваться.

Сконфуженный Миколай замолчал, но весь вечер терзался, а когда отец перед сном зашел в контору написать еще какие-то письма, старик последовал за ним и, встав в дверях, принялся многозначительно покашливать и шаркать ногами.

– Чего тебе, Миколай? – спросил отец.

– Да вот я, того... Как же это называется? Да вот я хотел спросить, верно ли, что наша паненка, того... женится, то бишь выходит замуж?

– Верно. А что?

– А то, что не может быть, чтобы паненка вышла за этого... пана цирюльника.

– Что еще за цирюльник? Да ты ошалел, Миколай. И надо же тебе всюду совать свой нос!

– Да разве паненка не наша паненка? Разве не дочь она папу полковнику? Пан полковник никогда бы этого не позволил. Что же, наша паненка не стоит помещика и самого знатного пана? А доктор – это, с позволения сказать, что? Люди паненку засмеют.

– Доктор – умный человек.

– Умный, неумный – это как сказать. Мало я, что ли, докторов навидался? Слонялись они у нас но лагерю да в штабе вертелись, а чуть что, как бой, так их и нет. Сколько раз пан полковник их ланцетниками обзывал. Покуда человек здоров, доктор небось его не тронет, а как свалится полумертвый, он уж тут как тут и лезет к нему с ланцетом. Это не хитрость – резать того, кто и защитит себя не может, потому что у него и руки ничего не держат. А ты попробуй-ка его порежь, когда он здоров и держит винтовку. Подумаешь! Важное дело – ножом кости

ковырять! На черта это сдалось! А пан полковник – тот бы из гроба встал, кабы узнал про это. Какой уж он солдат – доктор-то! И такой же он помещик! Да быть того не может! Не пойдет за него паненка. Нет этого в завещании. Да и куда ему нашей паненки добиваться.

К великому горю Миколая, доктор не только добивался паненки, но и добился. Полгода спустя справили свадьбу, и дочь пана полковника, невзирая на потоки слез, которые проливали все родные и домочадцы вообще, а Миколай в особенности, уехала с доктором делить его судьбу.

Миколай на нее не обижался, да и не мог долго питать к ней обиду: слишком он ее любил, но доктора старик не хотел простить. Даже никогда не упоминал его имени и вообще старался не говорить о нем. Кстати сказать, тетя Марыня была очень счастлива с доктором Станиславом. Через год бог дал им прекрасного мальчишку, еще через год – девочку, а потом так уж и пошло по очереди, как по расписанию. Миколай любил этих детей, как родных, носил их на руках, нянчил, целовал, но что в сердце его таилась еще какая-то горечь из-за мезальянса тети Марыни – это я неоднократно замечал. Помню, однажды в рождественский сочельник сели мы за стол разговляться, как вдруг издали по обледенелой дороге послышалось громоухание экипажа. Мы всегда ждали множество родных, поэтому отец сказал:

– Посмотри-ка, Миколай, кто там едет.

Миколай вышел и через минуту вернулся с сияющим лицом.

– Паненка едет! – крикнул он издали.

– Кто такой? – спросил мой родитель, хотя уже понимал, о ком идет речь.

– Паненка!

– Какая паненка?

– Наша паненка, – ответил старик.

Надо было видеть эту паненку, когда она вошла в комнату с тремя детьми. Хороша паненка! Тем не менее старик умышленно никогда ее иначе не называл.

Но в конце концов прошла и его неприязнь к доктору Ста-сю. Тяжело заболела тифом его Ганя. Горестны были и для меня эти дни, потому что Ганя, моя ровесница, была единственной подружкой моих игр и я любил ее почти как сестру. Так вот доктор Стась три дня не покидал ее комнату. Старик, любивший Ганю всеми силами души, во время ее болезни ходил, как отравленный, не ел и не спал, и, хотя к постели больной, кроме моей матери, не разрешалось никому приближаться, он неотлучно сидел у дверей ее комнаты, предаваясь жестокому, неумолимому горю, от которого разрывалась его грудь. Душа его была закалена трудами и лишениями, равно как и ударами судьбы, однако она едва не сломилась под бременем отчаяния у одра единственного его дитяти. А когда наконец после многих дней смертельной опасности доктор Стась, тихо отворив дверь из спальни больной, вышел в соседнюю комнату, где ждали его приговора, и, сияя от счастья, прошептал лишь одно словечко: «Спасена», – старик не выдержал, заревел в голос и повалился ему в ноги, бормоча сквозь рыдания: «Благодетель мой, благодетель!»

Ганя действительно вскоре после этого выздоровела, а доктор Стась, разумеется,

стал любимцем старика.

– Молодец,– твердил он, поглаживая длинные, как у сома, усы,– молодец! И на коне хорошо сидит, и, кабы не он, моя Ганя... Тьфу, не сглазить бы! Не хочу и вспоминать.

Но не прошло и года после этого события, как старик сам стал недомогать. Его прямой сильный стан согнулся. Он одряхлел, перестал брюзжать и привирать. Наконец, лет в девяносто, Миколай совсем впал в детство. Он уже не работал, а только мастерил силки для птиц и развел их в своей горенке великое множество, особенно синичек. За несколько дней до смерти он уже никого не узнавал; но перед самой кончиной догорающая лампада его сознания еще раз ярко вспыхнула. Помню, родители мои, ради здоровья матери, жили в ту пору за границей. Однажды вечером я сидел у камина с меньшим моим братом Казиком и ксендзом, который тоже заметно стал сдавать. Студеный ветер, взметая столбы снега, ударял в стекла; ксендз Людвик молился, я с помощью Казика собирал оружие к завтрашней охоте по свежему следу. Вдруг нам дали знать, что старый Миколай отходит. Ксендз Людвик поспешил в домовую часовню за святыми дарами, а я во весь дух побежал к старику. Он лежал в постели очень бледный, даже желтый и едва ли не начал уже коченеть, но был спокоен и в полной памяти.

Прекрасна была эта облысевшая голова, украшенная двумя шрамами,– голова старого солдата и честного человека. Пламя погребальной свечки озаряло мертвенным светом стены горенки. Но углам жалобно попискивали синички. Одной рукой старик прижимал к груди распятие, другую держала, покрывая ее поцелуями, бледненькая, как цветок лилии, Ганя. Вошел ксендз Людвик, и началась исповедь; потом умирающий пожелал видеть меня.

– Нет моего пана и дорогой пани,– прошептал он,– тяжело мне без них умирать. Но вы здесь, панич мой золотой, господин мой... не оставьте эту сиротку... Господь наградит вас. Не сердитесь на меня... Если я в чем виноват... простите... Нередко я вам докучал, но всегда был предан...

Вдруг, снова очнувшись, он воскликнул громко и поспешно, как будто ему уже не хватало дыхания:

– Панич!.. Господин мой!.. Сиротка!.. Господи, в руки... твои...

– Предаю душу этого храброго солдата, верного слуги и праведного человека,– торжественно закончил ксендз Людвик.

Старец умер.

Мы преклонили колени, и ксендз стал читать вслух молитвы по усопшему.

* * *

С того дня прошло много лет. На могиле верного слуги буйно разросся кладбищенский вереск. Настало грустное время. Буря разрушила священный и тихий очаг в моей деревушке. Ныне ксендз Людвик уже в могиле, тетя Марыня – в могиле; я пером добываю горький хлеб насущный, а Ганя...

Эх! Слезы застилают глаза!

Когда умер старый Миколай, доверив моему попечению и совести Ганю, мне было шестнадцать лет; она же была почти на год младше меня и тоже едва вышла из детского возраста.

Чуть не насильно я увел ее от смертного одра деда, и мы вместе пошли в нашу домовую часовню. Она была отперта; перед старинным византийским образом богоматери горели две печи, скудно освещая погруженный во мрак алтарь. Мы встали рядом на колени. Убитая горем девочка, изнемогшая от слез, бессонных ночей и скорби, склонила ко мне на плечо свою бедную голову, и так мы молча стояли. Время было позднее; в зале, смежной с часовней, на старинных гданьских часах кукушка хрипло прокуковала два пополуночи; в часовне царила глубокая тишина, нарушаемая лишь завыванием метели, сотрясающей свинцовые переплеты окошек, да горестными вздохами Гани. Я не смел молвить ей ни слова в утешение и только прижимал ее к себе, как будто уже был ее опекуном или старшим братом. Однако молиться я не мог: тысяча впечатлений и чувств всколыхнули мое сердце и голову; разнообразные картины мелькали перед моими глазами, но понемногу из этого хаоса все явственней выступала одна мысль, одно чувство – что это бледненькое личико с закрытыми глазами, прильнувшее к моему плечу, что это маленькое, бедное, беззащитное существо становится теперь моей любимой сестрой, за которую я готов отдать жизнь, а если потребуется, брошу перчатку всему миру.

Тем временем подошел меньшой брат мой Казик и опустился на колени позади нас, потом явился ксендз Людвик и несколько человек дворовых. По заведенному в доме обычаю, стали читать «Отче наш». Ксендз Людвик молился вслух, а мы повторяли за ним и хором читали акафисты, между тем как с образа кротко глядел на нас темный лик богоматери с двумя сабельными рубцами на щеке; казалось, она принимала участие в наших семейных тревогах и горестях, в наших удачах и неудачах и благословляла всех собравшихся у ее ног. В конце богослужения, когда ксендз Людвик, помянув усопших, за которых мы всегда молились, назвал имя Миколая, Ганя снова громко разрыдалась, а я тихо поклялся в душе свято соблюдать обязанности, возложенные па меня покойником, хотя бы мне пришлось это делать ценой величайших жертв. То был обет экзальтированного юноши, не понимающего, пи как могут быть тяжелы эти жертвы, ни как велика взятая им па себя ответственность, но не лишенного благородных душевных порывов и пылкой чувствительности.

Помолившись, мы все разошлись на покой. Я приказал ключнице, старухе Венгровской, проводить Гау., но не в гардеробную, где она прежде ютилась, а в комнатку, в которой она теперь должна была поселиться, и там остаться с ней на ночь, а сам, нежно поцеловав сиротку, отправился во флигель, называвшийся у нас в доме «мужской половиной», где я жил вместе с Казиком и ксендзом Людвиком. Наскоро раздевшись, я улегся в постель. Я любил Миколая и искренне горевал о нем, но, несмотря на это, чувствовал себя почти счастливым и гордился своей ролью опекуна. Меня возвышало в собственных глазах то, что я, шестнадцатилетний мальчик, должен был стать опорой для слабого и несчастного создания. Я чувствовал себя мужчиной. «Твой панич и господин, почтенный старец, не обманет твоих надежд, – думал я, – спи спокойно в могиле: ты отдал в верные руки будущее своей внучки». Действительно, я был спокоен за будущее Гани. Мысль о том, что со временем Ганя вырастет и что нужно будет ее выдать замуж, в ту пору не приходила

мне в голову. Я думал, что она навсегда останется при мне, окруженная заботами, как сестра, и любимая, как сестра, и что, возможно, ей будет тут грустно, но спокойно. По искони установившемуся обычаю, старший сын получал в наследство впятеро больше, нежели младшие дети; и хотя в роду у нас не было узаконенного майората, младшие сыновья и дочери уважали этот обычай и никогда не восставали против него. Я был старшим сыном в семье, и, следовательно, большая часть имения должна была в будущем перейти ко мне, поэтому уже гимназистом я смотрел на него как на свою собственность. Отец мой принадлежал к числу наиболее состоятельных помещиков в округе. Правда, род наш никогда не отличался роскошью магнатов, но у нас было то изобилие, тот старошляхетский достаток, который давал вволю хлеба и обеспечивал до смерти привольное и зажиточное существование в родном гнезде. Таким образом, я рассчитывал, что буду относительно богат, и потому спокойно взирал как на свое будущее, так и на будущее Гани, зная, что, какая бы участь ее ни ждала, у меня она всегда найдет тихий угол и поддержку, если в них будет нуждаться.

С этими мыслями я уснул. На другой день я начал с утра претворять в действие вверенную мне опеку. Но как смешно и по-детски я это делал! И все же сейчас, вспоминая об этом, я не могу не поддаться чувству умиления. Явившись с Казиком к завтраку, мы уже застали за столом ксендза Людвика, мадам д'Ив, нашу гувернантку, и двух моих маленьких сестричек, которые сидели, как всегда, на высоких тростниковых креслицах, болтая ножками и весело щебеча. С необыкновенной важностью я расселся на месте отца, окинул стол взглядом диктатора и, обернувшись к лакею, проговорил, сухо и повелительно:

– Прибор для панны Ганны!

Слово «панна» я умышленно произнес с особым нажимом.

Доселе этого никогда не бывало. Ганя всегда ела в гардеробной, и хотя мать моя хотела, чтобы она сидела за столом вместе с нами, старик Миколай не позволял ей, упорно твердя: «Ни к чему это; пусть учится почитать господ. Еще чего!» Теперь я вводил новый обычай. Милейший ксендз Людвик улыбался, замаскировав улыбку понюшкой табаку и фуляровым носовым платком; француженка, которая происходила из старинного дворянского рода и потому держалась аристократкой, несмотря на свое доброе сердце, поморщилась, а лакей Францишек широко разинул рот и с изумлением уставился на меня.

– Прибор для панны Ганны! Ты слышал? – повторил я.

– Слушаюсь, ваша милость, – ответил Францишек, на которого мой тон, по-видимому, произвел должное впечатление.

Сейчас я могу признаться, что и «его милость» с трудом подавил довольную улыбку, появившуюся на его устах, когда его впервые в жизни наградили этим титулом. Однако важность, преисполнявшая «его милость», не позволила ему улыбнуться. Между тем прибор через мгновение был подан, дверь отворилась, и вошла Ганя в черном платье, которое ей за ночь сшили горничная и старуха Венгровская; она была очень бледная, следы слез еще заметны были на ее глазах, а длинные золотые косы, сбегавшие вдоль платья, на концах были повязаны лентами из черного траурного крепа, вплетенными в лучистые волосы.

Я поднялся и, подбежав к ней, проводил ее к столу. Мои старания и вся эта пышность, казалось, только конфузили, стесняли и удручали девочку; но тогда я

еще не понимал, что в минуты печали тихий, укромный, уединенный уголок и покой ценнее шумных дружеских излияний, хотя бы они были продиктованы самыми благими намерениями. И я терзал Ганю из самых благих побуждений, навязывая ей свою опеку и полагая, что превосходно справляюсь со своей задачей. Ганя молчала и лишь время от времени отвечала на мои вопросы о том, что она будет есть и пить.

– Ничего, благодетель панич.

Меня больно поразило это «благодетель панич», тем более что прежде Ганя держала себя со мной свободно и называла меня просто «панич». Но именно та роль, которую я играл со вчерашнего дня, и особые условия, в которые я поставил Ганю, были причиной теперешней ее робости и смирения. Тотчас после завтрака я отвел ее в сторону и сказал:

– Запомни, Ганя, что с этого дня ты стала моей сестрой. И отныне никогда не называй меня «благодетель панич».

– Хорошо, благоде... хорошо, панич.

Странное у меня было положение. Я расхаживал с ней по комнате, но не знал, о чем говорить. С радостью я стал бы ее утешать, но для этого пришлось бы напомнить о Николае и его смерти, а это бы вновь привело к слезам и вызвало новый приступ горя. Кончилось тем, что мы оба уселись на низенькую софу в конце комнаты; девочка снова положила мне головку на плечо, а я принялся гладить ее золотые волосы.

Она действительно прильнула ко мне, как к брату, и, быть может, именно то сладостное чувство доверия, которое зародилось у нее в сердце, явилось новым источником слез, поливших из ее глаз. Она плакала навзрыд, а я утешал ее, как мог.

– Ты опять плачешь, Ганюлька? – говорил я. – Твой дедушка теперь на небе, а я буду старать...

Но я не мог продолжать, потому что и меня душили слезы.

– Панич, а можно мне к дедушке? – прошептала она.

Я знал, что принесли гроб и что в эту минуту обряжают Николая, поэтому не хотел, чтобы Ганя шла к своему деду, куда все не будет готово. Но сам я пошел туда.

По дороге я встретил мадам д'Ив и попросил подождать меня, так как мне нужно было кое о чем с ней поговорить. Отдав последние распоряжения относительно похорон и помолившись у гроба Николая, я поспешил к французенке и после краткого предисловия спросил, не пожелает ли она через некоторое время, когда пройдут первые недели траура, давать Гане уроки французского и музыки.

– Monsieur Henri, – ответила мадам д'Ив, которую, видимо, сердило, что я всюду суюсь и распоряжаюсь, – девочку эту я очень люблю и занялась бы ею с большой охотой; но не знаю, входит ли это в намерения ваших родителей, равно как не знаю, согласятся ли они, чтобы малютка играла в вашем семействе ту роль, которую вы самовольно ей предназначили. Pas trop de zele, monsieur Henri[4].

– Она состоит под моей опекой, – возразил я высокомерно, – а я за нее отвечаю.

– Но я не состою под вашей опекой,– упорствовала мадам д'Ив,– и потому, если позволите, подожду возвращения ваших родителей.

Упорство француженки рассердило меня; к счастью, с ксендзом Людвиком дело пошло несравненно легче. Милейший ксендз, и прежде учивший Ганю, не только согласился продолжать и расширять ее образование, но и меня похвалил за ревностную заботу.

– Вижу,– сказал он,– что ты не на шутку берешься за осуществление возложенных на тебя обязанностей, хотя ты молод и сам еще дитя, и это весьма похвально, однако помни: будь столь же постоянен, сколь и ревностен.

И я видел, что ксендз доволен мной. Роль хозяина дома, которую я себе присвоил, скорей забавляла его, нежели сердила. Старичок видел, что во всем этом было много ребячества, но что побуждения мои честны, поэтому он гордился мной и радовался, что семена, зароненные им в мою душу, не погибли. Впрочем, старый ксендз вообще питал ко мне слабость; что же касается меня, то если вначале, в годы раннего детства, я всем существом его боялся, то теперь, становясь юношей, все больше добивался его симпатии. Он очень любил меня и позволял распоряжаться собой. Ганю он тоже любил и готов был, как только мог, облегчить ее участь, так что с его стороны я не встретил ни малейшего противодействия. У мадам д'Ив было, в сущности, доброе сердце, и хотя она немножко сердилась на меня, но Ганю тоже окружила заботами. Таким образом, на недостаток любящих сердец сиротка не могла пожаловаться. По-иному стала к ней относиться и прислуга: не как к товарке, а как к барышне. С волей старшего сына в семье, будь то даже ребенок, у нас очень считались. Этого требовал и мой отец. Против воли старшего панича можно было апеллировать к самому пану или к панн, но без их полномочия нельзя было ей противиться. Нельзя было также с младенческих лет называть старшего сына по имени, а непременно «паничем». Прислуге, так же как и младшим братьям и сестрам, постоянно внушалось уважение к старшему, и это отношение оставалось потом на всю жизнь. «На этом семья держится»,– говаривал мой отец, и действительно благодаря этому в нашей семье издавна сохранялся добровольный, а не установленный законом порядок, в силу которого старший сын получал большую долю наследства. То была семейная традиция, переходившая из поколения в поколение. Люди привыкли смотреть на меня как на будущего своего господина, и даже старик, покойный Миколай, которому все разрешалось и который один только звал меня по имени, и тот в известной мере этому подчинялся.

Мать держала аптечку дома и сама посещала больных. Во время холеры она вместе с доктором ночи напролет проводила в деревенских хатах, подвергаясь смертельной опасности, а отец, всегда дрожавший за нее, тем не менее не запрещал ей этого, твердя: «Долг, прежде всего долг». Впрочем, и отец, несмотря на свою суровость, многим оказывал помощь: нередко прощал невыполненный оброк; случалось, и долги платил за крестьян, и хотя от природы был вспыльчив, легко смягчался и не наказывал за провинности, не раз он справлял в деревне свадьбы и крестил младенцев; нас учил уважать людей, да и сам всегда снимал шапку, когда ему кланялись мужики, мало того: даже частенько обращался к ним за советом. Зато и передать невозможно, как сильно были привязаны мужики ко всему нашему семейству, что впоследствии они неоднократно доказывали самым убедительным образом.

Все это я рассказываю затем, чтобы, во-первых, верно изобразить, как это у нас бывает и бывало, а во-вторых, чтобы показать, что в моих усилиях превратить Ганю в «паненку» я не встретил никаких затруднений. Наибольшее, хотя и пассивное, сопротивление оказывала она сама: робость и чрезмерная почтительность к

«господам», которую привил девочке Миколай, мешали ей примириться со своим новым положением.

II

Погребение Миколая состоялось через три дня после его смерти. На похороны его съехалось довольно много соседей, пожелавших почтить память старика, который снискал всеобщее уважение и любовь, хотя был просто слугой. Схоронили старца в нашем фамильном склепе, а гроб его поставили подле гроба деда моего, полковника. В течение всей церемонии погребения я ни на минуту не покидал Ганю. Она со мной приехала в санках, и я хотел, чтобы она со мной же вернулась, но ксендз Людвик велел мне подойти к соседям и пригласить их с кладбища наехать к нам – погреться и закусить. Тем временем с Ганей остался товарищ мой и друг Мирза-Давидович, сын жившего по соседству помещика Мирзы-Давидовича, татарина и магометанина, предки которого поселились у нас в незапамятные времена и давным-давно получили здешнее гражданство и шляхетское звание. Мне пришлось сесть с Устжицкими, а Ганя с мадам д'Ив и молодым Давидовичем поехала в других санях. Я видел, как этот славный малый укутал ее собственной шубой, потом взял у кучера вожжи, крикнув, погнал лошадей, и они помчались, как вихрь. Вернувшись домой, Ганя ушла в горенку деда плакать, а я не мог поспешить за ней, так как вынужден был вместе с ксендзом Людвиком принимать гостей.

Наконец все разъехались, кроме Мирзы-Давидовича; он тоже учился в седьмом классе и должен был у нас остаться до конца рождества, чтобы вместе со мной готовиться к экзамену на аттестат зрелости, но так же, как и я, собирался немного заниматься, а больше ездить верхом, стрелять из пистолетов в цель, фехтовать и охотиться – занятия, которые мы оба заметно предпочитали переводам «Анналов» Тацита и Ксенофоновой «Киропедии». Мирза был веселый малый, сорванец и озорник, вспыльчивый, как искра, но в высшей степени симпатичный. В доме у нас все его очень любили, кроме отца моего, которого сердило, что молодой татарин стрелял и фехтовал лучше меня. Зато мадам д'Ив души в нем не чаяла, потому что по-французски он говорил, как парижанин, и, не закрывая рта, болтал, острил и развлекал француженку лучше нас всех.

Ксендз Людвик со своей стороны питал некоторые надежды на то, что обратит его в католическую веру, тем более что Мирза нередко подшучивал над Магометом и, вероятно, с охотой отрекся бы от Корана, если б не боялся отца, который из уважения к семейным традициям стойко придерживался магометанства, твердя, что ему, как старому шляхтичу, более пристало быть старым магометанином, нежели вновь обращенным католиком. Впрочем, ни в чем ином симпатии старого Давидовича к татарам и туркам не проявлялись. Предки его поселились здесь чуть ли не во времена Витольда. То был также очень зажиточный шляхетский род, издавна осевший в своем гнезде. Поместье, принадлежавшее им, было пожаловано еще Яном Собеским полковнику пятигорской легкой конницы Мирзе-Давидовичу, который творил чудеса храбрости под Веной и портрет которого еще поныне висел в Хожелях. Помню, портрет этот произвел на меня странное впечатление. Полковник Мирза был страшный человек; лицо его, исполосованное бог весть чьими саблями, казалось исчерченным таинственными письменами Корана. У него была смуглая кожа и широкие скулы, а раскосые, мрачно горевшие глаза его обладали удивительным свойством: они всегда смотрели на вас с портрета, где бы вы ни стояли: прямо перед ним или в стороне. Но товарищ мой Селим ничем не походил на своих предков.

Мать его, на которой старик Давидович женился в Крыму, была не татаркой, а уроженкой Кавказа. Я ее не знал, но говорили, что была она красавица из красавиц

и что Селим похож на нее как две капли воды.

Ах, что за чудесный малый был Селим! Глаза его были лишь едва заметно скошены. Но то были не татарские глаза, а большие черные печальные глаза с поволокой, которыми, говорят, отличаются грузинки. В минуты покоя глаза его полны были такой несказанной неги, какой я в жизни не видел и больше не увижу. Когда Селим о чем-нибудь просил, подняв на вас глаза, казалось, они просто хватали за сердце. Черты лица у него были правильные и благородные, словно точеные резцом ваятеля, кожа смуглая, по тонкая, чуть выпуклые, алые, как малина, губы, мягкая улыбка и зубы, как жемчуг.

Но если, к примеру, Селим подерется с товарищем, что случалось довольно часто, мягкость его исчезала, как марево, и он становился почти страшен; глаза его суживались и горели, как у волка, мышцы лица напрягались, кожа темнела, и на миг в нем пробуждался настоящий татарин, тот самый, с которым наши предки вступали в бой. Продолжалось это очень недолго. Через минуту Селим уже плакал, целовал своего противника и просил извинения, и обычно его прощали. Сердце у него было прекрасное, всегда готовое к благородным порывам. В то же время он отличался ветреностью, даже легкомыслием и был кутилой безудержного размаха. Стрелял он, ездил верхом и фехтовал мастерски, учился же посредственно, несмотря на большие способности, потому что был изрядным лентяем. Любили мы с ним друг друга, как братья, часто ссорились, столь же часто мирились, и дружба наша оставалась нерушимой. На каникулах, как и на праздниках, половину времени либо я проводил в Хожелях, либо он у нас. Так и теперь, приехав с похорон Миколая, он должен был оспаться у нас уже до конца праздников.

Итак, после обеда гости разъехались; было уже около четырех. Короткий зимний день клонился к концу, в окно заглядывала широкая полоса вечерней зари, на стоявших за окном деревьях, покрытых снегом и залитых багровым светом, закаркали, хлопая крыльями, вороны. Из окна было видно, как они стаями тянутся из лесу и кружатся над прудом, паря в сиянии заката. В гостиной, куда мы перешли после обеда, царило безмолвие. Мадам д'Ив ушла к себе в комнату, как всегда, раскладывая пасьянс; ксендз Людвик, понюхивая табак, расхаживал мерными шагами из угла в угол; обе мои маленькие сестрички кувыркались под столом на ковре и бодались головками, трепля друг дружке золотые локоны, а Ганя, я и Селим уселись у окна на диван и смотрели на пруд, примыкающий к саду, на лес за прудом и на меркнувший дневной свет.

Вскоре совсем стемнело. Ксендз Людвик пошел молиться, обе мои сестрички убежали наперегонки в соседнюю комнату, и мы остались одни. Селим только было разошелся и стал о чем-то болтать, как вдруг Ганя придвинулась ко мне и прошептала:

– Что-то страшно мне, панич, я боюсь.

– Не бойся, Ганюлька,– отвечал я, привлекая ее к себе,– прижмись ко мне, вот так. Пока ты со мной, никакая опасность тебе не грозит. Видишь, я ничего не боюсь и всегда сумею тебя защитить.

Но это была неправда: мрак ли, окутавший гостиную, слова ли Гани или недавняя смерть Миколая были тому причиной, но и я не мог отделаться от какого-то странного ощущения.

– Может, принести свет? – спросил я.

– Хорошо, панич.

– Мирза, прикажи Франеку зажечь свет.

Мирза вскочил с дивана, и тотчас же за дверью послышался необычный шум и топот. Дверь с треском распахнулась, и, как вихрь, влетел Франек, а за ним державший его за плечи Мирза. У Франека был испуганный, одуревший вид, оттого что Мирза, положив ему руки на плечи, вертел его, как кубарь, и сам кружился вместе с ним. Доведа его таким образом до дивана, Мирза остановился и сказал:

– Франек, пан приказывает тебе принести свет, потому что паненка боится. Либо принеси свет, либо я сверну тебе шею, что ты предпочитаешь?

Франек ушел и через минуту вернулся с лампой, по тогда оказалось, что у Гапн от слез распухли глаза, так что ей больно было смотреть на свет, и Мирза погасил лампу. Снова мы погрузились в таинственный мрак и снова замолкли. Теперь в окна падал яркий серебряный свет луны. Гане, видимо, было жутко; она крепко прижималась ко мне, а я держал ее за руку. Мирза сел напротив нас на стул и, по своему обыкновению, после шумного веселья впал в задумчивость и вскоре замечтался. Вокруг дарила глубокая тишина, нам было немножечко страшно, но уютно.

– Мирза, расскажи нам какую-нибудь сказку, – попросил я. – Он так хорошо рассказывает. Хочешь послушать, Ганя?

– Хочу, – ответила девочка.

Мирза поднял глаза и слегка призадумался. Луна ярко освещала его прелестный профиль. Через минуту послышался его приятный, вибрирующий, чуть приглушенный голос:

– За горами, за лесами, в далеком Крыму жила добрая волшебница по имени Ляля. И вот однажды проезжал мимо султан, а звали того султана Гарун, и был он несметно богат: дворец у него был коралловый, с алмазными колоннами, с кровлей из жемчугов и такой громадный, что пришлось бы идти целый год, чтоб обойти его из конца в конец. Сам султан носил чалму из золотых лучей, затканную настоящими звездами и заколотую лунным серпом, а тот серп отрезал некий чародей от луны и принес в дар султану. Так вот, проезжает султан мимо волшебницы Ляли, а сам плачет, и так плачет, так плачет, что слезы градом катятся па дорогу, и куда упадет слезинка, там вырастает белая лилия. «О чем плачешь ты, султан Гарун?» – спрашивает его волшебница Ляля. «Как же мне не плакать, – отвечает султан Гарун, – если у меня одна только дочь, прекрасная, как утренняя заря, а я должен отдать ее черному огненному Диву, который из года в год...»

Мирза вдруг прервал свой рассказ и умолк.

– Ганя спит? – спросил он меня шепотом.

– Нет, я не сплю, – сонным голосом ответила девочка.

– «Как же мне не плакать, – говорит ей султан Гарун, – продолжал Мирза, – если у меня одна только дочь, и я должен отдать ее Диву». – «Не плачь, султан, – молвила Ляля. – Садись на крылатого коня и поезжай в пещеру Борах. Злые тучи будут гнаться за тобой в пути, но ты брось в них вот эти зернышки мака – и тучи

тотчас уснут...»

И Мирза рассказывал дальше, по вскоре снова замолк и взглянул на Ганю. Теперь девочка действительно спала. Она очень устала, изболелась душой и наконец крепко уснула. Мы с Селимом не смели шевельнуться, чтобы ее не разбудить. Ганя дышала ровно и спокойно, лишь изредка горестно вздыхая. Селим сидел, подперев голову рукой в глубокой задумчивости, а я поднял глаза к небу, и казалось мне – на ангельских крыльях уношусь в небесные просторы. Невыразимо сладостное чувство переполняло все мое существо, оттого что это маленькое дорогое создание так доверчиво и спокойно уснуло на моей груди. Какой-то трепет охватил меня, что-то новое родилось во мне, и словно хоры неземных голосов неведомого блаженства запели в моей душе. Ах, как я любил Ганю! Я еще любил ее любовью брата и опекуна, но беспредельно, безмерно.

Тихо прильнув губами к косе Гани, я поцеловал ее. В этом не было ничего земного, и поцелуй мой, как и сам я, были еще одинаковы невинны.

Вдруг Мирза вздрогнул и очнулся от задумчивости.

– Какой ты счастливеец, Генрик! – прошептал он.

– Да, Селим.

Однако мы не могли тут вечно оставаться.

– Не надо ее будить, а давай так перенесем ее в комнату, – предложил Мирза.

– Ты только отвори дверь, – ответил я решительно, – а я сам ее отнесу.

Я бережно приподнял головку спящей девочки, покоившуюся на моем плече, и опустил ее на диван. Потом осторожно взял Ганю на руки. Был я еще совсем молод, но, как все у нас в роду, необыкновенно силен, а девочка была маленького роста и очень хрупка, так что я нес ее, как перышко. Мирза отворил дверь в следующую, освещенную комнату, и таким образом мы добрались до зеленого кабинета, который я предназначил Гане под жилье. Кроватька ее уже была постлана, в камине трещал жаркий огонь, а у камина сидела, мешая уголья, старуха Венгровская, Увидев меня с такой ношей, она воскликнула:

– Господь с вами, паничек! Да вы надорветесь с этой девушкой. Будто нельзя было ее разбудить, чтобы она сама пришла?

– Тише, Венгрося! – вскричал я гневно. – Паненка – говорю вам, не девушка, а паненка, вы слышите, Венгрося? Паненка устала. Пожалуйста, не будите ее. Разденьте и тихонько уложите в постель. Помните, Венгрося, что она сирота и тоскует по деду и что только добротой ее можно утешить.

– Ох, сирота, бедняжка, верно, что сирота, – тотчас разжалобилась милейшая Венгровская.

Мирза за это расцеловал бабуся, и мы отправились пить чай.

За чаем Мирза дурачился, забыв обо всем, но я не вторил ему, во-первых, потому, что мне взгрустнулось, а во-вторых, я полагал, что человеку солидному, ставшему опекуном, не пристало проказить, как мальчишке. В этот вечер Мирза получил

нагоняй от ксендза Людвика за то, что во время молитвы, когда мы были в часовне, он выскочил во двор, влез на низкую крышу ледника и принялся выть. Разумеется, со всех сторон сбегались дворовые псы и, вторя Мирзе, подняли такой отчаянный шум, что мы не могли молиться.

– Ты что, ошалел, Селим? – спрашивал ксендз Людвик.

– Прошу извинения, но я молился по-магометански.

– Ах ты, сопляк этакий! Ты не смей шутить ни над какой религией.

– А если я хочу стать католиком, но боюсь отца? Что мне его Магомет!

Это была слабая струнка ксендза, и он сразу замолчал, а мы отправились спать. Мне с Селимом отвели отдельную комнату, так как ксендз знал, что мы любим поговорить, и не хотел нам мешать. Уже раздетый, я заметил, что Мирза собирается лечь не помолившись, и спросил его:

– А ты, Селим, на самом деле никогда не молишься?

– Ну, как же! Хочешь, сейчас начну?

Встав на окно, он поднял глаза к луне и, простирая к ней руки, принялся протяжно взывать:

– О аллах! Акбар аллах! Аллах керим![5]

Весь в белом, он стоял, возведя глаза к небу, и был так красив, что я не мог отвести от него взгляда.

Потом он стал оправдываться.

– Что же мне делать? – говорил он. – Не верю я в этого пророка, который другим запрещал многоженство, а у самого сколько хотелось, столько и было жен. К тому же, говорю тебе, я люблю вино. Но сменить магометанство на другую религию мне не разрешают, а в бога я верю и нередко молюсь как умею. А впрочем, что я в этом понимаю? Я только знаю, что есть господь бог, и все тут.

Через минуту он уже заговорил о чем-то другом.

– Знаешь что, Генрик?

– Что?

– У меня великолепные сигары. Мы уже не дети и можем курить.

– Давай.

Мирза вскочил с постели и достал коробку сигар. Мы закурили и, улегшись, молча затягивались, тайком друг от друга сплевывая за кровать.

Вскоре Селим снова окликнул меня:

– Ты знаешь, Генрик? Я так тебе завидую! Ведь ты уже на самом деле взрослый.

– Надеюсь.

– Это потому, что ты опекун. Ах! Если бы и мне оставили кого-нибудь на попечение.

– Не так-то это просто, и, наконец, найдется ли на свете вторая такая же Ганя? Но знаешь ли,– продолжал я тоном взрослого многоопытного человека,– знаешь, я думаю даже школу больше не посещать. Имея дома такие обязанности, нельзя ходить в школу.

– И-и... пустое. Ты что же, больше не будешь учиться? А высшая школа?

– Как тебе известно, учиться я люблю, но долг превыше всего. Разве что родители пошлют Ганю вместе со мной в Варшаву.

– И не подумают.

– Покуда я в гимназии, конечно, нет, но когда я стану студентом, они мне ее отдадут. Ты что, не понимаешь, что такое студент?

– Как же! Как же! Это возможно. Ты будешь ее опекать, а потом женишься на ней.

Я так и сел на постели.

– Да ты ошалел, Мирза!

– А почему бы нет? В гимназии еще не разрешается жениться, но студентам можно. Студенту можно иметь не только жену, но и детей. Ха-ха-ха!

Однако в эту минуту ни права, ни какие бы то не было привилегии студентов меня нисколько не интересовали. Вопрос Мирзы озарил, точно молнией, те стороны моего сердца, которые для меня самого были еще темны. Тысяча мыслей, словно тысячи птиц, мгновенно пронеслась у меня в голове. Жениться на моей дорогой, любимой сиротке – да, это было как молния, по-новому озарившая мои мысли и чувства. Мне казалось, что в темноту моего сердца кто-то внезапно внес свет. Любовь, хотя и глубокая, но до этой минуты братская, сразу порозовела от этого света и согрелась неведомым теплом. Жениться на ней, на Гане, этом светловолосом ангелочке, на моей обожаемой, беспредельно любимой Гане... Уже тише, вдруг ослабевшим голосом я повторил, как эхо, прежний вопрос:

– Да ты ошалел, Мирза?

– Готов биться об заклад, что ты уже в нее влюблен,– ответил Мирза.

Я ничего не возразил, погасил свет, потом схватил угол подушки и стал осыпать его поцелуями.

Да, я уже был в нее влюблен.

III

На второй или на третий день после похорон приехал вызванный депешей отец. Я трепетал при мысли, что он отменит мои распоряжения относительно Гани, и до

известной степени мои предчувствия сбылись. Отец похвалил и обнял меня за рвение и добросовестность в исполнении возложенных на меня обязанностей; это, видимо, его порадовало. Он даже несколько раз повторил: «Наша кровь!»— что говорил лишь тогда, когда бывал очень мною доволен; ему и в голову не приходило, насколько это рвение было корыстным, но распоряжения мои ему не слишком понравились. Возможно, что отчасти причиной тому были преувеличенные рассказы мадам д'Ив, хотя действительно в последние дни после той ночи, когда чувства мои наконец дошли до сознания, я сделал Ганю первым лицом в доме. Не понравился ему также проект дать ей такое же образование, какое должны были получить мои сестры.

— Я ничего не отвергаю и не отменяю. Это дело твоей матери,— сказал он мне. — Она решит, как захочет. Это по ее части. Но следовало бы подумать, как будет лучше для самой девушки.

— Но, отец мой, ведь образование никогда не помешает. Я неоднократно слышал это из твоих уст.

— Да, мужчине,— ответил он,— потому что мужчине оно дает положение, но другое дело женщины. Образование женщины должно соответствовать тому положению, какое ей предстоит занять в будущем. Такой девушке достаточно среднего образования; ей не нужны французский язык, музыка и тому подобное. Имея среднее образование, Ганя скорей найдет себе мужа, какого-нибудь честного чиновника...

— Отец!

Он с изумлением взглянул на меня.

— Что с тобой?

Я покраснел как рак. Кровь чуть не брызнула у меня из щек. В глазах потемнело. Сопоставление Гани с каким-то чиновником показалось мне таким кошунством по сравнению с миром моих грез и надежд, что я не мог удержать возглас возмущения. И кошунство это поразило меня тем больней, что оно исходило из уст моего отца. Это было первое столкновение с действительностью, окатившей словно холодной водой горячую юношескую веру; первый снаряд, брошенный жизнью в волшебный замок иллюзий; то первое разочарование, от горечи которого мы защищаемся пессимизмом и неверием. Но, как раскаленное железо, когда упадет на него капля холодной воды, только зашипит и вмиг обратит ее в пар, так и горячая душа человеческая: при первом прикосновении холодной руки действительности она, правда, вскрикнет от боли, но через миг согреет собственным жаром и самое действительность.

Вначале слова отца тяжело меня ранили, но вместе с тем странно подействовали: я испытывал чувство обиды не против отца, а как будто против Гани; вскоре, однако, силой того внутреннего сопротивления, которое присуще только юности, я выбросил их вон из своего сердца, и выбросил навсегда. Отец не понял моей вспышки и приписал ее чрезмерному увлечению принятыми на себя обязанностями, что, впрочем, было естественно в моем возрасте, и это не только не вызвало в нем гнева, а скорее польстило ему и даже ослабило его предубеждение против высшего образования Гани. Я условился с отцом, что напишу матери, которая собиралась еще долго пробыть за границей, и попрошу ее окончательно решить этот вопрос. Не помню, написал ли я еще когда-нибудь столь же горячее письмо. В нем я описал смерть старика Миколая и его последние слова, мои желания, опасения и надежды; затронул струнку жалости, которая всегда так живо трепетала в сердце моей матери; изобразил угрызения совести, неизбежно ожидавшие меня, если бы мы не

сделали всего, что было в наших силах,— словом, по моему тогдашнему разумению, письмо это было подлинным шедевром в своем роде и не могло не произвести должного действия. Несколько успокоившись, я стал терпеливо дожидаться ответа, который пришел сразу в двух письмах: ко мне и к мадам д'Ив. Я выиграл бой по всем линиям. Мать моя не только давала согласие на высшее образование Гани, но даже настоятельно его рекомендовала. «Я бы очень желала,— писала моя добрая матушка,— если это не противоречит воле отца, чтобы Ганю во всех отношениях почитали членом нашей семьи. Мы должны это сделать в память Миколая, в память его любви к нам и самоотверженной преданности». Итак, победа была огромная и полная, и триумф мой всем сердцем разделял Селим, которого все, что касалось Гани, интересовало так, словно он сам был ее опекуном.

По правде сказать, его симпатии к сиротке и забота, которую он к ней проявлял, даже начинали меня немножко сердить, тем более что с той памятной ночи, когда я наконец осознал свои чувства, отношения мои с Ганей сильно изменились. В ее присутствии я чувствовал себя так, словно меня на чем-то поймали.

Прежняя сердечность и детская непринужденность в обращении с моей стороны совершенно исчезли. Всего лишь несколько дней назад девочка спокойно уснула на моей груди — теперь при мысли об этом у меня волосы становились дыбом. Не прошло и нескольких дней с тех пор, как, здороваясь и прощаясь, я целовал, как брат, ее бледные губки; теперь прикосновение ее руки обжигало меня и в то же время пронизывало дрожью наслаждения. Я стал боготворить ее так, как обычно боготворят предмет первой любви; но когда девочка, по своей невинности ни о чем не догадываясь и ничего не подозревая, льнула ко мне по-прежнему, я в душе сердился на нее, а себя считал святотатцем.

Любовь принесла мне неведомое счастье, но и неведомые горести. Если б я мог с кем-нибудь поделиться своими горестями и хоть изредка поплакать на чьей-нибудь груди,— чего, кстати сказать, мне не раз очень хотелось,— несомненно, с души моей свалилась бы половина тяжести. Правда, я мог во всем признаться Селиму, но опасался изменчивости его настроений. Я знал, что в первую минуту он отзовется всем сердцем на мои признания, но кто мог бы поручиться, что на другой же день он не высмеет меня со свойственным ему цинизмом и не осквернит легкомысленными словами мой идеал, которого сам я не смел коснуться ни одной нечистой мыслью. Характер у меня всегда был довольно замкнутый, к тому же у нас с Селимом было одно существенное различие. А именно: я всегда был несколько сентиментален, между тем как в Селиме сентиментальности не было ни на грош. В моей любви преобладала грусть, в любви Селима — веселье. Поэтому я скрывал свое чувство от всех, чуть ли не от самого себя, и действительно, никто не замечал моего состояния. За несколько дней, никогда до этого не видя ничего подобного, я инстинктивно научился маскировать все признаки влюбленности: частое смущение, румянец, вспыхивавший на моем лице, когда при мне упоминали о Гане,— словом, я стал проявлять невероятную хитрость, ту хитрость, благодаря которой шестнадцатилетнему юнцу нередко удается обмануть самое бдительное око, наблюдающее за ним. Признаться в своих чувствах Гане у меня не было ни малейшего намерения. Я любил ее, и этого мне было достаточно. Лишь изредка, когда мы оставались наедине, что-то словно толкало меня броситься перед ней на колени или поцеловать краешек ее платья.

Тем временем Селим дурачился, смеялся, острил и был весел па нас обоих. Он первый заставил Ганю улыбнуться, обратившись как-то за завтраком к ксендзу Людвигу с предложением перейти в магометанство и жениться на мадам д'Ив. Как ни обидчива была француженка, ни она, ни ксендз не могли на него рассердиться:

Селим так заискивал перед мадам, так умильно улыбался, уставив на нее свои глазищи, что его только слегка пожурили, и все кончилось всеобщим смехом. В его обращении с Ганей чувствовались несомненная нежность и забота, но и тут брало верх прирожденное веселье. Он держался с ней гораздо свободнее, чем я. Видно было, что и Ганя его очень любит, и всякий раз, когда он входил в комнату, она становилась веселее. Надо мной или, вернее, над моей грустью он непрестанно подшучивал, полагая, что я прикидываюсь серьезным, желая во что бы то ни стало казаться взрослым.

– Вот увидите, Генрик станет ксендзом,– говорил он.

Тогда я, чтобы скрыть румянец, заливавший мое лицо, наклонялся, хватал что попало и швырял в него, а ксендз Людвик, нюхая табак, отвечал:

– Во славу божью, во славу божью!

Между тем рождественские праздники близились к концу. Теплившаяся у меня надежда па то, что я останусь дома, ни в малейшей степени не оправдалась. Однажды вечером господину опекуну заявили, чтобы он собрался к завтрашнему утру в дорогу. Отправляться надо было спозаранку и по пути заехать в Хожеле, чтобы Селим мог проститься с отцом. Действительно, мы встали в шесть часов, еще впотьмах. Ах, душа моя в ту пору была мрачна, как это зимнее утро, темное и ветреное. Селим был тоже в прескверном настроении. Едва встав с постели, он заявил, что этот дурацкий мир отвратительно устроен, с чем я совершенно согласился, после чего, одевшись, мы вместе отправились из флигеля в дом, где нас ожидал завтрак. На дворе было темно, мелкие, колючие снежинки, взметаемые ветром, хлестали нас по лицу. Окна в столовой уже светились. У крыльца стояли запряженные сани, и в них укладывали наши пожитки, лошади позвякивали бубенчиками, возле саней лаяли собаки; все это вместе взятое являло, по крайней мере для нас, такую унылую картину, что при виде ее сжималось сердце. В столовой мы застали отца и ксендза Людвика, которые расхаживали взад и вперед с серьезными лицами; Гани в комнате не было. С бьющимся сердцем я поглядывал на дверь зеленого кабинета: неужели она не выйдет, неужели я так и уеду, даже не попрощавшись? Между тем отец и ксендз Людвик принялись давать нам советы и читать нравоучения. Оба начали с того, что теперь мы уже находимся в том возрасте, когда нам не нужно повторять, что такое учение и труд, тем не менее оба ни о чем другом не говорили. Все это я слушал с пятого па десятое, едва не давясь гренками с теплой винной подливкой. Вдруг в комнате Гани послышался шорох; сердце у меня забилося так, что я едва усидел на стуле. Но вот дверь отворилась и вошла... в утреннем капотике и папильотках мадам д'Ив; она нежно меня обняла, а я с досады за испытанное разочарование едва не запустил ей в голову стакан с подливкой. Она, со своей стороны, также выразила надежду, что такие порядочные молодые люди, наверное, будут отлично учиться, а что Мирза ответил, что воспоминание о ее папильотках придаст ему силы и упорства в работе; время шло, а Ганя не появлялась.

Однако мне не было суждено испить эту чашу горечи до дна. Когда мы встали из-за стола, Ганя вышла из своей комнаты, еще заспанная, вся розовая, с растрепанными волосами. Когда я пожимал ей руку, желая доброго утра, рука ее была горяча. Мне тотчас пришло в голову, что у Гани жар из-за моего отъезда, и я разыграл в душе чувствительную сцену, но это было просто со сна. Через минуту отец и ксендз Людвик ушли за письмами, которые они посылали с нами в Варшаву, а Мирза выехал за дверь на огромной собаке, только что вбежавшей в комнату. Мы остались с Ганей наедине. К глазам у меня подступали слезы, с уст готовы были сорваться нежные и

горячие слова. Я не имел намерения признаваться ей в любви, но меня так и толкало сказать ей что-нибудь вроде: «Моя дорогая, любимая моя Ганя!» – и при этом расцеловать ей руки. Это была единственная подходящая минута для такого порыва, потому что на людях, хотя никто не обратил бы на это внимания, я бы не посмел. Но эту минуту я упустил самым постыдным образом. Вот-вот я уже приближался к ней, уже протянул к ней руку, но сделал это так неуклюже и неестественно, таким чужим голосом воскликнул: «Ганя!», что тотчас отступил назад и умолк. Мне хотелось избить себя. Между тем Ганя начала сама:

– Боже мой! Как тут грустно будет без вас!

– Я приеду на пасху,– ответил я сухо, низким, не своим басом.

– А до пасхи еще так далеко.

– Вовсе не далеко,– буркнул я.

В эту минуту влетел Мирза, за ним следовал отец, ксендз Людвик, мадам д'Ив и еще несколько человек; Слова: «Пора! пора!»– прозвучали у меня в ушах. Все вышли па крыльцо. Тут отец и ксендз Людвик по очереди обняли меня. Когда настала очередь прощаться с Ганей, меня обуяло неудержимое желание схватить ее в объятия и расцеловать по-старому, по я не решился и на это.

– Будь здорова, Ганя,– сказал я, подавая ей руку, а в душе у меня плакали сотни голосов, и сотни самых нежных и ласковых слов замерли на устах.

Вдруг я заметил, что девочка плачет, и так же внезапно проснулся во мне тот демон противоречия, то непреодолимое желание растравлять свои раны, которое я неоднократно испытывал впоследствии, и хотя сердце мое разрывалось на части, я проговорил холодно и сухо:

– Напрасно ты так расчувствовалась, Ганя,– и с этими словами уселся в сани.

Тем временем Мирза прощался со всеми. Подбежав к Гане", он схватил обе ее руки, и, хотя девочка старалась их вырвать, стал как безумный целовать то одну, то другую. Ах, как мне хотелось в эту минуту его поколотить! Расцеловав Ганю, он вскочил в сани. Отец крикнул: «Трогай!» Ксендз Людвик перекрестил нас на дороге, кучер крикнул: «Но-о-о! Поехали!» – зазвенели бубенчики, заскрипел снег под полозьями, и мы тронулись в путь.

«Негодяй! Разбойник! – ругал я себя мысленно. – Так-то ты простился со своей Ганей! Расстроил ее, разбранил за слезы, которых ты не стоишь... за сиротские слезы...»

Я поднял воротник шубы и расплакался как малое дитя, но тихонько, так как боялся, чтобы Мирза не заметил моих слез. Оказалось, однако, что Мирза отлично все видел, но сам был так взволнован, что в эту минуту ничего мне не сказал. Мы еще не доехали до Хожелей, как он окликнул меня:

– Генрик!

– Что?

– Ревешь?

– Оставь меня в покое.

И снова мы оба замолчали. Но вскоре Мирза снова меня позвал:

– Генрик!

– Что?

– Ревешь?

Я не ответил; вдруг Мирза нагнулся, схватил пригоршню снега, сорвал с меня шапку, высыпал снег мне на голову и снова ее нахлобучил, прибавив:

– Это тебя охладит.

IV

На пасху я не поехал домой: помешал этому близившийся экзамен на аттестат зрелости. К тому же отец мой желал, чтобы я еще до конца учебного года сдал вступительные экзамены в университет, так как понимал, что на каникулах мне не захочется заниматься и что я несомненно позабуду по меньшей мере половину того, чему выучился в школе. Поэтому я очень напряженно работал. Кроме обычных гимназических занятий и подготовки к экзамену на аттестат зрелости, мы с Селимом брали еще частные уроки у некоего молодого студента, который сам только недавно поступил в высшую школу и хорошо знал, что для этого требуется.

То было время, навсегда памятное для меня, ибо именно тогда рухнуло здание всех моих представлений и понятий, которое с таким трудом возводили ксендз Людвик, отец и вся атмосфера нашего тихого гнезда. Юный студент был во всех отношениях великим радикалом. Излагая мне историю Рима и, в частности, рассказывая о реформах Гракхов, он так заразил меня своим презрительным отвращением к олигархии, что мои архишляхетские убеждения развеялись, как дым. С какой глубокой верой утверждал, например, мой юный учитель, что человек, которому вскоре предстоит занять столь же важное, сколь и влиятельное положение студента, должен быть свободен от всяких «предрассудков» и смотреть на все окружающее со снисходительной жалостью истинного философа. Вообще он считал, что вершить судьбы мира и оказывать могущественное влияние на человечество способны только люди в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет, так как позже они постепенно становятся идиотами или консерваторами.

О людях, не являющихся ни студентами, ни профессорами университета, он отзывался с сожалением; тем не менее среди них у него были свои идеалы, имена которых никогда не сходили с его уст. Тогда я впервые узнал о существовании Молешотта и Бюхнера — двух ученых, которых он цитировал чаще всего. Надо было слышать, с каким жаром говорил наш наставник о научных достижениях последнего времени, о тех великих истинах, которые отвергались прошлыми поколениями, погрязшими в темноте и предрассудках, и которые ныне восстали «из праха забвения» благодаря неслышанному мужеству новейших ученых, возвестивших их миру. Высказывая подобные суждения, он встряхивал буйными курчавыми вихрами и выкуривал невероятное множество папирос, клятвенно заверяя нас, что ни один человек в Варшаве не способен так затягиваться, как он, и что ему все равно, пускать ли дым носом или ртом, настолько он привык курить. После этого он обычно вставал, надевал пальто, на котором не хватало больше половины пуговиц, и заявлял, что должен спешить,

потому что ему еще предстоит сегодня «маленькое свиданьице». При этих словах он таинственно прищурил глаз и прибавлял, что слишком юный возраст мой и Мирзы не позволяет ему подробнее информировать нас об этом «свиданьице», но что впоследствии мы это поймем и без его объяснений.

Наряду с тем, что родителям нашим, наверное, очень не понравилось бы в молодом ученом, у него были поистине прекрасные черты. Так, он отлично знал все, чему нас учил, к тому же это был настоящий фанатик науки. Ходил он в рваных сапогах, поношенном пальто и фуражке, похожей на старое гнездо, и за душой у него никогда не было ни гроша, но, несмотря на бедность, граничившую чуть не с нищетой, мысль его никогда не занимали заботы о личных нуждах. Он жил страстью к науке, а к собственному существованию относился с веселой беспечностью. Нам с Мирзой он представлялся неким высшим, сверхъестественным существом, неисчерпаемым кладезем мудрости и непререкаемым авторитетом. Мы свято верили, что если кто спасет человечество в случае какой-либо опасности, то несомненно только он, этот горделивый гений, который, впрочем, и сам как будто придерживался того же мнения. Поэтому нас тянуло к его воззрениям, как мух на мед. Что касается меня, то я, пожалуй, заходил даже дальше своего учителя. То была естественная реакция на мое прежнее воспитание; к тому же этот юный студент действительно открыл мне врата в неведомые миры познания, по сравнению с которыми кружок сложившихся у меня понятий оказался крайне узким. Озаренный этими новыми истинами, я не успевал чрезмерно предаваться мыслям и мечтам о Гане. Вначале, сразу по приезде, идеал мой был со мной неотлучно. Письма, получаемые от нее, лишь разжигали огонь на алтаре моего сердца, но подле океана идей юного студента весь наш деревенский мирок, такой тихий и мирный, становился в моих глазах все мельче и уже и вместе с ним – правда, не исчез, а словно подернулся дымкой – образ Гани. Что касается Мирзы, то он шел вровень со мной по пути коренных реформ, а о Гане и думать забыл, тем более что против нашей квартиры было окно, в котором часто сживала пансионерка Юзя. Так вот, Селим вздыхал теперь по ней, и целыми днями они глядели друг на друга из своих окошек, как две птички из клеток. С непоколебимой уверенностью Селим заявлял, что «либо она, либо вообще никто». Не раз, бывало, лежит он навзничь на кровати, зубрит, зубрит, потом вдруг швыряет книгу на пол, вскакивает, хватается меня и кричит, хохоча, как сумасшедший:

– О моя Юзя! Как я люблю тебя!

– Иди к черту, Селим, – говорю я ему.

– Ах, это ты, а не Юзя! – отвечает он с озорным видом и возвращается к своей книжке.

Наконец подошло время экзаменов. Мы с Селимом оба сдали весьма успешно и экзамены на аттестат зрелости, и вступительные в университет, после чего стали вольными птицами, но провели еще три дня в Варшаве. За это время мы обзавелись студенческими мундирами и, что наш наставник считал необходимым, отпраздновали свои успехи, то есть напились втроем в первом попавшемся винном погребе.

После второй бутылки, когда и у меня, и у Селима уже кружилась голова, а на щеках нашего наставника, а ныне коллеги, выступил румянец и когда нас вдруг охватило восторженное умиление и жажда сердечных излияний, учитель наш сказал:

– Ну, мои мальчики, вот вы и вышли в люди, и мир открыт перед вами настужь. Можете теперь курить, сорить деньгами, разыгрывать барчуков и влюбляться, но я вам говорю, что все это глупости. Такая жизнь – пустая, без идеи, ради которой

живешь, и работаешь, и борешься,— глупость. Чтобы жить мудро и разумно бороться, нужно трезво смотреть на вещи. Что касается меня, то полагаю, что я смотрю трезво. Уж я-то ни во что не поверю, пока сам не пощупаю, и вам то же советую. Ей-богу, в мире столько идей, и столько путей в жизни, и во всем такой хаос, что нужна черт знает какая голова, чтобы не сбиться. Но я держусь науки – и баста. Меня на пустячки не поймаешь; из-за того, что жизнь глупа, я никому бутылкой череп не раскрою. Но существует наука. Если бы не она, я пустил бы себе пулю в лоб. А на это, по-моему, каждый имеет право, и я непременно это сделаю, если окажусь банкротом в этом отношении. Да, в науке не обанкротишься. Обмануться можно во всем; ты влюблен в женщину – женщина тебе изменит; веруешь – наступит минута сомнения; а над исследованием пищеварения инфузорий можешь спокойно сидеть до самой смерти и не заметишь, как придет день, когда вдруг тебе станет как-то не по себе и как будто темно, а это, оказывается, уже конец: некролог, портрет в иллюстрированном журнале, более или менее глупая биография – *finita la comedia!*[6] А потом – ничего больше: в этом ручаюсь вам, милые мои бутузы. Можете смело не верить во все эти вздорные выдумки. Наука, дорогие малыши,— вот что главное. Кроме того, есть в ней еще одна хорошая сторона, занимаясь ею, можете смело ходить в рваных башмаках и спать на соломенном тюфяке, К этому становишься совершенно равнодушным. Понятно?

– За процветание и славу науки! – вскричал Селим, сверкая горящими, как угли, глазами.

Учитель откинул назад густые волнистые волосы, затем осушил свой бокал, глубоко затаянлся и, пуская носом две огромные струи дыма, продолжал:

– Наряду с точными пауками,— Селим, ты уже налился! – итак, наряду с точными науками существует философия и существуют идеи. Это тоже может заполнить жизнь до краев. Но я предпочитаю точные науки. Над философией, особенно идеалистически-реалистической, скажу вам, я просто смеюсь. Болтовня. Как будто и гонится за правдой, но гонится, как собака за собственным хвостом. Да и вообще я терпеть не могу болтовни, я люблю факты... А из воды творог не выжмешь. Другое дело – идеи. Ради них стоит рисковать головой, но вы, как и отцы ваши, идете глупыми путями. Уверю вас! Итак, да здравствуют идеи!

Мы снова осушили бокалы. Были мы уже сильно под хмельком. Темный погребок казался нам еще темнее: свеча на столе тускло горела, чадом застлало картинки, развешанные по стенам. Во дворе за окном нищий тянул: «Дева преславная и благословенная, владычица наша...» – и после каждого стиха пиликал на скрипке унылую жалобную мелодию. Странное чувство теснило мне грудь. Я верил словам наставника, но мне казалось, что он не назвал еще всего, чем можно заполнить жизнь. Чего-то мне недоставало, и помимо моей воли мной овладело тоскливое чувство; под влиянием вина, мечтательного настроения и минутной экзальтации я тихо спросил:

– А женщины, скажите! А любящая, преданная женщина – разве она ничего не значит в жизни?

Селим запел:

Женщины, женщины,
Все вы изменчивы!..

Учитель странно поглядел на меня, как будто думая о чем-то другом, но вскоре очнулся и воскликнул:

– Ага! Вот он – вылез кончик сентиментального уха. Ты знаешь, ведь Селим гораздо раньше тебя выйдет в люди. А с тобой беда будет. Берегись, берегись, говорю, чтоб не встала тебе поперек дороги какая-нибудь юбка и не испортила тебе жизнь. Женщина! Женщина! – Тут наставник, по обыкновению, прищурил глаз. – Знаю я немножко этот товар! Не могу пожаловаться, право, не могу пожаловаться. Но я знаю, что дашь черту палец, а он ухватит всю руку. Женщина! Любовь! Все горе в том, что мы слишком большое значение придаем пустякам. Хотите этим забавляться, как я, забавляйтесь, но не отдавайте этому жизнь. Будьте благоразумны и не платите за поддельный товар полноценной монетой. Однако уж не кажется ли вам, что я жалуюсь на женщин? Напротив, я люблю их, только не даю себя провести на мякине собственного воображения. Помню, когда я впервые влюбился в некую Лелю, даже платье ее мне казалось святыней, а был это просто ситец. Вот как! Виновата ли она, что ходила по грязи, а не летала по небу, – нет! Это я, глупец, хотел во что бы ни стало приделать ей крылья... Мужчина – довольно ограниченное животное. Храня в своем сердце бог весть какой идеал и при этом испытывая потребность в любви, он говорит себе, увидев первую попавшуюся гусыню: «Это она». Потом он узнает, что ошибся, но из-за этой ошибки его черти берут или он становится идиотом на всю жизнь.

– Однако вы признаете, – прервал я, – что мужчина испытывает потребность в любви, и сами, наверное, испытываете эту потребность так же, как другие.

Едва заметная усмешка скользнула по губам наставника.

– Всякую потребность, – ответил он, – можно по-разному удовлетворять. Я устраиваюсь по-своему. Ведь я уже говорил вам, что не придаю чрезмерного значения пустякам. Вообще я очень трезв, ей-богу, трезвее, чем сейчас. Но я видел немало людей, чья жизнь запуталась, как нитка, и пропала даром из-за одной бабенки; поэтому повторяю, что не стоит отдавать этому жизнь, что найдутся вещи получше и цели возвышеннее и что любовь – вздор. Итак, за трезвость!

– За женщин! – крикнул Селим.

– Хорошо! Пусть так, – ответил наставник. – Женщины – премилые создания, только не надо принимать их всерьез. За женщин!

– За Юзю! – воскликнул я, чокаясь с Селимом.

– Погоди! Теперь моя очередь, – ответил он. – За... твою Гано. Одна стоит другой.

Кровь закипела во мне, из глаз посыпались искры.

– Молчи, Мирза! – крикнул я. – Не смей произносить в кабаке ее имя!

При этих словах я бросил бокал на пол, так что он разбился вдребезги.

– Да ты ошалел! – вскричал учитель.

Нет, я вовсе не ошалел, но весь кипел гневом, и он жег меня, словно огонь. Я мог выслушивать все, что говорил о женщинах учитель, мог даже находить в этом

удовольствие, мог, как и другие, насмехаться над ними, но все это я мог делать только потому, что не связывал ни эти слова, ни насмешки со своими близкими; да мне и в голову не приходило, что столь отвлеченная теория могла быть применена к дорогим для меня лицам. Но услышав имя моей чистой сиротки, легкомысленно оброненное посреди циничного разговора, за столом, заваленным порожними бутылками и пробками, в этом грязном, чадном кабаке, я счел это таким гнусным святотатством, таким оскорблением и обидой моей Ганюле, что чуть не обезумел от гнева.

С минуту Мирза изумленно смотрел на меня, но вдруг лицо его потемнело, глаза засверкали, на лбу взбухли узлы жил, а черты лица заострились и стали жесткими, как у настоящего татарина.

– Ты запрещаешь мне говорить, о чем я хочу! – задыхаясь, выкрикнул он сдавленным голосом.

К счастью, в ту же минуту учитель бросился разнимать нас.

– Это недостойно мундиров, которые вы носите! – вскрикнул он. – Вы что ж, подеретесь или будете за уши таскать друг друга, как школьники? Хороши философы, которые разбивают головы стаканом. Стыдитесь! Вам ли рассуждать об отвлеченных вопросах? Стыдитесь! От борьбы идей к кулачной борьбе! Ну же! А я предлагаю тост за университет и говорю вам: негодьями вы будете, если не чокнетесь, как друзья, и если оставите хоть каплю в бокалах.

Тут мы оба опомнились. Однако Селим, хотя он опьянел больше меня, опомнился первый.

– Прости меня, – проговорил он мягко, – я глупец.

Мы сердечно обнялись и осушили бокалы до дна во славу университетов. Потом учитель затянул «Gaudeamus». Сквозь стеклянную дверь, ведущую в лавку, на нас стали поглядывать приказчики. На дворе смеркалось. Все мы были пьяны, что называется, вдрызг. Веселье наше достигло зенита и постепенно начинало спадать. Учитель первый впал в задумчивость и через некоторое время сказал:

– Все это хорошо, но в конечном счете жизнь глупа. Это все искусственные средства, а что там у кого творится в душе – другое дело. Завтра будет похоже на сегодня: та же нищета, четыре голые стены, соломенный тюфяк, рваные сапоги... и так без конца. Работа и работа, а счастье... фью! Люди обманывают себя, как могут, стараясь заглушить... Ну, будьте здоровы!

При этих словах он нахлобучил фуражку с оторванным козырьком, машинально сделал какое-то движение, как будто застегивал мундир на несуществующие пуговицы, закурил папиросу и, махнув рукой, прибавил:

– Да! Вы расплатитесь там, а то я гол как сокол, и будьте здоровы. Можете обо мне помнить или не помнить. Мне все равно. Я-то не сентиментален. Будьте здоровы, мои милые мальчики.

Последнюю фразу он произнес растроганным, мягким тоном, противоречившим его заверению в том, что он не сентиментален. Бедное его сердце хотело и было готово любить, как и всякое иное, но тяжелая жизнь с детских лет, нужда и равнодушие людей научили его замыкаться в себе. То была гордая, хотя горячая душа, всегда

настороженная из страха, что ее оттолкнут, если она первая обернется к кому-нибудь слишком дружески.

С минуту мы оставались одни, подавленные печалью. Быть может, то было печальное предчувствие, потому что больше мы не увидели в живых нашего бедного учителя. Ни сам он, ни мы не подозревали, что в груди его давно уже гнездится зародыш смертельной болезни, от которой не было спасения. Нужда, чрезмерное напряжение, лихорадочная работа над книгами, бессонные ночи и голод ускорили развязку. Осенью, в начале октября, учитель ваш умер от чахотки. За гробом его шло лишь несколько товарищей, потому что еще не окончились каникулы, и только бедная его мать, торговка, продававшая освященные образки и восковые свечи возле доминиканского костела, громко голосила по сыну, которого при жизни она часто не понимала, но, как всякая мать, любила.

V

На другой день после нашей попойки прибыли лошади от старого Мирзы из Хожелей, и раненко утром мы с Селимом отправились домой. Нам предстояло ехать двое суток напролет, так что мы вскочили чуть свет. В доме у нас все еще спали, только во флигеле напротив, в окне, среди цветов герани, левкоев и фуксии, мелькнуло личико пансионерки Юзи. Селим надел студенческую фуражку, закинул за плечо дорожную сумку и встал у окна, уже готовый в путь, желая показать, что уезжает, на что из-за герани ему ответили меланхолическим взглядом. Но когда он, приложив одну руку к сердцу, другой послал поцелуй, личико среди цветов залилось румянцем и тотчас отпрянуло в темную глубь комнаты. Внизу, во дворе, по камням загремела бричка, запряженная четверкой крепких лошадок; пора было прощаться и усаживаться, но Селим упорно стоял у окна, ожидая, не увидит ли чего-нибудь еще. Однако надежда обманула его: окошко осталось пустым. Наконец мы спустились вниз и, проходя мимо темных сеней флигеля, увидели на лестнице два белых чулочка, коричневое платьице, склоненную фигурку и под щитком руки пару светлых глазок, которые всматривались из сумрака в дневной свет. Мирза тотчас бросился в сени, а я, усевшись в бричку, стоившую возле самого входа, услышал шепот и какие-то звуки, очень похожие на звуки поцелуев. После чего вышел, пылая румянцем, Мирза и, не то смеясь, не то растроганно вздыхая, уселся подле меня. Кучер стегнул лошадей, мы с Мирзой невольно взглянули на окошко: личико Юзи снова мелькнуло среди цветов; еще миг — и высунулась ручка с белым платком, еще один прощальный знак — и бричка покатила по улице, увозя меня и прелестный идеал бедной Юзи.

День едва занялся, город еще не проснулся; розовый свет зари пробегал по окнам спящих домов; лишь кое-где ранняя пташка-прохожий будил шагами уснувшее эхо; кое-где дворник подметал улицу, и время от времени тархтела тележка с овощами, тащившаяся из деревни на городской рынок. Вокруг было тихо и светло и вместе с тем привольно и свежо, как всегда летним утром. Маленькая паша бричка, запряженная четверкой коренастых татарских лошадок, подскакивала по камням мостовой, как орешек на нитке. Вскоре в лицо нам повеяло свежей прохладой с реки; копыта гулко застучали по мосту, и, проехав не более получаса, мы уже были за заставой, среди широких полей, пив и лесов.

Грудь глубоко вдыхала чудесный утренний воздух, а глаза жадно поглощали окрестности. Земля пробуждалась от сна, крупные капли росы висели на мокрой листве деревьев и сверкали на колосьях хлебов. В живой изгороди весело суетились птички, приветствуя погожий денек звонким чириканьем и щебетом. Лес и луга сбрасывали с себя утренний туман, которым, казалось, были спеленаты; кое-где в лугах поблескивала вода, и по ней среди золотой калужницы шагали аисты. Клубы

розового дыма подымались прямо кверху из труб деревенских хат, легкий ветерок волной колыхал желтые нивы, стряхивая ночную влагу со спелых хлебов. Радость была разлита повсюду – казалось, все пробуждается, оживает и все вокруг поет;

Когда утром встанут зори,
Славим землю, славим море...

Что в это время происходило в наших сердцах, легко поймет всякий, вспомнив, как в молодые годы он возвращался домой в такое чудесное летнее утро. Годы детства и школьной зависимости остались позади; перед нами широко раскинулась юность, словно раздольная, усеянная цветами степь с ее беспредельным простором; то был неведомый, заманчивый край, куда мы отправлялись в странствие, предвещавшее счастье, – оба юные, сильные, окрыленные, почти как молодые орлы. Из всех сокровищ мира наибольшее – юность, а мы из этого сокровища, при всем его богатстве, еще не истратили ни гроша.

Ехали мы быстро, потому что на всех главных остановках нас ждали перекладные лошади. На второй день к вечеру, проскакав всю ночь напролет, мы увидели, выезжая из лесу, Хожеле, верней, остроконечную кровлю домового минарета, сверкающую в лучах заходящего солнца. Вскоре мы въехали на обсаженную вербами и крушиной плотину, по обе стороны которой синели два огромных пруда с мельницами и лесопильнями. С заросших травой берегов доносилось нам вслед сонное кваканье и побряхтывание лягушек, выплывавших из согретой дневным зноем воды. Чувствовалось, что день близится к концу. По плотине, окутанное облаком пыли, тянулось стадо овец и коров, возвращавшихся на скотный двор. Кое-где виднелись кучки людей с косами, граблями и серпами на плечах; напевая «Дана, ой дана», они расходились по домам. Радостно встречая Селима, эти добрые люди останавливали бричку и целовали ему руки. Но вот солнце еще ниже склонилось к западу, и его сверкающий диск наполовину скрылся в камышах. Только широкая золотистая полоса света еще отражалась посередине прудов, между тем как по краям, у берегов, деревья смотрелись в водную гладь. Мы немного повернули вправо, и вдруг среди елей, ясеней, лип и тополей блеснули белые стены хожельского дома. Во дворе зазвучал колокольчик, сзывая людей к вечерней трапезе, и в ту же минуту с башенки минарета зазвучал уныло и протяжно голос домового муэдзина: он возвещал, что звездная ночь нисходит с неба на землю и что аллах велик. И тогда, как бы вторя муэдзину, аист, стоявший наподобие этрусской вазы в своем гнезде на вершине дерева, высоко над крышей дома, вышел на миг из незыблемого спокойствия, поднял к небу клюв, словно медное копье, потом опустил его на грудь и, кивая головой, закурлыкал, как будто приветствуя нас. Я взглянул на Селима. У него слезы выступили на глазах, а взор сиял невыразимой, лишь ему свойственной нежностью. Мы въехали во двор.

Перед остекленным крыльцом сидел старый Мирза и, потягивая голубоватый дым из чубука, с радостным чувством созерцал мирную трудовую жизнь, кипевшую на фоне прелестного пейзажа. Увидев своего мальчика, он порывисто вскочил, схватил его в объятия и долго прижимал к груди, потому что любил он сына превыше всего, хотя и был к нему строг. Тотчас же расспросил он его об экзаменах, после чего снова последовали объятия. Здраваться с паничем сбежалась вся многочисленная дворня, даже собаки радостно прыгали вокруг него. С крыльца ринулась стремглав ручная волчица, любимица старого Мирзы. «Зуля! Зуля!» – подозвал ее Селим, а она вскинула ему на плечи огромные лапы, облизала лицо и, как шальная, стала бегать вокруг, подвывая и от радости скаля страшные клыки.

Потом мы отправились в столовую. Я разглядывал Хожеле и все, что в них находилось, как человек, жаждущий обновления. Здесь ничего не изменилось: портреты предков Селима – ротмистров, хорунжих – по-прежнему висели на стенах. Страшный Мирза, пятигорский полковник времен Собеского, по-прежнему смотрел на меня раскосыми злыми глазами, но его иссеченное саблями лицо показалось мне еще более безобразным и жестоким. Сильно изменился Мирза, отец Селима. В прежде черных его волосах пробивалась проседь, густые усы почти совсем побелели, но татарский тип еще явственнее сквозил в его чертах. Ах, какая огромная разница была между старым Мирзой и Селимом, между этим костлявым, строгим, даже суровым обликом и просто ангельским, подобным цветку лицом, таким свежим и нежным. Но с какой поистине неопикуемой любовью старик смотрел на юношу, следя взглядом за каждым его движением.

Не желая им мешать, я держался в стороне; но старик, радушный, как истый польский шляхтич, тотчас бросился меня обнимать и угощать, оставляя на ночлег. Ночевать я отказался, потому что спешил домой, но вынужден был разделить с ними ужин. Уехал я из Хожелей поздней ночью, и, когда приближался к дому, Стожары уже вззошли на небо – значит, была полночь. В деревне не светило ни одно окошко, только вдалеке, на опушке леса, виднелись огоньки смоловарни. Возле хат лаяли собаки. В липовой аллее, ведущей к нашему дому, было темно, хоть глаз выколи; какой-то человек, вполголоса напевая, проехал с лошадьми мимо меня, но лица его я не разглядел. Наконец я подъехал к крыльцу; в окнах было темно, должно быть, все уже спали; только собаки, сбжавшиеся со всех сторон, заливались лаем. Я выскочил из брички и постучал в дверь; долго я не мог достучаться. Мне стало горько: я думал, что меня будут ждать. Лишь спустя довольно продолжительное время в окнах забегали огоньки и заспанный голос, по которому я узнал Франека, спросил:

– Кто там?

Я назвал себя. Франек отпер дверь и сразу припал к моей руке. Я спросил, все ли здоровы.

– Все здоровы, – ответил Франек, – да вот пан уехал в город и только завтра воротится.

Говоря это, он повел меня в столовую, зажег лампу, висевшую над столом, и ушел готовить чай. На минутку я остался один – со своими мыслями и с сильно бьющимся сердцем; но это продолжалось недолго: тотчас прибежал ксендз Людвик в шлафроке, затем добрейшая мадам д'Ив, тоже в белом, по обыкновению, в папильотках и в чепце, и, наконец, Казик, приехавший па каникулы за месяц до меня. Все эти любящие сердца встретили меня с нежностью, удивлялись тому, как я вырос, ксендз говорил, что я возмужал, мадам д'Ив – что похорошел. Ксендз Людвик, бедняга, долго не решался спросить меня об экзаменах и школьном свидетельстве, а узнав о моих успехах, даже прослезился и, сжимая меня в объятиях, называл дорогим мальчиком. Вдруг из соседней комнаты послышался топот босых ножек, и вбежали обе мои маленькие сестрички в одних рубашечках и чепчиках, повторяя: «Генрысь приехал! Генрысь приехал!» – они взобрались ко мне на колени. Тщетно мадам д'Ив их стыдила, говоря, что неприлично таким двум паннам (одной было восемь лет, а другой – девять) показываться на людях в таком «дезабиле». Девочки, ни на кого не обращая внимания, обнимали меня за шею своими маленькими ручонками, прильнув хорошенькими личиками к моим щекам. Наконец я робко спросил о Гане.

– О! Она выросла! – ответила мадам д'Ив. – Сейчас придет сюда, наверное, наряжается.

Действительно, я недолго ждал; минут пять спустя Ганя вошла в комнату. Я взглянул на нее, и – боже! – что случилось с этой: шестнадцатилетней хрупкой и худенькой сироткой за полгода! Передо мной стояла уже почти взрослая или, во всяком случае, подрастающая барышня. Стан ее развился и чудесно округлился. Цвет лица у нее был нежный, но здоровый, на щеках пылал румянец, словно отблеск утренней вари. Как от расцветающей розы, от нее веяло здоровьем, юностью, прелестной свежестью. Я заметил, что она с любопытством подняла на меня свои большие синие глаза, а по непередаваемой усмешке, которая блуждала в уголках ее рта, увидел также, что она разгадала мое изумление и то впечатление, которое произвела на меня. В любопытстве, с которым мы разглядывали друг друга, уже таилась девическая и юношеская стыдливость. О! От прежних ребячески простых и сердечных отношений брата и сестры не осталось ни следа, и больше им уже не вернуться.

Ах, как она была хороша с этой усмешкой и с тихой радостью в глазах!

Свет лампы, висевшей над столом, падал на ее золотистые волосы. Она была в черном платье и в черной же, наскоро накинутой мантильке; в costume ее можно было заметить какую-то милую небрежность – следствие поспешности, с которой она одевалась. От нее еще веяло сонным теплом. Пожимая ей руку, я почувствовал тепло этой мягкой бархатистой руки, и меня пронизал сладостный трепет. Внутренне Ганя изменилась так же, как и внешне. Уезжая, я оставил ее простенькой девочкой, наполовину горничной; теперь это была панна, исполненная благородства, – оно запечатлелось и в выражении ее лица, и в манерах, выказывающих хорошее воспитание и навыки хорошего общества. В глазах ее отражалась душа, пробудившаяся для умственных и духовных интересов. Она уже не была ребенком, и это чувствовалось во всем, а ее легкая усмешка и невинное кокетство в обращении со мной показывали, что она сама понимает, как изменились по сравнению с прежними наши отношения.

Вскоре я убедился, что в чем-то она даже превосходит меня; правда, я больше успел в науках, но в смысле житейском – в понимании обстановки или истинного значения слова – я был еще довольно прост. Ганя обращалась со мной свободнее, чем я с ней. Свой авторитет опекуна и панича я уже полностью утратил. В дороге я обдумывал, как мне поздороваться с Ганей, о чем с ней говорить, как быть всегда добрым и снисходительным к пей, но все эти планы сразу рухнули. В действительности почему-то получилось так, что не я к ней был добр и ласков, а скорее она казалась ласковой и доброй ко мне. В первую минуту я еще не отдавал себе в этом ясного отчета и больше ощущал это, нежели понимал. Я заранее обдумал, как буду ее расспрашивать о том, чему она учится и чему выучилась, как проводила время и довольны ли его мадам д'Ив и ксендз Людвик; а между тем не я, а она все с той же усмешкой в уголках рта расспрашивала, что я подельвал, чему учился и что намерен делать в будущем. Короче говоря, отношения наши изменились прямо противоположным образом.

После часовой беседы все разошлись на покой. Уходя к себе, я был отчасти растроган, отчасти удивлен, отчасти разочарован и подавлен таким разнообразием впечатлений. Вспыхнувшая снова любовь прорывалась, как пламя сквозь щели пылающего здания, и вскоре совершенно заслонила эти впечатления. Облик Гани, восхитительной, исполненной очарования девушки, какой я ее увидел: манящей, овеванной сонным теплом, с распушенными косами и белой ручкой, придерживающей на

грудь небрежно накинутую одежду,— этот облик взволновал мое юное воображение и затмил собою все.

Я уснул с ее образом перед глазами.

VI

На другой день я встал очень рано и побежал в сад. Утро было чудесное, насыщенное росой и ароматом цветов. Быстрым шагом я направился к буковой аллее, потому что сердце мне говорило, что там я найду Ганю. Но, видно, сердце мое, слитком скорое на предчувствия, ошиблось, так как Гани там не было. Уже после завтрака, оказавшись с ней с глазу на глаз, я спросил, не хочет ли она пройтись по саду. Она охотно согласилась, побежала к себе в комнату и через минуту вернулась с зонтиком в руке и в большой соломенной шляпе, оставляющей в тени лоб и глаза. Поглядывая на меня из-под широких полей, она лукаво улыбалась, словно желая сказать: «Смотри, как мне к лицу». Мы вышли в сад. Я повел ее в буковую аллею, по дороге думая с том, как начать разговор, и о том, что Ганя, наверное, сумела бы это сделать лучше меня, но не хочет мне помочь, предпочитая набавляться моим смущением. И я молча шагал подле нее, сбивая хлыстом венчики цветов, растущих на куртинах, как вдруг Ганя насмеялась и, схватив мой хлыст, воскликнула:

— Пан Генрик, в чем же провинились эти цветы?

— Эх, Ганя! Что мне цветы, будто ты не видишь, что я не знаю, как начать разговор! Ты очень изменилась, Ганя. Ах, как ты изменилась!

— Допустим, что так. А вас это сердит?

— Этого я не говорю,— ответил я не без грусти,— но я еще не могу привыкнуть, мне все кажется, что та маленькая Ганя, которую я знал прежде, и ты — два разных существа. Та живет в моих воспоминаниях... в моем сердце, как сестра, Ганя, как сестра, а потому...

— А потому эта,— она показала пальчиком на себя,— для вас чужая, не правда ли?
— спросила она тихо.

— Ганя! Ганя! Как ты можешь даже думать что-либо подобное?

— Но ведь это вполне естественно, хотя, может быть, и грустно,— возразила она.
— Вы ищете в своем сердце прежние братские чувства ко мне и не находите их. Вот и все!

— Нет, Ганя! Не в сердце я ищу прежнюю Ганю, потому что там она пребывает всегда; я ищу ее в тебе, а что касается сердца...

— Что касается вашего сердца,— весело прервала она меня,— то я догадываюсь, что с ним произошло. Оно осталось где-то в Варшаве, подле какого-то другого, счастливого сердечка. Это нетрудно угадать!

Я пристально поглядел ей в глаза; мне было непонятно, испытывает ли она меня или, рассчитывая на произведенное ею вчера впечатление, которого я не сумел от нее скрыть, ведет со мной немножко жестокую игру. Но вдруг и во мне проснулся дух противоречия. Я подумал, что, наверное, у меня очень смешной вид, когда я

так смотрю на нее затравленной ланью, и, подавив волновавшие меня чувства, ответил:

– А если это действительно так?

Едва заметная тень удивления и словно досады скользнула по светлому личику Гани.

– Если это действительно так, – проговорила она, – то изменились вы, а не я.

Сказав это, она слегка нахмурилась и, искоса поглядывая на меня, некоторое время шла молча, а я старался скрыть радостное волнение, которым пронизали меня ее слова. Она говорит, воображал я, что если я полюбил другую, то я изменился, стало быть, она не изменилась, стало быть, она меня...

Но от радости я не посмел докончить этот мудрый вывод.

И тем не менее изменилась она, а не я. Та самая Ганя, которая всего полгода назад была маленькой девочкой, не знавшей, что такое мир божий, и которой в голову бы не пришло говорить о чувствах, потому что подобный разговор был для нее китайской грамотой, теперь вела его так непринужденно и умело, как будто повторяла заученный урок. Как развился и стал гибок этот недавно еще детский ум! Но с девушками бывают такие чудеса; Нередко, с вечера уснув ребенком, наутро просыпается девушка, с иным миром мыслей и чувств. Для Гани, впечатлительной от природы, с ее прозорливостью и восприимчивостью, события, происшедшие за эти полгода, исполнившиеся шестнадцать лет, другой круг общества, учение, быть может, украдкой прочитанные книги – все это было более чем достаточно.

А пока что мы шли рядом в глубоком молчании. Первая теперь нарушила его Ганя.

– Итак, вы влюблены, пан Генрик?

– Возможно, – ответил я, улыбнувшись.

– И будете тосковать по Варшаве?

– Нет, Ганя. Я рад бы никогда отсюда не уезжать.

Ганя бросила на меня быстрый взгляд. Видимо, она хотела что-то сказать, но промолчала, однако через минуту легонько хлопнула зонтом по платью и сказала, словно отвечая собственным мыслям:

– Ах, как я ребячлива!

– Почему ты это говоришь, Ганя? – спросил я.

– Да так. Сядемте на эту скамейку и поговорим о чем-нибудь другом. Не правда ли, какой красивый отсюда вид? – неожиданно спросила она с знакомой уже мне усмешкой в уголках рта.

Она села на скамейку неподалеку от аллеи, под огромной липой, откуда действительно открывался очень красивый вид на пруд, плотину и лес за прудом. Ганя показала мне на него зонтиком, но я, хотя и был любителем красивых видов, теперь не имел ни малейшего желания им любоваться, потому что, во-первых, превосходно его знал, во-вторых, подле меня сидела Ганя, во сто крат красивее

всего, что ее окружало, и, наконец, я думал совсем не о том.

– Как прелестно отражаются эти деревья в воде,– говорила Ганя.

– Я вижу, ты художница,– ответил я, не глядя ни на деревья, ни на воду.

– Ксендз Людвик учит меня рисовать. О, я многому научилась за то время, когда вас тут не было, я хотела... Но что с вами? Вы сердитесь на меня?

– Нет, Ганя, я не сержусь, да и не мог бы сердиться на тебя, но я вижу, что ты обходишь мой вопрос и что... да, мы оба играем в прятки, вместо того чтобы поговорить откровенно и искренне, как в былые времена. Может быть, ты не ощущаешь этого, но мне больно, Ганя!..

Эти простые слова имели лишь тот результат, что привели нас обоих в страшное смущение. Ганя, правда, протянула мне обе руки, и я сжал ее руки, пожалуй, даже чересчур сильно и,– о ужас! – быстро нагнувшись, расцеловал их как-то совсем не так, как подобает опекуну. Тут уж мы оба смешались до крайности: она вспыхнула так, что у нее даже шея покраснела, я – тоже, и мы окончательно замолчали, не зная, как начать этот якобы искренний и откровенный разговор.

Потом она взглянула на меня, я на нее, и снова щеки у нас стали кумачовыми. Так мы и сидели рядом, как два куклы; мне казалось, я слышу учащенное биение своего сердца. Положение наше становилось невыносимым. Минутами я чувствовал, как кто-то одной рукой хватает меня за шиворот и хочет бросить к ее ногам, и в то же время другой держит за волосы и не пускает, вдруг Ганя вскочила и быстро, сконфуженно проговорила:

– Мне нора идти, в этот час у меня урок с мадам д'Ив: уже. около одиннадцати.

Мы отправились домой той же самой дорогой. Шли мы, как и раньше, молча, я, как и раньше, сбивал хлыстом венчики цветов, но она их уже не жалела.

Вот так вернулись наши прежние отношения, нечего сказать!

«Иисусе, Мария! Да что же это со мной делается?» – спросил я себя, когда Ганя оставила меня одного. Я был влюблен так, что у меня волосы встали дыбом.

Тем временем ко мне подошел ксендз Людвик и повел осматривать хозяйство. По дороге он рассказал мне множество разных подробностей, касающихся нашего имения, которые ничуть меня не занимали, хотя я делал вид, что внимательно слушаю.

Брат мой Казик, пользуясь каникулами, целые дни проводил вне дома: в конюшне, в лесу, с ружьем на лошади или в лодке; сейчас он тоже оказался во дворе фермы, объезжая под верх молодых лошадей из табуна. Увидев меня с ксендзом, он подлетел к нам галопом на рыжем жеребце, бешено метавшемся под ним, и заставил нас восторгаться его статью, резвостью и аллюром, затем соскочил с коня и пошел с нами. Все вместе мы обошли конюшни, хлева и овины и уже собрались в поле, когда нам дали знать, что приехал отец и что нужно возвращаться домой. Отец встретил меня с необычной горячностью. Узнав об экзаменах, он обнял меня и заявил, что с этого дня будет считать меня взрослым. И действительно, его обращение со мной сильно изменилось. Он стал относиться ко мне проще и сердечнее. Сразу и«е заговорил со мной о делах нашего поместья, сообщил мне, что намеревается прикупить одно из соседних имений, и спросил, что я об этом думаю. Я понял, что

он нарочно говорит об этом, чтобы показать мне, как сам он серьезно относится к моему положению взрослого старшего сына в семье. При этом я видел, что он действительно доволен мной и моими успехами в учении. Никогда он не смотрел на меня с такой любовью, как теперь. Его родительскому тщеславию безмерно льстили привезенные мной свидетельства преподавателей. К тому же я заметил, что он испытывает мой характер, образ мыслей и понятия о чести и умышленно задает мне разные вопросы, чтобы по ним составить себе суждение обо мне. Как видно, этот родительский экзамен прошел успешно, потому что своих философских и социальных воззрений, столь отличных от отцовских, я не высказывал, а в других взглядах мы не могли не сойтись. Поэтому обычно суровое мужественное лицо отца сейчас просветлело. В этот же день он осыпал меня подарками, среди которых была и пара пистолетов; из этих пистолетов он недавно стрелялся с паном Цоллем. на них были пометки еще нескольких поединков, в которых он участвовал в молодые годы, когда служил в войске. Затем я получил великолепного коня восточных кровей и старинную дедовскую саблю с рукоятью, усыпанной камнями, и широким дамасским клинком, на котором золотом по стали были вычеканены образ богоматери и надпись: «Иисусе, Мария!» Сабля эта считалась одной из драгоценнейших фамильных реликвий и к тому же издавна. и неизменно была предметом мечтаний моих и Казика, потому что железо она рубила, как щепки. Вручая мне саблю, отец выхватил ее из ножен и несколько раз взмахнул ею, так что в воздухе засвистело и комната озарилась сиянием; потом он начертал ею крест над моей головой, поцеловал образ богоматери и наконец передал ее мне со словами: «В достойные руки! Я не покрыл ее позором, не опозорь и ты!» Тут мы бросились друг другу в объятия, а саблю тем временем с восторгом схватил Казик, отличавшийся незаурядной силой, хотя был едва пятнадцатилетним мальчиком; сжимая ее в руке, он принялся делать выпады с быстротой и точностью, которой не постыдился бы ни один опытный учитель фехтования. Отец, с удовольствием глядя на него, сказал:

– Этот будет вояка; но ведь и ты фехтуешь не хуже? Не правда ли?

– Не хуже, отец. С Казиком я еще справлюсь. Из всех товарищей, с которыми я вместе учился, только один фехтовал лучше меня.

– Кто же это?

– Селим Мирза.

Отец поморщился.

– Ах, Мирза! Но ты, должно быть, сильней его.

– Единственно благодаря этому я не отстаю от него. Ну, да с Селимом мы никогда не подеремся.

– Э! Всяко бывает,— ответил мой отец.

В этот день после обеда мы все сидели на просторной, увитой хмелем террасе, с которой открывался вид на огромный двор и тенистую, обсаженную липами дорогу вдаль. Мадам д'Ив вязана крючком покров для алтаря, отец и ксендз Людвик курили трубки, прихлебывая черный кофе, Казик вертелся вокруг террасы, следя глазами за воздушными пируэтами ласточек, в которых ему очень хотелось пострелять, чего отец ему не позволял, и мы с Ганей рассматривали привезенные мной рисунки и меньше всего думали о рисунках; по крайней мере, мне они служили только средством незаметно для других любоваться Галей.

– Ну что, пан опекун, как ты нашел Ганю? Очень подурнело, не правда ли? – шуточно спросил меня отец, поглядывая на девушку.

Я принялся с особым вниманием изучать какой-то рисунок! и ответил, укрывшись за листом бумаги:

– Не могу сказать, что она подурнела, но выросла и изменилась.

– Пан Генрик уже упрекал меня в этом, – непринужденно отозвалась Ганя.

Меня поразила ее смелость и самообладание: я не мог бы так непринужденно упоминать об этих упреках.

– Да что там – похорошела она или подурнела, – вмешался ксендз Людвик, – а вот уроки она усваивает быстро и хорошо. Пусть мадам скажет, как скоро она выучилась французскому.

Должен заметить, что ксендз Людвик, человек вообще весьма образованный, французского не знал и не мог его одолеть, хотя столько лет прожил под одним кровом с мадам д'Ив. А бедняга, как назло, питал слабость именно к французскому языку и знание его считал непременным условием высшего образования.

– Действительно Ганя учится легко и охотно, в этом я не могу ей отказать, – подтвердила мадам д'Ив, – тем не менее я должна вам пожаловаться на нее, – прибавила она, обращаясь ко мне.

– О мадам! В чем же я провинилась? – вскричала Ганя, складывая руки.

– В чем провинилась? А вот сейчас ты будешь оправдываться, – ответила мадам д'Ив. – Представьте себе, что эта панна, как только улучит минутку досуга, сразу хватается за роман, и у меня имеются некоторые основания предполагать, что, ложась в постель, она, вместо того чтобы погасить свечу и спать, читает еще целыми часами.

– Это очень нехорошо; впрочем, мне известно из других источников, что она следует по стопам своей учительницы, – сказал отец, любивший поддразнить мадам д'Ив, когда бывал в хорошем настроении.

– О, прошу прощения, но мне сорок пять лет, – воскликнула француженка.

– Скажите пожалуйста, никогда бы этого не сказал, – ответил отец.

– Какой вы недобрый!

– Не знаю, я знаю только, что, если Ганя достает откуда-нибудь романы, то, во всяком случае, не из библиотеки, потому что ключ от нее хранится у ксендза Людвика. Следовательно, вина падает на учительницу.

Действительно, мадам д'Ив всю жизнь зачитывалась романами, а так как у нее была страсть их пересказывать, она, наверное, рассказывала и Гане. Поэтому в полусутольных словах отца таилась доля правды, которую он намеренно высказал.

– Смотрите, господа, кто-то к нам едет, – внезапно крикнул Казик,

Вглядевшись, мы увидели в конце тенистой липовой аллеи, пожалуй в доброй версте отсюда, облако пыли, которое приближалось к нам с необыкновенной быстротой.

– Кто же это может быть? И так быстро, – вставая, заметил отец. – Пыль такая, что ничего нельзя разобрать.

Действительно, жара стояла страшная, дождей не было уже свыше двух недель, и при малейшем движении на дороге поднимались тучи белой пыли. С минуту еще мы тщетно всматривались в приближающееся облако, которое было уже шагах в пятидесяти от дома, как вдруг из тумана вынырнула голова лошади с красными раздувающимися ноздрями, огненными глазами и развевающейся гривой. Белый копь несся во весь опор, едва касаясь ногами земли, а на нем, по-татарски пригнувшись к шее, скакал не кто иной, как мой приятель Селим.

– Селим едет, Селим! – воскликнул Казик.

– Что этот сумасшедший вытворяет! Ворота заперты! – крикнул я, срываясь с места.

Уже поздно было отпирать ворота, да никто и не успел бы вовремя подбежать; между тем Селим мчался очертя голову, как безумный, и казалось, неизбежно напорется на высокий частокол, заостренный сверху.

– Боже! Смилуйся над ним! – зывал ксендз Людвик.

– Ворота! Селим, ворота! – завопил я как одержимый, размахивая платком, и бросился со всех ног через двор.

Вдруг Селим шагах в пяти от ворот выпрямился в седле и быстрым, как молния, взглядом смерил забор. Потом до меня донесся женский крик с террасы, стремительный топот копыт – конь взвился, повис передними ногами в воздухе и на всем скаку перемахнул через забор, не задержавшись ни на миг.

Лишь перед самой террасой Селим осадил его так, что копыта врылись в землю, затем сорвал с головы шляпу и, размахивая ею, как флажком, закричал:

– Как поживаете, мои милые, дорогие друзья? Как пожинаете? Мое почтение, сударь! – поклонился он отцу. – Мое почтение, дорогой ксендз, мадам д'Ив, панна Ганна. Наконец мы снова вместе. Виват! Виват!

С этими словами он соскочил с коня и, бросив поводья выбежавшему из сеней Франеку, принялся обнимать отца и ксендза и целовать ручки дамам.

Мадам д'Ив и Ганя были еще бледны от страха, но именно поэтому они встретили Селима, словно он спасся от смерти, а ксендз Людвик сказал:

– Ох, сумасшедший, сумасшедший, и напугал же ты нас, Мы думали, тебе уж конец пришел,

– А что?

– Да ворота. Ну, можно ли так мчаться сломя голову?

– Сломя голову? Но ведь я видел, что ворота заперты. Ого! У меня превосходные, истинно татарские глаза.

– И ты не боялся скакать?

Селим засмеялся.

– Нет, ничуть, ксендз Людвик. Но, впрочем, это заслуга моего коня, а не моя.

– Yoila un brave garcon![7] – воскликнула мадам д'Ив.

– О да, не всякий бы на это отважился,– прибавила Ганя.

– Ты хочешь сказать,– возразил я,– что не всякий конь решился бы перескочить, а людей таких нашлось бы немало.

Ганя остановила на мне долгий взгляд,

– Я бы вам не советовала пытаться.

Потом посмотрела на Селима, и во взоре ее выразилось восхищение: да и действительно, не говоря уже о лихой выходке татарина, принадлежавшей к числу тех опасных затей, которые всегда правятся женщинам, надо было видеть, как он был хорош в эту минуту. Прекрасные черные волосы падали ему на лоб, щеки разрумянились от быстрой езды, глаза блестели и сияли радостью и весельем. Когда он стоял подле Гани, с любопытством глядя ей в глаза, оба они были так красивы, что прекрасней не мог бы создать ни один художник даже в мечтах.

Что касается меня, то я был глубоко уязвлен ее словами. Мне казалось, что это: «Я бы вам не советовала пытаться», она произнесла топом, в котором звучала нотка иронии. Я бросил вопросительный взгляд па отца, который только что осмотрел копы Селима. Его родительское тщеславие мне было известно, я знал, как он ревнив ко всем, кто в чем-либо меня опережал, а Селим давно его этим сердил; поэтому я рассчитывал, что он не воспротивится моему желанию доказать, что наездник я не хуже Селима.

– А ведь смелый скакун этот конь,– сказал я, обращаясь к отцу.

– Но смелый ездок и этот шайтан,– буркнул отец. – А ты сумел бы так?

– Ганя в этом сомневается,– сказал я с оттенком горечи. – Можно, я попытаюсь?

Отец заколебался, окинул взглядом забор, лошадь и меня и ответил:

– Оставь, не надо.

– Ну, конечно! – вскричал я с обидой. – Лучше мне прослыть бабой по сравнению с Селимом.

– Генрик! Что ты болтаешь! – воскликнул Селим, обняв меня за шею.

– Скачи, мальчик! Скачи! Только держись молодцом! – проговорил отец, уязвленный в своем честолюбии.

– Коня мне сюда! – крикнул я Франеку, который проваживал по двору взмыленного жеребца.

Вдруг Ганя порывисто поднялась со стула,

– Пан Генрик! – воскликнула она. – Это из-за меня вы решила попытаться. Но я не хочу, не хочу, Пожалуйста, из сделайте этого... ради меня.

Сказав это, она посмотрела мне в глаза, словно желая договорить взглядом все то, чего не могла выразить словами.

Ах, за один такой взгляд я готов был тогда отдать всю кровь до последней капли, но я не мог и не хотел отступать, В эту минуту оскорбленная гордость оказалась сильнее всего, поэтому я овладел собой и сухо сказал:

– Ты ошибаешься, Ганя, если думаешь, что это из-за тебя, Я буду скакать ради собственного удовольствия,

И, несмотря па возражения всех, кроме отца, я сел па коня и шагом двинулся в липовую аллею, Франек открыл ворота и тотчас запер их за мной. Душа моя была полна горечи, и я перескочил бы через этот забор, будь он хоть вдвое выше. Отъехав шагов на триста, я повернул назад и пустил коня рысью, которую тотчас сменил галопом.

Вдруг я заметил, что подо мной качается седло.

Произошло одно из двух; либо подпруга лопнула во время предыдущей скачки, либо Франек ослабил ее, чтобы дать отдохнуть лошади, и по глупости или, может быть, забывчивости на предупредил меня вовремя.

Теперь уже было поздно. Конь во весь опор мчался к забору, а я уже не хотел его останавливать. «Убьюсь так убьюсь!» – подумал я. Меня охватило отчаяние, Я судорожно сдавил бока лошади; ветер свистел у меня в ушах. Вдруг передо мной мелькнул забор, я взмахнул хлыстом, почувствовал, что лечу куда-то, в уши мне ударил крик с террасы, у меня потемнело в глазах и.., через минуту я очнулся от обморока на газоне,

Я быстро вскочил.

– Что случилось? – вырвался у меня вопрос. – Я слетел, потерял сознание?

Вокруг меня стояли отец, ксендз Людвик, Селим, Казик, мадам д'Ив и Ганя, бледная как полотно, со слезами на глазах.

– Что с тобой? Что с тобой? – сыпалось со всех сторон,

– Ровно ничего. Я слетел, но это не по моей вине. Лопнула подпруга.

Действительно, после минутного обморока я чувствовал себя вполне здоровым, только немного задыхался. Отец принялся ощупывать мои руки, ноги и спину.

– Не больно? – спрашивал он.

– Нет, я вполне здоров.

Вскоре восстановилось и дыхание. Я только злился, думая, что кажусь смешным. И, наверное, у меня на самом деле был смешной вид. Падая с лошади, я по инерции перелетел через дорогу, идущую вдоль газона, и свалился в траву, вследствие чего локти и колени моего светлого костюма окрасились зеленым, и волосы растрепались. Тем не менее это злополучное происшествие пока что оказало мне услугу. Еще минуту назад предметом всеобщего внимания был Селим в качестве гостя, к тому же только что прибывшего,— теперь я, правда ценой моих локтей и коленок, отбил у него пальму первенства. Ганя, продолжая считать себя — и, кстати сказать, совершенно справедливо — виновницей этого рискованного опыта, который мог для меня плохо кончиться, старалась искупить передо мной свою оплошность нежностью и добротой. Благодаря этому я скоро пришел в хорошее настроение, которое передалось и остальной компании, встревоженной моим падением. Все развеселились. После чая, за которым хозяйничала Ганя, мы отправились в сад. Тут Селим расшалился, как маленький ребенок, он смеялся и проказничал, а Ганя не отставала от него и от души хохотала. Наконец Селим воскликнул:

— Ах, как приятно мы будем теперь проводить время втроем!

— Интересно,— спросила Ганя,— кто из нас самый веселый?

— Наверное, я,— ответил Мирза.

— А может быть, я? О, ведь я тоже по натуре очень веселая.

— А самый невеселый Генрик,— заключил Селим. — Он по натуре серьезен и несколько меланхоличен. Если бы Генрик жил в средние века, он непременно стал бы странствующим рыцарем и трубадуром, по, правда, он не умеет петь! Зато пас,— прибавил он, обращаясь к Гане,— словно нарочно выискали, так мы подходим друг к другу.

— Я с этим не согласен,— возразил я Селиму. — На мой взгляд, подходят друг к другу с противоположными наклонностями, ибо в этом случае один обладает теми свойствами, которых недостает другому.

— Благодарю покорно! — воскликнул Селим. — Предположим, ты по натуре плаксив, а панна Ганя смешлива. Допустим, вы женитесь...

— Селим!..

Селим взглянул на меня и рассмеялся.

— А это что, молодой человек? Ха-ха-ха! Ты помнишь речь Цицерона *Pro Archia*: [8] *comproveri videtur juvenis*, что будет по-нашему: смущенным кажется сей юноша. Но это ровно ничего не значит, потому что ты всегда краснеешь как рак и без всякого повода. Панна Ганна! Генрик замечательно изображает вареных раков, и теперь, как видите, стоит рак раком — это уж за себя и за вас.

— Селим!

— Не буду, не буду. Однако возвращаюсь к нашей теореме. Итак, ты, пан плакса, и вы, панна хохотушка, женитесь. И вот что происходит: он начинает реветь, вы начинаете хохотать, вы никогда не понимаете друг друга, ни в чем не сходитесь, во всем расходитесь, и это называется подходящая пара. О, со мной совсем другое

дело! Мы бы просто проохотали всю жизнь, и все тут.

– Ах, что это вы говорите! – пожурила его Ганя. Тем не менее они оба засмеялись как ни в чем не бывало.

Что касается меня, то мне было совсем не до смеху. Селим даже не знал, какой вред он мне причинил, внушая Гане мысль о различии между моими и ее склонностями. Я был очень сердит па него и поэтому язвительно заметил:

– Странные у тебя взгляды, меня они тем более удивляют, что, как мне известно, ты питаешь определенную слабость именно к меланхолическим особам.

– Я? – спросил он с искренним изумлением.

– Да. Я только напомню тебе некое окошко, в окошке несколько фуксий и среди фуксий личико. Даю тебе слово, я не знаю более меланхолического лица.

Ганя захлопала в ладоши.

– Ого! Вот какую новость я узнала! – воскликнула она, смеясь. – Прекрасно, пан Селим, прекрасно!

Я думал, Селим смутится, впадет в уныние, но он лишь сказал:

– Генрик!

– Что?

– Ты знаешь, что делают с теми, у кого слишком длинный язык? – И захохотал.

Однако Ганя начала с ним препираться, настаивая, чтобы он назвал ей хоть имя своей избранницы. Недолго думая, он сказал: «Юзя!» Но если б для него это имело какое-нибудь значение, он бы дорого заплатил за свою откровенность, потому что с этой минуты Ганя уже не давала ему покоя до самого вечера.

– А красивая Юзя? – спрашивала она,

– Ничего.

– Какие у нее волосы, глаза?

– Красивые, но не такие, какие мне больше всего нравятся.

– А какие вам нравятся?

– Волосы светлые, а глаза, с вашего позволения, синие, такие, как те, в которые я гляжу сейчас.

– О-о! Пан Селим!

И Ганя нахмурилась, а Селим умильно сложил руки и, не «водя с нее взгляда, исполненного несравненной неги, заговорил:

– Панна Ганна! Пожалуйста, не сердитесь! В чем перед ними провинился бедный

татарчонок? Пожалуйста, не сердитесь. Ну, пожалуйста, засмейтесь!

Ганя пристально посмотрела на него, и ее недовольно нахмуренный лобик разгладился. Он просто заорожил ее. Усмешка скользнула в уголках ее рта, засияли глаза, просветлело личико, и, наконец, она ответила как-то особенно мягко и ласково:

– Хорошо, я не буду сердиться, но прошу вас впредь не говорить лишнего.

– Не буду, любовью к Магомету клянусь, не буду!

– Л очень вы любите своего Магомета?

– Как собака палку.

И снова они оба расхохотались.

– Ну, а теперь скажите мне, пожалуйста,– возобновила разговор Ганя,– в кого влюблен пан Генрик? Я его спрашивала, но он не хотел мне сказать.

– Генрик?.. Знаете что? – Тут Селим покосился на меня. – Он, кажется, еще ни в кого не влюбился, но влюбится. Ого! Я даже знаю, в кого! И я...

– Что вы? – спросила Ганя, стараясь скрыть смущение.

– Я сделал бы то же самое. А впрочем... постойте, господа: ведь, пожалуй, он уже влюбился.

– Прошу тебя, Селим, оставь меня в покое!

– Ах ты, мой славный! – воскликнул Селим, бросаясь мне на шею. – Если бы вы только знали, какой это славный малый!

– О, я знаю! – ответила Ганя. – Я помню, как он был добр ко мне после смерти бабушки.

Облачко печали пролетело над нами.

– Должен вам сказать,– начал Селим, чтобы перевести разговор на другую тему,– должен вам сказать, что, сдав экзамен в университет, мы напильсь вместе с нашим учителем...

– Напильсь?

– Да! Это такой обычай, и его необходимо соблюдать. Так вот, когда мы напильсь, я, понимаете ли, по своей ветренности предложил тост за ваше здоровье. Я, как вы сами понимаете, поступил неумно, а Генрика это взорвало. «Как ты смеешь,– говорит он мне,– произносить имя Гани в таком месте?» А было это в каком-то питейном заведении. Так мы едва с ним не сцепились. Нет, он вас не даст в обиду, что верно, то верно.

Ганя протянула мне руку.

– Как вы добры, пан Генрик!

– Ну, хорошо,– ответил я, тронутый словами Селима,– но скажи сама, Ганя, разве Селим не славный малый, если способен рассказать такую вещь?

– О! Вот так славный! – засмеялся Селим.

– Да, конечно! – подхватила Ганя. – Вы, господа, оба достойны друг друга, и нам вместе будет очень хорошо.

– Вы будете нашей королевой! – с восторгом воскликнул Селим.

– Молодые люди! Ганя! Пожалуйста ужинать, – послышался из садовой беседки голос мадам д'Ив.

Мы отправились ужинать – все трое в самом радужном настроении. Стол был накрыт в беседке; мигая, горели свечи: под стеклянными колпачками, а вокруг них тучей вились ночные бабочки и, устремляясь к свету, ударялись о стеклянные стенки колпачков; теплый ночной ветерок шелестел в листве дикого винограда, а из-за тополей взошла огромная золотая луна. Последний разговор между мной, Селимом и Ганей настроил нас на удивительно ласковый и дружеский лад. Вечер был так тих, такое спокойствие было разлито вокруг, что оно сообщилось и старшим. Лида отца и ксендза Людвика прояснились, как небо над нами.

После ужина мадам д'Ив принялась раскладывать пасьянс, а отец, находившийся в прекрасном расположении духа, стал рассказывать о былых временах, что всегда служило у него признаком хорошего настроения.

– Помню, однажды,– говорил он,– стояли мы под какой-то деревушкой в Красноставском уезде; ночь, помню, была темная, хоть глаз выколи (тут он пососал трубку и пустил дым поверх свечи), устал я, как еврейская кляча; ну, стоим мы, стало быть, не шелохнемся, как вдруг...

И начался рассказ об удивительных и необыкновенных событиях. Ксендз Людвик уже неоднократно слышал эту историю, однако вскоре позабыл и о курении; сдвинув очки на лоб, он слушал с возрастающим вниманием и, кивая головой, повторял: «Угум! Угум!», или восклицал: «Иисусе, Мария! Ну и что же?» Мы с Селимом сидели плечом к плечу и, уставясь на отца, жадно ловили каждое слово; но ни на одном лице впечатление от рассказа не отражалось так живо, как на лице Селима. Глаза его горели, как угли, щеки пылали румянцем, наружу выступала горячая восточная натура, как всплывает наверх масло. Он едва мог усидеть на месте. Мадам д'Ив, взглянув на него, улыбнулась, глазами показала на него Гане, и они обе стали смотреть па него: их забавляло это лицо, подобное зеркалу или водной глади, в которой отражается все, что только приблизится к прозрачной поверхности.

Сейчас, вспоминая эти вечера, я не могу думать о них без сердечного волнения. Много воды в реке и облаков на небе уплыло с тех пор, но крылатая память снова и снова пронесит перед моим взором картины деревенского дома, тихой летней ночи и дружной, любящей и счастливой семьи: старый, убеленный сединами ветеран рассказывает о былых превратностях судьбы, у молодежи сверкают глаза, а дальше – личико, как полевой цветок... Эх! Много воды в реке и облаков на небе уплыло с тех пор...

Между тем пробило десять часов. Селим вскочил: ему было приказано к ночи вернуться домой. Решили всей компанией проводить его до распрятия, стоявшего в

конце липовой аллеи, близ следующего перекрестка, а я верхом должен был с ним ехать еще дальше – за луга. Итак, отправились все, кроме Казика, который разоспался вовсю.

Я, Ганя и Селим шли впереди: мы двое, ведя коней под уздцы, Ганя посередине между нами. Старшие втроем следовали за нами. В аллее было темно; только луна, пробираясь сквозь густую листву, испещрила серебряными пятнами темную дорогу.

– Споем что-нибудь, – предложил Селим, – какую-нибудь старинную красивую песню, ну, хоть о Филоне.

– Этого уже нигде не поют, – возразила Ганя, – я знаю другую: «Ой, осенней порою вянет лист на деревьях!»

Наконец договорились сначала спеть о Филоне, потому что эту песню очень любили Ксендз и отец, которым она напоминала былые времена, а потом «Ой, осенней порою». Ганя положила свою белую ручку на холку Селимова коня, и полилась песня:

Спрятался месяц, сном все забылись,
Кто же там кличет за домом?
То истомился Филон мой милый,
Ждет под излюбленным кленом.

Когда мы кончили, сзади, из темноты, послышались голоса старших: «Браво! Браво! Спойте еще что-нибудь!» Я вторил, как мог, но пел я плохо, а у Гани и Селима были прекрасные голоса, особенно у Селима. Иногда, когда я уж слишком перевирал какую-нибудь ноту, они оба смеялись надо мной. Потом они исполнили еще несколько песен, а я в это время думал: почему Ганя держит руку на холке его лошади, а не моей? Эта лошадь особенно нравилась Гане. Она поминутно прижималась к ней или, похлопывая ее по шее, повторяла: «Милая лошадка, милая!», а ласковое животное, фыркая и храпя раздувающимися ноздрями, тянулось к ее руке, словно искало сахар. Все это привело к тому, что я снова приуныл и уже не видел ничего, кроме этой руки, покоившейся на гриве.

Но вот мы подошли к распятию, возле которого кончались лапы. Селим всем пожелал спокойной ночи, поцеловал руку мадам д'Ив и хотел было поцеловать и Гане, но она не позволила и точно с опаской оглянулась на меня. Зато когда Селим сел на коня, она подошла к нему и начала с ним разговаривать. При свете луны, которую в этом месте не загораживали липы, я видел ее глаза, обращенные на Селима, и нежное выражение лица.

– Пожалуйста, не забывайте пана Генрика, – говорила она. – Мы будем всегда вместе проводить время и вместе петь, а пока желаю вам спокойной ночи!

Прощаясь, она подала ему руку, после чего вместе со старшими повернула назад, а мы с Селимом – к лугам.

Некоторое время мы ехали по открытой дороге, не обсаженной деревьями. Вокруг было так светло, что можно было сосчитать иголки на низких кустах можжевельника, растущего близ дороги. Лишь время от времени фыркали лошади или стремя звякало о стремя. Я взглянул на Селима: он был задумчив, и взор его блуждал в ночном мраке. Меня охватило непреодолимое желание говорить о Гане, мне необходимо было излить перед кем-нибудь впечатления этого дня, обсудить каждое ее словечко, по –

хоть убей – я не мог начать этот разговор с Селимом. Однако Селим первый его начал; вдруг ни с того ни с сего он перегнулся ко мне, обнял меня за шею и, поцеловав в щеку, воскликнул:

– Ах! Генрик! Как прелестна, как мила твоя Ганя! И пусть черт поберет эту Юзю!

Возглас его сразу остудил мою горячность, словно меня обдало ледяным ветром. Я ничего не ответил, но отвел покоившуюся на моем плече руку Селима и, холодно отстранив его, молча поехал дальше. Он очень смутился и тоже умолк, однако через минуту, обернувшись ко мне, спросил:

– Ты сердисься на меня?

– Не будь ребенком.

– Может быть, ты ревнуешь?

Я остановил коня.

– Спокойной ночи, Селим!

Видно, он еще не хотел прощаться, но машинально пожал мне руку. Потом открыл рот, как бы желая что-то сказать, тогда я быстро повернул коня и поскакал домой,

– Спокойной ночи! – крикнул Селим.

С минуту еще он стоял на месте, потом медленно двинулся дальше.

Придержав коня, я поехал шагом. Была прекрасная, тихая и теплая ночь; покрытые росой луга казались разлившимися озерами; с лугов доносились скрипучие голоса коростелей, а где-то далеко, в камышах, ухала выпь. Я поднял глаза к звездным просторам; мне хотелось молиться и плакать.

Вдруг я услышал позади конский топот. Я оглянулся: это был Селим. Подскакав, он поравнялся со мной и, преградив дорогу, взволнованно заговорил:

– Генрик! Я вернулся, потому что с тобой что-то случилось. Сначала я подумал: «Сердится, ну и пусть сердится», А потом мне так стало жалко тебя. Я и не выдержал. Скажи, что с тобой? Может, я слишком много разговаривал с Ганей? Может, ты влюблен в нее, Генрик?

Слезы сдавили мне горло, и я не мог вымолвить ни слова, Ах, если б я последовал первому порыву, бросился в объятия Селима и на его честной груди поплакал и признался во всем! Но я говорил уже, что всю жизнь, когда доходило до откровенных; излияний и я должен был открыть свое сердце, какая-то неодолимая гордость останавливала меня, сердце мое леденело и слова замирали на устах. Сколько счастья в моей жизни загубила эта гордость, сколько раз я в ней раскаивался потом. И все же в первую минуту я был неспособен ей противиться.

Селим сказал: «Мне стало тебя жалко». Значит, он смотрит на меня с состраданием, а этого уже было достаточно, чтобы заставить меня замкнуться.

И я молчал, а он поднял на меня свои ангельские глаза, и в голосе его слышались мольба и сокрушение, когда он говорил:

– Генрик! Может быть, ты в нее влюблен? Видишь ли, она мне нравится, но и только. Хочешь, я больше не обмолвлюсь с ней ни одним словечком? Скажи, может быть, ты действительно влюблен в нее? Что ты имеешь против меня?

– Я не влюблен и ничего не имею против тебя. Просто мне нездоровится. Я упал с лошади, расшибся. И вовсе я не влюблен, а просто упал с лошади. Спокойной ночи, Селим!

– Генрик! Генрик!

– Повторяю тебе: я упал с лошади.

Мы снова расстались. Селим поцеловал меня на прощание и уехал, несколько успокоившись, потому что казалось вполне правдоподобным, что на меня так подействовало падение. Я остался один в глубокой тоске, от которой сжималось сердце и к горлу подступали слезы, меня растрогала доброта Селима, злило мое упорство, и в душе я проклинал себя за то, что оттолкнул его. Пришпорив коня, я пустился вскачь и через минуту очутился возле дома.

Окна гостиной были освещены, и из них доносились звуки рояля. Я отдал копия Франеку и вошел в комнату. Это Ганя подбирала какую-то пьесу, которой я не знал; играла она, фальшивя мелодию, с самоуверенностью дилетантки, так как лишь недавно начала учиться. Но и этого было вполне достаточно, чтобы привести в восторг мою гораздо более влюбленную, нежели музыкальную душу. Когда я вошел, она мне улыбнулась, продолжая играть, а я бросился в кресло, стоявшее против рояля, и стал на нее смотреть. Поверх пюпитра я видел ее спокойный, ясный лоб и правильно очерченные брови. Веки ее были опущены, потому что она смотрела на пальцы. Поиграв еще немного, она задумалась, а затем, подняв на меня глаза, заговорила как-то особенно ласково и мягко:

– Пан Генрик!

– Что, Ганя?

– Я хотела вас о чем-то спросить... Ага! Вы пригласили в а завтра пана Селима?

– Нет. Отец хочет, чтобы мы завтра поехали в Устжицу, от матери пришел пакет для пани Устжицкой.

Ганя умолкла и взяла несколько тихих аккордов, во, видимо, она это делала машинально, думая о чем-то другом; через минуту она снова подняла на меня глаза:

– Пан Генрик!

– Что, Ганя?

– Я хотела вас о чем-то спросить... Ага! Что, очень красива эта Юзя из Варшавы?

О!.. Это уж было слишком! У меня сердце сжалось от горечи и гнева, Я быстро подошел к роялю и трясущимися губами ответил:

– Не красивее тебя. Не беспокойся! Можешь смело испытывать свои чары на Селиме.

Ганя подвилась с табурета, и горячий румянец обиды залил се щеки.

– Что вы говорите, пан Генрик?

– То, что ты думаешь.

Бросив эту фразу, я схватил шляпу, поклонился и вышел из комнаты.

VII

Легко догадаться, как я провел ночь после всех огорчений этого дня. Улегшись в постель, я прежде всего спросил себя, что случилось и почему я весь день скандалил. Ответ был нетруден: ничего не случилось, то есть ни Селима, ни Ганю я не мог упрекнуть ни в чем, чего нельзя было бы объяснить учтивостью, одинаково для всех обязательной, или интересом друг к другу и симпатией. Что Селим нравился Гане, а она ему, было более чем вероятно, но какое же я имел право из-за этого выходить из себя и нарушать спокойствие других? Следовательно, не они были виноваты, а я; эта мысль, казалось бы, должна была меня успокоить, но произошло обратное. Сколько я ни объяснял себе их взаимоотношения, сколько ни твердил, что на самом деле ничего не случилось, сколько ни калялся, что несправедливо обидел обоих, я все же чувствовал какую-то неясную тревогу, нависшую надо мной; и оттого, что угроза эта была неясной, что ее нельзя было выразить в виде упрека Мирзе или Гане, я ощущал ее с особенной остротой. Кроме того, мне представилось еще одно: а именно, что, не имея права ни в чем их упрекать, я тем не менее имел достаточные основания тревожиться. Все это были тонкости, почти неуловимые, в которых мой неискушенный дотоле ум мучительно блуждал, как в темном лабиринте. Я просто устал и был разбит, словно после долгого странствия, а главное – еще одна мысль, самая нестерпимая, самая горькая, снова и снова приходила мне в голову: что это я, именно я, своей ревностью и неловкостью фатально толкаю их друг к другу. О, понять ото я уже тогда был способен, хотя и не имел никакого опыта. Такие вещи угадываются. Больше того: я знал, что по этому ложному пути я буду идти и впредь – не туда, куда я захочу, а куда толкнет меня чувство и случайные или незначительные обстоятельства, которые, однако, подчас бывают важны и от которых иногда зависит счастье. Что касается меня, то я был тогда очень несчастен, и, хотя кому-нибудь эти огорчения могут показаться ничтожными, я все-таки скажу, что тяжесть всякого горя определяется не тем, каково оно само по себе, а тем, как его ощущаешь.

Но ведь ничего не случилось! Еще ничего не случилось! Лежа в постели, я повторял эти слова до тех пор, пока мои мысли не начали понемногу путаться, разбегаться и не впали в обычный сонный хаос. Их сменили разные другие впечатления. Рассказы отца, персонажи и события этих рассказов смешались с действительностью, с Селимом, Ганей и моей любовью. Возможно, что меня слегка лихорадило, тем более что я расшибся. Фитиль догоревшей свечи вдруг упал в подсвечник: в комнате стало темно; потом опять вырвался голубой огонек, потом он стал меньше, еще меньше, наконец меркнувший свет еще раз ярко вспыхнул и погас. Вероятно, было уже поздно; за окном, закрытым ставнями, пели петухи; я забылся тяжелым, нездоровым сном, от которого нескоро очнулся.

Наутро оказалось, что я проспал завтрак, а следовательно, и возможность увидеть Ганю до обеда, так как до двух часов она занималась с мадам д'Ив. Зато, хорошенько выспавшись, я прибодрился и уже не так мрачно смотрел на свет божий. «Я буду приветлив с Ганей и добротой искуплю свою вчерашнюю брюзгливость», – думал я. Между тем я не предусмотрел одного обстоятельства – что Гане были не

только неприятны мои слова, но что они ее оскорбили. Когда Ганя вместе с мадам д'Ив спустилась к обеду, я стремительно бросился к ней и сразу же, словно меня окатили водой, отшатнулся, затаив свою сердечность, но уже не потому, что я этого хотел, а потому, что меня оттолкнули. Ганя поздоровалась со мной очень вежливо, но так холодно, что у меня полностью пропала охота к сердечным излияниям. Потом она села подле мадам д'Ив и в течение всего обеда, казалось, уже не замечала больше моего существования. Должен признаться, что в эту минуту мое существование представлялось мне таким плачевным и ничтожным, что если бы мне кто-нибудь дал за него три гроша, я бы сказал, что оно и того не стоит. Но что же мне было делать? Во мне снова проснулся дух противоречия, и я решил отплатить Гане той же монетой. Странная роль в отношении особы, которую любишь больше всего на свете. Поистине я мог сказать: «Хулят тебя уста, хоть сердце плачет!» За обедом мы не разговаривали прямо, а только при посредстве третьих лиц. Когда, например, Ганя хотела сказать, что к вечеру будет дождь, она обращалась к мадам д'Ив, на что я отвечал – тоже мадам д'Ив, а не Гане, – что дождя не будет. В том, как мы дулись друг на друга и препирались, я даже находил какую-то возбуждающую прелесть. «Хотел бы я знать, дорогая паненка, как мы будем разговаривать в Устжице, потому что ехать вам туда придется», – думал я. А в Устжице я нарочно задам ей какой-нибудь вопрос при чужих, она не сможет не ответить, и таким образом лед будет сломлен. Мне представлялась весьма многообещающей эта поездка в Устжицу. Правда, с нами должна была ехать и мадам д'Ив, но это меня не смущало. Пока же мне было гораздо важнее, чтобы никто за столом не заметил нашей ссоры. «Если кто-нибудь заметит, – думал я, – и спросит, поссорились ли мы, сразу все всплывет наружу и все откроется!».

При одной мысли об этом лицо мое вспыхивало румянцем и от страха сжималось сердце. Но вот удивительно! Я заметил, что Ганя боится этого гораздо меньше, чем я; мало того, она видит мои опасения и в душе посмеивается над ними. В свою очередь, и почувствовал себя оскорбленным, но сейчас ничего не мог сделать. Меня ждала Устжица, и я ухватился за эту мысль, как утопающий за соломинку.

Но, видимо, Ганя тоже думала об этом, и после обеда, подавая отцу черный кофе, она поцеловала ему руку и спросила:

– А можно мне не ехать в Устжицу?

«Ах! Какая негодница! Какая негодница эта любимая Ганя!» – воскликнул я про себя.

Однако отец, который был немного туг на ухо, не расслышал сразу и, поцеловав девочку в лоб, переспросил:

– Ты что хочешь, красотка?

– Я к вам с просьбой,

– Какой?

– Можно мне не ехать в Устжицу?

– А почему, ты больна?

«Если она скажет, что больна, – подумал я снова, – все пропало, тем более что отец в хорошем настроении».

Но Ганя никогда не лгала, даже в пустяках, и, вместо того чтобы свалить свое нежелание на головную боль, ответила;

– Нет, я здорова, но мне не хочется.

– Ну, в таком случае ты поедешь в Устжицу, потому что тебе нужно поехать.

Ганя поклонилась и, не сказав ни слова, ушла. А я обрадовался от всей души и, если б только это подошло, с великим удовольствием показал бы ей нос.

Тем не менее, когда мы с отцом остались наедине, я спросил, почему он велел ей ехать.

– Я хочу, чтобы соседи привыкли видеть в ней нашу родственницу. Ганя поедет в Устжицу как бы от имени твоей матери – понимаешь?

Я не только понял, но за эту мысль готов был расцеловать моего славного отца.

Мы должны были выехать в пять часов. Тем временем Ганя и мадам д'Ив одевались наверху, а я велел запрягать легкий экипаж на двоих, потому что сам я намеревался ехать верхом. До Устжицы было полторы мили, погода стояла прекрасная, и нас ожидала очень приятная прогулка. Когда Ганя спустилась вниз, одетая, правда, в черное, но очень тщательно и даже нарядно, потому что такова была воля отца, я не мог глаз от нее отвести. Она была так хороша, что я сразу почувствовал, как у меня смягчается сердце, а дух противоречия и притворная холодность улетают куда-то за тридевять земель. Но моя королева прошла мимо меня поистине по-королевски, не удостоив меня даже взглядом, хотя я тоже расфрантился как мог. Мимоходом замечу, что она немножко дулась, потому что действительно не хотела ехать, но не из желания досадить мне, а, как я впоследствии узнал, по другой, вполне основательной причине.

Ровно в пять я вскочил па коня, мои дамы уселись в коляску, и мы отправились. Ехал я со стороны Гани, стараясь всеми способами привлечь ее внимание. Действительно, раз она взглянула па меня, когда мой конь встал на дыбы; смерив меня спокойный взглядом с головы до ног, она едва ли даже не улыбнулась, что сразу вселило в меня бодрость, но она тотчас же повернулась к мадам д'Ив и принялась с ней разговаривать, так что я не мог вмешаться.

Наконец мы приехали в Устжицу, где встретили Селима. Пани Устжицкую мы не застали, был только хозяин дома, две гувернантки – француженка и немка – и две барышни: старшая Леля, ровесница Гани, красивая и довольно кокетливая по натуре шатенка, и младшая Марыня, еще дитя. Едва обменявшись приветствиями, дамы пошли в сад отведать клубники, а меня и Селима увел пан Устжицкий, пожелавший показать нам свое новое оружие и новых собак, которых он за большие деньги выписал из Вроцлава для охоты на кабанов. Как я упоминал уже, пая Устжицкий слыл самым страстным охотником во всей округе я притом был весьма благороден, добродушен и столь же услужлив, сколь богат. Но был у него один недостаток, из-за которого он казался мне скучным: он постоянно смеялся и то и дело хлопал себя по животу, повторяя: «Комедия, сударь мой, благодетель, как бишь его, а?» По этой причине его и прозвали, «сосед-комедия» или «сосед – как бишь его».

Итак, сосед-комедия повел нас на псарню, невзирая на то, что нам, быть может, во сто раз больше хотелось сопровождать барышень в сад. Несколько времени мы

терпеливо слушали его рассказы, наконец я вспомнил о каком-то деле к мадам д'Ив, а Селим прямо сказал:

– Все это, сударь, прекрасно! Собаки очень хороши, но что нам делать, если мы оба предпочитаем идти к паннам?

Пан Устжицкий хлопнул себя обеими руками по животу:

– Вот комедия, сударь мой, благодетель! Как бишь его, а? Ну, так ступайте, и я пойду с вами!

Мы и пошли. Вскоре, однако, стало очевидно, что мне незачем было так сильно этого желать. Ганя, державшаяся как-то в стороне от своих товарок, по-прежнему не обращала на меня внимания и, может быть, нарочно затеяла разговор с Селимом; я, впрочем, все равно должен был занимать панну Лелю. О чем я разговаривал с панной Лелей, каким образом не наговорил нелепостей, отвечая на ее приветливые расспросы, не знаю, потому что я все время следил за Селимом и Ганей, ловя каждое их слово я подстерегая каждый их взгляд и жест. Селим этого не замечал, но Ганя заметила и нарочно понижала голос или кокетливо посматривала на своего спутника, который давал себя увлечь этому потоку любезностей. «Погоди же, Ганя, – подумал я, – ты мне делаешь назло, так и я буду делать тебе». Придя к этому мудрому решению, я обратился к своей спутнице. Забыл сказать, что пани Леля питала ко мне особую симпатию и выказывала ее даже чересчур явно. Я начал любезничать с ней, шутил и смеялся, хотя мне гораздо больше хотелось плакать, чем смеяться, а Леля вся просияла и, впад в романтическое настроение, устремила на меня свои влажные темно-синие глаза.

Ах, если бы она знала, как я ненавидел ее в эту минуту! Но я настолько увлекся своей ролью, что даже совершил недостойный поступок. А именно: когда панна Леля в разговоре сделала какое-то язвительное замечание по поводу Селима и Гани, я, правда, в душе затрясся от гнева, но не дал ей должной отповеди, а только глуповато ухмыльнулся и промолчал. Таким образом мы прогуливались около часу, пока нас не позвали к чаю, который подали в саду, под зеленым куполом свешивающихся ветвей плакучего каштана. Лишь теперь я понял, что Ганя не только из-за меня не хотела ехать в Устжицу и что у нее были другие, более серьезные основания.

А дело было такое: мадам д'Ив, происходившая из старинного французского рода и к тому же более образованная, чем другие учительницы, считала себя выше устжицкой француженки и особенно немки; в свою очередь, они обе считали себя выше Гани, оттого что дед ее был просто слугой. Но мадам д'Ив была хорошо воспитана и не давала им этого почувствовать, а они ясно до грубости выказывали пренебрежение к Гане. Это были обычные бабы дрязги, проистекавшие из мелочного самолюбия, но я не мог допустить, чтоб моя дорогая Ганюлька, стоившая во сто раз больше всей Устжицы, стала их жертвой. Ганя сносила их наглость с тактом и кротостью, делающими честь ее характеру, однако ей было очень горько. Когда пани Устжицкая бывала дома, ничего подобного никогда не имело места, но на этот раз обе гувернантки воспользовались удобным случаем. Как только Селим сел подле Гани, начались перешептывания и колкости, в которых не преминула принять участия и панна Леля, завидовавшая красоте Гапи. Несколько раз я давал им резкий отпор, пожалуй, даже слишком резкий, но вскоре меня, помимо моей воли, заменил Селим. Я видел, как молния гнева метнулась по его бровям, но он тотчас опомнился и, уже не горячась, окинул гувернанток насмешливым взглядом. Остроумный, находчивый и язвительный, как мало кто в его возрасте, он очень скоро так прижал их к стене,

что они не знали, куда деваться. Помогли Селиму и мадам д'Ив своим авторитетом, и я; впрочем, я бы с большой охотой просто поколотил обеих чужестранок. Панна Леля, боясь меня оттолкнуть, тоже перешла на нашу сторону и, хотя неискренне, стала выказывать Гане удвоенную любезность. Словом, мы победили полностью, но, к моему несчастью в великому огорчению, главная заслуга и на этот раз принадлежала Селиму. Ганя, при всем своем такте, едва сдерживала готовые брызнуть слезы, а на Селима смотрела теперь как на своего спасителя – с благодарностью и благоговением. Когда мы встали из-за стола и снова вышли прогуляться по саду, я услышал, как Ганя, обернувшись к Селиму, проговорила вполголоса:

– Пан Селим! Я вам так...

Она вдруг замолкла, боясь расплакаться, но не могла совладать с охватившим ее волнением.

– Панна Ганна, не будем говорить об этом. Пожалуйста, не обращайтесь на них внимания и... пожалуйста, не огорчайтесь.

– Вы сами видите, как мне трудно говорить об этом, но я хотела вас поблагодарить.

– За что же? Панна Ганна! За что же? Я не могу вынести, когда у вас слезы на глазах. Ради вас я готов...

Теперь и он, в свою очередь, не закончил, не находя слов или, может быть, вовремя заметив, что дает слишком далеко увлечь себя чувствам, которые переполняли его грудь; поэтому он только смущенно отвернулся, чтобы не обнаружить своего волнения, и замолчал.

Ганя смотрела на него светившимися от слез глазами, а я уже не спрашивал больше, что случилось.

Я любил Ганю всеми силами юной души, я боготворил ее, любил так, как любят только на небесах; любил весь ее облик, любил ее глаза, каждый локон ее волос, звук голоса; любил ее платье и воздух, которым она дышала; любовь пронизывала меня насквозь, наполняла не только мое сердце, но и все мое существо; я жил только в ней и только ею, она струилась во мне, как кровь, излучалась из меня, как тепло. У других может существовать что-нибудь наряду с любовью, у меня во всем мире существовала только она, и вне ее – ничего. Ко всему в мире я был слеп, глух и глуп, потому что мой ум и чувства были поглощены только одним – моей любовью. Я чувствовал, что горю, как пылающий факел, и что меня испепеляет это пламя, что я гибну, умираю. Чем же была эта любовь? Громким, могучим зовом души, обращенным к другой душе: «О моя божественная, моя святая, возлюбленная моя, услышь меня!» Итак, я уже не спрашивал, что случилось, ибо понял, что не мне, нет, не мне отвечала Ганя на эту мольбу сердца. Среди равнодушных людей человек, жаждущий любви, ходит, как в лесу, и зовет и кличет, как в лесу, ожидая, не ответит ли ему милый голос, но мне уже незачем было спрашивать, что случилось, потому что за своей любовью и своими тщетными призывами я почувствовал и услышал два перекликающихся голоса – Селима и Гани. Они призывали друг друга голосами сердец, призывали на мое несчастье, сами того не зная. Друг для друга они были словно лесное эхо и шли друг за другом, как эхо идет за голосом. Что же мне было делать против этой неизбежности, которую они могли назвать счастьем, а я – несчастьем? Что же я мог сделать против этого закона природы, этой фатальной логики вещей? Как завоевать сердце Гани, если

какая-то непреодолимая сила влечет ее в другую сторону?

Я уединился и сел на садовую скамью, а мысли, подобные этим, шумели у меня в голове, как смятенная стая птиц. Меня охватило безумие отчаяния и страдания. В семье, среди любящих сердец, я все же чувствовал себя таким одиноким, мир казался мне таким пустым и убогим, небо надо мной таким равнодушным к людскому горю, что невольно одна мысль овладела мною и поглотила все остальные мысли, заслонив их своим мрачным спокойствием. Имя ее было смерть. В ней выход из порочного круга и развязка всей этой печальной комедии, она положит конец страданиям, разрубит все путы, так мучительно сдавившие мою усталую душу, и даст ей отдых; ах, как я жаждал отдыха! Пусть это темный отдых небытия, по тихий и вечный!

Я был разбит, как будто меня сморило слезами, страданием или сном.

«Уснуть бы! Уснуть! – думал я. – Любой ценой, хотя бы ценой жизни». Потом с необъятной спокойной лазури небес, куда упорхнула моя детская вера, слетела, как птица, новая мысль и засела в моем мозгу. Мысль эта заключалась в коротких словах: «А если?»

Это был новый круг, в который меня толкнуло силой неумолимой неизбежности. О! Я очень страдал, а оттуда, из соседней аллеи, ко мне доносились веселые голоса или невнятные обрывки слов, вокруг меня благоухали цветы, на деревьях щебетали птицы, готовясь ко сну; надо мной простиралось ясное небо, зарумяненное вечерней зарей; все было полно покоя и счастья, один лишь я, стискивая зубы, изнемогал от муки и жаждал смерти среди этого цветенья жизни.

Вдруг я вздрогнул: передо мной зашелестело женское платье.

Я выглянул: панна Леля. Она была необычайно тиха и кротка и смотрела на меня с состраданием, а может быть, и больше чем с состраданием. При свете заката, в тени, падавшей от деревьев, она казалась побледневшей; густые, словно ненароком распутившиеся косы струились по ее плечам.

В эту минуту я не испытывал к ней ненависти. «Единственная милосердная душа! – подумал я. – Утешить ли меня ты явилась?»

– Пан Генрик! Вы грустите, может быть, страдаете?

– О да, сударыня! Я так страдаю, – вскричал я в порыве отчаяния и, схватив ее руку, приложил к своему пылающему лбу, затем горячо поцеловал и быстро удалился,

– Пан Генрик! – позвала она.

В эту минуту на повороте аллеи показались Селим и Ганя. Они видели мой порыв, видели, как я целовал и прижимал ко лбу Лелину руку, видели оба и, улыбнувшись, переглянулись, словно говоря друг другу: «Мы понимаем, что это значит».

Между тем пора было ехать домой. Селиму на первом же перекрестке нужно было повернуть в другую сторону, но я боялся, что он захочет нас проводить, и, поспешно сев на коня, громко сказал, что уже поздно, что уже и нас, и Селима ждут. На прощание панна Леля подарила меня необыкновенно горячим пожатием руки, на которое я не ответил, и мы двинулись в путь.

Селим сразу же за околицей свернул, но, желая Гане покойной ночи, впервые поцеловал ей руку, и Ганя этому не воспротивилась.

Она уже не старалась показать, что не замечает меня. Слишком ласковое у нее было настроение, чтобы помнить утреннюю ссору, но я истолковал это настроение в самом худшем смысле.

Мадам д'Ив через несколько минут уснула и закачалась из стороны в сторону. Я взглянул на Ганю: она не спала, глаза ее были широко открыты и сияли счастьем.

Она не прерывала молчания, видимо, поглощенная своими мыслями. Уже перед самым домом она посмотрела на меня, видя, как я задумчив, спросила:

– О ком вы так задумались, о Леле?

Я не ответил ни слова, только стиснул зубы, мысленно говоря: «Терзай меня, терзай, если это доставляет тебе удовольствие, но ты не вызовешь у меня ни единого стона».

В действительности Ганя и не думала терзать меня. Она задала мне вопрос, который имела право задать.

Удивляясь моему молчанию, она еще раз спросила меня о том же. Я снова ничего не ответил. Она решила, что я продолжаю дуться на нее, и тоже замолчала.

VIII

Ранним утром несколько дней спустя первые лучи румяной зари пробились сквозь вырезанные сердечком отверстия в ставнях, но в розовеющем просвете показалось не личико Мицкевичевой Зоей, которая таким образом будила Тадеуша, и не моей Гана, а усатая физиономия лесничего Ваха, и грубый голос крикнул:

– Панич!

– Что такое?

– Волки гонятся за волчицей в Погорозой чаще. Вы хотели идти с вабилом,

– Сейчас!

Я оделся, взял ружье, охотничий нож и вышел. Вах стоял весь мокрый от росы; за плечом его висела длинная ржавая одностволка, из которой, однако, ему ни разу не случилось промахнуться. Было раннее утро, едва всходило солнце, еще не видно было ни людей в поле, ни скотины на лугу. Небо на востоке уже отливало лазурью, золотом и багрянцем, а на западе оставалось по-прежнему мрачным, тем не менее старик спешил.

– У меня тут кляча моя да таратайка. Доедем до бурелома,– сказал он.

Мы сели и поехали. Сразу же за гумном из овса выскочил заяц, перебежал нам дорогу и бросился в луга, оставляя темные следы по посеребренной росой траве. Старик крикнул:

– Пути не будет! Тьфу, нечистая сила!

А потом прибавил:

– Поздно уже. Скоро тень по земле пойдет.

Это значило, что скоро взойдет солнце, так как при свете зари предметы не отбрасывают тени на землю.

– А когда тень, плохо? – спросил я.

– Когда большая, еще туда-сюда, а когда малая, только зря ноги топтать.

На охотничьем языке это означало: чем позже, тем хуже, потому что, как известно, чем ближе полдень, тем тени короче.

– Откуда мы начнем? – осведомился я.

– От буреломов, но в самой Погоровой чаще.

Погоровой чащею называлась часть леса, чрезвычайно густо заросшая, где были ямы, оставшиеся от корней старых деревьев, вырванных бурей.

– А как вы думаете, Вах, выманит вабилом?

– Буду играть, как волчица, может, какой бирюк выйдет.

– А может, и нет?

– Э, да выйдет!

Доехав до хаты Ваха, мы передали лошадь и таратайку какому-то парню, а сами отправились пешком. После получасовой ходьбы, когда выглянуло солнце, мы засели в яме.

Вокруг нас тянулась непроходимая чаща мелкой заросли, лишь кое-где возвышались большие деревья; яма была так глубока, что мы укрылись в ней с головой.

– Теперь спиной к спине! – буркнул Вах.

Мы сели спиной друг к другу, так что из ямы торчали только макушки голов да ружейные дула.

– Слышь! – сказал Вах. – Буду играть.

Сунув два пальца в рот и двигая ими, Вах заиграл, то есть завыл по-звериному, протяжно и залиристо, как волчица, заманивающая волков.

– Слышь!

И он припал ухом к земле.

Я ничего не услышал, а Вах приподнял голову с земли и шепнул:

– Играет, да далеко. С полмили будет.

Он подождал с четверть часа и снова завыл, перебирая пальцами во рту. Жалобный и зловещий вой прорезал чащу и унесся далеко-далеко по мокрой земле, отдаваясь от сосны к сосне.

Вах снова припал ухом к земле.

– Играет! Не дальше как за полторы версты.

И действительно, теперь я тоже уловил как будто заглушенное эхо воя, еще очень далекое, едва слышное, но уже различимое сквозь шелест листьев.

– Куда он выйдет? – спросил я,

– На вас, панич.

Вах завыл в третий раз, ответный вой раздался уже поблизости. Я крепче сжал ружье, и мы оба затаили дыхание. Тишина была беспредельная, только ветер стряхивал капли росы с орешника, и, падая, они постукивали по листьям. Издали, с другого конца леса, донеслось токование глухаря.

Вдруг шагах в трехстах от нас что-то мелькнуло в густых зарослях, кусты можжевельника сильно закачались, и из темной хвои высунулась серая треугольная морда с остроконечными ушами и красными глазами. Стрелять я не мог: было еще слишком далеко, и я терпеливо ждал, хотя сердце у меня колотилось. Вскоре зверь целиком высунулся из можжевельника и стал приближаться к яме маленькими скачками, усердно разноживая по сторонам. Шагах в полутораста волк остановился и насторожил уши, как бы что-то зачуяв. Я знал, что ближе он не подойдет, и спустил курок.

Грохот выстрела смешался с жалобным воем волка. Я выскочил из ямы. Вах за мной, но волк уже исчез. Тем не менее Вах внимательно осмотрел полянку в местах, где стерлась роса, и сказал:

– Краску пускает!

Действительно, на траве остались следы крови.

– Не промазали, хоть и далеко! Не промазали: краску пускает, вон как краску пускает, надо за ним идти.

Мы пошли. Кое-где трава была измята, и на ней виднелись больше пятна крови, значит, время от времени раненый волк отдыхал. Между тем пролетел час, за ним другой, а мы все еще рыскали по чащобам и зарослям; солнце уже высоко поднялось; мы прошли огромный путь, не найдя ничего, кроме следов, которые к тому же порой совершенно исчезали. Вскоре мы очутились на опушке леса; версты две следы шли полем по направлению к пруду и наконец пропали в болотах, поросших камышом и аиром. Дальше нельзя было идти без собаки.

– Ну, там он уже и останется, а завтра я его разыщу, – сказал Вах, и мы повернули обратно.

Вскоре я перестал думать и о волке, и о Вахе, и о не совсем удачном результате охоты, вернувшись к своему обычному кругу горестных мыслей. Когда мы

приближались к лесу, чуть не из-под ног у меня выскочил заяц, а я даже не выстрелил в него, только вздрогнул, внезапно очнувшись от задумчивости.

– Эх, панич! – негодуяще воскликнул Вах. – В родного брата и то бы я выстрелил, кабы он так налетел на меня.

Но я только усмехнулся и молча зашагал дальше. Пересекая лесную дорогу, или, вернее, извилистую тропу, которая вела к большаку на Хожеле, я заметил на мокрой земле свежие следы подкованных конских копыт.

– Не знаете, Вах, чьи это могут быть следы?– спросил я.

– Думается мне, не панич ли это из Хожелей; видать, к вам поехал в имение,– ответил Вах.

– Ну, так и я уже пойду. Будьте здоровы, Вах.

Вах робко пригласил меня зайти к нему в хату, до которой было рукой подать, и закусить чем бог послал. Я знал, что огорчу его отказом, и все-таки отказался, пообещав прийти к нему завтра утром. Я не хотел, чтобы Селим и Ганя долго оставались вдвоем, без меня. Правда, за эти пять дней, которые прошли со времени визита в Устжицу, Селим бывал ежедневно. Взаимная симпатия юной четы быстро росла у меня на глазах. Но я их стерег как зеницу ока, и сегодня впервые выдался случай, когда они могли подольше остаться наедине. «А вдруг,– подумал я,– у них произойдет объяснение?» И я почувствовал, что бледнею, у меня исчезла последняя надежда.

Я боялся их объяснения, как величайшего несчастья, как неумолимого смертного приговора, когда знаешь, что он неизбежен, и все-таки всеми силами стараешься его отсрочить.

Вернувшись домой, я встретил во дворе ксендза Людвика, нахлобучившего на голову мешок, из-под которого спускалась на лицо проволочная сетка. Ксендз собирался на пасеку.

– Что, Селим здесь, ксендз Людвик? – спросил я.

– Здесь, часа уже полтора как приехал.

У меня сердце дрогнуло от тревоги.

– А где он?

– Они собирались на пруд с Ганей и Эвуней.

Я бросился в сад, на берег пруда, где стояли лодки. И правда, одного из больших челнов не было; я посмотрел на пруд, по в первую минуту ничего не разглядел. «Должно быть, Селим повернул вправо, к орешнику,– догадался я,– и челн не виден за разросшимся вдоль берега камышом». Схватив весло, я вскочил в маленькую одноместную лодку и бесшумно отчалил, стараясь держаться ближе к камышам и не выезжать из них, чтобы таким образом видеть, оставаясь невидимым.

Действительно, вскоре я их нашел. На открытом, не поросшем камышами пространстве словно застыл челн; весла были опущены. На одном конце, спиной к Селиму и Гане

сидела моя маленькая сестричка Эвуня, на другом – они оба. Перегнувшись через борт, Эвуня весело шлепала ручками по воде и была вся поглощена своей игрой. Селим и Ганя, увлеченные разговором, сидели, чуть не прижавшись друг к другу. Ни малейшее дуновение ветерка не рябило прозрачную лазурную гладь, и челн, Ганя, Эвуня и Селим отражались в ней, словно в зеркале, спокойно и неподвижно.

Вероятно, это была очень красивая картина, но у меня при виде ее кровь бросилась в голову. Я понял все: они взяли с собой Эвуню, потому что девочка не могла ни пометать им, ни даже понять любовные признания. Взяли ее для виду... «Свершилось!» – подумал я. «Свершилось!» – зашелестели камыши. «Свершилось!» – всплеснула волна, ударив в борт моей лодки, и в глазах у меня потемнело; меня кидало то в жар, то в холод, я почувствовал, что бледность покрывает мое лицо. «Потерял Ганю! Потерял!» – кричали какие-то голоса вокруг и внутри меня. А потом я услышал, как те же самые голоса взывают: «Иисусе, Мария!», а потом они мне подсказали: «Подплыви ближе и спрячься в камышах, все разглядишь!» Я послушался и подкрался на своей лодке бесшумно, как кошка. Но и на этом расстоянии я не мог расслышать, о чем они говорили, только видел лучше. Они сидели рядом, на одной скамеечке, не держась за руки, однако Селим обернулся к Гане; на минуту мне показалось, что он стоит перед ней на коленях, но это мне только показалось. Повернувшись к ней, он смотрел на нее с мольбой, а она не смотрела на него и в тревоге озиралась по сторонам, а потом подняла глаза к небу. Я видел ее смятение, видел, что он молит ее о чем-то; видел, как он сложил перед ней руки и как она медленно-медленно повернула к нему голову и встретилась с ним глазами; видел, наконец, как она склонилась к нему, но вдруг, опомнившись, вздрогнула и отодвинулась от него на самый край лодки, а он тотчас схватил ее за руку, словно испугавшись, что она упадет в воду. Я видел, что он уже не выпустил ее руки, и больше я уже ничего не видел, потому что туман застлал мне глаза. Я выронил весло из рук и повалился на дно лодки. «О боже! Спасите, спасите! – взывал я в душе. – Тут убивают человека!» Мне не хватало воздуха. О! Как я любил ее и как я страдал! Лежа на дне лодки, я в ярости рвал на себе одежду и в то же время чувствовал все бессилие этой ярости. Да, я был бессилен, бессилен, как атлет со связанными руками, да и что же я мог сделать? Я мог убить Селима, убить себя, мог врезаться своей лодкой в их лодку и утопить в волнах обоих, но я не мог вырвать из сердца Гани любовь к Селиму и не мог владеть ею один, безраздельно!

Ах! Это чувство бессильного гнева и уверенность: ничего сделать нельзя! – в ту минуту были чуть ли не горше всего остального... Я всегда стыдился плакать, даже наедине с собой. И если горе силой исторгало слезы из моих глаз, то с не меньшей силой их удерживала гордость. Но теперь, когда наконец иссякла бессильная ярость, разрывавшая мне грудь, и предо мной предстали и мое одиночество, и этот челн с влюбленной четой, отражающейся в зеркальной глади, и это спокойное небо, и грустно шелестящие надо мной камыши, и тишина, и мои страдания, и моя жестокая участь, – я разразился бурными рыданиями, и слезы неудержимым потоком хлынули из моих глаз; лежа навзничь, я заломил руки над головой и чуть не выл от страшной, невыразимой тоски.

Потом мне сделалось дурно. Меня охватило оцепенение, Я почти не сознавал окружающего и только чувствовал, как у меня холодеют кончики рук и ног. Дурнота моя все усиливалась. Обрывками мелькала мысль, что это близится смерть и великое ледяное успокоение. Мне казалось, что эта мрачная владычица могил уже завладевает мною, и я встретил ее спокойным остекленевшим взглядом. «Конец!» – подумал я, и словно огромная тяжесть свалилась с моей груди.

Но это не был конец. Долго ли я так лежал на дне лодки, я не отдавал себе отчета. Порой перед моими глазами проплывали по небосводу легкие пушистые облака, порой с жалобным криком пронеслись то чайки, то журавли. Солнце высоко поднялось на небо и палило зноем. Ветер утих, не шелохнулись замершие камыши. Я как бы очнулся от сна и стал осматриваться по сторонам. Челна с Ганей и Селимом уже не было. Тишина, покой и умиротворение, царившее в природе, странно противоречили тому оцепенению, от которого я только что очнулся. Вокруг все было безмятежно, все улыбалось. Темно-синие стрекозы садились на края лодки и на плоские, как щиты, листья кувшинок; маленькие серые птички, нежно щебеча, покачивались в камышах; откуда-то доносилось упорное жужжание заблудившейся на воде пчелки; порой в зарослях аира перекликались дикие утки; на водные просторы выводили своих птенцов чирки. Птичьи республики и царства приподнимали передо мной завесу своей обыденной жизни, но ничто не привлекало моего внимания. Сонливость моя еще не прошла. День был знойный, и у меня нестерпимо разболелась голова; перегнувшись с лодки, я черная пригоршнями воду и пил ее запекшимися губами. Это мне отчасти вернуло силы. Я взял весло и, раздвигая осоку, повернул назад: было уже поздно и дома, наверное, хватились меня.

По дороге я пытался успокоить себя. Если Селим и Ганя действительно объяснились в любви, может быть, это и лучше, раздумывал я. По крайней мере, кончились эти проклятые дни неизвестности. Несчастье подняло забрало и стоит передо мной с открытым лицом. Я знаю его и должен с ним бороться. Странное дело: эта мысль даже обрела для меня какое-то мучительное очарование. Но у меня еще не было уверенности, и я решил ловко расспросить Эвюню, по крайней мере, насколько это будет возможно.

Домой я попал к обеду. Холодно поздоровался с Селимом я молча сел за стол. Отец, увидев меня, вскричал:

– Что с тобой, ты болен?

– Нет, Я здоров, только утомился, Я встал в три часа утра.

– Зачем?

– Мы ходили с Вахом па охоту. Я подстрелил волка. Потом лег спать, и у меня побаливает голова.

– Да ты посмотришь в зеркало, на что ты похож!

Гапя на минутку перестала есть и остановила на мне пристальный взгляд.

– Может быть, это последний визит в Устжицу так подействовал на вас, пап Генрик?

Я посмотрел ей прямо в глаза и почти резко спросил:

– Что ты этим хочешь сказать?

Ганя смутилась и начала что-то путано объяснять. Селим пришел ей на помощь.

– Ну, это вполне естественно. Кто влюблен, тот и худеет.

Я поочередно смотрел то на Ганю, то па Селима и, наконец, ответил, медленно и отчетливо, отчеканивая каждый слог:

– Не вижу, чтобы вы похудели – ни ты, ни Ганя.

Пунцовый румянец залил лица обоих. Наступила минута крайне тягостного молчания. Я и сам не был уверен, не слишком ли далеко зашел; к счастью, однако, отец не все расслышал, а ксендз Людвик принял это за обычные пререкания молодежи.

– Вот это оса с жалом! – воскликнул он, понюхав табак. – Вот он как поддел вас. Так вам и надо: не приставайте к нему.

О боже! Как мало меня утешила эта победа и как охотно я бы отдал ее за поражение Селима!

После обеда, проходя через гостиную, я поглядел в зеркало. Действительно, вид у меня был, как у выходца с того света: под глазами синева, щеки ввалились. Мне показалось, что я страшно подурнел, но теперь мне уже было все равно.

Я отправился искать Эвуню. Обе сестрички обедали раньше нас и играли в саду, где была устроена детская гимнастика. Эвуня в небрежной позе сидела на деревянном стульчике, подвешенном на четырех веревках к поперечной балке качелей. Покачиваясь, она вслух разговаривала с собой, болтая ножками и время от времени потряхивая золотыми локонами.

Увидев меня, она улыбнулась и протянула мне ручки. Я взял ее на руки и пошел с нею в глубь аллеи.

Потом сел на скамью и, поставив Эвуню перед собой, спросил:

– Что же сегодня Эвуня делала весь день?

– Эвуня ездила кататься с мужем и с Ганей, – похвалилась девочка.

Мужем своим Эвуня называла Селима,

– А хорошо ты вела себя сегодня?

– Хорошо.

– Вот как! Ведь хорошие детки всегда слушают, что говорят старшие, и стараются чему-нибудь научиться. А ты помнишь, Эвуня, о чем Селим говорил с Ганей?

– Забыла.

– Ну, может быть, хоть что-нибудь помнишь?

– Забыла.

– Нехорошая ты девочка! Сейчас же вспомни, а то я тебя не буду любить.

Девочка принялась тереть кулачком один глазок, а другим, покрасневшим от слез, исподлобья поглядела на меня, потом насупилась, словно собираясь заплакать, выпятила губки и сказала уже дрожащим от плача голоском:

– Забыла.

Что же еще могла мне ответить бедняжка? Право, я почувствовал себя глупцом, и вместе с тем мне стало стыдно лукавить с этим невинным ангелочком: спрашивать одно, желая выведать другое. К тому же Эвуня была любимицей всего дома и моей, так что я не хотел ее больше мучить. Я поцеловал ее в щечку, погладил и отпустил. Эвуня тотчас побежала к качелям, а я ушел таким же умным, каким был раньше, но с глубокой уверенностью, что объяснение между Селимом и Ганей уже произошло.

Под вечер Селим мне сказал:

– Мы не увидимся с неделю, я уезжаю.

– Куда? – спросил я равнодушно.

– Отец велит мне навестить дядю в Шумной, – ответил он, – придется там с неделку провести.

Я взглянул па Ганю. Весть эта, судя по лицу, не произвела на нее никакого впечатления. Очевидно, Селим уже говорил с ней раньше.

Она улыбнулась и, оторвавшись от своего рукоделия, поглядела на Селима чуть плутовски, чуть задорно, а затем спросила:

– А вам хочется туда ехать?

– Как псу на цепь! – выпалил он, но сразу спохватился и, заметив, что мадам д'Ив, не выносившая ни малейшей тривиальности, слегка поморщилась, прибавил: – Простите за выражение, я дядю люблю, но, видите ли... мне тут... возле... вас, мадам д'Ив, приятнее.

При этих словах он бросил страстный взгляд па мадам д'Ив, что насмешило всех, не исключая и мадам д'Ив, которая вообще была обидчива, но к Селиму питала особую слабость. Все же она потрепала его легонько за ухо и, добродушно улыбаясь, сказала:

– Молодой человек, я могла бы быть вашей матерью.

Селим поцеловал у нее руку, и они помирились, а я подумал: как мы, однако, не похожи с Селимом. Если бы мне Ганя отвечала взаимностью, я бы только мечтал и витал в облаках. Разве было бы мне до шуток? А он и смеялся, и шутил, и веселился как ни в чем не бывало. Даже сияя от счастья, он дурачился, как всегда.

Перед самым отъездом он предложил мне:

– Знаешь что, поедем со мной!

– Не поеду. Нет ни малейшего желания.

Холодный тон моего ответа поразил Селима.

– Ты стал какой-то странный, – заметил он. – С некоторых пор я тебя не узнаю, но...

– Договаривай.

– ...но влюбленным все прощается.

– За исключением тех случаев, когда они встанут поперек дороги,– ответил я голосом статуи Командора.

Селим взметнул на меня быстрый, как молния, взгляд, проникший в самую глубь моей души.

– Так что ты говоришь?

– Я говорю, что не поеду и, во-вторых, что не все прощается.

Если бы этот разговор не происходил при всех, я: уверен, Селим сразу же повел бы дело начистоту. Во я не хотел говорить начистоту, пока у меня не было твердых доказательств. Однако я видел, что мои последние слова испугали Ганю и встревожили Селима. С минуту еще он помешкал, оттягивая свой отъезд под какими-то пустячными предлогами, и, наконец улучив минуту, тихо сказал мне:

– Садись верхом и проводи меня. Я хочу с тобой поговорить.

– В другой раз,– ответил я громко. – Сегодня мне немного нездоровится.

IX

Селим действительно заехал к дяде и провел там не неделю, а десять дней. Уныло тянулись эти дни у нас в Литвинове. Ганя, видимо, избегала со мной встречаться и поглядывала на меня как будто с затаенным страхом. Я, правда, и не собирался с ней ни о чем откровенно говорить, потому что гордость сковывала слова, готовые сорваться с моих уст,– но она – уж не знаю почему – умышленно устраивала так, чтобы мы ни на минуту не оставались наедине. Вообще же она заметно тосковала. Даже осунулась и побледнела, а я с трепетом наблюдал за ней и, видя, как она тоскует, думал: значит, это, увы, не мимолетный девичий каприз, а настоящее, глубокое чувство. Впрочем, и сам я был мрачен, часто раздражался и грустил. Тщетно отец, ксендз и мадам д'Ив допытывались, что со мной, предполагая, что я болен. Я отвечал, что здоров, а их заботливые расспросы только вызвали во мне досаду. Целые дни я проводил в одиночестве – то верхом по лесам, то на лодке в зарослях камыша. Я жил, как дикарь. Однажды я всю ночь с ружьем и собакой провел в лесу у костра, который сам разжег. Случалось, я по полдня просиживал с нашим пастухом, который совсем одичал от долгого одиночества, он был знахарем, вечно собирал какие-то травы, изведывал их свойства и посвящал меня в фантастический мир колдовства и суеверий. Но, право, кто бы поверил? Бывали минуты, когда я тосковал по Селиму и по моему «кругу страданий», как я его обычно называл.

Однажды мне вздумалось навестить старого Мирзу в Хожелях. Старик, тронутый тем, что я приехал ради него одного, принял меня с распростертыми объятиями. Но меня привела туда иная цель. Мне хотелось посмотреть в глаза портрету другого Мирзы – страшного пятигорского полковника времен Собеского. И когда я смотрел в эти беспощадные глаза, которые неотступно следили за мной, мне вспомнились висевшие у нас в гостиной изображения моих дедов, таких же суровых и непреклонных.

Пережитые волнения повлияли на мое душевное состояние: я впал в какую-то

странную экзальтацию. Одиночество, ночная тишина, жизнь среди природы – все это, казалось бы, должно было подействовать успокоительно, а я был словно ранен отравленной стрелой. Порой я предавался мечтам, но они лишь ухудшали мое состояние. Нередко, растянувшись на земле где-нибудь в лесной чаще или па дне лодки в камышах, я давал волю фантазии: вот я у ног Гани в ее маленькой комнатке, я целую кончики ее башмачков, ее руки, платье, называю ее самыми ласковыми именами, а она кладет на мой пылающий лоб свои нежные ладони и говорит: «Ты так долго страдал, забудем обо всем! То был тяжелый сон! Я люблю тебя, Генрик!» Но затем наступало пробуждение, и еще страшней казались мне и эта серая действительность, и мрачное, как ненастный день, будущее – без нее, всегда, до конца жизни без нее. И я все больше дичал, сторонился людей, даже отца, ксендза Людвика и мадам д'Ив. Казик, любопытный и болтливый, как все подростки, проказливый: и вечно хохочущий, мне вконец опротивел. А они, милые, все старались меня развлечь и безмолвно страдали, видя мое состояние и не умея его объяснить. Ганя, догадываясь ли о чем-то или не догадываясь, поскольку у нее было достаточно оснований верить, что я влюблен в Лелю Устжицкую, делала все, чтобы меня утешить. Однако я был так резок даже с ней, что, обращаясь ко мне, она слегка робела. Отец, сам отец, всегда столь суровый и требовательный, пытался меня развлечь, чем-нибудь заинтересовать, а попутно проникнуть в мою тайну. Неоднократно он заводил со мной разговоры, которые, по его мнению, должны были меня занимать. Однажды после обеда он вышел со мной во двор и, испытующе глядя на меня, спросил:

– Не кажется ли тебе иногда, – я давно хотел с тобой поговорить об этом, – не кажется ли тебе, что Селим уж слишком увивается вокруг Гани?

Рассуждая попросту, я должен был смутиться, попавшись, как говорится, на месте преступления. Но я был настроен так, что ни одним жестом не выдал впечатления, которое произвели на меня слова отца, и спокойно ответил;

– Нет. Я знаю, что это не так.

Меня кольнуло, что отец вмешивается в такие дела. Я полагал, что раз это касается меня одного, то мне одному и решать. ,

– Ты уверен в этом? – спросил отец.

– Уверен. Селим влюбился в Варшаве в какую-то пансионерку.

– Видишь ли, ведь ты опекун Гани и обязан ее оберегать.

Я понимал, что мой добрый отец говорил это только затем, чтобы, пробудив любовь во мне, чем-нибудь заинтересовать меня и вырвать из того мрачного круга мыслей, в котором я замкнулся, но, словно наперекор ему, я сказал угрюмо и равнодушно:

– Какой уж я опекун. Вас тогда не было здесь, поэтому Миколай вверил ее мне, но не я же настоящий опекун.

Отец поморщился, но, видя, что этим способом он со мной не добьется толку, попробовал другой. Пряча улыбку под седыми усами, он по-солдатски прищурил глаз, легонько потянул меня за ухо и не то по-приятельски, не то поддразнивая меня, спросил:

– А уж не вскружила ли тебе голову Ганя? Говори, мальчик, а?

– Ганя? Ничуть. Вот это было бы забавно!

Я лгал напропалую, но так гладко, что и сам был удивлен.

– Так, может, Леля Устжицкая? А?

– Леля Устжицкая кокетка!

Отец рассердился.

– А если ты не влюблен, какого же черта ты жмешься, как рекрут после первой муштры?

– Право, не знаю. Ничего со мной не случилось.

Но не только отец, а и ксендз Людвик, и даже мадам д'Ив, встревоженные моим состоянием, не скупилась на подобные расспросы, которыми лишь еще больше терзали меня и раздражали. Я горячился и выходил из себя из-за любого пустяка. Ксендз Людвик видел в этом черты проявляющегося с возрастом деспотического характера и, поглядывая па отца, говорил, многозначительно улыбаясь: «Сказывается порода!» Но при всем том случалось, что и он терял терпение. Несколько раз у меня происходили очень неприятные столкновения с отцом. Однажды за обедом, когда в пылу спора об аристократии и демократии я, погорячившись, заявил, что предпочел бы не родиться шляхтичем, отец приказал мне выйти из комнаты. Женщины расплакались, и два дня все в доме ходило как в воду опущенные. Что же касается меня, то я в ту пору не был ни аристократом, ни демократом, а просто был влюблен и несчастен. Ни на какие принципы, социальные теории и убеждения меня уже не хватало, и если я сражался, отстаивая те или иные взгляды, то делал это единственно от раздражения, неизвестно зачем и кому назло, точно так же как назло вступал с ксендзом Людвиком в религиозные споры, которые мы кончали, хлопая дверьми. Одним словом, я отравлял жизнь не только себе, но и всему дому; поэтому, когда Селим наконец вернулся после десятидневной отлучки, у всех словно камень свалился с груди.

Он приехал к нам в мое отсутствие: я шатался верхом по окрестностям. Домой я вернулся уже под вечер, и едва въехал во двор, как конюх, принимавший мою лошадь, сказал:

– Приехал панич из Хожелей.

Через минуту прибежал Казик с той же вестью.

– Я уже знаю,— ответил я жестко. — А где он?

– Кажется, в саду, с Ганей. Я пойду поищу его.

Мы вместе отправились в сад, но Казик убежал вперед, а я медленно пошел за ним, умышленно не торопясь приветствовать Селима.

Не прошел я и пятидесяти шагов, как на повороте аллеи снова увидел Казика: он поспешно возвращался ко мне.

Надо сказать, что Казик был большой шутник и вечно паясничал; давясь от смеха,

весь красный, он приложил палец к губам и уже издали делал какие-то странные жесты и гримасы, кривляясь, как обезьяна. Подойдя ближе, он тихо заговорил:

– Генрик! Ха-ха-ха! Тс-с!

– Что ты вытворяешь? – крикнул я с досадой.

– Тс-с! Мамой тебе клянусь! Ха-ха-ха! Селим в садовой беседке стоит на коленях перед Ганей. Мамой тебе клянусь!

Я схватил его за плечи и впился в них пальцами.

– Молчи! Оставайся здесь! Ни слова никому, понятно? Оставайся здесь, я пойду один, но молчи, ни слова никому, если тебе дорога моя жизнь!

Казик сначала все это принял юмористически, но, увидев, как мертвенная бледность покрыла мое лицо, очевидно, испугался и застыл на месте с разинутым ртом, а я как безумный бросился к увитой плющом беседке.

Проскользнув бесшумно и быстро, как змея, между кустов барбариса, которые окружали беседку, я подкрался к самой стене. Беседка была построена из тонких скрещивающихся брусьев, так что я мог и видеть, и слышать все. Мерзкая роль соглядатая мне вовсе не казалась мерзкой. Я осторожно раздвинул листья и настороженно прислушался.

– Тут кто-то есть поблизости! – донесся до меня тихий сдавленный шепот Гани.

– Нет, это листья колышутся на ветвях, – ответил Селим.

Я посмотрел на них сквозь зеленую завесу листвы. Селим уже не стоял на коленях, а сидел подле Гани на низенькой скамеечке. Она побледнела, глаза ее были закрыты, голова склонилась к нему на плечо, он обвил рукой ее стан и в упоении с нежностью прижимал к себе.

– Люблю тебя, Ганя! Люблю! – повторял он страстным шепотом и, нагнувшись, искал губами ее губы; она отворачивалась, как бы отказывая ему в поцелуе, но все же губы их приблизились, встретились и, слившись, не отрывались долго-долго, ах, мне казалось, целую вечность!

И еще мне казалось, что все, о чем им надо было сказать, они говорили поцелуями. Какая-то стыдливость удерживала и к от слов. У них достало смелости для поцелуев, но не хватало для разговоров. Царила мертвая тишина, и в этой тишине до меня доносилось только их учащенное, страстное дыхание.

Я ухватился руками за деревянную решетку беседки и боялся, что она разлетится вдребезги под моими судорожно сжавшимися пальцами. В глазах у меня потемнело, кружилась голова, земля ускользала из-под ног куда-то в бездонную глубину. Но, пусть хоть ценой жизни, я хотел знать, о чем они будут говорить; я снова овладел собой и, хватая воздух запекшимися губами, слушал, подстерегая каждый их вздох.

Тишина все еще длилась, наконец Ганя первая зашептала:

– Довольно же! Довольно! Я не смею смотреть вам в глаза. Идите отсюда!

И, отворачиваясь, она старалась вырваться из его объятий.

– О Ганя! Что со мной делается, как я счастлив! – восклицал Селим.

– Идемте. Сюда может кто-нибудь прийти.

Селим вскочил, глаза его сверкали, раздувались ноздри.

– Пусть приходит весь мир, – ответил он, – я люблю тебя и скажу это всем в глаза. Как это случилось, я не знаю. Я боролся с собой, страдал, потому что мне казалось, что тебя любит Генрик, а ты любишь его. Но теперь я ни на что не посмотрю. Ты любишь меня – значит, речь идет о твоём счастье. О Ганя, Ганя!

И тут снова прошелестел поцелуй, а потом заговорила Ганя мягким, словно ослабевшим голосом:

– Я верю, верю, пан Селим, но мне нужно так много вам сказать. Меня, кажется, хотят отправить за границу к матери Генрика. Вчера мадам д'Ив говорила об этом с его отцом: мадам д'Ив полагает, что это я являюсь причиной странного состояния пана Генрика. Они думают, что он влюблен в меня. Так ли это, я и сама не знаю. Бывают минуты, когда и мне так кажется. Но я его не понимаю. И я боюсь его. Чувствую, что он нам будет мешать, что он нас разлучит, а я... – и она закончила чуть слышным шепотом: – Я вас очень, очень люблю!

– Нет, Ганя! – вскричал Селим. – Никакие силы человеческие нас не разлучат. Если Генрик запретит мне тут бывать, я буду писать тебе. У меня есть человек, который всегда сможет передать тебе письмо. Да я и сам буду приезжать на тот берег пруда. Каждый день в сумерки выходи в сад. Но ты не уедешь. Если они захотят тебя отправить, я, как бог свят, не допущу твоей поездки. И прошу тебя, Ганя, даже не говори мне этого, потому что я с ума сойду! О моя любимая, любимая!

Схватив ее руки, он страстно прижал их к губам. Она порывисто поднялась со скамейки.

– Я слышу чьи-то голоса: сюда идут! – вскричала она.

Они покинули беседку, хотя никто не подходил и не подошел. Лучи заходящего солнца озаряли их золотым сиянием, но мне это сияние показалось красным, как кровь. Наконец и я медленно поплелся домой. Тотчас же я наткнулся: на Казика, который караулил на повороте аллеи.

– Они ушли. Я их видел, – прошептал он. – Скажи, что мне делать?

– Пали ему в голову! – взорвался я.

Казик заалел, как роза, глаза его загорелись фосфорическим светом.

– Хорошо! – ответил он.

– Стой! Не будь глупцом! Ничего не делай. Ни во что не вмешивайся и дай честное слово, что будешь молчать. Положись во всем па меня. Когда ты мне понадобишься, я скажу, но никому ни звука.

– Не проговорюсь, хоть бы меня убили.

С минуту мы шли молча. Казик, проникшийся серьезностью положения, в предчувствии грозных событий, к которым так и рвалось его сердце, то и дело вскидывал на меня сверкающие глаза и, наконец, не вытерпел:

– Генрик!

– Что?

Мы оба говорили шепотом, хотя никто нас не слышал.

– Ты будешь драться с Мирзой?

– Не знаю. Возможно.

Казик остановился и вдруг закинул руки мне на шею.

– Генрик! Золотой мой! Милый! Родной! Если ты хочешь драться с ним, позволь мне это сделать. Уж я-то с ним справлюсь. Дай, я попробую. Позволь, Генрик, позволь!

Казик просто бредил рыцарскими подвигами, но я в нем почувствовал брата, как никогда прежде, и, крепко прижав его к груди, сказал:

– Нет, Казик, я еще ничего не решил. И потом – он не согласится. Я еще не знаю, что будет. А пока вели поскорей оседлать мне коня. Я поеду вперед, перехвачу его на дороге в поговорю с ним. А ты тем временем карауль их, но не подавай виду, что тебе что-нибудь известно. Так вели мне оседлать коня...

– А оружие ты возьмешь с собой?

– Фи! Казик! Ведь у него нет при себе оружия. Нет! Я только хочу поговорить с ним. Ты не беспокойся и сейчас же иди в конюшню.

Казик мигом бросился выполнять мое поручение, а я медленно побрел домой. У меня было такое чувство, как будто меня обухом ударили по голове. По правде говоря, я не звал, что делать, как поступить. Мне просто хотелось кричать.

Пока у меня не было полной уверенности в том, что сердце Гани для меня утрачено, я жаждал ясности, мне казалось, что, если я буду знать наверное, так это или не так, с груди моей свалится камень; теперь несчастье подняло забрало – я смотрел в его холодный, леденящий лик, в его непроницаемые глаза, и в сердце моем снова зародилась неуверенность – не в постигшем меня несчастье, а во сто крат более мучительная – неуверенность в своих силах, в том, что я смогу побороть это несчастье.

Сердце мое было полно горечи, желчи и ярости. Голос совести, еще недавно звучавший в моей душе, призывал к самоотречению: «Пожертвуй собой, ради счастья Гани откажись от нее, прежде всего ты обязан заботиться о ее счастье!» Этот голос теперь совсем умолк. Ангелы умиления, тихой грусти и слез улетели прочь от меня. Я чувствовал себя червяком, которого затоптали, забыв, что у него есть жало. До этой минуты я покорно терпел несчастья, которые преследовали меня, как собаки волка, но теперь я, как загнанный, затравленный волк, показал им зубы. Какая-то новая действенная сила, имя которой было «месть», пробудилась в моем

сердце. Селим и Ганя внушали мне чувство, близкое к ненависти. «Жизни лишусь,— думал я,— лишусь всего, чего только можно лишиться на свете, но не допущу, чтоб они были счастливы». Эта мысль завладела мной, и я ухватился за нее, как осужденный на вечные муки хватается за крест. Я нашел цель в жизни — горизонт передо мной прояснился, и я снова вздохнул полной грудью, глубоко и свободно. Взволнованные и смятенные мысли обрели прежнюю стройность и со всей силой устремились в одном направлении, враждебном Селиму и Гане.

Вернувшись домой, я уже мог держаться спокойно и хладнокровно. В гостиной сидели мадам д'Ив, ксендз Людвик, Ганя, Селим и Казик, который, прибежав из конюшни, не отходил от них ни на шаг.

— Оседлана для меня лошадь? — осведомился я.

— Да,— ответил Казик.

— Ты проводишь меня? — спросил Селим.

— Могу. Я еду посмотреть, не испортилось ли сено в стогах. Казик,пусти меня на свое место.

Казик отошел в сторону, а я сел рядом с Селимом и Гапеей на диванчик, стоявший у окна. Невольно мне вспомнилось, как мы тут сидели втроем, давно-давно, сразу же после смерти Миколая, когда Селим рассказывал крымскую сказку о султанине Га-руне и волшебнице Ляле. Но тогда еще маленькая заплаканная Ганюлька прильнула ко мне своей золотой головкой и так уснула у меня на груди, а теперь эта же самая Ганя, пользуясь тем, что в гостиной стемнело, украдкой пожимала руку Селиму. Тогда нас троих связывало чувство нежной дружбы, теперь вступали в борьбу любовь и ненависть. Однако с виду все было спокойно: влюбленные улыбались друг другу, я был необычайно весел, и никто не догадывался, что таилось за этим весельем. Вскоре мадам д'Ив попросила Селима что-нибудь сыграть. Он поднялся, сел за рояль и заиграл мазурку Шопена, а я остался на диванчике вдвоем с Ганей. Я заметил, что она смотрит на Селима так, словно молится на него, и на крыльях музыки витает в мире грез, поэтому я решил спустить ее на землю.

— Не правда ли, Ганя,— начал я,— сколько талантов у Селима? И поет и играет.

— О да! — сказала она.

— И как хорош собой! Ты погляди на него сейчас.

Ганя взглянула на него. Селим сидел в полумраке, только голова его была освещена последними лучами вечерней зари; он возвел глаза к небу и в этом сиянии казался вдохновенным свыше и действительно в эту минуту был полон вдохновения.

— Не правда ли, Ганя, как он красив? — повторил я.

— Вы очень его любите?

— Ну, это ему не важно, а вот женщины его любят. Ах! Как его любила пансионерка Юзя!

Тревога омрачила лоб Гани.

– А он? – спросила она.

– Э! Сегодня он любит одну, завтра другую! Долго он никого не способен любить. Такая уж у него натура. И если он когда-нибудь скажет, что любит тебя, не верь, Ганя. – Тут я заговорил, подчеркивая каждое слово: – Ему будут нужны твои поцелуи, а не твое сердце, ты понимаешь?..

– Пан Генрик!

– Ах, верно! Что же я говорю? Ведь тебя это ничуть не интересует. А потом разве такая скромница, как ты, дала бы поцеловать себя чужому? Извини, Ганя, мне кажется, я тебя обидел одним лишь предположением. Ты бы этого никогда не позволила. Правда, Ганя, никогда?

Ганя вскочила и хотела уйти, но я схватил ее за руку и удержал насильно. Я старался казаться спокойным, но бешенство душило меня, словно клещами сжимая мне горло. Я чувствовал, что теряю самообладание.

– Отвечай же! – проговорил я, с трудом подавляя волнение. – Иначе я тебя не пущу!

– Но, пан Генрик, чего вы хотите? Что вы говорите?

– Я говорю... я говорю... – прошептал я, стискивая зубы, – я говорю, что стыда у тебя нет. Вот!

Ганя, обессилев, снова опустилась на диван; я взглянул на нее: бедняжка была бледна как полотно. Но сострадания к ней уже не было в моем сердце. Я схватил ее руку и, сжимая тонкие пальчики, продолжал:

– Слушай! Я готов был пасть к твоим ногам! Я любил тебя больше всего на свете...

– Пан Генрик!..

– Молчи: я видел и слышал все! Стыда у тебя нет! Ни у тебя, ни у него!

– О боже мой! Боже мой!

– Стыда у тебя нет! Я не осмеливался поцеловать краешек твоего платья, а он целовал твои губы. Ты сама хотела его поцелуев! Я презираю тебя, Ганя!.. Ненавижу тебя!

Голос замер у меня в груди. Я только тяжело дышал, жадно ловя воздух, потому что мне теснило грудь.

– Ты угадала, что я вас разлучу, – продолжал я, помолчав. – Хоть бы мне жизни пришлось лишиться, я разлучу вас, хоть бы мне пришлось убить тебя, и его, и себя. Это неправда – то, что я раньше тебе сказал. Он тебя любит, он бы тебя не покинул, но я вас разлучу.

– О чем это вы так оживленно беседуете? – неожиданно спросила мадам д'Ив, сидевшая в другом конце гостиной.

Была минута, когда я хотел вскочить и высказать вслух все, но опомнился и

ответил равнодушным тоном, хотя голос мой слегка прерывался:

– Мы поспорили, какая беседка в нашем саду красивее: увитая розами или плющом.

Селим сразу перестал играть, пристально поглядел на нас и проговорил с величайшим спокойствием:

– Я отдал бы все другие за увитую плющом.

– Вкус у тебя недурен, – сказал я. – А вот Ганя другого мнения.

– Это правда, панна Ганна? – спросил он.

– Да, – тихо проговорила она.

Я снова почувствовал, что не в силах дольше выносить этот разговор. Перед глазами у меня замелькали красные круги. Я вскочил, пробежал несколько комнат, влетел в столовую, схватил со стола графин с водой и вылил ее себе на голову. Затем, уже не сознавая, что делаю, грохнул графин об пол, так что он разбился вдребезги, и бросился в сени.

Обе лошади – моя и Селима – уже стояли оседланные у крыльца.

На минуту я еще забежал к себе в комнату, кое-как утер лицо, мокрое от воды, и отправился снова в гостиную.

В гостиной оказались только ксендз и Селим, которых я застал в страшном испуге.

– Что случилось? – спросил я.

– Гане сделалось дурно, она лишилась чувств.

– Что, как? – вскричал я, схватив ксендза за плечо.

– Как только ты ушел, она громко разрыдалась, а потом лишилась чувств. Мадам д'Ив увела ее к себе.

Не вымолвив ни слова, я бросился в комнату мадам д'Ив. Действительно после моего ухода Ганя разрыдалась и потеряла сознание, но припадок уже прошел. Увидев ее, я забыл обо всем, упал на колени перед ее кроватью и, не замечая мадам д'Ив, закричал как безумный:

– Ганя? Дорогая моя! Любимая! Что с тобой?

– Ничего! Теперь уже ничего! – ответила она слабым голосом, стараясь улыбнуться. – Теперь уже ничего. Право, ничего.

Я просидел у нее с четверть часа. Потом поцеловал ей руку и возвратился в гостиную. Нет, неправда! Не ненавидел я ее! Я любил ее больше, чем когда-либо прежде! Зато, увидев в гостиной Селима, я готов был его задушить. О! Вот его, его я ненавидел теперь всей душой. И он, и ксендз тотчас подбежали ко мне.

– Ну! Как там?

– Теперь уже хорошо.

Затем, обернувшись к Селиму, я сказал ему на ухо:

– Поезжай домой. Завтра мы встретимся у кургана на опушке леса. Мне надо с тобой поговорить. Я не хочу, чтобы ты сюда приезжал. Между нами все кончено.

Кровь бросилась в лицо Селиму.

– Что это значит?

– Завтра я дам тебе объяснение. Сегодня не желаю. Понимаешь? Не желаю. И так, завтра в шесть утра.

Переговорив с ним, я снова поспешил в комнату мадам д'Ив. Селим побежал было за мной, но, ступив несколько шагов, остановился в дверях. Через минуту я увидел в окно, как он уехал.

Около часа я сидел в комнате, смежной с Ганиной. Зайти к ней я не мог, потому что, устав от слез, она уснула. Мадам д'Ив и ксендз Людвик пошли к отцу и о чем-то с ним совещались. Я просидел один до чая.

За чаем я заметил, что и у отца с ксендзом, и у мадам д'Ив появилось какое-то необычное, полутаинственное, полусуровое выражение лица. Должен признаться, что меня охватило беспокойство. Неужели они о чем-то догадались? Это было вполне правдоподобно: как-никак между нами, молодежью, сегодня произошло нечто из ряда вон выходящее.

– Я получил утром письмо от матери, – сказал мне отец.

– Как ее здоровье?

– Очень хорошо. Но ее беспокоит то, что происходит дома. Она хочет поскорей вернуться, однако я на это не могу согласиться: ей необходимо провести там еще месяца два.

– Что же матушку беспокоит?

– Ты ведь знаешь, что в деревне свирепствует оспа, а я имел неосторожность сообщить ей об этом.

По правде говоря, я понятия не имел, что в деревне вспыхнула эпидемия. Возможно, впрочем, что я и слышал об оспе, но не обратил внимания, и слух этот прошел мимо моих ушей.

– А вы не собираетесь навестить матушку? – спросил я «отца».

– Посмотрю. Мы еще поговорим об этом.

– Вот уже скоро год, как ваша дражайшая супруга живет за границей, – заметил ксендз Людвик.

– Этого требует ее здоровье. Следующую зиму ей уже можно будет провести здесь. Она пишет, что чувствует себя лучше, только тоскует без нас и беспокоится, –

ответил отец.

Потом, обернувшись ко мне, он прибавил:

– После чая зайди ко мне в комнату. Я хочу поговорить с тобой.

– Хорошо, отец.

Я встал из-за стола и вместе со всеми пошел проведать Ганю. Она уже вполне оправилась, даже хотела встать, но отец не позволил. Около десяти вечера какая-то бричка с грохотом подъехала к крыльцу. Это был доктор Станислав, который полдня провел в деревенских хатах. Внимательно осмотрев Ганю, доктор сказал, что она не больна, но нуждается в отдыхе и развлечениях. Он запретил ей учиться и рекомендовал приятно проводить время и не грустить.

Отец спросил его совета по поводу младших девочек: можно ли держать их дома или лучше вывезти, пока не пройдет эпидемия. Доктор успокоил его, заверив, что опасности нет; он нарочно сам написал об этом матери, чтобы она не волновалась. А сейчас он хотел отправиться на покой, потому что валился с ног от усталости. Со свечой в руке я проводил его к себе во флигель, где он должен был ночевать; мне и самому захотелось уже лечь, так как я был непередаваемо утомлен впечатлениями этого дня, но вошел Франек и сказал:

– Пан просит вас пожаловать, панич.

Я сразу же пошел. Отец сидел у себя в комнате за столом, на котором лежало письмо от матери. В комнате были также ксендз Людвик и мадам д'Ив.

Сердце у меня тревожно забилося, как у обвиняемого, который должен предстать перед судом, настолько я был уверен, что они будут расспрашивать меня о Гане. Однако отец заговорил со мной о более важных делах. Ради спокойствия матери он решил отправить сестер вместе с мадам д'Ив к дяде в Копчаны. Но в таком случае Гане пришлось бы остаться с нами одной. А это отец считал нежелательным. Тут он сказал, что знает о недоразумениях, возникших между нами, молодежью, но не хочет в них вмешиваться, хотя относится к ним весьма неодобрительно, однако он надеется, что с отъездом Гани они прекратятся.

Все трое испытующе посмотрели на меня и немало удивились, что я не только не впал в отчаяние и не стал противиться отъезду Гани, а даже обрадовался, узнав об этом решении. Я же попросту рассудил, что отъезд ее равносителен разрыву всяких отношений с Селимом. К тому же в сердце моем, как блуждающий огонек, промелькнула надежда, что именно мне, а не кому-нибудь другому поручат отвезти Ганю к матери.

Я знал, что отец не мог ехать, потому что не за горами была жатва; знал, что ксендз Людвик никогда не бывал за границей, следовательно, оставался только я. Это была слабая надежда, но

и она, тоже как блуждающий огонек, скоро угасла: отец сообщил, что на днях едет на морские купанья пани Устжицкая, которая уже согласилась взять Ганю с собой и отвезти ее к матери. Ганя должна была ехать послезавтра ночью. Это сильно меня опечалило, и все-таки я предпочитал, чтобы она уехала, пусть даже без меня, только бы не оставалась здесь. Должен, кстати, признаться, что мне доставляла огромное удовольствие мысль о том, что сделает и как примет эту весть Селим,

когда я ему завтра ее преподнесу.

Х

На следующий день в шесть утра я подъехал к кургану, где уже ждал меня Селим. По дороге туда я дал себе торжественное обещание сохранять спокойствие.

– Что ты хотел мне сказать? – спросил Селим.

– Я хотел тебе сказать, что знаю все. Ты любишь Ганю, а она тебя. Мирза! Ты поступил недостойно, расставив силки ее сердцу. И это я хотел тебе прежде всего сказать.

Селим побледнел, но внутри его все бушевало. Он подъехал ко мне вплотную, так что лошади наши едва не столкнулись, и спросил:

– Но почему? Почему? Думай, что говоришь!

– Во-первых, потому, что ты мусульманин, а она христианка, и ты не можешь на ней жениться.

– Я перейду в христианство.

– Отец тебе не позволит.

– О! Позволит, наконец...

– Наконец, существуют и другие препятствия. Хоть бы ты даже перешел в христианство, ни я, ни отец мой никогда и ни за что Ганю тебе не отдадим. Понимаешь?

Мирза перегнулся ко мне с седла и ответил, отчеканивая каждый слог:

– А я вас не стану спрашивать! Это ты, в свою очередь, понимаешь?

Я был еще спокоен и весть об отъезде Гани приберегал под конец.

– Она не только не будет твоей, – ответил я холодно и так же отчеканивая, – но ты ее больше не увидишь. Я знаю, что ты собирался посылать ей письма; предупреждаю, что буду следить за этим и в первый же раз прикажу высечь твоего посланца розгами. И сам ты тоже не будешь больше к нам приезжать. Я тебе запрещаю!

– Посмотрим! – ответил он, задыхаясь от гнева. – А теперь позволь мне сказать. Не я, а ты поступаешь недостойно. Мне уже все ясно. Я спрашивал тебя, любишь ли ты ее. Ты ответил: нет! Я хотел устранился, пока еще было возможно, ты отвел мою жертву. Кто же виноват? Ты лгал, что не любишь ее. Из самолюбия, из эгоистической гордости ты стыдился признаться, что любишь. Ты любил впотьмах, я при свете. Ты любил ее тайком, я открыто. Ты отравлял ей жизнь, я старался ошастливить. Кто же виноват? Я бы устранился, видит бог, я бы устранился. Но теперь уже поздно. Теперь она любит меня, и слушай, что я тебе скажу: вы можете запретить мне бывать в вашем доме, можете перехватывать мои письма, а все-таки я клянусь, что не отрекусь от Гани, что никогда ее не забуду, что буду любить ее вечно и разыщу всюду. Я действую прямо и честно, но я люблю, люблю ее больше

всего на свете, вся моя жизнь только в этой любви, без нее я бы умер. Я не хочу вносить несчастье в ваш дом, но теперь во мне проснулись какие-то силы, которых, я сам страшусь. Я готов на все. О! Если вы обидите Ганю...

Речь его лилась неудержимо, он побледнел и стискивал зубы. Могучее чувство охватило эту пламенную восточную натуру, и от каждого его слова веяло страстью, как жаром от огня, но я не хотел с этим считаться и отвечал холодно и решительно:

– Не для того я приехал сюда, чтобы выслушивать твои излияния. Угрозы твои я презираю и повторяю тебе еще раз: Ганя никогда не будет твоей.

– Я еще не все сказал, – продолжал Селим. – Как и насколько я люблю Ганю, я не стану говорить: я не способен это передать, а ты понять. Но я клянусь тебе, что при всей моей любви, если бы она любила тебя, в душе моей нашлось бы достаточно благородства, чтобы навсегда отказаться от нее. Генрик, ведь мы должны думать о ней! Ты всегда был великодушен. Так послушайся же меня, откажись от нее, а потом требуй хоть моей жизни. Вот рука моя, Генрик! Ради Гани, помни: ради Гани!

И он потянулся ко мне с распростертыми объятиями, но я осадил коня.

– Заботу о ней предоставь мне и моему отцу. Мы уже о ней подумали. Имею честь сообщить тебе, что Ганя послезавтра уезжает за границу, и ты ее больше не увидишь. А теперь прощай.

– А-а! Если так, то посмотрим!

– Посмотрим!

Я повернулся назад и, не оглядываясь, поскакал домой.

Невесело было у нас в доме эти два дня, остающиеся до отъезда Гани. Мадам д'Ив с сестрами уехала на другой же день после разговора с отцом. Остались только я, отец, ксендз Людвик и Ганя. Бедняжка знала уже, что должна уехать, и весть эту приняла с отчаянием. Она, видимо, ждала, что я поддержу ее, и возлагала на меня последнюю надежду, а я, догадываясь об этом, старался ни на минуту не оставаться с ней наедине. Я достаточно знал себя и понимал, что слезами она добьется от меня всего, чего захочет, а я ни в чем не смогу ей отказать. И я взбегал даже ее взгляда, потому что не мог вынести этой мольбы о пощаде, которая выражалась в ее глазах, когда она смотрела на меня или на отца.

К тому же, если б я даясе захотел заступиться за нее перед отцом, это все равно ни к чему бы не привело: отец никогда не отступал от принятого решения. Удерживало меня в отдалении от Гани и чувство стыда. Я стыдился и последнего разговора с Мирзой, и недавней моей суровости с Ганей, и той роли, которую во всем этом играл, и, наконец, того, что, вблизи избегая ее, я в то же время следил за ней издали. Но у меня были причины за ней следить. Я знал, что Мирза, как хищная птица, кружит день и ночь вокруг нашего дома; на другой же день после разговора с Селимом я видел, как Ганя поспешно прятала какой-то исписанный листок бумаги – несомненно, письмо от него или ему. Я предполагал, что они даже будут видеться, и в сумерки подстерегал Селима, но не смог его поймать. Два дня пролетели быстро, как стрела, пущенная из лука. В день, назначенный для отъезда Гани в Устжицу, отец, пожелавший купить на ярмарке лошадей, под вечер уехал в город, взяв с собой Казика. Проводить Ганю должны были ксендз Людвик и я.

Между тем наступала решающая минута, и я заметил, что с ее приближением Ганей овладело какое-то странное беспокойство. Она изменилась в лице и дрожала всем телом. Иногда она вздрагивала, как будто испугавшись чего-то. Наконец село солнце, село как-то мрачно – за густые, желтые, клубящиеся тучи, которые предвещали грозу и град. Время от времени в западной части небосклона слышались отдаленные раскаты, словно громкий ропот надвигающейся грозы. Воздух был насыщен электричеством, было душно и парило. Птицы попрятались под кровлями и на деревьях, только ласточки беспокойно проносились над землей; не шелестели листья и, точно обессилив, поникли на ветвях; со скотного двора доносилось жалобное мычание вернувшихся с поля коров. Вся природа была охвачена какой-то угрюмой тревогой. Ксендз Людвик велел закрыть окна. Я хотел до грозы поспеть в Устжицу и поднялся, чтобы приказать кучеру скорее запрягать лошадей. Когда я выходил из комнаты, Ганя тоже встала, но тотчас же снова опустилась на стул. Я взглянул на нее: она то краснела, то бледнела.

– Что-то душно мне, душно! – вдруг вскричала она и, сев у окошка, стала обмахиваться платком. Странное ее беспокойство заметно усилилось.

– Может быть, переждем, – предложил ксендз Людвик, – и полчаса не пройдет, как разразится гроза.

– За полчаса мы доедем до Устжицы, – ответил я. – Да и вообще кто знает, не пустые ли это страхи.

И я побежал в конюшню. Лошадь для меня уже была оседлана, но, как всегда, замешкались с запряжкой. Прошло с полчаса, пока кучер подал к крыльцу экипаж, а я подъехал верхом. Гроза, казалось, совсем нависла, но я больше не хотел откладывать. Сейчас же вынесли баулы Гани и привязали к задку экипажа. Ксендз Людвик в белом полотняном кителе ждал уже на крыльце с огромным, тоже белым зонтом.

– Где Ганя? Она готова? – спросил я.

– Готова. Уже с полчаса, как она ушла в часовню помолиться.

Я отправился в часовню, но Гани там не оказалось, из часовни я побежал в столовую, из столовой в гостиную: Гани не было.

– Ганя! Ганя!

Никто не откликнулся.

Слегка встревожившись, я поспешил к ней в комнату, думая, что ей стало дурно. В комнате ее, обливаясь слезами, сидела старуха Венгровская.

– Что, пора уже прощаться с паненкой?

– А где паненка? – спросил я, теряя терпение.

– Пошла в сад.

Побежал и я в сад.

– Ганя, Ганя! Пора ехать!

Тишина...

– Ганя, Ганя!

Словно в ответ мне беспокойно зашелестели листья под первым порывом бури, упало несколько крупных капель дождя, и снова воцарилась тишина.

«Что же это значит?» – спросил я себя и почувствовал, что от ужаса у меня волосы шевелятся на голове,

– Ганя, Ганя!

Вдруг мне послышалось, что она отозвалась с другого конца сада. Я вздохнул с облегчением. «Ах! Какой я глупец!» – подумал я и бросился в ту сторону, откуда донесся голос.

Но не нашел никого и ничего.

С той стороны сад был огорожен забором, а за ним тянулась дорога, ведущая к овчарне, которая стояла среди поля. Я вскарабкался на забор и посмотрел на дорогу: она была пустынна, только Игнац, мальчишка со скотного двора, пас гусей во рву, у самого забора.

– Игнац!

Мальчик, сняв шапку, подбежал к забору.

– Ты не видел паненку?

– Видал. Она только что вон туда проехала.

– Что? Как? Куда поехала?

– Да к лесу, с паничем из Хожелей. О, да как еще ехали! Во всю мочь лошадей гнали.

«Иисусе! Мария! Ганя убежала с Селимом!»

У меня потемнело в глазах, а потом словно молнией озарило. Я вспомнил и беспокойство Гани, и письмо, которое видел у нее в руке. Значит, все это было условлено? Мирза ей писал и виделся с ней. А для побега они улучили минуту перед самым отъездом, зная, что в это время все в доме будут заняты. «Иисусе! Мария!» Холодный пот выступил у меня на лбу, и волосы встали дыбом. Не помню, как я очутился на крыльце.

– Коня мне! Коня! – крикнул я страшным голосом.

– Что случилось? Что случилось? – испугался ксендз Людвик.

Но ответил ему лишь удар грома, который раздался в эту минуту. Ветер засвистел у меня в ушах от бешеной скачки. Выехав в липовую аллею, я повернул к дороге, по которой они бежали, перемахнул через один забор, потом через другой и помчался

дальше. Следы были ясно видны. Между тем разразилась гроза, стемнело; черные клочья туч были исчерчены яркими зигзагами молний; минутами все небо обращалось в сплошное пламя, а потом еще сильнее сгущался мрак; дождь лил ручьями. Придорожные деревья судорожно извивались из стороны в сторону. Как безумный хлестал я коня, колот его шпорами, и он стал хрипеть и стонать, и я тоже хрипел от бешенства. Припав к его шее, я искал следы на дороге, не сознавая и не думая ни о чем другом. Так я доскакал до леса. В эту минуту гроза обрушилась с новой силой. Какое-то неистовство охватило небо и землю. Лес колыхался, как нива, и размахивал черными ветвями, эхо раскатов разносилось во мраке, отдаваясь от сосны к сосне; удары грома, шум листвы на ветвях, треск ломающихся сучьев – все это смешивалось в какую-то адскую музыку. Я уже не различал следов и как ветер летел вперед. Только выехав из лесу, я их снова увидел при свете молний, но одновременно с ужасом заметил, что конь мой храпит все сильнее и замедляет бег. Я с удвоенной яростью подстегнул его хлыстом. Сразу же за лесом начинались пески – бескрайнее песчаное море, которое я мог объехать стороной, а Селим неизбежно должен был пересечь. Это могло задержать беглецов.

Я поднял глаза к небу. «Господи! Сделай так, чтобы я их догнал, а потом убей меня, если хочешь!» – взывал я в отчаянии. И молитва моя была услышана. Красная молния вдруг разорвала мрак, и при ее кровавом свете я увидел удаляющуюся бричку. Я не успел разглядеть лица, но уже не сомневался, что это они. Нас разделяло еще с полверсты, но ехали они не слишком быстро, так как в темноте по размытой дождем дороге Селим вынужден был править очень осторожно. Из груди моей вырвался громкий крик, в котором слились бешенство и радость. Теперь они уже не могли скрыться.

Селим оглянулся, тоже крикнул и принялся хлестать кнутом испуганных лошадей. Снова блеснула молния, и Ганя узнала меня. Я видел, как она с отчаянием ухватилась за Селима и как он ей что-то сказал. Через несколько секунд я приблизился настолько, что мог слышать слова Селима.

– У меня при себе оружие! – донесся его голос в темноте. – Не приближайся ко мне: застрелю!

Но я ни на что не обращал уже внимания и подвигался все ближе и ближе.

– Стой! – кричал Селим. – Стой!

Я был едва в пятнадцати шагах от них, во с этого места дорога становилась ровнее, и Селим опять пустил лошадей вскачь. На минуту расстояние между нами увеличилось, но потом я снова стал их догонять. Тогда Селим обернулся и направил на меня пистолет. Он был страшен, но целился спокойно. Еще мгновение – и я бы ухватился за бричку. Вдруг загредел выстрел... конь мой отпрянул в сторону, проскакал еще несколько шагов, потом передние ноги его подкосились, я заставил его подняться, он присел на задние и, тяжело захрапав, рухнул наземь вместе со мной.

Я мгновенно вскочил и во всю мочь бросился бежать за ними, но усилия мои были напрасны. Бричка уносилась все дальше и дальше; потом я уже ее увидел, лишь когда молния разорвала тучи. Она исчезла вдаль, во мраке, как последний проблеск надежды. Я хотел закричать, но не мог: у меня перехватило дыхание. Стук колес слышался все глуше, наконец я споткнулся о камень и упал.

Однако я заставил себя подняться.

– Уехали! Уехали! Скрылись! – повторял я вслух, а что делалось у меня в душе, я уж и сам не знаю. Один, среди ночи, в грозу, я был совершенно бессилён. Этот дьявол Мирза победил меня. Ах! Если бы Казик не уехал с отцом, если бы мы вдвоем пустились в погоню, а теперь... Что ж будет? – Что же теперь будет? – громко закричал я, чтобы услышать собственный голос и не сойти с ума. Мне почудилось, что ветер смеется надо мной и свистит: «Ты тут застрял посреди дороги, без коня, а он там с нею». Так завывал ветер, и поддразнивал меня, и хохотал. Я медленно пошел назад, к своему коню. Из ноздрей его текла струйка черной, сгустившейся крови, но он еще был жив и дышал, подняв на меня меркнувший взгляд. Я сел рядом, припал к нему головой, и мне показалось, что я тоже умираю. А ветер все свистел-надо мной и, смеясь, повторял: «Он там с нею!» Минутами мне мерещилось адское громыхание брички, уносившей во мрак мое счастье. А ветер свистел: «Он там с нею!» Мной овладело странное оцепенение. Как долго оно длилось – не знаю. Когда я очнулся, гроза уже прошла. По небу быстро скользили светлые стайки легких облачков, а в разрывах между ними сипела лазурь и ярко светил месяц. В полях поднимался туман. Мертвый мой конь, успевший уже остыть, один напоминал мне о том, что произошло. Я стал осматриваться по сторонам, стараясь понять, где нахожусь. Справа я заметил далекие огоньки и поспешил туда. Это оказалась Устжица.

Я решил пойти к пану Устжицкому и поговорить с ним. Сделать это было нетрудно, тем более что жил пан Устжицкий не в самом доме, а в отдельном флигельке, где проводил большую

часть дня и даже ночевал. Окна его еще светились. Я постучал в дверь.

Он сам мне отпер и в ужасе отшатнулся.

– Комедия! – пробормотал он. – На кого ты похож, Генрик!

– Молнией убило моего коня под самой Устжицей. Мне не осталось ничего иного, как идти сюда.

– Во имя отца и сына! Да ты совсем промок, иззяб. Да сейчас уже ночь на дворе. Комедия! Я велю принести тебе поесть и переодеться;

– Нет, нет! Я хочу немедленно отправиться обратно.

– Ну, вот! А почему Ганя не приехала? Жена уезжает завтра в два часа. Мы думали, что вы пришлете ее с вечера.

Я вдруг решился рассказать ему все, так как нуждался в его помощи.

– Сударь! – начал я. – У нас стряслась беда. Я надеюсь, что вы не откроете этого никому: ни своей супруге, ни дочери, ни гувернанткам. Дело касается чести нашего дома.

Я знал, что он никому не расскажет, к тому же трудно было рассчитывать, что удастся скрыть происшедшее, поэтому я предпочел предупредить его, чтобы в случае надобности он мог объяснить, как было дело. И я рассказал ему все, умолчав лишь о том, что и сам был влюблен в Ганю.

– А., так ты. будешь драться с Селимом? Комедия! А? – вскричал он, выслушав

меня до конца.

– Да. Я хочу драться завтра же. Но еще сегодня я должен снова пуститься в погоню и прошу вас дать мне самых резвых лошадей.

– Погоню продолжать незачем. Далеко они не могли уехать. Поколесили, поколесили кругом, да и вернулись в Хожеле. Куда ж им еще бежать? Комедия! Приехали в Хожеле и бросились в ноги старому Мирзе. А что же делать? Ну, Селима старый. Мирза, верно, запер в чулан, а панну.., панну отвезет к вам. Комедия, а? Но Ганя-то, Ганя! Ну-ну!

– Пан Устжицкий!

– Ну-ну! Не сердись, мой мальчик! Я-то не стану ее винить. А вот мои дамы – это другое дело, Но что же мы время теряем даром?

– Да, да! Не будем терять время!

Устжицкий с минуту раздумывал.

– Мне уже ясно, как действовать. Я, не мешкая, еду в Хожель, а ты скачи домой, а еще лучше – жди здесь. Если Ганя в Хожелях, я ее заберу и отвезу к вам. А вдруг мне ее не отдадут? Комедия! И хочу быть со старым Мирзой, когда он ее повезет: уж очень горяч твой отец. Он, чего доброго, вызовет старика на дуэль, а тот ни в чем не виноват. А?

– Отца нет дома.

– Тем лучше! Тем лучше!

Пан Устжицкий хлопнул в ладоши.

– Янек! Поди сюда!

Вошел камердинер.

– Лошадей с бричкой мне через десять минут! Понял?

– А для меня лошадей? – напомнил я.

– И лошадей для пана. Комедия, почтеннейший!

Несколько минут мы оба молчали. Наконец я заговорил:

– Вы разрешите, я напишу Селиму? Я бы предпочел послать ему письменный вызов.

– Почему?

– Боюсь, что старый Мирза не позволит ему драться. Посадит его на несколько дней под замок и решит, что с него достаточно. А мне этого мало! Мало! Мало! Но если Селим уже сидит взаперти, вы его не увидите; через старика передать вызов нельзя, а письмо можно кому-нибудь оставить. Отцу я тоже не скажу, что хочу драться. Он может вызвать старика, а старик не виноват. А после нашего с Селимом поединка в этом уже не будет смысла. Вы же сами сказали, что я должен с ним

драться.

– Да, так я полагаю! Драться, драться! Для шляхтича это всегда самое верное средство, а старик ли, молодой ли – это все равно! Для кого другого – комедия! Но не для шляхтича. Ну, пиши! Ты прав!

Я сел и написал следующее:

«Ты низкий человек. Этим письмом я даю тебе пощечину. Если ты не придешь завтра к хате Ваха с пистолетом или саблей, покажешь себя последним трусом, каким ты, наверное, и являешься».

Запечатав письмо, я вручил его пану Устжицкому. Затем мы оба вышли во двор, так как брички для нас уже были поданы. Перед самым отъездом мне вдруг пришла в голову ужасная мысль.

– Сударь! – окликнул я Устжицкого. – А если Селим увез Ганю не в Хожеле?

– Если не в Хожеле, то он выиграл время: сейчас ночь, тут пятьдесят дорог во все стороны и... ищи ветра в поле. Да куда он ее повезет?

– В город N.

– Шестнадцать миль без перекладных? Ну, в таком случае можешь не беспокоиться. Комедия, а? В таком случае завтра, нет, сегодня же я поеду в N., но сначала все-таки в Хожеле; повторяю тебе: можешь не беспокоиться.

Через час я уже подъезжал к дому. Выла ночь, даже поздняя ночь, но везде в окнах мелькали огоньки. Видно, люди ходили с огнем из комнаты в комнату. Когда моя бричка загремела у крыльца, скрипнула дверь, и в сени вышел ксендз Людвик со свечой в руке.

– Тише! – шепнул он мне, приложив палец к губам,

– Ганя? – взволнованно спросил я.

– Говори тише! Ганя уже здесь. Старый Мирза ее привез. Идем ко мне, я все тебе расскажу.

Мы пошли в комнату ксендза.

– Где же ты был?

– Я гнался за ними. Мирза пристрелил моего коня. А отец здесь?

– Вернулся сейчас же после отъезда старого Мирзы. О, несчастье! Несчастье! Теперь при нем доктор. Мы думали, с ним сделается удар. Он хотел немедленно ехать с вызовом к старому Мирзе. Не ходи туда сейчас: отцу вредно волноваться. А завтра упроси его не вызывать Мирзу. Это тяжкий грех, тем более что старик не виноват. Селима он избил и запер, а Ганю сам привез сюда. Людям приказано молчать. Счастье еще, что он не застал отца.

Оказалось, что старик Устжицкий все великолепно предвидел.

– Как Ганя?

– Вымокла до нитки. У нее жар. Отец страшно ее бранил. Бедное дитя!

– А доктор Стась видел ее?

– Видел и велел немедленно уложить в постель. При ней старуха Венгровская. Подожди меня здесь. Я пойду к отцу, скажу ему, что ты приехал. Он уже разослал за тобой лошадей во все стороны. Казика тоже нет: поехал тебя искать. Боже! Боже всемогущий, что тут творилось!

С этими словами ксендз отправился к отцу, а я не мог усидеть в его комнате и побежал к Гане. Я не хотел ее видеть, о нет! Это стоило бы мне слишком много. Но я хотел увериться, что она действительно возвратилась и снова находится в безопасности, под нашим кровом, вблизи от меня, укрытая от бури и страшных событий нынешнего дня. Странные чувства волновали меня, когда я подходил к ее комнате. Не гнев и ненависть переполняли мое сердце, а тяжелая, глубокая скорбь и огромная невыразимая жалость к этой беззащитной, несчастной жертве безумства Селима. Она представлялась мне голубкой, которую унес ястреб. Ах, бедняжка! Сколько ей пришлось перенести унижений, какой стыд она должна была испытать при встрече со старым Мирзой в Хожелях! Я дал себе клятву никогда не огорчать ее ни малейшим упреком и держаться с ней так, словно ничего не произошло.

Когда я подошел к ее комнате, отворилась дверь, и показалась старуха Венгровская. Я остановил ее вопросом:

– Что, спит паненка?

– Не спит, не спит, бедняжка, – ответила бабуся. – Ох, панич мой золотой, кабы вы знали, что только тут было! Как пан-то наш гаркнет на паненку (тут старуха Венгровская принялась кончиком фартука утирать слезы), ну, думаю, тут она, горемычная, и помрет на месте. А уж страху-то она натерпелась, а уж вымокла, о Иисусе! Иисусе!

– Ну, а теперь как она себя чувствует?

– Вот посмотрите, паничек, не миновать ей захворать от всех этих напастей. Хорошо, хоть доктор под рукой.

Я велел Венгровской сейчас же снова идти к Гане и не закрывать за собой дверь, потому что хотел хотя бы издали взглянуть на нее. Из темноты я действительно увидел Ганю в полуоткрытую дверь; она сидела на постели в ночном белье. На щеках ее горел яркий румянец, глаза блестели; я заметил также, что она слегка задыхается. Очевидно, у нее был жар.

Я заколебался, входить или не входить, но в эту минуту ксендз Людвик тронул меня за плечо.

– Отец тебя зовет, – сказал он.

– Ксендз Людвик! Она больна!

– Сейчас доктор снова зайдет к ней. А ты пока поговори с отцом. Ступай, ступай; уже поздно.

– Сколько времени?

– Час ночи.

Я хлопнул себя по лбу. Да ведь в пять утра я должен драться с Селимом.

XI

После разговора с отцом, который продолжался около получаса, я отправился к себе во флигель, но уже не стал ложиться. Я рассчитал, что должен выйти из дому не позднее четырех, чтобы успеть к пяти дойти до хаты Ваха; следовательно, у меня осталось меньше трех часов. К тому же вскоре ко мне зашел ксендз Людвик посмотреть, не захворал ли я после этой безумной погони и сменил ли промокшую одежду. Но мне было все равно, промок я или не промок. Ксендз настаивал, чтобы я немедленно улегся в постель, а между тем сам разговорился, и так прошел еще час.

Он снова и очень подробно передал мне рассказ старого Мирзы. Из его рассказа вытекало, что Селим просто совершил безумный поступок, но, как сам он объяснял отцу, у него из было другого выхода. Селим полагал, что после побега отцу его только и останется благословить их, а нам – отдать ему Ганю. Узнал я также, что уже после разговора со мной он продолжал писать Гане и даже виделся с ней и тогда именно уговорил ее бежать. Ганя не отдавала себе отчета в последствиях этого шага, тем не менее инстинктивно противилась ему всеми силами; однако Селим опутал ее своей любовью и своими мольбами. К тому же он представил ей побег как обыкновенную поездку в Хожеле, где они соединятся навеки и будут счастливы. Он уверил Ганю, что потом отвезет ее обратно к нам, но уже в качестве своей невесты, что отец мой не станет возражать, а я вынужден буду согласиться и – главное – легко утешусь подле Лели Устжицкой в Устжице. Наконец, он заклинал Ганю, упрасивал и молил. Он

говорил, что ради нее готов пожертвовать всем, даже жизнью, что он не вынесет разлуки, утопится, повесится или пустит себе пулю в лоб. А потом бросился к ее ногам и добился того, что девочка согласилась. Однако, когда настало время отъезда и они двинулись в путь, Ганя испугалась и со слезами стала молить его вернуться, но тогда, по собственному его признанию, он уже забыл обо всем на свете и не захотел с ней расстаться.

Так рассказал ксендзу Людвику старый Мирза, быть может, желая его убедить, что хотя это и был безумный шаг, но отважился на него Селим с самыми благими намерениями. Ксендз Людвик принял это во внимание и не разделял гнева отца, которого возмутила неблагодарность Гани. По мнению ксендза, не считавшего ее неблагодарной, Ганя была лишь заблудшей, которую свела с пути истинного греховная мирская любовь. По этому поводу ксендз преподал и мне несколько назидательных наставлений, а я вовсе не ставил Гане в вину, что любовь ее была мирской, но жизнь бы отдал за то, чтоб она обратилась в другую сторону. Ганя возбуждала во мне глубокое сострадание, а вместе с тем любовь к ней так укоренилась в моем сердце, что если бы мне пришлось ее вырвать, оно бы, наверное, разорвалось. Я опять попросил ксендза заступиться за Ганю перед отцом и так ему объяснить ее поступок, как он мне его объяснил, после чего мы простились, потому что я хотел остаться один.

Едва ксендз ушел, я снял со стены ту прославленную старинную саблю, которую мне подарил отец, и достал пистолеты, чтобы все приготовить к завтрашней дуэли. Об

этой дуэли я еще не имел ни времени, ни охоты подумать. Относительно Селима я не сомневался, что он меня не обманет. Я бережно протер саблю мягкой ватой; на широком синеватом клинке, несмотря на двухсотлетнюю давность, не было ни единого пятнышка, хотя в былые дни немало изрубил он шлемов и кольчуг, немало крови испил шведской, татарской и турецкой. Золотая надпись «Иисусе, Мария!» ярко блистала; я попробовал лезвие: тонкое оно было, как краешек шелковой ленты; голубая бирюза на рукояти, казалось, улыбалась, словно прося, чтобы ее схватила и согрела рука.

Покончив с саблей, я взялся за пистолеты, не зная, какое оружие выберет Селим; пропитал маслом пыжи, смазал замки и осторожно зарядил. Уже брезжило. Было три часа. Приготовив оружие, я бросился в кресло и принялся размышлять. Из всего хода событий и того, что рассказал мне ксендз Людвик, явствовало одна несомненная истина — что во всем происшедшем был и я немало виноват. Я задал себе вопрос: исполнил ли я, как должно, обязанности опекуна, которые возложил на меня старый Миколай, и ответил: нет. Думал ли я действительно о Гане, а не о себе? Я ответил: нет! Чьи интересы я защищал во всей этой истории? Только свои. А Ганя, это кроткое, беззащитное создание, была тут, как голубка, попавшая в гнездо хищных птиц. И не мог отделаться от безмерно горестной мысли, что мы с Селимом вырывали ее друг у друга, как заманчивую добычу, и в этой драке, где хищники думали только о себе, больше всего пострадала она, хотя меньше всего была виновата. И вот через час или два мы будем в последний раз драться за нее. Тяжки и горестны были эти мысли. Весь наш шляхетский мир оказался для нее слишком суровым. К несчастью, мать моя давно уехала из дому, а у нас, мужчин, были слишком грубые руки, и мы смяли этот нежный цветок, подаренный нам судьбой. Вина падала на весь наш дом, и смыть ее можно было только кровью — моей или его.

Я был готов и к тому и к другому.

Между тем рассвет разгорался все ярче и ярче и стал заглядывать ко мне в комнату. За окном, приветствуя утреннюю зарю, защебетали ласточки. Я погасил свечи на столе: было уже почти светло. Часы в гостиной звонко пробили половину четвертого. «Ну, пора!» — подумал я и, накинув на плечи плащ, чтобы скрыть оружие в случае какой-нибудь встречи, вышел из флигеля.

Проходя мимо дома, я заметил, что главный подъезд, который всегда запирался на ночь фигурной железной щеколдой, был уже открыт. Видимо, кто-то вышел из дому, так что мне нужно было соблюдать величайшую осторожность, чтобы ни с кем не встретиться. Тихонько прокравшись через двор, я вышел сторонкой к липовой аллее и осторожно осмотрелся: мне показалось, что все вокруг еще спокойно спит. Однако только в аллее я смело поднял голову, зная, что здесь меня уже не увидят из дома. После вчерашней грозы вставало чудесное ясное утро. От мокрых лип в аллее сильно пахло медом. Я повернул налево и зашагал по дороге, ведущей мимо кузницы, мельниц и плотины прямо к хате Ваха. Свежесть раннего утра разогнала мою сонливость и утомление. Я был исполнен самых добрых надежд: какое-то внутреннее чувство как будто говорило мне, что в предстоящей борьбе я окажусь победителем. Селим, правда, мастерски стрелял из пистолета, но и я стрелял не хуже; саблей он, правда, владел с большей, чем я, ловкостью, зато я превосходил его силой, и превосходил настолько, что он с трудом отражал мои удары. «А впрочем, будь что будет, — думал я. — Главное, что это конец, и если он не распутает, то разрубит тот гордиев узел, который давно уже меня связывает и душит. К тому же с благими или с дурными намерениями, но Селим причинил большое зло Гане и должен за это поплатиться».

В таких размышлениях я дошел до пруда. Густой туман, стоявший в воздухе, оседал на воду. Лазурная гладь прудов расцвела яркими красками зари. Раннее утро лишь теперь по-настоящему начиналось, воздух становился все прозрачнее; все вокруг порозовело и было радостно, безмятежно и тихо, только из камышей до меня донеслось кряканье диких уток. Я уже приближался к плотине, но вдруг остановился как вкопанный.

На мосту стоял мой отец с погасшей трубкой в заложенной за спину руке; он стоял, облокотившись на перила, и задумчиво глядел на воду и на полосу зари. Очевидно, так же как и я, он не мог уснуть и вышел подышать утренним воздухом, а может, и посмотреть кое-что по хозяйству.

Я не сразу заметил, так как шел по обочине дороги и ивы закрывали от меня мост, а между тем нас разделяло не более десяти шагов. Я спрятался за иву, не зная, что теперь делать.

А отец все стоял на месте. Я взглянул на него: тревога и бессонная ночь запечатлелись на его лице. Не сводя взгляда с пруда, он бормотал утренние молитвы. До слуха моего явственно донеслось:

– «Богородица, дева, радуйся!» – Потом он беззвучно зашептал и лишь под конец снова произнес вслух: – «И благословен плод чрева твоего. Аминь».

Мне наскучило стоять за ивой, и я решил тихонько проскользнуть через мост. Я мог это сделать, потому что отец стоял, обернувшись к воде, а кроме того, как я упоминал уже, он был туговат на ухо, оглохнув еще в бытность свою военным от громкой орудийной пальбы. Осторожно ступая, я крался по мосту, надеясь укрыться за ивами на другом берегу, но, к несчастью, дрогнули плохо пригнанные доски, и отец оглянулся,

– Ты что тут делаешь? – спросил он,

Я покраснел как рак.

– Прогуливаюсь, отец, просто прогуливаюсь.

Но отец подошел ко мне и, откинув полу плаща, в который я тщательно укутался, показал на саблю и пистолеты.

– А это что?

Делать было нечего, пришлось признаться.

– Я уж все вам скажу: я иду драться с Мирзой.

Мне показалось, что отец вспыхнет от гнева, но, против ожидания, он не рассердился, а только спросил;

– Кто кого вызвал?

– Я его.

– Не посоветовавшись с отцом, не сказав ни слова?

– Вызов я послал ему еще вчера из Устжицы, сразу же после погони. Потому и не мог вас спросить, к тому же я боялся, что вы запретите.

– И ты угадал. Ступай домой, А все это дело предоставь мне.

Никогда еще сердце мое не сжималось так мучительно; я был в отчаянии.

– Отец,– вскричал я,– заклинаю вас всем святым, в память деда разрешите мне драться с татаринном. Я помню, как вы сердились на меня и называли демократом. Так вот теперь я почувствовал, что в жилах моих течет кровь моего деда и ваша. Отец, он обидел Ганю! Можно ли ему это простить? Пусть люди не говорят, что никто в нашем семействе не вступился за сироту и не отомстил за нее. Я очень виноват: я любил ее, отец, и не сказал вам об этом, но клянусь, если б я и не любил ее, все равно – ее сиротство, честь нашего имени, нашего дома заставили бы меня сделать то же, что я делаю теперь. Совесть говорит мне, что это благородно, и вы, отец, не станете этого отрицать; а если это так, я не верю, что вы запретите мне совершить благородный поступок, не верю, отец, не верю! Помните, отец, Ганя обижена, и я его вызвал, я дал слово! Знаю, что я еще не взрослый, но разве подросток не должен быть так нее горд и так же дорожить своей честью, как взрослый? Я послал ему вызов, я дал слово, а вы сами не раз меня учили, что честь – это первая заповедь шляхтича. Я дал слово, отец! Ганя обижена, честь нашего дома запятнана, и я дал слово, отец! Отец!

Чуть не с мольбой я приник губами к его руке и расплакался, как дитя; он слушал меня, и понемногу суровое лицо его становилось все мягче, все ласковее, он поднял глаза к небу, и тяжелая, крупная, поистине отцовская слеза упала мне на лоб. В душе его происходила тяжелая борьба: я был зеницей его ока, он любил меня больше всего на свете и трепетал за мою жизнь; наконец он склонил убеленную сединами голову и тихо, чуть слышно промолвил:

– Да благословит тебя бог твоих отцов. Иди, мой мальчик, иди драться с татаринном.

Мы бросились друг другу в объятия. Отец прижал меня к своей груди и долго-долго не отпускал. Потом, оправившись от волнения, сказал мне твердо и вместе с тем весело:

– Но ты уж дерись, мальчик, так, чтобы небу было жарко!

Я поцеловал ему руку, а он спросил:

– На саблях или на пистолетах?

– Он будет выбирать.

– А секунданты?

– Без секундантов. Я доверяю ему, а он мне. Зачем нам секунданты, отец?

И я снова бросился ему на шею, потому что мне пора было в путь. Отойдя на сотню шагов, я оглянулся: отец еще стоял на мосту и издали осенял меня крестным знаменем. Первые лучи восходящего солнца упали на его высокую фигуру и словно окружили ее ореолом света. В сиянии лучей, с простертой к небу рукой, этот

убеленный сединами ветеран казался мне старым орлом, благословляющим издали своего птенца на такую же славную и крылатую жизнь, какой он некогда сам наслаждался.

Ах! Сердце мое тогда было так полно, столько в нем было веры, мужества и горячности, что, если бы не один, а десять Селимов ждали меня у хаты Ваха, я, нимало не колеблясь, вызвал бы тотчас всех десятерых.

Наконец я подошел к хате. Селим ждал меня на опушке леса. Должен признаться, что, увидев его, я испытал такое же чувство, какое, должно быть, испытывает волк, глядя па свою добычу. Грозно и в то же время с любопытством посмотрели мы друг другу в глаза. За эти дни Селим очень изменился: похудел и подурнел, а может быть, мне только показалось, что подурнел. Глаза его лихорадочно блестели, уголки губ подрагивали.

Мы сразу же углубились в лес, но за всю дорогу не обменялись ни словом. Наконец, отыскав маленькую полянку среди сосен, я остановился и сказал:

– Здесь. Согласен?..

Он кивнул головой и принялся расстегивать сюртук, чтобы снять его перед поединком»

– Выбирай! – сказал я, указывая на пистолеты и саблю.

Он показал на висевшую у него на боку кривую турецкую саблю дамасской стали.

Тем временем я скинул сюртук, он последовал моему примеру, но сначала вынул из кармана письмо.

– Если я погибну, прошу тебя, отдан его панне Ганне.

– Но возьму.

– Это не излияние, а объяснение.

– Давай.

Так разговаривая, мы завернули рукава сорочек. Только теперь сердце у меня живее забилось. Наконец Селим схватился за рукоять; он выпрямился, встал в позицию, вызывающе, гордо и, подняв горизонтально саблю над головой, коротко бросил:

– Я готов.

Встав в такую же позицию, я коснулся саблей его сабли.

– Уже?

– Уже.

– Начинаем.

Я сразу же ринулся к нему так стремительно, что ему пришлось отступить на несколько шагов, к тому же он с трудом отражал мои удары, однако на каждый выпад

отвечал с такой быстротой, что мои удары и его удары раздавались почти одновременно.

Румянец залил его лицо, ноздри раздулись, сузившиеся глаза скозились по-татарски и метали молнии. С минуту слышалось только бряцание клинков, жесткий скрежет стали и наше свистящее дыхание. Вскоре Селим понял, что, если борьба затянется, ему не устоять: не хватит ни сил, ни легких. Крупные капли нота уже выступили на его лбу, дыхание становилось все более хриплым. Но и его охватило какое-то бешенство, неистовый боевой пыл. Разметавшиеся в движении волосы упали ему на лоб, между полуоткрытых губ поблескивали белые стиснутые зубы. Должно быть, в нем сказались татарская натура, проснулся дикарь, почуявший саблю в руке и кровь перед собой. И все же перевес был на моей стороне, так как при равной ярости я обладал большей силой. Один удар он уже не мог отразить, и кровь брызнула из его левого плеча, через несколько секунд кончик моей сабли коснулся и его лба. Страшен он был с этой алой лентой крови, смешанной с потом, которая стекала по лицу на губы и подбородок. Но его это, видимо, возбуждало. Он кидался ко мне и отскакивал, как раненых! тнгр. Кончик его сабли с ужасающей, молниеносной быстротой вился вокруг моей головы, плеч и груди. Я едва успевал отражать эти бешеные удары, тем более что сам думал о том, чтоб наносить их ему. Минутами мы сближались настолько, что чуть не сталкивались грудь с грудью. Внезапно Селим отскочил, сабля засвистела у самого моего виска, но я ударил по ней с такой силой, что на миг голова Селима осталась открытой; я замахнулся, готовый раскрыть ее надвое, и... вдруг словно молния пронзила мне череп,— я вскрикнул: «Иисусе, Мария!» Сабля выпала у меня из рук, и, как подкошенный, я упал вниз лицом.

XII

Что со мной было все это время, я не помню и не знаю. Очнувшись, я увидел, что лежу навзничь в комнате отца, на его постели, а отец сидит подле меня в кресле, запрокинув голову, бледный, с закрытыми глазами. Ставни были заперты, на столе горели свечи, и в глубокой тишине, царившей в комнате, слышался только шепот часов. Несколько минут я бездумно смотрел в потолок, лениво собирался с мыслями, потом попытался пошевелиться, но мне помешала нестерпимая боль в голове. Эта боль понемногу напомнила мне все происшедшее, и я тихо, ослабевшим голосом позвал:

— Отец!

Он вздрогнул и склонился надо мной. Радость и нежность одновременно изобразились на его лице.

— Боже! Благодарю тебя! Очнулся! — воскликнул он. — Что, сынок? Что?

— Отец, я дрался с Селимом?

— Да, мой любимый! Не думай об этом!

Я помолчал немного, а потом спросил:

— Отец! А кто принес меня сюда из лесу?

— Я принес тебя на руках, но ты не разговаривай, не утомляйся.

Однако не прошло и пяти минут, как я снова принялся расспрашивать. Только говорил я очень медленно:

– Отец!

– Что, дитя мое?

– А что случилось с Селимом?

– Он тоже упал без чувств от потери крови. Я велел отвезти его в Хожеле.

Я хотел еще спросить о Гане и о матери, но почувствовал, что снова теряю сознание. Мне примерещились какие-то черные и желтые собаки: они танцевали на задних лапках вокруг моей постели, и я принялся их разглядывать. Потом мне почудились звуки пастушьей свирели, а вместо часов, висевших против моей кровати, я вдруг увидел какое-то лицо; оно то выглядывало из стены, то снова пряталось. Это уже не было полное беспамятство, его сменил горячечный бред, но в этом состоянии я находился довольно долго. Минутами мне становилось немного лучше, и тогда я смутно различал лица, окружавшие мою постель: то отца, то ксендза, то Казика, то доктора Стася. Помню, что среди этих лиц мне одного не хватало, но я не мог осознать чьего, однако отсутствие этого лица я ощущал и инстинктивно искал его. Однажды ночью я крепко уснул и проснулся лишь под утро. Свечи еще горели на столе. Мне было очень, очень худо. Вдруг я заметил склонившуюся над постелью женскую фигуру; я не сразу ее узнал, но при виде ее меня охватило невыразимое блаженство, как будто я уже умер и вознесся на небо. Это был ангельский лик, и такая ангельская, святая доброта светилась в глазах, из которых тихо лились слезы, что и я едва не заплакал. На миг ко мне вернулась искра сознания, в глазах у меня прояснилось, и я тихо, еле внятно позвал:

– Мама!

Ангельский лик склонился над моей исхудалой рукой, недвижимо лежавшей на одеяле, и прильнул к ней губами. Я попытался подняться, но снова ощутил боль в висках и только простонал:

– Мама! Больно!

Моя мать (это действительно была она) сменила примочки со льдом, которые мне прикладывали к голове; обычно перевязки причиняли мне немало страданий, но теперь эти нежные любящие руки с такой мягкой заботливостью касались моей бедной изрубленной головы, что я не почувствовал ни малейшей боли и прошептал:

– Хорошо! О, хорошо!

С этого дня я уже чаще приходил в сознание и только под вечер впадал в забытие. Тогда я видел Ганю, хотя ни разу не видел ее подле себя наяву. Но в этих видениях ей всегда грозила опасность. То на нее бросался волк с красными глазами, то ее кто-то похищал – как будто Селим, а может, и не Селим, потому что на лице его росла черная щетина, а на голове торчали рога. И я иногда кричал, а иногда очень вежливо и смиренно упрашивал волка или это рогатое чудовище, чтоб ее не похищали. В таких случаях мать клала руку мне на лоб, и кошмары тотчас же исчезали.

Наконец горячка окончательно прошла, и ко мне полностью вернулось сознание,

однако это отнюдь не означало, что я выздоровел. Примешивалась еще какая-то болезнь – необыкновенная слабость, от которой я заметно угасал. По целым дням и ночам я смотрел в одну точку на потолке. Я как будто и был в сознании, но стал равнодушен ко всему. Меня не интересовали ни жизнь, ни смерть, ни люди, бодрствующие у моей постели. Я воспринимал впечатления, видел все, что происходило вокруг, все помнил, но у меня не хватало сил чувствовать и размышлять. Однажды вечером стало очевидно, что я умираю. Возле моей постели поставили большую желтую свечу, потом явился ксендз Людвик в облачении. Он принес мне святые дары и соборовал меня, но при этом рыдал так, что едва сам не лишился чувств. Мать в обмороке вынесли из комнаты; Казик в углу выл и рвал на себе волосы; отец сидел, заломив руки, словно каменное изваяние. Все это я отлично видел, но оставался совершенно безучастным и лежал, как всегда, уставив безжизненные, остекленевшие глаза на потолок, на спинку кровати в ногах или на окно, в которое луна бросала молочно-серебряные снопы света.

Потом из всех дверей набежала дворня; рыдания и вопли, заглушаемые воем Казика, наполнили комнату; только отец по-прежнему сидел, словно каменный; наконец, когда все упали на колени, а ксендз начал, но прервал чтение отходной, потому что его душили слезы, отец вдруг вскочил и с криком: «О Иисусе! Иисусе!» – со всего роста рухнул на пол. В эту минуту я почувствовал, что у меня холодеют кончики пальцев на руках и на ногах, меня охватила какая-то странная сопливость и зевота. «Ага! Это я умираю!» – подумал я и уснул.

И я действительно уснул, а не умер, и проспал двадцать четыре часа, а проснувшись, почувствовал себя необыкновенно окрепшим и сам не понимал, что же со мной произошло. Равнодушие мое исчезло, могучий молодой организм поборол самую смерть и пробуждался к новой жизни с новыми силами. Теперь у моей постели разыгрывались такие сцены радости, что я и не берусь их описывать. Казик прямо ошалел от счастья. Впоследствии мне рассказывали, что после поединка, когда отец принес меня раненого домой, а доктор сказал, что не ручается за мою жизнь, милейшего Казика должны были запереть, потому что он попросту охотился на Селима, как на дикого зверя, и дал себе клятву, если я умру, пристрелить его, где бы он ему ни попался. К счастью, и Селиму, который был легко ранен, пришлось некоторое время пролежать в постели.

А пока что с каждым днем мне становилось все лучше. У меня вновь появилось желание жить. Отец, мать, ксендз и Казик день и ночь бодрствовали у моей постели. И как я тогда их любил, как тосковал, когда кто-нибудь из них хоть на минуту покидал мою комнату. Однако вместе с жизнью в сердце моем возродились прежние чувства к Гане. Очнувшись после того сна, который все сочли переходом к вечному сну, я прежде всего спросил о Гане. Отец мне ответил, что она здорова, но уехала с мадам д'Ив и сестричками к дяде, потому что в деревне все больше распространялась оспа. Он сказал мне также, что уже все забыл, простил ее и убеждал меня не волноваться. Потом я не раз беседовал о ней с матерью; заметив, что этот предмет занимает меня больше всего остального, она сама заводила разговор о Гане, и кончала его сладостными, хотя и неясными обещаниями, как только я выздоровею, поговорить с отцом о многих вещах, которые будут для меня очень приятны, но для этого нужно, чтобы я не волновался и постарался поскорее поправиться.

При этих словах она грустно улыбалась, а мне хотелось плакать от радости. Однако иногда в доме у нас происходило нечто такое, что смущало мой покой и даже наполняло меня страхом. Например, как-то вечером, когда мать сидела возле меня, вошел слуга Франек и попросил ее зайти в комнату панны Ганны.

Я мгновенно поднялся с подушек.

– Разве Ганя приехала? – спросил я.

– Нет! – ответила мать. – Не приехала. Он зовет меня в Галину комнату, потому что ее белят и оклеивают новыми обоями.

Иногда мне казалось, что лица окружающих омрачены облаком глубокой, плохо скрываемой печали. Я решительно не понимал, что происходит, а от моих вопросов отделялись как попало. Я допытывался у Казика, но он отвечал мне так же, как и другие, что дома все благополучно, что сестры, мадам д'Ив и Ганя скоро вернутся и, наконец, чтобы я не волновался.

– Откуда же это уныние? – спросил я.

– Хорошо, я тебе все скажу. Видишь ли, сюда ежедневно приезжают Селим и старый Мирза. Селим в отчаянии, целыми днями плачет и во что бы то ни стало хочет тебя видеть, а родители боятся, что тебе этот визит может повредить.

Я усмехнулся.

– Ну, и умен Селим! Сам мне едва череп не раскроил, а теперь оплакивает меня. А что: он все еще думает о Гане?

– Э-э!.. До Гани ли ему теперь! Впрочем, не знаю, я его не спрашивал об этом, однако полагаю, что он уже окончательно отказался от нее.

– Это вопрос!

– Во всяком случае, достанется она кое-кому другому, не беспокойся! – Тут Казик по-мальчишески состроил гримасу и прибавил с плутовским видом: – Я даже знаю кому. Дай только бог, чтобы она...

– Чтобы она – что?

– Чтобы она поскорей вернулась, – поспешно договорил брат.

Последние слова совершенно успокоили меня. Несколько дней спустя, вечером, подле меня сидели отец и мать. Мы с отцом играли в шахматы. Мать вскоре ушла, не затворив за собой дверь, так что передо мной открылась анфилада комнат, которая вела в спальню Гани. Я посмотрел туда, но ничего не увидел, так как нигде, кроме моей комнаты, не горел свет, а

Ганина дверь, насколько я мог разглядеть в темноте, была заперта.

Вскоре кто-то вошел в спальню, кажется, доктор Станислав, и тоже не закрыл за собой дверь.

Сердце у меня дрогнуло от тревоги. В комнате Гани было светло.

Полоса света падала оттуда в смежную темную гостиную, а на фоне этой светлой полосы, мне казалось, видны были легкие клубы дыма, которые вились, как вьется пыль в лучах солнца.

Затем до меня донесся какой-то неясный запах; с каждой секундой он становился все сильнее и сильнее. Вдруг волосы встали у меня дыбом: я узнал запах можжевельника.

– Отец, что это? – в сильнейшем волнении вскрикнул я, сбросив на пол шахматы вместе с доской.

Отец тоже почувствовал этот проклятый запах; смешавшись, он вскочил и поспешно захлопнул дверь.

– Это ничего, ничего! – пробормотал он скороговоркой.

Но я уже был на ногах и, хотя меня шатало, быстро направился к двери.

– Почему там окуривают можжевельником? Я хочу туда!

Отец обхватил меня за плечи.

– Ты не пойдешь туда! Не пойдешь: я запрещаю тебе!

Отчаяние овладело мной; сдирая повязку с головы, я крикнул, не помня себя:

– А, хорошо же! Но клянусь, я сорву этот бинт и своими руками разберезу рану. Ганя умерла! Я хочу ее видеть!

– Ганя не умерла, даю тебе слово! – воскликнул отец и схватил меня за руки, не пуская к двери. – Она больна, но выздоравливает! Успокойся! Успокойся! Неужели и без того еще недостаточно несчастий?.. Я расскажу тебе все, только ляг. Тебе нельзя к ней идти. Ты погубишь ее. Успокойся! Ляг. Клянусь тебе: она выздоравливает.

Силы покинули меня, и я упал па постель, повторяя:

– Боже мой! Боже мой!

– Генрик, опомнись. Баба ты, что ли? Будь же мужчиной. Она вне опасности. Я обещал тебе рассказать все и расскажу, но с условием, что ты возьмешь себя в руки. Положи голову на подушку! Вот так. Укройся и лежи спокойно.

Пришлось повиноваться.

– Я уже спокоен, только скорей, отец, скорей! Я хочу наконец узнать все. Правда ли, что она выздоравливает? Что с ней было?

– Так слушай: в ту ночь, когда Селим ее увез, была гроза. На Гане было только легкое платье, и она промокла до нитки. К тому же и этот безумный шаг ей немало стоил. В Хожелях, куда ее привез Мирза, ей не во что было переодеться, и она вернулась сюда в том же мокром платье. В этот же день у нее начался озноб и сильный жар. На другой день старуха Венгровская не утерпела и проболталась ей о твоей дуэли. Она даже сказала ей, что ты убит. Конечно, это повредило Гане. К вечеру она уже была в бреду. Долгое время доктор не мог распознать, что у нее, и, наконец... Ты знаешь, во всей деревне свирепствовала и поныне свирепствует оспа: Ганя заболела оспой.

Я закрыл глаза, мне казалось, что и у меня начался бред; наконец я сказал:

– Рассказывайте дальше, отец, я ведь совершенно спокоен.

– Бывали минуты,– продолжал отец,– когда жизнь ее находилась в опасности. В тот самый день, когда нам показалось, что мы потеряли тебя, она тоже была при смерти. Наконец у вас обоих одновременно наступил счастливо разрешившийся кризис. Сейчас Ганя, как и ты, поправляется. Через недельку она будет совсем здорова. Но что тут творилось в доме! Что тут творилось!

Отец кончил и пристально посмотрел на меня, испугавшись, не слишком ли потрясли его слова мое еще не окрепшее сознание; я лежал не шевелясь. Долго мы оба молчали. Я собирался с мыслями, стараясь освоиться с новым несчастьем. Он поднялся и стал расхаживать по комнате крупными шагами, время от времени поглядывая на меня.

– Отец! – позвал я его после длительного молчания.

– Что, мой мальчик?

– А очень... очень... она обезображена?

Голос мой звучал спокойно и тихо, но сердце громко колотилось в ожидании ответа.

– Да,– подтвердил отец,– как всегда после оспы. Вероятно, впоследствии не останется никаких следов. Сейчас еще есть, но они исчезнут, наверное, исчезнут.

Я повернулся к стене, почувствовав, что мне становится хуже.

Однако через неделю я уже был на ногах, а через две недели увидел Ганю. Ах! Я даже не пытаюсь описать, что сделалось с этим совершенно прекрасным лицом. Сколько я перед тем ни давал клятв не выказывать ни малейшего волнения, когда бедняжка вышла из своей комнаты и я впервые ее увидел, мне вдруг стало дурно, и я упал замертво. 0! Как страшно она была обезображена!

Когда меня привели в чувство, Ганя громко рыдала, должно быть, оплакивая и себя и меня, потому что и я больше походил на тень, чем на человека.

– Это я во всем виновата,– повторяла она сквозь слезы,– я виновата.

– Ганюлька, сестричка моя! Не плачь, я всегда тебя буду любить! – воскликнул я и, схватив ее руки, хотел поднести их к губам, как прежде.

Но вдруг я содрогнулся и отдернул губы. Эти некогда прелестные руки, такие белые и нежные, стали теперь ужасны. Шероховатая кожа была сплошь покрыта черными пятнами, вызывающими чуть не омерзение.

– Я всегда буду тебя любить! – повторил я с усилием.

Но я лгал. Сердце мое было исполнено огромной, щемящей жалости и братской нежности, но прежнее чувство улетело бесследно, как птица.

Я вышел в сад и в той самой, увитой плющом беседке, где Селим и Ганя впервые

объяснялись в любви, заплакал так, как плачут после смерти возлюбленной.

И действительно, прежняя Ганя для меня умерла, а вернее, умерла моя любовь, оставив в сердце пустоту, и боль, как от незаживающей раны, и воспоминания, от которых слезы подступали к глазам.

Так я сидел долго-долго. Багряная заря загоралась на верхушках деревьев, предвещая тихий осенний вечер. Меня уже хватились дома, и вскоре в беседку вошел отец.

Он взглянул на меня и понял мою скорбь.

– Бедный мальчик, – сказал он, – господь тяжело испытует тебя, но вверься ему! Ибо он ведаёт, что творит.

Я припал головой к груди отца, и несколько минут мы оба молчали.

Наконец отец заговорил:

– Ты сильно любил ее, но я хотел бы знать: если я тебе скажу: «Я согласен, подай ей руку на всю жизнь», что ты мне ответишь?

– Отец! – воскликнул я. – Любовь может улететь, но честность остается, я готов.

Отец крепко поцеловал меня.

– Да благословит тебя бог. Я знаю своего мальчика, но ничто тебя к этому не обязывает, это долг не твой, а Селима.

– Разве он приедет сюда?

– Приедет вместе с отцом. Старик уже знает все.

И правда, в сумерках приехал Селим. Увидев Ганю, он покраснел, а потом побелел как полотно. По лицу его видно было, что в эту минуту в нем происходит жестокая борьба между чувством и совестью. Значит, и из его сердца улетела та крылатая птица, что зовется любовью. Но великодушие одержало в нем верх, он подошел к Гане, протянул ей руки, а потом упал перед ней на колени и горячо заговорил:

– Ганя, дорогая! Я все тот же, я никогда, никогда не оставлю тебя!

Обильные слезы потекли по лицу Гани, но она легонько оттолкнула Селима:

– Я не верю, не верю, что теперь можно меня любить, – сказала она, а потом, закрыв лицо руками, воскликнула: – О! Как вы все добры и великодушны! А я была всех хуже и грешней, но теперь все это позади, я стала иной!

И, несмотря на настояния старого Мирзы и мольбы Селима, она отказала ему в своей руке. Первая жизненная буря сломила этот прелестный, едва распустившийся цветок. Бедная девушка! После этой бури она нуждалась в тихой святой пристани, где могла бы облегчить свою совесть и успокоить сердце.

И Ганя нашла эту тихую, святую пристань: она стала сестрой милосердия.

Через несколько лет я неожиданно ее встретил; спокойствие и умиротворенность запечатлелись в ее ангельских чертах; следы страшной болезни совершенно исчезли; в черном платье и белом монашеском уборе она стала еще прекраснее, но то была уже неземная, поистине ангельская красота.

1875

НАБРОСКИ УГЛЕМ,
ИЛИ ЭПОПЕЯ ПОД НАЗВАНИЕМ
«ЧТО ПРОИСХОДИЛО В БАРАНЬЕЙ ГОЛОВЕ»

ГЛАВА I,

в которой мы знакомимся с героями и начинаем надеяться, что должно что-то произойти

В деревне Баранья Голова, в канцелярии волостного войта, царила полнейшая тишина. Войт, пожилой крестьянин по имени Францишек Бурак, сидел за столом и с большим старанием выводил на бумаге какие-то каракули, между тем как писарь, пан Золзикевич, человек молодой и преисполненный надежд, стоял у окна, ковырял в носу и отмахивался от мух.

Мух в канцелярии было не меньше, чем на скотном дворе. Все степы до того были засижены им, что потеряли свою первоначальную окраску. Ими же были испещрены стекло па картине, висевшей над столом, бумаги, печати, распятие и канцелярские книги.

Мухи преспокойно ползали и по войту, как по какому-нибудь обыкновенному заседателю, но в особенности их привлекала благоухающая гвоздичной помадой голова пана Золзикевича... Над этой головой обыкновенно носился целый рой мух, которые садились на пробор, образуя живые движущиеся черные пятна. Время от времени пан Золзикевич осторожно поднимал руку, а затем быстро ее опускал; слышалось хлопанье ладони по голове, мухи с жужжанием взлетали вверх, а пан Золзикевич, наклонив свою шевелюру, извлекал пальцами из волос трупы и бросал их на пол.

Было четыре часа дня, в деревне царила тишина, так как люди ушли на работу, только во дворе канцелярии терлась о стену корова и время от времени показывалась в окне ее морда с сопящими ноздрями и слюной, свисающей с губы.

Защищаясь от мух, она то и дело откидывала свою тяжелую голову, причем задевала рогами за стену. Тогда Золзикевич высовывался из окна и кричал:

— Пошла... А, чтоб тебя...

Затем смотрелся в зеркальце, висевшее у окна, и снова начинал флегматично ковырять в носу.

Наконец войт прервал молчание:

— Пап Золзикевич, напишите-ка вы этот «рапурт», что-то у меня выходит нескладно. Писарь все ж таки вы!

Но пан Золзикевич был в дурном настроении, а когда у него бывало дурное

настроение, войту приходилось все делать самому.

– Так что ж, если писарь? – возразил он пренебрежительно. – Писарь обязан писать начальнику или комиссару, а к такому же войту, как вы, сами и пишете.

С минуту помолчав, он прибавил с величественным презрением:

– А что мне какой-то войт? Мужик – и только! Мужика хоть медом мажь... мужик все останется мужиком! – И он опять посмотрелся в зеркало и поправил волосы.

Войт был задет за живое и ответил обиженным тоном;

– Ишь ты какой! Будто я с «конюссаром» чай не распиваю?

– Эка важность – чай! – небрежно возразил Золзикевич. – Да, пожалуй, еще и без рому?

– А вот и неправда, с ромом!

– Да хоть бы и с ромом, все равно я рапорт писать не стану,

Войт рассердился.

– Если уж вы такой деликатный «физик», – сердито сказал он, – к чему было проситься в писаря?

– У вас, что ли, я просился? Это я только по знакомству с начальником...

– Хорошо знакомство! А когда он сюда приезжает, вы и рот не смеете разинуть!

– Эй, Бурак, берегитесь! Чересчур много воли даете языку. А у меня и без того уж ваши мужики поперек горла стоят вместе с этим писарством. Человек с образованием, живя с такими, как вы, только грубеет. Вот рассержусь, так и писарство, и вас пошлю ко всем чертям!

– Ого! А что же вы будете делать?

– Что? Да уж зубы на полку не положу. Человек с образованием нигде не пропадет. О человеке с образованием вам беспокоиться нечего. Вчера только ревизор Столбицкий мне говорит: «Ох ты, Золзикевич, из тебя бы вышел прямо черт, а не только помощник ревизора, – ты ведь чуешь, где трава растет». А помощник ревизора – это что? Только по дворам ездить да с шляхтичами в карты играть. А там окажешь кому-нибудь снисхождение, так у тебя и карман разбухнет. А взять винокурню... так в какой же винокурне нынче нет мошенничества? Или у нас в Бараньей Голове пан Скорабевский не вкручивает? Нашли дурака! Плевать мне на ваше писарство! Человек с образованием...

– Ишь как! Без вас конец свету не придет.

– Свету конец не придет, да вы-то будете помазок в деготь макать да помазком в книгах писать, а за это вас так взгреют, что вы хоть в бархат разоденетесь, и то почувствуете.

Войт почесал затылок.

– Ну, и вы тоже, чуть что, сейчас на дыбы...

– А вы зря не болтайте!

– Что верно, то верно...

И опять наступила тишина, только перо у войта тихо скрипело по бумаге. Наконец войт выпрямился, вытер перо о кафтан и: сказал:

– Ну, слава богу, кончил!

– Прочитайте-ка, что вы там намарали.

– Зачем марать? Я написал в точности все, что требуется.

– Читайте, говорю!

Войт взял бумагу и, держа ее обеими руками, начал читать:

– «Войту Вжецёндза. Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь. Начальник приказал, чтобы рекрутские списки были сейчас после божьей матери, а тут все метрики в приходе у священника, а также равно наши ребята, что ходят на жнитво, понятно? – чтобы были вписаны; и их прислать перед божьей матерью, как сравняется восемнадцать лет, а в случае если этого не сделаете, получите по башке, чего себе и вам желаю. Аминь».

Почтенный войт каждое воскресенье слышал, как ксендз именно этими словами кончал свою проповедь, и такое окончание казалось ему не только необходимым, но и отвечающим всем, требованиям хорошего слога; между тем Золзикевич, прослушав до конца, расхохотался.

– Разве так пишут? – спросил он.

– Напишите вы получше.

– И напишу, а то мне стыдно за всю Баранью Голову.

Сказав это, Золзикевич сел, взял перо, описал им несколько кругов в воздухе, словно для разгона, и начал быстро писать. Через несколько минут уведомление было готово; тогда автор, откинув волосы, прочитал вслух:

– «От войта Бараньей Головы войту Вжецёндза.

Так как по распоряжению начальства рекрутские списки должны быть готовы, к такому-то числу такого-то года, то уведомляю войта Вжецёндза, чтобы метрики крестьян деревни Баранья Голова., находящиеся в приходской канцелярии, из оной канцелярии вытребовать и выслать в деревню Баранья Голова в кратчайший срок. Крестьян же деревни Баранья Голова, находящихся на работе во Вжецёндзе, в тот же день доставить».

Войт жадно ловил каждый звук, и лицо его при этом выражало восторг и почти религиозное благоговение. Все это казалось ему прекрасно, торжественно и вместе с тем сугубо официально, Взять, к примеру, хотя бы начало: «Так как рекрутские

списки» и т. д. Войта неизменно восхищали эти «так как», но научиться им он никак не мог. Начало, впрочем, ему еще кое-как удавалось, но уж дальше – ни с места. У Золзикевича же все шло гладко кате по маслу. Лучше его не могли бы написать и в уезде. Оставалось только покоптить печать, приложить ее к бумаге так, чтобы стол затрещал, – и готово.

– Что и говорить, одно слово – голова! – сказал войт.

– Еще бы, – ответил польщенный Золзикевич, – недаром писаря пишут книги.

– А разве вы тоже пишете книги?

– Что же вы спрашиваете, будто сами не знаете? А кто же пишет канцелярские книги?

– Это правильно, – ответил войт и, подумав, прибавил: – Теперь списки мигом придут.

– Вы вот смотрите, сейчас же избавляйтесь от всех бездельников в деревне.

– Избавишься от них!

– А я вам говорю, начальник жаловался, что в Бараньей Голове народ беспутный. На складчину, говорит, ничего не дают, только пьянствуют. А Бурак, говорит, им потворствует и еще ответит за это.

– Будто я не знаю, чуть что – все мне отвечать. Когда Розалька Ковалиха родила, суд присудил, ей всыпать двадцать пять розог, чтоб в другой раз неповадно было: дескать, нехорошо это для девки. А кто присудил? Я? Не я, а суд. А мне что до этого? По мне, пусть бы хоть все рожали. Присудил-то суд, а виноват выхожу я, «Ты что, не знаешь, – говорит начальник, – что теперь телесные наказания отменены?» И сразу бац меня по башке. «Не знаешь, что никого нельзя бить?» И снова бац меня. Такая уж моя доля.

В эту минуту корова с такой силой ударила в стену, что содрогнулась вся канцелярия.

– Э, раздуй тебя горой! – с негодованием крикнул войт.

Между тем писарь, усевшись на стол, снова начал ковырять в носу.

– И поделом вам! – наконец проговорил он. – Чего вы смотрите? И сейчас будет так. Это пьянство до добра не доведет. Одна паршивая овца все стадо портит! Разве неизвестно, кто в Бараньей Голове всем управляет и людей толкает в корчму?

– Это уж как знать, а насчет питья, так иному после работы непременно нужно выпить.

– А я вам говорю: избавитесь от Репы – и все хорошо будет.

– Что же мне, по-вашему, башку ему свернуть, что ли?

– Башку ему не свернешь, а теперь составляются рекрутские списки, внести в список – и пусть тянет жребий.

- Да ведь он женатый, у него уже мальчишка годовалый.
 - Кто же об этом узнает? Жаловаться он не пойдет, а пойдет, все равно никто его слушать не станет. Когда набор идет, никому недосуг.
 - Ох, пан писарь, пап писарь! Видать, тут дело не в пьянстве, а в жене Репы... Да ведь это большой грех!
 - А вам-то что? Вы вот смотрите, ведь и вашему сыну уже девятнадцать лет, значит, и ему тянуть жребий.
 - Знаю я это, а сына своего не отдам. Если нельзя будет иначе, так и выкуплю.
 - Ишь ты, какой богач нашелся!
 - Подкопил я малость медяков, хоть и не больно много, да авось хватит.
 - Восемьсот рубликов медяками придется платить.
 - Раз сказал – заплачу, так хоть и медяками, а заплачу! А там бог даст, останусь войтом, так с божьей помощью годика за два опять соберу.
 - Это еще неизвестно, соберете вы или не соберете. Мне ведь тоже нужно, и я не допущу, чтобы вы всем один пользовались. У человека образованного расход всегда больше, нежели у простого, а мы запишем Репу вместо вашего сына, а вы денежки сбережете... Восемьсот рублей на улице не валяются.
- Войт призадумался. Надежда сберечь такую значительную сумму приятно улыбалась ему.
- Да ведь за это не похвалят, – наконец проговорил он.
 - Уж это не вашего ума дело.
 - Вот я и боюсь: вы своей головой надумаете, а свалится все на мою голову.
 - Не хотите, так платите восемьсот рублей...
 - Да разве я говорю, что мне их не жалко!
 - Если вы думаете, что соберете их опять, так нечего и жалеть. Но вы не особенно рассчитывайте, что останетесь войтом. Еще про вас не все знают, а вот узнают то, что я знаю...
 - Да ведь канцелярских вы больше берете, чем я, – возразил войт.
 - Я не о канцелярских говорю, а о прежних делах...
 - Этого я не боюсь! Что мне приказывали, то я и делал.
 - Ну, оправдываться вы будете в другом месте.

Не прибавив больше ни слова, писарь надел свою зеленую клетчатую фуражку и вышел

из канцелярии.

Солнце стояло уже низко; люди возвращались с полей. Первыми навстречу писарю попались пять косарей с косами за плечами, они поклонились ему и сказали обычное: «Слава Иисусу», но пап писарь только кивнул им своей напояженной головой, а «Во веки» не ответил, полагая, что образованному человеку это не подобает. Об образованности пана Золзикевича знали все, и сомневаться в ней могли лишь злые или недоброжелатели, для которых всякая личность, возвышающаяся над средним уровнем, словно бельмо на глазу и не дает им спокойно спать.

Если бы у нас, как подобает, издавались биографии всех наших знаменитостей, то из биографии этого незаурядного человека, портрета которого – не понимаю почему – не поместил пока ни один из наших иллюстрированных журналов, мы бы узнали, что первоначальное образование он получил в Ословицах, столице Ословицкого уезда, к которому принадлежала и Баранья Голова. На семнадцатом году юный Золзикевич дошел уже до второго класса и, вероятно, с такой же быстротой подвигался бы и дальше, если бы не наступили бурные времена, положившие раз и навсегда конец его научной карьере.

С горячностью, свойственной молодости, Золзикевич, которого и раньше преследовала несправедливость учителей, став во главе сочувствующих товарищей, устроил своим обидчикам кошачий концерт. Затем изорвал книги, изломал линейки, перья и, покинув храм Минервы, ринулся в объятия Марса и Белоны.

Это была пора в его жизни, когда брюки он носил не на голенищах, а в голенищах, пора, когда он пел с жаром, пышущим горькой и страшной иронией: «О, честь вам, паны магнаты!» Кочевая жизнь, песни, облака табачного дыма, романтические приключения на постоях с молоденькими девушками, которые носили крестики на груди и ничего не жалели для «родины и ее храбрых защитников», – такая жизнь, говорю я, гармонировала со страстной и мятежной душой молодого Золзикевича, Он находил в ней воплощение своей мечты, владевшей его умом с давних пор, когда он еще в школе, под партой, зачитывался «Ринальдо Ринальдини» и другими произведениями, которые развивали ум и сердце и пробуждали воображение пашей молодежи.

Но у этой жизни были свои темные, верное, рискованные, стороны. Бешеная отвага слишком увлекала Золзикевича, Увлекала настолько, что – хоть этому верится с трудом – еще до сего дня показывают в Вжецёндзе плетень, через который не мог бы перескочить самый лихой конь, а пан Золзикевич однажды бурной ночью перескочил одним махом, охваченный страстным желанием сохранить себя на радость отечеству. Ныне, когда времена эти давно миновали, сколько бы раз ни приходилось папу Золзикевичу бывать в Вжецёндзе, поглядывал он на этот плетень и, сам себе почти не веря, думал; «Черт побери! Сейчас я бы так не сумел!»

Однако после этого сверхчеловеческого поступка, о котором говорилось даже в выходящей в то время газете, фортуна, охранявшая пана Золзикевича как зеницу ока, вдруг упорхнула от него, точно испугавшись его отваги. Не прошло и недели после описанного случая, как в одно прекрасное утро богатырская грудь пана Золзикевича встретилась – правда, благодаря провидению, которое всегда знает, что делает, – не с пулей, не со штыком, а с некоторым инструментом, сплетенным из бычьей кожи и снабженным на кончике кусочком олова. Вышеописанный инструмент порядком попортил на лопатках и поясице нежную кожу нашего симпатичного героя.

С этого времени в его мыслях и чувствах наступил решительный поворот. Лежа,

уткнувшись носом в обыкновенный сенник в деревенской корчме, он бессонными ночами думал-думал, как когда-то Игнатий Лойола, и дошел в конце концов до уверенности в том, что каждый должен слушать обществу тем оружием, которым он лучше всего владеет. Интеллигенция, например, должна служить головой, а не спиной, потому что голова есть привилегия интеллигенции и имеется далеко не у каждого, а спина есть у всех,— и, значит, напрасно он, Золзикевич, свою спину подвергал всяким случайностям. Что он мог сделать еще для родины, продолжая идти прежним путем? Еще раз перескочить через какой-нибудь плетень? Нет! Достаточно было одного раза. «Пусть кто-нибудь другой перескочит!» — думал он. Проливать снова кровь. Мало он ее проливал, что ли? Нет! Еще раз? Нет! Он мог служить обществу теперь на совсем ином пути — на мирном пути своей интеллигентностью, *alias*[9] ученостью. И так как знал он многое, знал кое-что почти о каждом жителе Ословицкого уезда, он мог и в мирное время отлично служить обществу.

Вступив на этот новый путь, он дошел до звания волостного писаря и, как нам известно, даже мечтал о должности помощника ревизора.

Однако и в должности писаря дела его шли недурно. Основательные познания всегда внушают уважение, а так как мой симпатичный герой, как я уже говорил, знал к тому же кое-что о каждом жителе Ословицкого уезда, то все они относились к нему с уважением, смешанным со страхом, остерегаясь чем-нибудь задеть эту незаурядную личность. При встрече с ним кланялись ему шляхтичи, кланялись и мужики, еще издали снимая шапки и говоря: «Слава Иисусу»... Но я вижу, что необходимо подробнее объяснить читателю, почему пан Золзикевич не отвечал на это приветствие обычным «Во веки веков».

Я говорил уже, что, по его мнению, образованному человеку это не подобает; были, однако, и другие причины. Самобытные умы всегда смелы и радикальны. Так вот, пан Золзикевич еще в те бурные времена пришел к убеждению, что «душа — это дым, и больше ничего». Именно в это время пан писарь читал роман издания варшавского книгоиздателя г. Бреслауэра под заглавием: «Изабелла, королева испанская, или Тайны мадридского двора». Этот замечательный во всех отношениях роман так ему понравился и настолько его захватил, что одно время он готов был бросить все и уехать в Испанию. «Повезло Марфорию,— думал он, вспоминая сцену, в которой Марфорий целует чулки на ногах Изабеллы,— может повезти и мне». Вероятнее всего, он бы тогда и уехал в поисках таких чулок, ибо был убежден, что «в этой дурацкой стране пропадает зря», но, к счастью, его удержали другие, отечественные чулки, о которых речь впереди.

Во всяком случае, «Изабелла Испанская», к вящей славе пашей литературы периодически издававшаяся г. Бреслауэром, сделала свое. Прочитав ее, Золзикевич стал скептически относиться не только к духовенству, но и ко всему, что прямо или косвенно связано с ним. Именно потому он не ответил косарям обычным «Во веки веков», а пошел дальше... Идет он, идет, а тут навстречу ему девки с серпами на плечах возвращаются с поля. Посреди дороги большая лужа, и они шли гуськом, подоткнув юбки и открыв свои красные, как свекла, ноги.

— Здравствуйте, синички! — крикнул им Золзикевич и, загородив тропинку, стал хватать всех по очереди и, поцеловав, толкал в лужу, разумеется, шутки ради. Девки вскрикивали и хохотали, показывая все зубы до единого. А когда они прошли, писарь не без удовольствия услышал, как одна говорила другой:

— До чего прекрасный кавалер наш писарь!

– А румяный, как яблочко.

– А уж голова душистая, как роза, – отозвалась третья. – Как схватит тебя да как прижмет, так и обомлеешь!

Пан писарь продолжал шагать в самом приятном расположении духа. Но, проходя мимо одной избы, он опять услышал разговор о себе и остановился у забора. По другую сторону забора раскинулся густой вишневый сад, в саду был пчельник, а возле ульев стояли две бабы и разговаривали. Одна насыпала в подол картофель и чистила его складным ножичком, а другая говорила:

– Ох, Стахова, милая, боюсь я до смерти, как бы моего Франека не взяли в солдаты.

А Стахова в ответ:

– К писарю ступай, к писарю. Уж если он не поможет, так никто тебе не поможет.

– Да с чем же я к нему пойду? С пустыми руками к нему идти нельзя. Войт – тот все-таки лучше: раков ли ему принесешь или масла, а то льну охапку или хоть курицу, – он все возьмет, не разбирая, а писарь – тот и не посмотрит. Ух, страшный гордец! Ему сразу платок развязывай – и рубль!

«Как же, стану я брать ваши яйца и кур, – проворчал про себя писарь. – Что я, взяточник, что ли, какой? Ну и убирайся со своей курицей к войту!»

Подумав, писарь раздвинул ветви и хотел было окликнуть женщин, как вдруг сзади затарахтела бричка. Писарь оглянулся. В бричке сидел студент в фуражке набекрень и с папиросой в зубах. Вез его тот самый Франек, о котором только что говорили бабы. Увидев Золзиковича, студент высунулся из брички, замахал рукой и крикнул:

– Как поживаете, пан Золзикович? Что слышно? А вы все так же усердно помадите свою голову?

– Покорнейший ваш слуга! – ответил ему, низко кланяясь, Золзикович, но, когда бричка проехала, пробормотал ей вслед: – Чтоб тебе шею свернуть!

Этого студента писарь терпеть не мог. Он был родня Скорабевским, у которых обычно гостил все лето. Золзикович не только терпеть его не мог, но и боялся как огня. Студент был насмешник и щеголь; он постоянно потешался над Золзиковичем и один во всей округе не ставил его ни во что. Однажды он попал на деревенский сход и в присутствии всех заявил Золзиковичу, что тот глуп, а мужикам сказал, чтоб не слушались его. Золзикович с радостью отомстил бы ему за все, но что он мог ему сделать? О других он хоть что-нибудь знал, а о нем решительно ничего.

Приезд этого студента был ему сейчас совсем некстати. Писарь нахмурился и, уже не останавливаясь, зашагал дальше, пока не дошел до избы, стоявшей поодаль от дороги. Когда он увидел эту избу, лицо его прояснилось. Изба эта была, пожалуй, еще беднее других, но казалась очень опрятной. Двор был чисто выметен и посыпан сабельником, у забора лежали наколотые дрова, и в одном из поленьев торчал топор. Дальше виднелся настезь открытый овин, а за ним хлев, который одновременно служил и коровником; еще дальше, за плетнем, лошадь, переступая с ноги па йогу, пощипывала траву. Перед хлевом блестела большая лужа, и в ней валялись две свиньи, а вокруг расхаживали утки, кивая головами и выискивая жуков

в навозе. В стружках возле поленницы рылся петух, разгребая землю, и, найдя зерно или червяка, выкрикивал: «Ко-ко-ко!» Куры, услышав призывной клич, летели наперегонки, вырывая друг у друга лакомый кусочек.

На крылечке у дверей женщина мяла коноплю, напевая: «Ой-та да-да! Ой-та да-да! Да-да-на!» Возле нее, вытянув передние лапы, лежала собака и поминутно щелкала зубами, пытаясь поймать мух, которые садились ей на разорванное ухо.

Женщина была молодая, лет двадцати, и на редкость красивая. Одета она была в белую рубаху, перетянутую красной тесьмой. На голове у нее был простой бабий чепец. От всей ее фигуры веяло силой и здоровьем. Под рубахой вырисовывались упругие округлые груди, точно два кочна капусты, и вся она была словно крепкий гриб, широкая в плечах и бедрах, с тонкой талией, гибкая – одним словом, лань.

Однако у нее были мелкие черты лица, небольшая голова, и она могла бы показаться бледной, если бы не золотистый загар. Большие черные глаза глядели из-под прямых, словно нарисованных бровей, а губы под маленьким точеным носиком алели, как вишни. Пышные темные волосы выбивались из-под чепца.

Когда писарь подошел ближе, собака, лежавшая возле мялки, поднялась, поджала хвост и, зарычав, оскалила клыки, как будто улыбаясь.

– Цыц, Кручек! – окликнула ее женщина мелодичным, звонким голосом.

– Добрый вечер, хозяйюшка! – начал писарь.

– Добрый вечер, пан писарь, – ответила молодая женщина, не прекращая работы.

– Ваш дома?

– Работает в лесу.

– Жаль, я по делу к нему, из волости.

Подобные дела для простых людей никогда не предвещают ничего хорошего, поэтому женщина оставила свою коноплю и, тревожно взглянув на него, спросила с беспокойством:

– Какое же это дело?

Между тем писарь уже поднялся на крылечко.

– А позволишь себя поцеловать? Тогда скажу.

– Обойдется и так! – возразила женщина.

Но писарь уже обнял ее и прижал к себе.

– Я людей позову! – вырываясь, крикнула женщина.

– Придешь сегодня ко мне вечером, а? – шептал писарь, не выпуская ее из объятий.

– Не приду, ни сегодня, никогда...

– Красавица ты моя, Марыся!

– Побойтесь вы бога, пан писарь!

Говоря это, она изо всех сил старалась вырваться, но писарь был не из слабых и не выпускал ее. Началась борьба, и в этой борьбе женщина, споткнувшись, упала на стружки, увлекая за собой писаря.

– Спасите! – громко закричала Репиха.

В эту минуту Кручек подоспел к ней на помощь. Шерсть стала дыбом у него на загривке. Он оцетинился и с бешеным лаем бросился на писаря, а так как пан писарь лежал ничком и был в коротеньком пиджачке, пес вцепился зубами в сукно, не покрытое пиджаком, затем в нанку, прокусив которую вгрызся в тело и только, когда почувствовал, что пасть у него полна, начал яростно мотать головой и теребить свою жертву.

– Иисусе, Мария! – закричал Золзикевич, забыв о том, что принадлежал к esprits fort[10].

Женщина тем временем вскочила на ноги, вскочил так же и пан писарь, хотя Кручек не выпускал его. Тогда писарь схватил полено и вслепую стал размахивать им, пока не ударил собаку по спине; Кручек отскочил, жалобно скуля. Через минуту, однако, опять бросился на писаря.

– Уберите эту собаку, уберите этого черта! – кричал Золзикевич, отчаянно размахивая поленом.

Женщина кликнула собаку и прогнала ее за ворота. Некоторое время они молча глядели друг на друга; наконец, испуганная кровавым оборотом дела, Марыся воскликнула:

– Ох, горе мое! Чем же я приглянулась вам?

– Я вам покажу! – кричал писарь. – Я вам покажу! Вы у меня дождетесь! Пойдет ваш Репа в солдаты... Я хотел ему помочь... А теперь... Вы еще придете ко мне!.. Я вам покажу!..

Женщина побледнела, словно ее ударили обухом по голове, развела руками и открыла рот, как бы желая что-то сказать.

Но писарь уже поднял с земли свою зеленую клетчатую фуражку и быстро удалился, размахивая поленом, которое держал в одной руке, между тем как другой он придерживал клочья сукна и нанки.

ГЛАВА II

Другие люди и неприятные встречи

Спустя час Репа приехал из лесу с плотником Лукашем на помещичьей телеге. Репа был здоровый детина, высокий, как тополь, и топор был ему как раз под стать. Помещик недавно продал евреям остаток леса, который не успел заложить; Репа нанялся на рубку и хорошо зарабатывал – работник он был хоть куда. Как, бывало, поплюет на ладони, да схватит топор, да крикнет, да как взмахнет – сосна так и

задрожит, а щепки летят на полсажени. Никто не мог с ним сравняться и в укладке леса на возы. Евреи, ходившие по лесу с меркой в руке и поглядывавшие на верхушки сосен, словно в поисках вороньих гнезд, все восхищались его силой. Богатый ословицкий купец Дрысля не раз говорил ему:

– Ай да Репа! Черт бы тебя побрал! На вот тебе шесть грошей на водку... нет, погоди, на пять...

А Репа – хоть бы что; знай машет топором, так что гул идет, а то для потехи закричит вовсю:

– Го-го-го!

Голос его разносился по лесу и отдавался эхом.

А затем ничего не было слышно, кроме стука его топора, только сосны порой загомонят, зашумят ветвями, как всегда в лесу.

Иной раз дровосеки принимались петь, и здесь Репа всегда был впереди. Надо было слышать, как гремел его голос, когда он с дровосеками распевал песню, которой сам их научил:

Ой, в лесу загудело,
Бу-у-у-у!
Что-то там загремело,
Бу-у-у-у!
То комар с дуба ухнул,
Бу-у-у-у!
Повредил себе брюхо,
Бу-у-у-у!
Ему мушка-вострушка,
Бу-у-у-у!
Зажужжала на ушко,
Бу-у-у-у!
Ты б, комарик, не падал,
Бу-у-у-у!
Тебе доктора надо ль?
Бу-у-у-у!
Докторов мне не надо,
Бу-у-у-у!
Ни лекарства, ни ваты,
Бу-у-у-у!
Мне б соху да лопату,
БУ-У-У-У!

Да и в корчме Репа тоже всегда был первым, только вот сивуху он чересчур любил, и как выпьет, так сейчас в драку.

Однажды он Дамасию, господскому батраку, проломил голову так, что экономка Юзефова клялась, будто в эту дыру у него всю душу видно. В другой раз, а было это, когда ему сравнялось семнадцать лет, подрался он в корчме с отпускными солдатами. Пан Скорабевский, который был в то время войтом, потащил его в канцелярию, ударил разок-другой просто так, для виду, но скоро смягчился и

спрашивает:

– Скажи ты мне, ради бога, как же ты с ними справился? Ведь их было семь человек.

– Ну и что же? – отвечает Репа. – Они в походах ноги-то наломали, такого чуть ткнешь пальцем, он и валится.

Скорабевский так и замял это дело. В то время Репа пользовался особым его расположением. Бабы даже шептали друг другу на ушко, что Репа приходится ему сыном.

– Оно и видно, – прибавляли они, – у него и амбиция дворянская.

Но это было не так, хотя мать Репы знали все, а отца никто. Сам Репа сначала жил в наемной избе и арендовал три морга, а потом так и остался на них, когда стали раздавать землю. Хозяин он был хороший, так что дела его пошли недурно. Жена у него была такая, какой и с огнем не сыщешь. Одним словом, все шло бы прекрасно, если бы не то, что он любил выпить.

Но этому горю не поможешь. Всякому, кто пробовал его усовещать, он одно отвечал:

– Не твое дело, на свои пью, а не па чужие.

В деревне он никого не боялся и подчинялся одному только писарю. Бывало, как завидит па дороге: шагают на длинных ногах вздернутый нос и козлиная борода под зеленой шапкой, так еще издали кланяется. Про него писарь тоже кое-что знал. Велели Репе во время беспорядков возить какие-то бумаги, он и возил. Ему-то что? Да и всего-то было ему в ту пору пятнадцать лет, и он еще пас свиней и гусей. А уж потом он сообразил, что за эти бумаги, пожалуй, и ему придется отвечать, и стал побаиваться писаря.

Таков-то был Репа,

Когда он, приехав из лесу, вошел в избу, жена с плачем бросилась к нему и давай причитать:

– Недолго уж на тебя, моего милого, глаза мои будут глядеть, недолго уж мне для тебя стряпать да стирать. Пойдешь ты, горемыка, на край света.

Репа удивился:

– Белены ты объелась, что ли, или тебя что укусило?

– И белены я не объелась, и не укусило меня, а только был здесь писарь и говорил, что никак тебе не миновать солдатчины... Ох! Пойдешь ты, пойдешь на край света.

Тут он стал ее расспрашивать, и она рассказала ему все, только об ухаживаниях писаря промолчала, боясь, как бы он не наговорил чего-нибудь лишнего или, упаси бог, не избил бы его и хуже бы не повредил себе.

– Вот дура! – сказал наконец Репа. – Ну, чего плачешь? В солдаты меня не возьмут, потому что я вышел из лет; опять же земля есть у меня, изба есть, да

еще ты, дура, да этот чертенок! – Говоря это, он указал на колыбель, в которой «чертенок», то есть здоровый годовалый мальчишка, отчаянно болтал ногами и орал благим матом. Жена утерла фартуком глаза и сказала:

– Это все пустое. Что же он, не знает про бумаги, как ты их возил из лесу да в лес?

Репа почесал затылок.

– Знать-то знает.

И, помолчав, прибавил:

– Пойду с ним потолкую. Авось уж не так страшно.

– Ступай, ступай,– сказала жена,– только возьми с собой рубль. К нему без рубля не подступишься.

Репа достал из сундука рубль и отправился к писарю.

Писарь был холост и не обзавелся собственной избой, а жил в каменном доме на четыре семьи, у самого пруда. Там он занимал две комнаты с отдельным ходом.

В первой не было ничего, кроме соломы и пары башмаков, зато вторая служила ему одновременно гостиной и спальней. Подле никогда не убиравшейся кровати с подушками без наволочек, из которых сыпался пух, стоял стол, на нем стояла чернильница, лежали перья, канцелярские книги, два грязных воротничка и несколько книжек «Изабеллы Испанской» издания Бреслауэра; тут же стояли банка помады, гильзы из наконеч, сальная свеча в жестяном подсвечнике с порывшим фитилем и мухами, утонувшими в сале около фитиля.

Возле окна висело довольно большое зеркало, а у противоположной стены помещался комод, в котором хранился изысканный гардероб писаря: всевозможных оттенков панталоны, самой фантастической окраски жилеты, галстуки, перчатки, лакированные ботинки и даже цилиндр, который писарь надевал, когда ему приходилось бывать в уездном городе Ословицах.

Кроме того, в описываемую минуту на стуле возле кровати лежали пострадавшие сукно и нанка; сам же писарь, улегшись в постель, читал «Изабеллу Испанскую» издания Бреслауэра.

Состояние его (то есть пана писаря, а не Бреслауэра) было до того плачевно, что, только обладая слогом Виктора Гюго, можно было бы его описать.

Прежде всего, рана его болела нестерпимо. Даже чтение «Изабеллы», которое всегда было для него наслаждением и развлечением, теперь лишь усиливало боль и горечь, жестоко терзавшие его после случая с Кручком.

У него был небольшой жар, мешавший ему собраться с мыслями. Минутами он бредил. Он как раз читал, как молодой Сер-рано, израненный, возвращается в Эскуриал после блистательной победы над карлистами. Королева Изабелла принимает его, взволнованная и бледная. Муслин бурно вздымается на ее груди.

– Генерал, вы ранены? – спрашивает она его дрожащим голосом.

Несчастному Золзикевичу кажется, что он-то и есть Серрано.

– Ох, ох, ранен,– говорит он слабым голосом,– простите, королева. Не могу вам только сказать, куда я ранен. Этикет этого не позволяет. Ой! Ой! Ваше величество...

– Отдохните, генерал! Садитесь же, садитесь и расскажите мне о своих геройских подвигах.

– Рассказать-то я могу, а уж сесть – никак! – восклицает в отчаянии Серрано-Золзикевич. – Ох! Простите, королева! Этот проклятый Кручек... я хотел сказать – Дон Хозе... Ай! Ай!

Сильная боль приводит его в чувство. Серрано озирается по сторонам и видит: на столе потрескивает свеча, так как начала гореть пропитанная салом муха, а другие мухи ползают по стенам... Так это не Эскуриал? И королевы Изабеллы тоже нет? Очнувшись окончательно, Золзикевич приподнимается, мочит платок в кувшине, предусмотрительно поставленном под кровать, и меняет компресс.

Затем поворачивается лицом к стене и засыпает или, точнее говоря, не то во сне, не то наяву снова скачет на почтовых в Эскуриал.

– Милый Серрано! Возлюбленный мой! – шепчет королева. – Дай я сама осмотрю твои раны...

У Серрано волосы встают дыбом. Он сознает всю безвыходность положения. Как послушаться королеву, а как решиться на столь интересный осмотр? Холодный пот выступает на его лбу, как вдруг...

Вдруг королева исчезает, дверь с шумом открывается, и в ней появляется его злейший враг Дон Хозе.

– Чего тебе нужно? Кто ты? – кричит Серрано.

– Это я, Репа,– мрачно отвечает Дон Хозе, Золзикевич просыпается вторично: Эскуриал снова превращается в его комнатенку, горит свеча, муха трещит на фитиле и брызжет голубыми искорками, а в дверях стоит Репа, и за ним... нет, перо падает у меня из рук... в полуоткрытую дверь просовывает морду... Кручек!

Чудовище уставилось глазами па Золзикевича и как будто улыбается.

Тут уж холодный пот действительно выступает на лбу Золзикевича, а в голове его проносится мысль, что Репа пришел намять ему бока, а Кручек, со своей стороны...

– Что вам обоим от меня нужно? – кричит он в ужасе.

Но Репа кладет на стол рубль и смиренно говорит:

– Милостивый пан писарь! Это я пришел к вам насчет..., рекрутчины.

– Вон! Вон! – сразу ободрившись, рявкает Золзикевич.

В бешенстве срывается он с постели и хочет броситься на Репу, но карлистая

рана так начинает болеть, что он падает на подушки, издавая приглушенные стоны:

– Ой, ой!

ГЛАВА III

Размышления и «Эврика!»

Рана воспалялась.

Я вижу, как прекрасные читательницы уже проливают слезы над моим героем, и, пока они не лишились чувств, спешу прибавить, что он, однако, не умер от этой раны. Ему суждено было еще долго жить. Впрочем, если бы он умер, мне пришлось бы сломать перо и на том кончить свой рассказ, но так как он жив, я продолжаю.

Итак, рана его воспалилась, но, сверх ожидания, это пошло па пользу нашему канцлеру из Бараньей Головы. Воспаление оттянуло кровь от головы, мысли его прояснились: он сразу понял, что до сих пор делал одни только глупости. Во-первых, наш канцлер решил во что бы то ни стало овладеть Репихой, и нечего удивляться этому; другой такой красавицы и не сыскать было во всем Ословицком уезде, но для этого ему нужно было избавиться от Репы. Если бы Репу взяли в солдаты, канцлер мог бы себе наконец сказать: «Гуляй, душа, наша взяла!» Но на так-то легко было подсунуть Репу вместо сына войта. Правда, писарь – это сила, и Золзикевич был такой силой среди писарей, однако, к несчастью, в рекрутском наборе он не является высшей инстанцией. Приходилось еще иметь дело с земской стражей, с воинской комиссией, с начальником уезда, начальником земской стражи – одним словом, с лицами, нисколько не заинтересованными в том, чтобы вместо Бурака подарить государству и армии Репу. «Внести его в списки? Ну, а дальше?» – ломал себе голову мой симпатичный герой. Ведь вместе со списками надо представить п метрики, да и Репе рот не заткнешь. Кончится тем, что ему же дадут по носу, да еще, пожалуй, прогонят с должности.

Самые великие люди под влиянием страсти делают глупости, но в том и заключается их величие, что они вовремя умеют их осознать. Золзикевич понял, что, обещав Бураку внести Репу в списки, он сделал первую глупость; совершив нападение на его жену – сделал вторую; а напугав их обоих рекрутчиной – третью. О, возвышенная минута, когда истинно великий муж говорит себе: «Я осел!», ты наступила и для Бараньей Головы, слетев, словно на крыльях, из краев, где выпренное вытекает из возвышенного, ибо Золзикевич явственно сказал себе: «Я осел!»

Но мог ли он бросить этот план теперь, когда, обагрив кровью своей собственной... (в пылу он сказал: собственной груди), мог ли он бросить этот план, когда ради него пожертвовал совсем новой парой суконных штанов (за которые еще не заплатил Срулю) и парой нанковых, которые надевал не более двух раз?

Нет, никогда! Напротив, теперь, когда к его видам на Репиху присоединилась еще жажда мести ей, ее мужу и Кручеку, Золзикевич поклялся, что будет последним болваном, если не упечет Репу.

Итак, он думал, как бы это сделать, в первый день, меняя компрессы; думал и на другой день, меняя компрессы; думал и на третий, меняя компрессы, – и знаете, что придумал? Да ничего не придумал!

На четвертый день ему привезли из ословицкой аптеки пластырь. Золзикевич

приложил его, и – о чудо! – почти в то же мгновение он воскликнул: «Нашел!» И действительно, он кое-что нашел.

ГЛАВА IV,
которую можно было бы назвать «Зверь в сетях»

Дней пять или шесть спустя в корчме Бараньей Головы сидели войт Бурак, гласный Гомула и Репа.

– Будет вам спорить из-за пустяков, – поднимая стакан, сказал войт.

– А я говорю, что француз не дастся пруссаку, – крикнул Гомула, стукнув кулаком по столу.

– А пруссак, черт его поберп, тоже хитер! – возразил Репа.

– Ну и что же, что хитер? Французу турок поможет, а турок всех сильнее.

– Много ты знаешь! Сильнее всех Гарубанда (Гарибальди).

– Ну, уж ты скажешь. Где это ты выкопал своего Гарубанду?

– Ничего я не выкапывал. А люди говорили, что плавал он по Висле и кораблей у него видимо-невидимо, а войска – страшная сила. Только вот с непривычки пиво ему в Варшаве не понравилось, дома-то у него получше, оттого он и воротился.

– И все-то ты брешь. Уж известно, что всякий шваб – это еврей.

– Так Гарубанда-то не шваб.

– А кто ж он, по-твоему?

– Кто? Царь он – вот кто?

– Умен ты очень!

– Ну, и ты не умнее!

– А раз такой умный, скажи-ка мне, как звали нашего прародителя?

– Как? Известно, Адам.

– Да это крестное имя, ты скажи, как его прозвание.

– А я почему знаю.

– Вот видишь. А я знаю. Прозвание ему было «Искупила».

– Да ты белены объелся!

– Не веришь, так послушай:

О пресвятая дева!

Ты господу богу своей грудью вскормила
И грех нашего прародителя искупила.

– Ну что, не «Искупила»?

– Пусть будет по-твоему.

– Выпили бы лучше, – прервал их войт,

– За твое здоровье, кум,

– За твое здоровье!

– Лхаим!

– Селям!

– Дай бог счастливо!

Все трое выпили, но так как происходило это во время франко-прусской войны, то Гомула опять вернулся к политике.

– Французы, – сказал он, – просто вертопрахи. Я-то их не помню, а только мой отец говорил, что как стояли они у пас на постое, прямо как Судный день был в Бараньей Голове. Больно они охочи до баб. Возле нашей хаты жил Стась, отец Валента, а у них на постое тоже был француз, а может, и два, не помню. И вот, просыпается раз ночью Стась, да и говорит: «Каська! Каська! Мне почудилось, будто француз возле тебя лежит». А она говорит: «Да и мне самой тоже так сдается». А Стась говорит: «Так ты скажи ему, чтобы он убирался прочь!» А баба ему: «Как бы не так... Поговори с ним, когда он по-нашему не понимает!» Чего ему было делать?..

– Выпьем-ка еще по одной, – сказал Бурак,

– Дай бог счастливо!

– Спасибо на добром слове!

– Ну, за твое здоровье!

Выпили опять, а так как пили они ром, то Репа, осушав свой стакан, стукнул им по столу и сказал;

– Эх! Что добро, то добро!

– Еще, что ли? – спросил Бурак,

– Наливай!

Репа уже побагровел, а Бурак все продолжал ему подливать,

– Вот ты, – наконец сказал он Рене, – ведь одной рукой закинешь куль гороха на спину, а на войну идти побоишься,

– Я побоюсь? Нет, драться так драться.

– Иной и мал, да удал,— сказал Гомула,— а другой и велик и здоров, да трус.

– Врешь! — воскликнул Репа. — Я не трус!

– Кто тебя знает? — продолжал Гомула,

– А вот двинул бы я тебя этим кулаком по спине,— ответил Репа, показывая кулак с добрый каравай,— рассыпался бы ты, как старая бочка,

– Ну, это как сказать,

– Давай попробуем!

– Будет вам,— вмешался войт.— Никак, вы драться хотите? Лучше выпьем.

Выпили еще, но Бурак и Гомула только пригубили, а Рэпа хватил залпом целый стакан рому, так что у него глаза чуть на лоб не выскочили.

– Поцелуйтесь теперь,— сказал войт.

Репа бросился обнимать Гомулу и заплакал, а это означало, что он изрядно подвыпил, затем стал сетовать па свою горькую долю, вспоминая пегого теленка, который две недели назад окошел ночью в хлеву.

– Ох, ведь какого теленка господь бог отнял у меня! — жалобно причитал он.

– Не горюй,— сказал Бурак. — Ты послушай лучше, что я тебе скажу. В канцелярию пришла бумага, будто господский лес отойдет крестьянам.

– И правильно,— ответил Репа. — Лес-то не бария сажал.

Замолчав, он опять принялся причитать:

– Ох! Вот теленок был так теленок! Как подойдет, бывало, к корове да как даст ей башкою в брюхо, та и отлетит к самой балке.

– Писарь говорил...

– Что мне ваш писарь! — сердито прервал его Репа.— Плевать мне на вашего писаря!

– Не ругайся! Лучше выпьем!

Выпили опять. Репа как будто успокоился и смирно сел на скамью, как вдруг дверь отворилась, и на пороге показались зеленая фуражка, вздернутый нос и козлиная борода писаря.

Репа сорвал с головы шапку, съехавшую на затылок, бросил ее на пол и, встав, пробормотал:

– Слава Иисусу!

– Здесь войт? – спросил писарь.

– Здесь, – отвечали три голоса.

Писарь подошел к столу. В ту же минуту подлетел к нему Шмуль с рюмкой рому. Золзикевич понюхал, поморщился и уселся за стол.

С минуту царило молчание. Наконец Гомула заговорил:

– Пан писарь!

– Что тебе?

– А правда это, что говорят насчет леса?

– Правда. Только прошение надо вам подписать всем миром.

– Ну, уж я-то не стану подписывать, – заявил Репа, не любивший, как и все крестьяне, подписывать свою фамилию.

– Тебя никто и не просит. Не подпишешь, так ничего и не получишь. Это твоя воля.

Репа чесал затылок, а писарь, обращаясь к войту и гласному, стал разъяснять официальным тоном:

– Насчет леса – это правда, только каждый обязан огородить свой участок, чтобы не было споров.

– Пожалуй, забор будет дороже стоить, чем лес, – вмешался Репа.

Однако писарь не обращал на него внимания.

– Стоимость заборов, – продолжал он, обращаясь к войту и гласному, – оплачивает казна. Вы еще на этом заработаете, потому что на душу приходится по пятидесяти рублей.

У Репы заблестели глаза.

– Ну, раз так, то и я подпишу. А деньги-то где?

– У меня, – ответил писарь. – А вот и документ.

С этими словами писарь достал вчетверо сложенный лист бумаги и что-то прочитал, – что именно, мужики, правда не разобрали, но были весьма довольны... Если бы Репа не был так пьян, он бы, наверное, заметил, как войт подмигивал гласному.

Затем – о чудо! – писарь достал деньги и сказал:

– Ну, кто первый?

Войт и гласный подписали, но когда Репа взялся за перо, Золзикевич отодвинул документ и спросил:

– Да ты, может, не хочешь? Тебя ведь никто не принуждает.

– Как это не хочу?

Писарь кликнул Шмуля.

Тот мигом появился в дверях:

– Что пану писарю угодно?

– Будь п ты свидетелем, что все тут делается без принуждения.

А потом снова спрашивает Репу:

– Да ты, может, не хочешь?

Но Репа уже подписал, причем посадил здоровенную кляксу, потом взял у писаря деньги, целых пятьдесят рублей, спрятал их за пазуху п крикнул:

– А ну-ка, давай еще рому!

Шмуль принес, все выпили. Отдохнули и еще выпили. Потом Репа сложил руки на коленях и задремал.

Несколько минут он так сидел, покачиваясь из стороны в сторону, наконец свалился со скамьи и, пробормотав: «Господи, помилуй меня, грешного!», уснул.

Репиха за ним не пришла, так как под пьяную руку ей не раз от него попадало. На другой день он просил прощения и целовал у нее руки. В трезвом виде он дурного слова ей не говорил, а от пьяного ей частенько доставалось.

Так Репа и проспал в корчме всю ночь. Проснулся он с восходом солнца и глаза вылупил: видит, что лежит не в своей избе, а в корчме и не в задней камерке, где они сидели вчера, а в общей, где была стойка.

– Во имя отца, и сына, и святого духа!

Он еще раз осмотрелся кругом. Солнце уже взошло и сквозь порозовевшие стекла заглядывало за стойку. У окна стоял Шмуль в молитвенном облачении и, раскачиваясь из стороны в сторону, громко молился.

– Шмуль, собачий сын! – крикнул Репа.

Но Шмуль будто и не слышит и продолжает молиться.

Тогда Репа стал себя ощупывать, как делает всякий мужик, проспавший всю ночь в корчме. Нашупав деньги, закричал:

– Иисусе, Мария! А это что?

Между тем Шмуль, кончив молитву, спокойно, с серьезным лицом и не спеша, подошел к нему.

– Шмуль, что это за деньги?

– А ты, дурак, и не знаешь? Да ты же вчера сговорился с войтом идти за его сына в солдаты, и деньги взял, и контракт подписал.

Тут только мужик побелел как полотно, сорвал с головы шапку, повалился наземь и заревел, да так, что стекла задрожали.

– Ну, пошел вон, ты, солдат! – флегматично сказал Шмуль.

Спустя полчаса Репа подходил к своей избе. Марыся уже стряпала обед; услышав, как скрипнули ворота, она бросила все и, сердитая, выбежала ему навстречу.

– Ах ты, пьяница! – начала она. Но, взглянув на него, сама испугалась: на нем лица не было. – Что с тобой?

Репа вошел в избу, но не мог вымолвить ни слова: сел на лавку и низко опустил голову. Однако жена до тех пор его расспрашивала, пока не выпытала всего.

– Продали меня! – простонал он наконец.

Тут уж и она заголосила, он за ней, а ребенок, испугавшись, тоже начал орать что было мочи; Кручек завыл так жалобно, что из соседних изб выскочили бабы с ложками в руках и стали спрашивать друг друга:

– Да что там случилось у Репы?

– Поколотил он ее, что ли?

Между тем Репиха голосила еще громче своего мужа, потому что любила его, бедняжка, больше всего на свете.

ГЛАВА V,
в которой мы знакомимся с законодательными органами
Бараньей Головы и главными их представителями

На следующее утро было заседание волостного суда. Гласные съехались со всей волости, за исключением панов, то есть нескольких шляхтичей, которые тоже были гласными. Эти шляхтичи, не желая отстать от других, придерживались английской политики, а именно «принципа невмешательства», столь восхваляемого знаменитым государственным мужем Джоном Брайтом. Этот принцип не исключал, однако, влияния «интеллигенции» на судьбы волости. Если кто-нибудь из «интеллигенции» имел дело в волости, то накануне заседания приглашал к себе Золзикевича, затем в кабинете представителя интеллигенции появлялась водка, сигары, и дело улаживалось очень быстро. А затем следовал обед, к которому очень радушно приглашали пана Золзикевича со словами: «А ну, садитесь, пап Золзикевич, садитесь!»

Пан Золзикевич не отказывался, а на другой день небрежно говорил войту: «Вчера я обедал у Медзишевских, Скорাবেвских или Осцешинских. Гм! У них дочь невеста: я понимаю, что это значит!» За обедом Золзикевич старался соблюдать все правила хорошего тона: когда подавали какие-нибудь замысловатые кушанья, подмечал, как их едят другие, а главное, не показывал виду, что такое приглашение делает ему особенную честь.

Вообще он был человек в высшей степени тактичный, который везде умел себя держать; в необходимых случаях он не только не робел, но охотно вмешивался в

разговор, поминутно вспоминая то «этого почтенного комиссара», то «этого милейшего начальника», с которым на днях играл по копейке в преферанс. Словом, он старался показать, что находится в дружеских отношениях со всеми властями Ословицкого уезда. Правда, иногда он замечал, что дамы, слушая его рассказы, как-то странно поглядывали в тарелки, но думал, что это в моде. Удивляло его и то, что тотчас же после обеда помещик, не дожидаясь, когда он станет прощаться, хлопал его по плечу, говоря: «Ну, прощайте, пан Золзикевич!» – однако полагал, что и это принято в высшем обществе. К тому же, когда хозяин пожимал ему на прощанье руку, в ней всегда что-то шуршало; тогда, оцарапав ладонь хозяину, он сгибал пальцы, перекидывал в свой карман «что-то» и неизменно прибавлял: «Пане! Между нами это уж совсем лишнее! Что же касается вашего дела, то будьте покойны».

В самом деле, пан мог быть спокойным, ибо пан Золзикевич держал в руках Бурака и гласного Гомулу, а они втроем держали в своих руках весь суд, которому оставалось только скреплять то, что решала эта тройка. В этом нет ничего удивительного: в каждом коллективе гениальные личности всегда стоят у руля.

Благодаря столь твердому руководству и врожденным талантам Золзикевича дела волости, наверное, шли бы блестяще, но, к несчастью, пану Золзикевичу не всегда бывало угодно объяснить суду, как следует смотреть на известное дело с юридической точки зрения. В частности, дела, которым не предшествовало что-либо шуршащее, он представлял полностью на благоусмотрение судей. Во время разбора этих дел он упорно молчал, к величайшему беспокойству гласных, которые в таких случаях совсем теряли голову. Из шляхты один только Флосс, владелец Малого Прогресса, сначала посещал в качестве гласного заседания волостного суда, утверждая, что интеллигенция обязана принимать в них участие. Это возбудило всеобщее неудовольствие. Помещики считали его «красным», что подтверждала самая его фамилия; крестьяне же из демократического чувства отчужденности находили, что барину не подобает сидеть на одной скамье с мужиком, примером чего могут служить другие господа, которые этого не делают.

В общем, крестьяне могли его упрекнуть лишь в том, что он не был баринком по всей форме. Что же касается Золзикевича, то он не любил его за то, что Флосс не старался добиться его расположения ничем шуршащим; кроме того, однажды во время заседания Флосс попросил его замолчать, чем окончательно вооружил против себя не только писаря, но и всех остальных. Кончилось тем, что в одно прекрасное утро кто-то из гласных сказал ему в присутствии всего суда: «Да разве вы настоящий барин? Осцешинский – вот это барин, Скорабевский – барин, а вы? Какой же вы барин? Вы откупщик!» После этого Флосс, который тем временем купил еще имение Слабая Воля, плюнул на все и отказался от должности гласного. Между тем шляхтичи говорили: «Доигрался-таки!», причем в защиту «принципа невмешательства» приводили мудрую пословицу, которая гласит: «Сколько ни учи мужика...»

Таким образом, волость, не возмущаемая участием «интеллигенции», управляла своими делами, не прибегая к помощи вышеупомянутого элемента, а только посредством бараньеголовьего ума, которого должно было хватать для Бараньей Головы на том же основании, на каком ума парижан хватает для Парижа. Впрочем, уже установлено, что практический или так называемый «здравый мужицкий ум» стоит больше любого интеллекта иного сословия, а что жители этого края сразу являются на свет с этим «здравым умом», мне кажется, не требует доказательств.

Это подтвердилось и в Бараньей Голове, когда на заседании, о котором идет речь, был прочитан запрос высшей администрации: не пожелает ли волость починить за

свой счет дорогу в Ословицы, пролегающую в ее владениях. Предложение это вообще чрезвычайно не понравилось собравшимся, а один из местных *patres conscripti*[11] заявил, что чинить дорогу незачем, если можно ездить через луга Скорабевского. Если бы Скорабевский присутствовал на заседании, то, вероятно, нашел бы какие-нибудь возражения против этого *pro publico bono*[12], но пана Скорабевского здесь не было, так как и он придерживался «принципа невмешательства». Таким образом, предложение, несомненно, прошло бы *unanimitate*[13], если бы не то обстоятельство, что накануне Золзикович был приглашен к Скорабевскому на обед, во время которого рассказывал пане Ядвиге сцену удушения двух испанских генералов в Мадриде, прочитанную в «Изабелле Испанской» издания Бреслауэра. А после обеда, прощаясь с хозяином, он почувствовал, как в руке у него что-то зашуршало. Вследствие этого писарь не стал записывать предложение гласных, а, перестав ковырять в носу, отложил перо в сторону в знак того, что желает говорить.

– Пан писарь хочет что-то сказать, – раздались голоса гласных.

– Я хочу сказать, что вы дураки! – флегматично ответил писарь.

Сила истинно парламентского красноречия, хотя и проявившаяся в столь лаконичной форме, была так велика, что после этого выступления, направленного против предложения гласных и вообще всей административной политики Бараньей Головы, мудрые ее управители стали беспокойно озираться по сторонам, почесывая свои благородные органы мышления, что было несомненным признаком глубокого проникновения в суть дела. Наконец после продолжительного молчания один из представителей администрации спросил:

– А что?

– Да то, что вы дураки!

– Может быть, – отозвался один голос.

– Луга-то они луга, да что толку? – прибавил другой.

– А весной по ним и не проедешь! – заключил третий.

В результате проект заменить дорогу лугами Скорабевского был отвергнут, и, приняв предложение высшей администрации, гласные принялись за раскладку расходов по починке дороги согласно присланной смете. Затем предложен был еще один проект, состоявший в том, чтобы все расходы понесли только помещики, которые за это останутся единственными хозяевами лугов. Но когда благодаря пану Золзиковичу и этот проект был отвергнут, усилия каждого из законодателей свелись уже только к тому, чтобы, сняв с себя ответственность, утешиться сознанием, что для блага общества не жаль никаких жертв. Чувство справедливости настолько укоренилось в сознании всех представителей законодательных органов Бараньей Головы, что никому не удалось увильнуть от расходов, за исключением войта и гласного Гомулы, которые взяли на себя обязанности следить за тем, чтобы дело шло возможно скорей.

Нужно, однако, сознаться, что эта бескорыстная самоотверженность со стороны войта и гласного, как и всякий благородный поступок, выделяющийся своей незаурядностью, возбудила всеобщую зависть и даже вызвала протест одного из гласных, который гневно спросил:

– А вы-то почему не будете платить?

– Зачем же нам даром деньги бросать, раз хватит и тех, что вы дадите? – ответил Гомула.

Это был аргумент, против которого, я полагаю, не только здравый ум Бараньей Головы, но и всякий иной не нашел бы что возразить, а потому протестующий голос умолк, но через минуту проговорил с убеждением:

– Это верно!

Покончив с этим делом, суд, наверное, без проволочек приступил бы к разбору других, если бы этому внезапно не помешало неожиданное вторжение в зал заседаний двух поросят. Они, как безумные, ворвались в полуоткрытую дверь и без всякой видимой причины принялись метаться по комнате, вертеться под ногами и визжать благим матом. Разумеется, заседание было прервано, и весь законодательный корпус бросился преследовать нарушителей порядка, повторяя с редким единодушием: «Кыш, кыш, чтоб вам неладно!» Поросята менаду тем забились под ноги Золзикевичу и испортили ему вторую суконную пару песочного цвета, испачкав ее чем-то зеленым, что так и не отстиралось, хотя Золзикевич не пожалел глицеринового мыла и даже тер ее собственной зубной щеткой.

Благодаря, однако, настойчивости и энергии, которая и в этом случае не оставила представителей бараньеголовьей волости, поросята, несмотря на самые резкие протесты, были схвачены за задние ноги и выброшены за дверь, после чего водворился обычный порядок и судьи могли без помех перейти к повестке дня. На повестке этой стояло дело крестьянина по фамилии Среда с вышеупомянутым помещиком Флоссом. Возникло оно из-за того, что волы Среды, объевшись за ночь клевера на поле Флосса, к утру покинули эту юдоль скорби и слез и унесли в лучший воловий мир. Убитый горем Среда представил это печальное дело на рассмотрение суда, прося защиты и справедливости.

Суд, быстро вникнув в дело, с присущей ему пронизательностью пришел к заключению, что хотя-Среда и нарочно пустил волов на поле Флосса, однако, если бы на этом поле росли, например, пшеница или овес, а не этот ядовитый клевер, волы остались бы здоровехоньки, и их, несомненно, не постигло бы столь прискорбное вздутие живота, жертвой которого они стали. Исходя из большой посылки и придя столь же логическим, сколь и строго юридическим путем к малой, суд нашел, что причиной смерти волов был не Среда, а Флосс и потому он должен уплатить Среде за волов, а кроме того, в виде предостережения на будущее – внести в волостную кассу на канцелярию пять рублей серебром. В случае же, если бы обвиняемый отказался уплатить означенную сумму, взыскать ее с арендатора Ицки Цвейноса.

Затем разбиралось еще много дел частного характера, но поскольку все они не имели отношения к гениальному Золзикевичу, то решения по ним взвешивались вполне самостоятельно, здравым бараньеголовьим умом, на весах истинной справедливости. Благодаря же английскому «принципу невмешательства», которого придерживалась «интеллигенция», общее согласие и единомыслие лишь изредка нарушалось посторонними замечаниями: о параличе, гниении печени и моровой язве, высказываемыми в виде пожеланий как тяжущимися, так и самими судьями.

Нужно полагать, что благодаря этому же неоценимому принципу все дела решались

таким образом, что как выигравшая сторона, так и проигравшая должны были вносить известную и довольно значительную сумму «на канцелярию».

Это косвенно обеспечивало столь желательную в волостных учреждениях независимость войта и писаря, а прямым путем могло отучить народ от сутяжничества и тем поднять нравственность волости Баранья Голова до уровня, о котором тщетно мечтали философы XVIII века. Достоинно внимания и то обстоятельство (впрочем, мы ни хвалить, ни порицать его не беремся), что Золзикович записывал в книги только половину взимаемой на канцелярию суммы, в то время как другая половина предназначалась на «непредвиденные расходы», которые могли случиться у писаря, войта и гласного Гомулы.

Наконец, последовали уголовные дела, а потому судьи отдали приказание привести преступников и представить их пред лицом правосудия. Нет надобности прибавлять, что в волости Баранья Голова была принята новейшая и отвечающая последним требованиям цивилизации система келейного, или одиночного заключения. Существование этой «новейшей» карательной системы не подлежит никакому сомнению, что бы ни говорили злые языки. Еще и до сих пор в хлеву войта бараньеголовой волости можно увидеть четыре загородки. Там сидели арестованные в полном одиночестве, ибо нельзя же принимать в расчет животных, о которых известная «Зоология для молодежи» говорит: «Свинья — это животное, справедливо так названное по причине ее неопрятности: природа лишила ее рогов, что может также служить доказательством ее целесообразности». Одним словом, арестованные сидели в таком обществе, которое не мешало им предаваться размышлениям о совершенных преступлениях и о средствах исправления.

Караульный незамедлительно отправился в уже известное нам здание одиночного заключения, и вскоре перед судом предстали не два, а точнее, двое преступников. Из этого читатель легко может заключить, какого деликатного свойства, какие сложные и глубоко психологические вопросы приходилось разрешать судьям бараньеголовой волости. Дело было действительно в высшей степени тонкое. Некий Ромео, иначе Вах Рехнё, и некая Джульетта, иначе Васька Жабянка, служили у одного хозяина в батраках. И что тут скрывать: влюбились они друг в друга до того, что не могли жить один без другого, как Невазендех без Везендеха. Вскоре, однако, ревность вкралась в сердце Джульетты: однажды она заметила, что Ромео слишком долго беседует с дворовой девкой Ягной. С тех пор несчастная ждала лишь случая. В один прекрасный день, когда, по мнению Джульетты, Ромео вернулся слишком рано с поля и настойчиво стал требовать ужин, она решила с ним объясниться, причем они обменялись несколькими дюжинами тумачков и даже был пущен в ход уполовник. Следы того объяснения сохранились в виде синяков на идеальном лице Джульетты, а также на рассеченном, преисполненном мужского достоинства челе Ромео. Суду оставалось решить, кто из них прав, — следовательно, кто должен уплатить семьдесят пять копеек в виде вознаграждения как за любовную измену, так и за последствия ссоры.

Гнилое веяние Запада еще не успело растлить здоровый дух судей, а потому суд сперва дал возможность высказаться Ромео, который, держась за разбитый лоб, так начал свою речь:

— Вельможные судьи! Эта тварь уже давно не дает мне покоя. Пришел это я с поля и прошу дать поесть, а она мне: «Ты что же, говорит, собачий сын, а? Хозяин еще в поле, а ты, говорит, уже пришел? Тебе бы, говорит, только на печь завалиться да мне подмаргивать!» А я ей никогда и не подмаргивал; только как увидела она меня с Ягной, когда я помог ей ведра вытащить из колодца, так с тех пор на меня

и взъелась. Швырнула это она мне чашку на стол, так что чуть вся моя похлебка не расплескалась, и поесть-то толком не дала: как пристала ко мне да как начала ругаться... «Ах ты, говорит, язычник, ах, изменник, отступник ты, викарий». Как сказала она мне это слово, так я ее по роже, но так, без злобы, а она меня уполовником по башке...

Тут уж идеальная Джульетта не стерпела, она сжала кулак и, сунув его под нос Ромео, пронзительно взвизгнула:

– Врешь, врешь! Все брешь, собачий сын! – затем расплакалась и, обращаясь к судьям, закричала: – Вельможные судьи! Пожалейте вы меня, сироту несчастную! Не у колодца я его встретила с Ягной, чтоб им ослепнуть! Сама видела, как пошли они в рожь и там невесть сколько пробыли. Беспутный ты человек, говорю, что ж, говорю, ты мне брехал, будто уж до того меня любишь, что так бы и треснул кулаком! О, чтоб ты окошел, чтоб у тебя язык колом встал! Тебя бы не уполовником, а шкворнем хватить! Ох, доля моя, доля! Солнце еще высоко, а он уж с поля возвращается, да еще жрать просит! Я ему этак вежливенько говорю: «Ты что, воровская рожа? Хозяин еще в поле, а ты уж домой пришел?» А викарием я его не обзывала, упаси бог! О, чтоб тебе...

В этом месте войт призвал обвиняемую к порядку, сделав ей замечание в следующей форме:

– Да заткнешь ли ты глотку, проклятая!

Наступила минутная тишина, во время которой суд обдумывал свой приговор. И ведь какая глубина проникновения в суть дела: к уплате семидесяти пяти копеек не была присуждена ни одна из сторон, но ради поддержания своего престижа, равно как и для острастки всем влюбленным в Бараньей Голове, суд приговорил обоих обвиняемых еще к двадцати четырем часам одиночного заключения, а также к уплате по рублю серебром на канцелярию.

«От Ваха Рехнё и Баськи Жабянки поступило на канцелярские расходы по пятьдесят копеек серебром», – записал Золзикевич.

На этом заседание окончилось. Золзикевич встал и подтянул свои суконные песочного цвета брюки вверх, а фиолетовый жилет вниз. Гласные уже брались за шапки и кнуты, готовясь разойтись по домам, как вдруг дверь, плотно закрытая после вторжения поросят, распахнулась и на пороге показался мрачный, как ночь, Репа, а за ним его жена и Кручек.

Репиха была бледна как полотно; ее прелестные, тонкие черты выражали скорбь и смирение, а из больших черных глаз катились крупные слезы. Репа вошел смело, с высоко поднятой головой, но как только увидел суд в полном его составе, увидел «бляху» на вайте, распятие, козлиную бородку и вздернутый нос на длинных ногах, он сразу потерял всю свою воинственность и довольно тихо произнес:

– Слава Иисусу.

– Во веки веков! – ответили хором гласные.

– Вам что здесь нужно? – грозно спросил войт, который сначала было растерялся, но скоро пришел в себя. – Какое у вас там дело? Подрались вы, что ли?

– Дайте им говорить,– неожиданно вмешался писарь.

– Уважаемые судьи! – начал Репа. – А чтоб вам...

– погоди, погоди,– прервала его жена,– дай я скажу, а ты сиди смирно.

Она вытерла фартуком глаза и нос и дрожащим голосом начала рассказывать.

Но что же это? Куда же она пришла? Она пришла жаловаться на войта и писаря – к кому же? К тому же войту и писарю!

– Увели его,– говорила Репиха,– напоили, лес ему обещали, только бы расписался, он и расписался. Дали ему пятьдесят рублей, а он пьяный был и совсем не соображал, что себя продал и меня с мальчишкой. Пьяный он был, вельможные судьи, пьяный, как скотина! – продолжала она, заплакав. – Да ведь пьяный-то не в своем уме,– он сам не знает, что делает! Да ведь пьяному и в суде снисхождение оказывают, если кто подерется: дескать, пьяный не знал, что творил. Да что же это, господи! Да ведь трезвый-то не продался бы за пятьдесят рублей. Не дайте вы нас в обиду, люди добрые, пожалейте хоть дитя невинное! И куда я, несчастная, денусь, одна-одинешенька, без пего, без бедняги! Господь бог воздаст вам за нас, горемычных!

Рыдания прервали ее речь; Репа тоже плакал и поминутно сморкался в пальцы. Гласные приуныли и поглядывали то друг на друга, то на писаря и войта, не зная, как им в этом случае поступить.

Но вот Репиха собралась с силами и снова заговорила:

– Ходит он теперь, как порченный. Тебя, говорит, убью, дитя, говорит, невинное погублю, избу сожгу, а не пойду, хоть убей, не пойду. А чем я-то согрешила? Иль мальчонка? А уж он теперь – ни по хозяйству, ни косить, ни лес рубить – ничего. Все только сидит да вздыхает, а я так только на вас надеюсь, на ваш суд. Ведь и вы тоже люди, и ведь и вы в бога веруете. Не дайте вы нас в обиду! Господи Иисусе! Матерь божья Ченстоховская, заступись за нас!

С минуту были слышны лишь рыдания Репихи; наконец один из гласных, старик, пробормотал:

– Оно и впрямь нехорошо, подпоить человека да и продать его в солдаты!

– Нехорошо, что и говорить,– подтвердили и остальные.

– Да благословит вас господь и пресвятая богородица! – воскликнула Репиха, бросившись на колени.

Войт совсем растерялся, не менее сконфужен был и Гомула. Оба поглядывали на писаря, который все время молчал, но, когда Репиха окончила свою речь, он обратился к гласным:

– Дурачье вы, дурачье!

Наступила мертвая тишина. Писарь продолжал:

– В законе сказано: если кто будет вмешиваться в добровольное соглашение, того

будут судить морским судом. А вы, дураки, знаете, что это значит – морской суд? Куда вам, дуракам, знать. Морской суд – это... – Тут писарь вынул из кармана платок, высморкался и продолжал холодным, официальным топом: – Кто из вас, болванов, не знает, что такое морской суд, пусть попробует сунуть свой нос в это дело – сразу узнает, когда с него десять шкур сдерут. Ежели находится доброволец, соглашающийся за другого идти в солдаты, вам в это дело вмешиваться воспрещено. Условие подписано, свидетели есть – значит, шабаш! Об этом сказано и в юриспруденции. Кто не верит, смотри свод законов и ссылки на них. А что при этом выпили, так это обыкновенное дело. Вы все, дураки, пьете когда и где попало!

Если бы сама богиня правосудия с весами в одной руке и обнаженным мечом в другой внезапно вышла из-за печки и стала между гласными, она испугала бы их не больше, чем этот морской суд, свод законов и ссылки. В зале суда воцарилось гробовое молчание, и лишь через несколько минут чуть слышно заговорил Гомула, на которого при этом посмотрели все, как бы удивляясь его смелости.

– И правда, так: лошадь продашь – выпьешь! Вола продашь – выпьешь, свинью – тоже выпьешь. Такой уж обычай.

– Так ведь и мы тогда выпили тоже по обычаю, – ободрился войт.

Тогда гласные уже смелее обратились к Репе;

– Сам заварил кашу, сам и расхлебывай!

– Тебе не шесть годков, сам должен знать, что делаешь, – прибавил другой.

– Башку-то тебе не оторвут, – сказал третий.

– А возьмут тебя в солдаты, можешь на свое место батрака нанять. Он за тебя управится и с хозяйством, и с бабой.

Понемногу веселье охватило весь суд.

Но писарь снова открыл рот, и все смолкло.

– Вы и того не знаете, куда вам можно вмешиваться, а куда не лезть. Если, к примеру, Репа грозитя убить жену и ребенка да еще избу сжечь, то тут вы обязаны вмешаться и не оставлять этого безнаказанно. Раз она пришла жаловаться на мужа, то не должна уходить без удовлетворения.

– Неправда! Неправда! – в отчаянии закричала Репиха. – Я не жаловаться па него пришла, в жизни я от него никакой обиды не видала. О господи Иисусе! Никак светопреставление настало!

Но суд уже возобновил заседание, и непосредственным результатом его было то, что Репа ничего не добился, напротив: суд, охваченный понятной тревогой за жизнь Репихи, для ее

безопасности приговорил Репу к двухдневному заключению в хлеву, а дабы и впредь ему не приходили в голову подобные угрозы, решено было взыскать с него на канцелярию два рубля пятьдесят копеек.

При этих словах Репа вскочил как ужаленный и заявил, что в хлев ни за что не пойдет, что же касается денежного взыскания, то не два, а все пятьдесят рублей, взятых у войта, он швырнул наземь, вскричав:

– Бери кто хочет!

Поднялась страшная суматоха.

Вбежал сторож – и ну Репу тащить; Репа на него с кулаками, тот Репу за волосы. Репиха – в крик; наконец один из гласных схватил ее за шиворот и вытолкнул за дверь, дав ей на дорогу пинка, тем временем остальные помогли сторожу водворить Репу в хлев.

Между тем писарь записал: «От Вавжона Репы на канцелярию один рубль двадцать пять копеек».

Чуть не обезумевшая Репиха вернулась одна в свою опустевшую избу. Она шла, ничего не видя, спотыкаясь на каждом шагу, и, ломая руки, голосила:

– О-о! О-о! О-о!

Войт, отличавшийся добрым сердцем, направляясь с Гомулой к корчме, сказал:

– Что-то жалко мне эту бабу, прибавить им четверик гороху, что ли?

Тут старший гласный, тот самый, который всегда заступался за Репиху, сказал:

– А я вам говорю, ежели б люди ученые па паши суды приходили, таких бы дел не бывало.

Сказав это, он уселся на воз, взмахнул кнутом и отъехал – потому что был не из Бараньей Головы.

ГЛАВА VI

Имогена

Надеюсь, что читатель уже вполне понял и оценил по достоинству гениальный план моего симпатичного героя. Золзикевич дал, что называется, шах и мат Репе и его жене. Внести его в рекрутские списки было нетрудно, но это ни к чему бы не привело. А вот подпоить его и устроить так, чтобы он сам подписал условие и взял деньги, – это было дело мудреное, требующее большой ловкости, свидетельствовавшей о том, что в других условиях Золзикевич мог бы играть более значительную роль. Войт, который уже готов был заплатить за сына восемьсот рублей, то есть «выкупить» его чуть не за все свои медяки, принял этот план с величайшей радостью, тем более что Золзикевич, столь же умеренный в своих желаниях, сколь гениальный, взял с него за это всего двадцать пять рублей. Да и то не из жадности, как не из жадности пользовался канцелярскими доходами. Нужно ли говорить, что Золзикевич был вечно в долгу у Сруля, оловицкого портного, который снабжал всю округу костюмами «прямо из Парижа».

Раз вступив на путь признаний, я не могу скрыть и того, почему Золзикевич так заботился о своем костюме. Отчасти происходило это вследствие врожденного эстетического чувства, но была и другая причина: Золзикевич влюбился. Не думайте, однако, что предметом его любви была жена Репы. Она, по собственному

его выражению, возбуждала в нем только «аппетит». Нет, он был способен и на более утонченные и возвышенные чувства.

Читательницы, если не читатели, вероятно, уже догадываются, что предметом этих высоких чувств могла быть только панна Ядвига Скорабевская. Нередко, когда на небе восходила серебряная луна, Золзикевич брал гармонию, которой владел в совершенстве, садился на лавочку перед домом и, поглядывая в сторону усадьбы, пол под меланхолически посапывающий аккомпанемент:

О, сколь ужасны мои страданья,
С утра до ночи я слёзы лью,
Напрасны муки и воздыханья,
Напрасно юность свою гублю.

В поэтической тишине летней ночи голос его летел в сторону усадьбы, и, помолчав, Золзикевич прибавлял:

О, сколь жестоки ко мне вы были!
Навеки жизнь мне вы отравили!

Но если кто-нибудь вздумает упрекать Золзикевича в сентиментальности, я напрямик скажу, что он жестоко ошибается. Слишком трезвым умом обладал этот великий человек, чтобы быть сентиментальным, да и в мечтах его панна Ядвига обычно превращалась в Изабеллу, а сам он в Сerrано или Марфория, а там все складывалось прямо как в Испании, то есть он целовал «ее» ножки и т. д. Но как известно, действительность не соответствует мечтам, и даже этот железный человек однажды выдал свои чувства. Случилось это при следующих обстоятельствах. Как-то вечером, проходя мимо усадьбы, писарь заметил на веревке возле дровяного сарая юбки с инициалами «Я. С.» и с короной над ними. Золзикевич догадался, что они принадлежат панне Ядвиге. Посудите сами, мог ли он сдержать свои чувства? И он не выдержал – подошел к одной из юбок и стал ее страстно целовать. Увидев это, дворовая девка Малгоська побежала жаловаться, что «пан писарь сморкается в барышнины юбки». К счастью, однако, ей не поверили, тем более что на юбке не оказалось никаких «вещественных доказательств», – и чувств его так никто и не узнал.

Надеялся ли он на что-нибудь? Да, он надеялся, но не осуждайте его за это. Всякий раз, когда он шел к Скорабевским, какой-то голос нашептывал ему: «А что, если сегодня панна Ядвига своей ножкой пожмет твою ногу под столом?»

– Гм! Не жаль было бы и лакированных ботинок, – говорил он с великодушием, свойственным всем влюбленным.

Читая романы, издаваемые г. Бреслауэром, он до того ими проникся, что верил в возможность подобных пожатий.

Но кто поймет женщину? Панна Ядвига не только не пожимала ему ногу, но смотрела на него так, как смотрят на забор, кошку, тарелку или еще что-нибудь в этом роде. Сколько он, бедняга, прилагал усилий, чтобы обратить на себя ее внимание! Часто, повязывая непередаваемого цвета галстук или надевая новую пару брюк со сказочными лампасами, он думал: «Теперь-то уж она меня заметит». Сам Сруль, когда принес ему эту новую пару, сказал: «Ну, в таких брюках можно даже, с

позволения сказать, и к графине пойти». Но увы! Пригласили его к ним обедать; вошла панна Ядвига, гордая, чистая и неприступная, как королева, прошелестела всеми оборками и оборочками, потом села за стол, взяла своими тоненькими пальчиками ложку, а на него хоть бы взглянула.

«Неужели она не понимает, что это, наконец, стоит больших денег»,— в отчаянии думал Золзикевич.

Однако надежды он не терял. «Получить бы мне местечко помощника ревизора,— думал Золзикевич,— все бы пошло иначе. А там и до ревизора недалеко. Завел бы я экипаж, пару лошадей, и уж тогда-то панна Ядвига, наверное, пожалала бы мне хоть руку под столом...» Мечты унесли Золзикевича к самым отдаленным последствиям этого рукопожатия, но уж таких сокровенных тайн его сердца мы раскрывать не будем.

Как богата была натура Золзикевича, можно судить хотя бы по той легкости, с какой в нем уживался «аппетит» к Репихе наряду с идеальным чувством к панне Ядвиге, чувством, поистине соответствующим его аристократическим наклонностям. Правда, Репиха была красавица в полном смысле этого слова; и все же не стал бы этот бараньеголовый донжуан подвергаться стольким неприятностям, если бы его не подстрекало непонятное, достойное наказания упорство этой женщины. Простая баба осмелилась сопротивляться! Кому же? Ему, Золзикевичу. Это казалось ему такой неслыханной дерзостью, что Репиха сразу же приобрела для него заманчивость запретного плода, но вместе с тем он дал слово проучить ее по заслугам. Происшествие с Кручком окончательно укрепило его в этом намерении. Он понимал, что жертва его будет защищаться, и для того и придумал добровольное соглашение Репы с войтом, чтобы хоть отчасти поставить в зависимость от его милости или немилости как самого Репу, так и его жену.

Репиха, несмотря на свою неудачу в суде, не считала, что псе уже потеряло. На следующий день, в воскресенье, она решила пойти к обедне в Вжецэндзы и там посоветоваться с ксендзом. Их было два: приходский священник, каноник Улановский, до того старый, что у него от старости глаза вылезали из орбит, как у рыбы, а голова качалась во все стороны. Но не его имела в виду Репиха, она решила обратиться за советом к викарию Чижикю. Был он человек благочестивый и разумный и мог дать ей добрый совет и утешение. Хотела было она пойти пораньше и поговорить с ним еще до обедни, но так как Репа содержался под арестом и работала она сейчас за двоих, то и опоздала. Пока она прибрала избу, пока задала корм лошади, свиньям и корове, пока приготовила завтрак и снесла его мужу в хлев, солнце поднялось уже высоко, и она убедилась, что к обедне ей не успеть.

Когда она пришла во Вжецэндзы, служба уже началась. Женщины в зеленых казакинах сидели па паперти и второпях надевали башмаки, которые принесли в руках; то же самое сделала и Репиха и поспешила в костел. В это время ксендз Чижик говорил проповедь, а каноник сидел в скуфейке на стуле возле алтаря и, выпучив глаза, тряс, по обыкновению, головой. Ксендз Чижик, неизвестно по какому поводу, говорил о средневековой ереси и объяснял прихожанам, как они должны смотреть на эту ересь и на буллу *Ex stercore*, ее порицающую. Затем весьма красноречиво и проникновенно предостерегал свою паству, людей простых и, как птицы небесные, убогих, а потому угодных богу, чтобы они не доверяли разным лжемудрецам и вообще людям, ослепленным сатанинской гордыней, которые сеют плевелы вместо пшеницы и за это будут пожинать только грех и слезы. Вскользь упомянул он о Кондильяке, Вольтере, Руссо и Охоровиче, не делая между ними никакого различия, и в заключение перешел к подробному описанию всевозможных неприятностей, каким будут

подвергаться грешники па том свете. На Репиху сразу снизошла благодать, хоть она ни слова не поняла из того, что говорил ксендз Чижик. Она только подумала: «Ну, видать, что-то хорошее говорит, раз такой крик поднял, что пот с него градом катится, а народ разохался, будто все как есть сейчас дух испустят». Наконец проповедь окончилась и началась обедня. Ох, и молилась же бедная Репиха, молилась так, как никогда в жизни, и чувствовала, как у нее все легче и легче становится на сердце.

Но вот настала торжественная минута. Белый, как голубь, каноник, держа в трепещущих руках сияющую, как солнце, дароносицу, повернулся к народу, постоял некоторое время с полузакрытыми глазами и опущенной головой, как будто собираясь с духом, и, наконец, запел:

Тайна сия велика есть...

А народ сотней голосов дружно подхватил:

Преклоним колени!..

Грянул гимн так, что стекла задрожали, гудел орган, торжественно звенели колокола, перед костелом гремел барабан, в кадилъницах курился голубоватый фимиам. Яркие лучи солнца ударили в цветные стекла, переливаясь радугой в клубах ладана. Среди этого шума, гама, лучей и голосов изредка высоко вверху сверкала дароносица, которую ксендз, благословляя народ, то поднимал, то опускал. И тогда этот белый старичок, окутанный облаком дыма, пронизанного лучами солнца, казался со своей дароносицей каким-то небесным видением, от которого нисходили благодать и покой в сердца всех верующих. Эта благодать и великий покой осенили и скорбящую душу жены Репы.

– Господи Иисусе, тайно пребывающий в пресвятах дарах,– взывала она,– не остави меня, несчастную!

Она плакала, но это были уже не те слезы, которые душили ее у войта, а светлые, легкие, крупные, как калькуттский жемчуг. Она упала ниц перед алтарем, а потом уж и сама не сознавала, что с ней происходит. Ей казалось, что ангелы небесные подняли ее с земли, как листик, и вознесли на небо в обитель вечного блаженства, где не было ни Золзиковича, ни войта, ни рекрутских списков, а везде, куда ни глянешь, сияла заря и в ней престол господень, а вокруг престола в ослепительном свете летали роями ангелочки, точно птички с белыми крыльшками.

Долго она лежала так, а когда поднялась, обедня уже кончилась, костел опустел, и дым из кадилъницы стлался под потолком; последние богомольцы выходили на паперть, а причетник тушил свечи. Перекрестившись, она пошла поговорить с викарием.

Тем временем ксендз Чижик уже сел обедать, но, когда ему доложили, что его хочет видеть какая-то заплаканная женщина, тотчас же вышел к ней.

Это был еще молодой человек, с бледным, но ясным лицом, у него был белый высокий лоб и мягкая, ласковая улыбка.

– Что тебе, голубушка? – спросил он тихим, но звучным голосом.

Репиха бросилась к нему в ноги и начала рассказывать о своем горе, плача и целуя ему руки. Затем подняла на него с мольбой заплаканные черные глаза и воскликнула:

– Ох, помогите, ваше преподобие, посоветуйте, только на вас я и надеюсь...

– И ты не ошиблась, голубушка, обратись ко мне, – ласково ответил ксендз Чижик, – но я могу посоветовать одно: ложись на волю божью. Господь испытует веру в него и порой испытует сурово, как Иова, которому собственные его собаки лизали гноящиеся раны, или как Азария, на которого он ниспослал слепоту. Господь бог ведает, что творит, и награждает истинно верующих. Несчастьем, выпавшим на долю твоему мужу, господь покарал его за тяжкий грех – пьянство. А потому благодари господя бога за то, что, покарав его при жизни, он, быть может, отпустит ему грехи после смерти.

Репиха посмотрела на ксендза своими черными глазами, поклонилась ему в ноги и тихо вышла, не проронив ни слова.

Всю дорогу ей казалось, будто что-то сжимает ей горло и душит ее. Ей хотелось плакать, но она не могла.

ГЛАВА VII

Имогена

Под вечер, часов около пяти, на главной улице между избами мелькали голубой зонтик, желтая соломенная шляпа с голубыми лентами и палевое платье с голубой отделкой. Это прогуливалась после обеда панна Ядвига в сопровождении своего кузена Виктора.

Панна была удивительно хороша собой. Волосы у нее были черные, глаза голубые, а цвет лица необыкновенной белизны. Одевалась она очень тщательно, и платья ее всегда были так изящны и свежи, что казалось, от них исходило сияние, и это придавало ей еще больше прелести. Ее стройный, девственный стан как бы парил в воздухе. В одной руке она держала зонтик, а другой придерживала платье, из-под которого виднелся краешек гофрированной белой юбки и прелестные маленькие вояжи, обутые в венгерские башмачки.

Шедший с ней рядом кузен Виктор с чуть пробивающимся пушком вместо бороды и копной кудрявых русых волос был: тоже красив, как картинка.

От них обоих веяло здоровьем, юностью, весельем и счастьем. И на обоих лежал отпечаток той высшей, праздничной жизни, жизни крылатых взлетов, которые уносят не только к внешним благам мира сего, но и в мир мысли, высоких стремлений и высоких идей, а порой и в лучезарный край золотых мечтаний.

Среди этих изб, деревенских ребятишек и мужиков, во всем этом убогом окружении они казались существами, слетевшими с другой планеты. Приятно было сознавать, что между этой изящной, развитой и поэтической парой и прозаической, серой действительностью полузвериного деревенского быта не существует никакой связи – по крайней мере, связи духовной.

Они шли рядом, беседуя о поэзии и литературе, как и подобает светскому молодому человеку и светской барышне. Встречавшиеся им люди в холщовой одежде, все эти

мужики и бабы, наверное бы, не поняли, о чем и даже на каком языке они говорят. Не правда ли, как это приятно сознавать, господа?

В беседе этой блестящей пары не было ни одного слова, которое не повторялось бы уже сотни раз. Они перепархивали с книги на книгу, как мотыльки с цветка на цветок. Но такая беседа не кажется пустой и пошлой, когда она ведется влюбленными и служит основой, по которой любимое существо тклет золотые цветы своих чувств, лишь изредка раскрывая свой внутренний мир, подобно тому как белая роза, распускаясь, раскрывает пламенеющие лепестки, скрытые внутри. К тому же такая беседа, как птица, парит в небесах, витает в духовном мире и устремляется ввысь, как растение, вьющееся по тычине.

Где-то в корчме напивались мужики и в грубых выражениях говорили о грубых предметах, а эта пара словно плыла в иные края па корабле, у которого, как в романсе Гуно:

Руль золотой и прекрасный,
А шатер весь атласный,
И жемчуга на весле.

Нужно еще прибавить, что панна Ядвига кружила голову кузену только для практики, а в таких случаях чаще всего говорят о поэзии.

– Читали вы последнюю книгу Ель-ского? – спросил молодой человек.

– Знаете, Виктор, – отвечала панна Ядвига, – я обожаю Ель-ского. – Когда я его читаю, мне кажется, будто я слышу какую-то музыку, и помимо воли мне всегда вспоминается стихотворение Уейского:

Лежу на облаках,
Растаяв в тишине,
И слезы па глазах,
И сладко грезить мне.
Морская гладь вокруг...
Во сне ли, наяву,
Сомкнув ладони рук,
Лечу... плыву...

Ах, – внезапно воскликнула она, – если бы я с ним познакомилась, то, наверно, влюбилась бы в него! Мы, без сомнения, поняли бы друг друга.

– К счастью, он женат, – сухо ответил пан Виктор.

Пана Ядвига склонила головку, сложила ротик в улыбку, отчего на щечках у нее показались ямочки, и, искоса взглянув на него, спросила:

– Почему вы говорите: «к счастью»?

– Я говорю о тех, для кого жизнь потеряла бы тогда всю прелесть, – произнес молодой человек с самым трагическим видом.

– Вы мне слишком много приписываете...

Но пап Виктор уже перешел к лирике.

– Вы ангел...

– Ну... хорошо... Поговорим, однако, о чем-нибудь другом. Так вы не любите Ель-ского?

– Минуту тому назад я возненавидел его.

– Ах, как вы капризны! Вы заслуживаете, чтоб вас побили. Перестаньте дуться и назовите своего любимого поэта.

– Совинский... – мрачно пробормотал Виктор.

– А я попросту его боюсь. Ирония, кровь, пожары... дикие вспышки, бр-р!

– Такие вещи меня ничуть не пугают.

Сказав это, он посмотрел так грозно, что собака, выбежавшая из какой-то избы, поджала хвост и в ужасе попятилась назад.

Незаметно подошли они к дому, в окне которого мелькнули козлиная борода, вздернутый нос и ярко-зеленый галстук, затем остановились перед хорошеньким домиком, увитым диким виноградом, с окнами, выходящими на пруд.

– Смотрите, какой хорошенький домик! Это единственное поэтическое место во всей Бараньей Голове.

– Что это за дом?

– Раньше тут был приют. Здесь учились читать крестьянские дети, когда их родители работали в поле. Папа специально для этого велел выстроить этот дом.

– А теперь что в нем?

– А теперь в нем стоят бочки с водкой. Понимаете, времена изменились. Теперь мы с нашими крестьянами только соседи. Мы стараемся ничего общего с ними не иметь.

– Гм! – буркнул пан Виктор. – Но, однако...

Но он не договорил, остановившись перед большой лужей, в которой лежало несколько свиней, «справедливо названных так за свою неопрятность». Обходя ее, они очутились возле избы Репы.

У ворот на пне сидела жена Репы, подперев голову руками. Ее бледное лицо, казалось, окаменело от горя, веки покраснели, а потускневшие глаза тупо уставились куда-то вдаль.

Репиха даже не заметила проходившей мимо нее пары, но панна Ядвига, увидев ее, сказала:

– Добрый вечер!

Женщина поднялась и, подойдя ближе, повалилась им в ноги и молча заплакала.

– Что с вами, милая? – спросила панна.

– Ох, ягодка моя золотая, зорька ты моя румяная! Может, сам господь мне тебя послал! Заступись хоть ты за меня, радость ты моя!

И она принялась рассказывать о своей беде, поминутно прерывая рассказ и целуя барышне руки или, вернее, перчатки, которые сразу покрылись пятнами от ее слез. Панна Ядвига совсем растерялась. Ее хорошенькое серьезное личико выражало заметное смущение, с минуту она молчала, не зная, что делать, наконец нерешительно проговорила:

– Чем же я могу вам помочь, моя милая? Enfin![14] Мне вас очень жаль... Но у меня нет никакой власти... и я ни во что не вмешиваюсь... Правда... Чем я могу вам помочь? Вы лучше пойдите к папе... Может быть, пана... Ну, прощайте.

И панна Ядвига, приподняв свое палевое платье так, что стали видны уже не только башмачки, но и белые в голубую полоску чулочки, пошла дальше вместе со своим кавалером.

– Благослови тебя бог, цветик ты мой ненаглядный, – крикнула ей вслед Репиха.

Эта сцена опечалила панну Ядвигу, и ее спутнику даже показалось, что у нее блеснули слезы па глазах.

Стараясь отвлечь ее от печальных мыслей, молодой человек заговорил о Крашевском и о других, менее крупных, рыбах литературного моря; разговор постепенно оживился, и вскоре они оба совершенно забыли об этой неприятной истории.

«Пойти в усадьбу? – раздумывала между тем Репиха. – Да, туда-то мне сразу и надо было идти! Куда же идти, где искать спасенья, если не в усадьбе?! Вот ведь глупая баба!»

ГЛАВА VIII

Имогена

В господском доме была веранда, увитая диким виноградом, с видом во двор и на тополевую аллею. На этой веранде господа летом после обеда пили кофе. По обыкновению, все собрались там и теперь, в том числе ксендз Улановский, викарий Чижик и акцизный ревизор Столбицкий. Пан Скорабевский, мужчина в меру полный и в меру красивый, с длинными усами, сидел на стуле и курил трубку; пани Скорабевская наливала чай, а ревизор, человек скептического ума, потешался над старым священником.

– А вот расскажите-ка нам, ваше преподобие, об этой славной битве, – говорит ревизор.

– Что? – спрашивает старик, приложив руку к уху.

– О битве, – уже громче повторяет ревизор.

– А... о битве... – протянул ксендз и, задумчиво поглядывая вверх, что-то прошептал, как бы собираясь с мыслями. Ревизор уже заранее приготовился

смеяться, а все остальные молча ждали рассказа, хотя уже слышали его сотни раз, так как постоянно вызывали на него старика.

– Что же, – начинает Улановский, – был я тогда викарием, а приходским священником был ксендз Гладыш. Хорошо, говорю: ксендз Гладыш. Тот самый, что перестроил ризницу, царствие ему небесное! Только что кончилась поздняя обедня, я окликаю его. «Что?» – спрашивает он. «Да вот мне кажется, так это не пройдет». – «Да и мне кажется, отвечает, что так это не пройдет». Вдруг смотрим: из-за ветряной мельницы показались войска – кто на лошадях, кто пешком, тут знамена, там пушки... Я сейчас и подумал: «Ого!» А тут уж валят и с другой стороны. «Овцы, что ли?» – думаю. А это не овцы, а кавалерия. Как только эти увидели тех, так сразу же: «Стой!» Вдруг как выскочит из лесу кавалерия, эти сейчас вправо, те влево, эти тоже влево, те – за ними. Видят, плохо дело! Тогда и эти тоже на них! Да как начали стрелять, а тут вдруг из-за горы что-то блеснуло. «Видите?» – спрашиваю Гладыша. «Вижу», – отвечает, а там уж пошли палить из пушек, из ружей... Эти – к реке, а те не пускают, этот того, а тот этого. То те берут верх, то эти. Шум, гам, дым, а там и в штыки. Только показалось мне, будто эти стали сдавать. Я и говорю ксендзу Гладышу: «А ведь те побеждают». А он отвечает: «И мне кажется, что побеждают». Не успел я сказать, как эти пустились бежать, те за ними, и давай топить, да убивать, да брать в плен... Ну, думаю, конец... Нет, куда там! Вот именно, говорю, ну...

Старичок махнул рукой и, удобнее усевшись в кресле, впал в глубокую задумчивость, только голова его тряслась сильнее обыкновенного да глаза еще больше выкатились из орбит.

Ревизор смеялся до слез.

– Ваше преподобие, кто же с кем дрался, где и когда? – спросил он.

Каноник опять приложил руку к уху:

– А?

– Ох! Не могу, ведь как насмешил! – кричал ревизор, обращаясь к Скорабевскому.

– Не угодно ли сигару?

– А может быть, кофе?

– Ох! Нет, не могу, вот насмешил!

Смеялись из вежливости и почтения к ревизору и Скорабевские, хотя вынуждены были слушать этот рассказ слово в слово каждое воскресенье. Тем не менее все весело смеялись, как вдруг внизу послышался чей-то тихий, боязливый голос...

– Слава Иисусу...

Скорабевский поднялся и, подойдя к ступенькам, спросил:

– Кто там?

– Это я, Репиха.

– Чего тебе?

Репиха поклонилась настолько низко, насколько возможно было кланяться с ребенком на руках.

– К вашей милости пришла, пожалейте вы нас, сирот, не дайте в обиду!

– Оставьте вы меня хоть в воскресенье в покое! – прервал ее Скорабевский таким тоном, как будто она каждый день приставала к нему с просьбами. – Ты же видишь, что у меня гости; бросать мне их, что ли, ради тебя!

– Я подожду...

– Ну, и жди... не разорваться я«е мне!

С этими словами Скорабевский втиснул свою тушу обратно на веранду, а Репиха смиренно пошла к садовой ограде и стала терпеливо ждать. Но ждать ей пришлось долго. Господа были заняты разговором, и до нее то и дело доносился веселый смех, который до боли сжимал ее сердце; ей, бедной, было совсем не до смеха. Но потом вернулась с прогулки панна Ядвига со своим кузенком, а потом все ушли в комнаты. Солнце уже склонялось к западу. Наконец паверанду вышел казачок Ясек, которого Скорабевский называл «Такой-сякой», и начал накрывать стол к чаю. Он переменял скатерть и расставил чашки, со звоном опуская в них ложечки. А Репиха все ждала и ждала. Она уже подумывала, не пойти ли ей пока домой и вернуться попозже, но боялась опоздать и, сев под забором, стала кормить ребенка. Ребенок насосался и уснул, но спал беспокойно: ему уже с утра нездоровилось. Да и Репиху тоже бросало то в жар, то в холод, и ломило все тело, но она ни на что не обращала внимания и терпеливо ждала. Наконец совсем стемнело, на небе взошла луна. Стол был накрыт, на веранде горели лампы, а господа все еще не выходили к чаю, так как барышня играла на рояле. Репиха стала про себя читать молитву ангелу-хранителю, а потом размечталась о том, как их спасет пан Скорабевский. Как он это сделает, она, конечно, не знала, но была уверена, что такой пан, как он, знаком и с комиссаром, и с начальником, а потому стоит ему только рассказать про все их беды, и – даст бог – все уладится. Если бы далее Золзикевич или войт вздумал ему противиться, уж пан-то нашел бы па них управу. «Всегда он был добрый и к людям жалостливый, так авось и меня так не оставит», – думала она. И она не ошибалась. Скорабевский действительно был добрый человек. Потом она вспомнила, что к ее мужу он был особенно милостив и, наконец, что ее покойница мать выкормила панну Ядвигу. Все эти мысли подействовали па нее успокоительно, и она приободрилась. «Пусть же люди говорят, что хотят, – думалось ей, – а как беда случится, куда же, как не в усадьбу?» То, что ей пришлось ждать уж несколько часов, казалось ей настолько естественным, что она даже не задумывалась об этом. Между тем господа вышли на веранду. Сквозь листву она видела, как барышня из серебряного чайника разливала чай, или, как говорила ее покойная мать, «этакую воду пахучую, от которой весь рот пропахнет». Потом все пили чай, разговаривали и весело смеялись.. Тогда только Репихе пришло в голову, что в «господском сословии всегда счастливее живут, чем в простом», и, неизвестно почему, слезы опять потекли по ее щекам. Однако горечь эта скоро сменилась другим чувством: Такой-сякой стал подавать на стол одно за другим дымящиеся блюда, и Репиха вспомнила, что она голодна, потому что за обедом она ничего не могла взять в рот, а утром выпила только немного молока.

«Хоть бы косточки мне дали обглодать», – подумала она. Стоило только попросить, так не только дали бы ей косточки, но и накормили бы досыта – она это знала, но

боялась беспокоить господ при гостях, чтобы барин не рассердился.

Наконец кончился и ужин. Ревизор сразу же уехал, а полчаса спустя п оба ксендза уселись в помещичью бречку. Репиха видела, как помещик посадил каноника, и решила, что теперь самое удобное время подойти к нему.

Экипаж тронулся, барин вслед крикнул кучеру: «Посмей только вывернуть на плотине, я тебе выверну!» – потом поглядел на небо, как бы желая узнать, какова будет завтра погода, и, заметив белешую в темноте рубаху Репихи, спросил:

– Кто там?

– Это я, Репиха.

– А, это ты? Ну, говори скорей, что тебе нужно: уж поздно.

Репиха опять рассказала все с начала до конца.

Скорабевский молча слушал, попыхивая трубкой, и наконец сказал:

– Дорогие мои, помог бы я вам с удовольствием, если бы не дал себе слова не вмешиваться в волостные дела. Раньше, конечно, было дело другое... а теперь – ни вы ко мне, ни я к вам... Теперь вы мои соседи – и баста!

– Да, я знаю, – дрожащим голосом ответила Репиха, – а все думала, может, пожалеете вы нас... – И голос ее оборвался.

– Все это очень хорошо, – сказал Скорабевский. – Но что же я могу сделать? Слова своего я из-за вас не нарушу, да и к начальнику ради вас не стану обращаться. Он уж и так жалуется, что я его постоянно беспокою своими делами. Что я хотел сказать? Опять вам повторяю, что ничего теперь у нас с вами нет общего. У вас есть волостной суд, а если там вам не помогут, то к начальнику вам дорога так же хорошо известна, как и мне. Вы теперь там даже больше значите, чем я. Это вам не прежнее время, голубушка. Ну! Ступай с богом.

– Спасибо и на этом, – чуть слышно проговорила Репиха, кланяясь барину в ноги.

ГЛАВА IX

Имогена

Выйдя из заключения, Репа отправился прямо в корчму, а не домой. Что же, ведь известно, что всякий мужик с горя пьет. Из корчмы, движимый той же мыслью, что и жена, он пошел к Скорабевским и, как оказалось, сделал большую глупость.

В пьяном виде он не понимал, что говорит, и был чересчур настойчив. Когда пан Скорабевский изложил ему свой «принцип невмешательства», Репа не только не понял этого в высшей степени дипломатического принципа, но и со всей грубостью, свойственной мужикам, весьма непочтительно выразился о нем, за что его Скорабевский вышвырнул за дверь.

Вернувшись домой, он сам рассказал жене:

– Был я у барина.

– Что же, без толку?

– Поджечь бы их, собачьих детей! – И он стукнул кулаком по столу.

– Тише ты! Лучше скажи, что тебе сказал барии?

Отослал меня к начальнику... Чтоб его...

– Ну вот, видно, придется теперь ехать в Ословицы.

– И поеду! Или уж выше пана никого нет на свете?

Удивительное дело! После своего визита в усадьбу Репа даже о писаре и о войте не отзывался с такой страстной ненавистью, как о пане Скорабевском. Войт и писарь здорово ему навредили, но он понимал, что им это так и полагается. А вот пан – это другое дело, пан мог спасти и не захотел.

– Я и поеду, – подхватил Репа, – я ему покажу, что мы и без него не пропадем.

– Нет, уж сиди ты, горемыка, дома, лучше я поеду. Ты как выпьешь, так сейчас нагрубишь начальству и еще хуже сделаешь.

Репа сначала было не соглашался, но к вечеру пошел в корчму «заморить червячка», на другой день опять; тогда жена, не говоря ни слова, оставила все на волю божью и в среду, взяв с собой ребенка, отправилась в Ословицы.

Лошадь нужна была в хозяйстве, и баба решила идти пешком. Вышла она из дому еще до восхода солнца, так как до Ословиц было более двадцати верст. Она надеялась, что встретит по дороге добрых людей, которые ее подвезут, но не встретила никого. Часу в девятом утра, устав, она села отдохнуть на опушке леса, съела краюшку хлеба и пару яиц, которые захватила с собой в кошелке, и продолжала свой путь. Солнце начало сильно припекать, а потому Репиха, увидев арендатора Гершека из Вжецёндз, который вез гусей на продажу, стала его просить подвезти ее до города.

– Ступай себе с богом, – отвечал Гершек, – здесь такой песок, что конь и меня одного еле тащит. Хотя... дашь злотый, тогда подвезу.

Репиха только теперь вспомнила, что у нее в узелке была всего одна трехкопеечная монета; она было хотела дать ее Гершеку, но он засмеялся:

– Три копейки? Это тоже на земле не валяется, это тоже деньги. Ну-ну!

С этими словами он стегнул лошадь и поехал дальше. Между тем становилось все жарче, пот градом катился по лицу Репихи, но она, собрав все силы, продолжала идти и через час была в Ословицах.

Всякому, кто хорошо знает географию, известно, что, въезжая в Ословицы со стороны Бараньей Головы, нужно проехать мимо реформатской церкви, в которой раньше была чудотворная икона божьей матери и возле которой еще и поныне каждое воскресенье собирается целая вереница нищих, горланящих что есть мочи. Репиха пришла в будни и застала возле церкви всего лишь одного нищего; он высунул из-под лохмотьев голую ногу без пальцев, вытянул ее во всю длину и, держа в руке банку от ваксы, пел молитву пресвятой богородице.

Завидев прохожего, он перестал петь, но вытягивал дальше свою беспалую ногу и кричал так, словно с него кожу сдирали:

– Добрые люди! Подайте несчастному калеке! Дай вам бог доброго здоровья!

Разглядев его, Репиха развязала свой узелок и, вынув оттуда монету, подала ее нищему со словами:

– Найдешь пять грошей сдачи?

Она собиралась дать ему только грош, по нищий, почувствовав в своей руке деньги, не захотел уж с ними расставаться и давай ругаться:

– Для бога пожалела! Смотри, и он тебе пожалеет счастья. Убирайся ты к лешему, пока цела!

Репиха подумала: «Пусть уж берет во славу божию!» – и пошла дальше.

Придя на рынок, она испугалась. Легко попасть в Ословицы, по заблудиться в них еще легче. Шутка ли, такой город! В незнакомую деревню придешь – и то приходится спрашивать, где кто живет, что же говорить об Ословицах?

«Ох, заблужусь я тут, как в лесу», – подумала Репиха. Но ей ничего иного не оставалось, как спрашивать у прохожих. Про комиссара она скоро расспросила, но, подойдя к его дому, узнала, что тот уехал в губернию. Что же касается начальника, то ей сказали, что надо его искать в присутствии. А где же это присутствие?

Ох, и глупая же баба! Да здесь, в Ословицах, где же еще? И она пошла искать присутствие в Ословицах. Долго она его искала, смотрит: стоит зеленый дворец, громадный – просто страх берет, с орлом на воротах, а перед ним видимо-невидимо экипажей, бричек и тележек. Репиха подумала, что здесь ярмарка.

– А где же тут присутствие? – спросила она какого-то господина во фраке и низенько поклонилась ему.

– Ты ведь стоишь перед ним.

Она собралась с духом и вошла в здание. Смотрит: везде коридоры, а в них налево двери, направо двери и впереди двери, еще и еще, и на каждой какие-то буквы. Репиха перекрестилась и, робко отворив первую дверь, очутилась в громадной комнате, разделенной перегородками, как костел.

За перегородкой сидел какой-то господин во фраке с золотыми пуговицами и с пером за ухом, а перед ним толпилась целая куча господ. Господа все платили, платили, а тот, во фраке, только курил папиросы и писал квитанции, которые и отдавал господам. Как кто получит такую квитанцию, так сразу и уходит. Репиха подумала, что здесь, наверное, нужно платить, и пожалела о своих трех копейках, а затем с робостью подошла к загородке.

Но там никто на нее и не взглянул. Репиха стоит уже час; одни уходят, другие приходят, часы за перегородкой тикают, а она все стоит. Понемногу народу становилось все меньше, и наконец все разошлись. Чиновник сел за стол и начал

писать. Тогда Репиха осмелилась и чуть слышно проговорила:

– Слава Иисусу.

– Чего тебе?

– Господин начальник!..

– Здесь касса.

– Господин начальник!..

– Говорят тебе, здесь касса.

– А начальник-то где?

Чиновник указал другим концом пера на дверь и пробормотал:

– Там.

Репиха снова очутилась в коридоре. Там... но где же, где же это «там»? Дверей всюду не сочтешь, а в какую идти? Народу множество, все снуют взад и вперед; наконец видит: стоит в этой толпе мужик с кнутом. Репиха к нему:

– Отец!

– Чего тебе?

– Откуда вы?

– Из Вепшовиск, а что?

– Где тут начальник?

– Кто его знает!

Потом она спросила еще кого-то, с золотыми пуговицами, но уже не во фраке, а с продранными локтями. Тот даже не выслушал ее, а только буркнул:

– Некогда мне.

Репиха опять пошла в первую попавшуюся дверь; не знала она, бедняжка, что на этой двери было написано: «Вход посторонним воспрещается». К числу служащих она не относилась, а надписи, как я уже упомянул, не читала.

Она отворила потихоньку дверь – смотрит: пустая комната, под окном скамейка, на скамейке сидит какой-то человек и дремлет. Дальше дверь в другую комнату, а там расхаживают какие-то господа во фраках и мундирах.

Репиха подошла к тому, который дремал на скамейке. Его она меньше боялась: он ей показался попроще, да к тому же она заметила, что сапоги на нем были рваные.

Репиха дернула его за рукав.

Он вскочил и, только взглянув на нее, как крикнет:

– Нельзя! Пошла вон!

Бабенка – бежать, а он дал ей пинка и с силой захлопнул за ней дверь. Репиха в третий раз очутилась в том же самом коридоре.

Она села возле какой-то двери и с истинно крестьянским терпением решила здесь сидеть до конца света. «Может, кто и спросит меня», – думала она. Репиха не плакала, но поминутно терла глаза, потому что они у нее чесались, а коридор со всеми дверьми начал перед ней кружиться.

Между тем люди мелькали мимо нее то направо, то налево, хлопали дверьми, громко разговаривали – словом, шум и гам был такой, как на ярмарке.

Наконец господь все же смилостивился над ней. Мимо нее из дверей вышел степенный шляхтич, которого она не раз видела в костеле во Вжецёндзах. Наткнувшись на нее, он спросил:

– Ты что здесь сидишь, а?

– Я к начальнику.

– Так здесь же судебный пристав, а не начальник.

Шляхтич указал ей на дверь в глубине коридора.

– Вот там, где зеленая дощечка, поняла? Но теперь не ходи к нему: он занят. Поняла? Подожди лучше здесь, он должен пройти мимо.

И шляхтич пошел дальше, а Репиха посмотрела ему вслед, словно это был ее ангел-хранитель.

Однако ей пришлось еще долго ждать. Наконец дверь с зеленой дощечкой с треском распахнулась, из нее вышел немолодой военный и быстро, шумно зашагал по коридору. Ох, вот уж но нем сразу можно было узнать, что это начальник, потому что за ним вприпрыжку семенило несколько просителей, забегая то с одной, то с другой стороны, причем до ушей Репихи долетали восклицания: «Господии начальник! Господин начальник, одно только словечко! Будьте так добры!» Но он их не слушал и шел дальше. У Репихи в глазах потемнело при виде его. «Да будет воля господня!» – промелькнуло у нее в голове; она вышла на середину коридора и, упав на колени, загородила ему дорогу.

Начальник посмотрел на нее и остановился, а за ним и вся его свита.

– Что тебе? – спросил он Репиху.

– Ясновельможный началь...

Она не могла продолжать: от испуга у нее пропал голос и онемел язык.

– Что тебе? – повторил начальник.

– Да... да... я... насчет солдатчины.

– Что же, тебя, что ли, в солдаты забирают? – спросил начальник.

Просители, желая угодить начальнику, хором рассмеялись, но он попросил их замолчать, а потом нетерпеливо сказал Репихе:

– Говори же скорей, чего тебе надо, мне очень некогда.

Но от смеха этих господ Репиха окончательно потеряла голову и бессвязно забормотала:

– Бурак, Репа, Репа, Бурак... Ох!..

– Должно быть, напилась, – сказал один из присутствующих.

– Оставила язык дома, – прибавил другой.

– Да что же тебе нужно? – повторил начальник, выйдя из терпения. – Пьяна ты, что ли?

– Господи Иисусе, пресвятая богородица! – простонала Репиха, чувствуя, что последняя соломинка спасения выскользает у нее из рук. – Ясновельможный господин началь...

Но он действительно был очень занят: в это время уже начался рекрутский набор, было много дела, кроме того, по своему положению он должен был дать бал в Ословицах, а эту женщину он все равно не мог понять, поэтому он махнул рукой и воскликнул:

– Все водка, водка! А ведь совсем еще молодая и красивая. – И потом, обернувшись к Репихе, прибавил таким тоном, что она готова была сквозь землю провалиться: – Когда протрезвишься, обратись в волостной суд, а он пусть представит твою жалобу мне.

И поспешил дальше, а за ним и просители, повторяя:

– Господин начальник! Одно словечко, господин начальник!

Будьте так милостивы, господин начальник!

Но вот коридоры опустели. Везде стало тихо, только ребенок Репихи стал громко кричать. Наконец она очнулась, точно после глубокого сна, встала, подняла ребенка и каким-то чужим голосом принялась его убаюкивать:

– А-а, а-а, а-а!

Потом вышла на улицу. Небо заволкло тучами, где-то вдалеке гремело. Было душно.

Что происходило в душе Репихи, когда она шла снова мимо реформатской церкви, возвращаясь в Баранью Голову, я не берусь описывать. Вот если бы панна Ядвига очутилась в подобном положении, тут уж я написал бы сенсационный роман, в котором доказал бы самым ярким позитивистам, что еще существуют на свете идеальные существа. Но панна сумела бы разобраться в своих впечатлениях.

Душевная скорбь выразилась бы у нее в не менее скорбных, а вместе с тем гораздо более драматических словах и мыслях. Этот порочный круг, глубокое и мучительное ощущение беспомощности, бессилия и насилия, роль листочка, сметенного бурей, глухое сознание того, что спасения ждать неоткуда,— все это, несомненно, вдохновило бы панну Ядвигу на самый драматический монолог, который мне бы осталось только записать, чтобы завоевать себе славу. А Репиха что? Этот простой народ, когда страдает, только страдает — и больше ничего. Репиха в руках жестокой судьбы, которая беспощадно преследовала ее, выглядела так, как выглядит птица, замученная злым ребенком. Она шла куда глаза глядят, ветер гнал ее, пот стекал по лицу — вот и все. Время от времени заболевший ребенок, открыв ротик, дышал так, как будто умирал, а мать шептала ему: «Ясек, сыночек мой любимый!» — и прижимала губы к его пылающему лобику. Она миновала реформатскую церковь и вышла в поле, но вдруг остановилась: навстречу ей шел пьяный мужик.

Тяжелые тучи все ниже нависали в небе, и в них затаилось что-то грозное, словно надвигалась буря. Все чаще сверкали молнии, но мужик ни на что не обращал внимания. Полы его кафтана развевались на ветру, шапка сдвинулась набекрень, он шел, шатаясь из стороны в сторону, и горланил:

Пошла Дода в огород
Пастернак копать,
А я Доду палкой в ногу —
Дода удирать.
У-ду-ду! У-ду-ду!

Увидев Репиху, он остановился, раскинул руки и крикнул:

Ой, пойдём в лесочек,
Поцелуй разочек!

Он хотел ее облапить, но Репиха, испугавшись за себя и за ребенка, бросилась бежать. Мужик за ней, но спяна не удержался на ногах и упал. Правда, он сразу же вскочил, но уже не пытался ее догнать, а схватил камень и с силой пустил ей вслед, так что в воздухе засвистело.

От внезапной жгучей боли в голове у Репихи потемнело в глазах, и она присела на землю. Однако, вспомнив о ребенке, побежала дальше. У креста бедняжка остановилась и, оглянувшись, увидела, что мужик был от нее на расстоянии по меньшей мере полуверсты и, шатаясь, направлялся к городу.

В эту минуту она почувствовала что-то странно теплое. Она дотронулась рукой до шеи, посмотрела на пальцы и увидела кровь.

Опять у нее потемнело в глазах, и она лишилась чувств.

Очнулась она у подножия креста, на земле. Вдруг вдалеке показался кабриолет из Осцешина, он быстро приближался, и вскоре Репиха увидела молодого пана Осцешинского. С ним была гувернантка из усадьбы.

Осцешинский не знал Репихи, но она не раз встречала его в костеле и сразу узнала. С трудом поднявшись, она хотела подойти к кабриолету и попросить молодого пана хоть ребенка подвезти, чтобы спасти его от бури, но не могла

двинуться.

Между тем помещик поравнялся с ней и, увидев у креста незнакомую женщину, крикнул:

– Эй, эй, садись!

– Пошли вам господь...

– Да наземь, наземь!..

О, пан Осцешинский был шутник, вся округа знала его проделки. Уж он-то никого не пропустит по дороге; вот и с Репихой пошутит и как ни в чем не бывало покатил дальше. Репиха услышала, как они весело смеялись с гувернанткой, потом видела, как целовались и, наконец, скрылись в темной дали.

Репиха осталась одна. Но недаром говорят: «Бабу да жабу и топором не убьешь», – через часок она поднялась и, хотя ноги у нее подгибались, все-таки пошла.

– За что же дитя страдает? Рыбка моя золотая! – то и дело повторяла она, прижимая к груди больного Яся.

Но вскоре у нее начался бред, и она забормотала, как пьяная:

– А в избе-то люлька пустая, а мой-то с ружьем пошел на войну...

Ветер сорвал у нее чепец с головы; густые волосы рассыпались по плечам, развеваясь на ветру. Вдруг сверкнула молния, а вслед за ней где-то совсем близко ударил гром и запахло серой; она опустилась наземь и сразу очнулась. «И слово стало плотью!» – вскричала она в испуге и посмотрела на небо. Оно показалось ей до того грозным, беспощадным и разъяренным, что она запела дрожащим голосом: «Под твою защиту...» Какой-то зловещий медный свет, пробиваясь сквозь тучи, падал на землю. Репиха вошла в лес, но в лесу было еще темнее и страшнее. Время от времени поднимался вдруг шум, словно испуганные сосны шептались между собой. «Что-то будет? О господи!» И снова наступала тишина. Иногда в глубине леса раздавался чей-то голос; у нее мурашки пробежали по телу; уж не нечистый ли смеется в болоте, не лешие ли затеяли страшный хоровод и вот-вот явятся за ней... «Только бы из лесу уйти, – думала она, – а там сейчас мельница и Мельникова изба». Она бежала из последних сил, глотая воздух запекшимися губами. Между тем небесная плотина рухнула, над ее головой; дождь, смешанный с градом, полил как из ведра; сорвался ветер и понесся по лесу, сгибая сосны до земли; лес застилало дымкой, туманом, волнами дождя; дорогу уже нельзя было разглядеть, деревья гнулись, бились по земле, скрипели и тревожно шумели; послышался треск ветвей, стемнело.

Репиху покинули силы.

– Спасите, люди добрые! – простонала она слабым голосом, но никто ее не услышал. Вихрь спирал ей дыхание. Тогда она поняла, что ей отсюда не уйти.

Она сняла с себя платок, кофту, фартук, разделась чуть не до рубашки и укутала ребенка, потом увидела поблизости плакучую березу, подползла к ней на четвереньках и, положив ребенка на сухое местечко, упала наземь рядом с ним.

– Господи! Прими мою душу! – прошептала она и закрыла глаза.

Наконец буря утихла. Наступила ночь, тучи рассеялись, и кое-где показались звезды. Под березой все так же неподвижно белела фигура Репихи.

– Но-о-о!.. – вдруг раздался чей-то голос в темноте. Минуту спустя послышался стук колес и шлепанье лошадиных копыт по лужам.

Это Гершек, арендатор из Вжецёндз, продав в Ословицах гусей, возвращался домой.

Увидев Репиху, подошел к ней.

ГЛАВА X Победа гения

Гершек усадил Репиху в телегу и хотел было везти ее в Баранью Голову, но по дороге встретился с Репой, который, догадавшись, что жену застигла буря, выехал ей навстречу.

Бедная женщина пролежала целые сутки, но на другие встала, потому что ребенок расхворался. Пришли кумушки, обкурили его освященными травами, а когда это не помогло, старая кузнечиха взяла решето и черную курицу и заговорила болезнь. Ребенку и в самом деле сразу стало легче, но беда была с Репой: он глушил теперь водку без всякого удержу, и не было никакой возможности с ним сладить. Странное дело: когда Репиха пришла в себя и спросила его о ребенке, он не только не выказал ей сочувствия, а грубо проговорил: «Шатайся больше невесть где, а ребенка пусть черти возьмут! Задал бы я тебе, если бы ты мне его загубила!» Эта неблагодарность вызвала у нее чувство глубокой горечи, она хотела было его упрекнуть, но не могла ничего сказать, а только посмотрела на него сквозь слезы и голосом, исходившим прямо из сердца, крикнула с страшной болью: «Вавжон!» Мужик так и вскочил с сундука и с минуту молчал, не смея взглянуть на жену, наконец заговорил, но уже совсем по-иному: «Марыся, дорогая, прости ты меня! Вижу, что понапрасну я тебя обидел». Он громко зарыдал и бросился целовать ей ноги; тогда и она заплакала. Он чувствовал, что не стоит такой жены. Но этот мир недолго продолжался. Горе, жгучее, как рана, разжигало их друг против друга. Репа, возвращаясь домой, пьяный или трезвый, не разговаривал с женой и садился на сундук, волком уставясь в землю. Так он просиживал часами, словно окаменев. Жена суетилась, работала, как и раньше, но тоже молчала. Иной раз им и хотелось заговорить, но оба испытывали какую-то неловкость. Так они и жили словно в обиде друг на друга, и в избе их водворилась могильная тишина. Да и о чем им было говорить, когда оба знали, что спасения нет и судьба их решена.

Прошло несколько дней. Репу стала преследовать какая-то страшная мысль. Он пошел к исповеди, к ксендзу Чижиху, но ксендз велел прийти на следующий день. А на следующий день Репа пошел не в костел, а в корчму. Люди слышали, как он спяна говорил, что раз бог не хочет ему помочь, так он продаст душу дьяволу. С тех пор все стали его избегать, и над его домом нависло какое-то проклятие. Злые языки уже поговаривали, что войт и писарь правильно сделали, сдав его в солдаты, потому что из-за одного такого негодяя может обрушиться кара господня на всю Баранью Голову. Кумушки тоже не плошали и стали рассказывать про Репиху всякие небылицы.

Как-то высох у Репы колодец. Репиха пошла к корчме за водой и по дороге услышала, как мальчишки говорили: «Вон солдатка идет!» А один даже сказал: «Не

солдатка, а дьяволова жена!» Бедная женщина, не промолвив ни слова, пошла дальше, хоть и заметила, как они перекрестились, наполнила ведро водой – и скорее домой, а тут Шмуль стоит возле самой корчмы. Увидев Репиху, он вынул изо рта фарфоровую трубку, с которой никогда не расставался, и крикнул:

– Эй, Репиха!

Она остановилась и спрашивает:

– Чего вам?

А он:

– Были вы в суде?

– Была!

– Были у ксендза?

– Была!

– Были в усадьбе?

– Была!

– Были в присутствии?

– Была!

– И ничего не добились?

Репиха только вздохнула, а Шмуль продолжал:

– Ну, до чего же вы глупы! Наверное, во всей Бараньей Голове не найдется глупее вас! И зачем вы туда ходили?

– А куда же мне было идти? – возразила она.

– Куда? – повторил Шмуль. – А на чем у вас контракт? На бумаге. А не будет бумаги, так не будет и контракта; разорвите бумагу – и дело с концом!

– О господи, – говорит Репиха, – да будь она у меня, давно бы я ее разорвала.

– Так что же? Будто вы не знаете, что бумага у писаря? Ну, а я знаю хорошо, что вы много у него можете добиться. Он же сам мне сказал: пусть, говорит, Репиха придет ко мне и попросит, так я, говорит, сейчас же бумагу разорву – и дело с концом!

Репиха ничего ему не ответила, только схватила ведро и пошла домой. Между тем во дворе стемнело.

Вечером пан писарь, уже полураздетый, в одном белье, задрал кверху козлиную бородку, лежал в кровати и читал «Тайны Тюльрийского дворца», издания

Бреслауэра. Он читал сцену, в которой посол испанский Олозага целовал ножки королевы Евгении. Эта сцена была так чудесно написана, что писаря прямо подбрасывало на кровати.

Горит свеча, потрескивает муха в сале... Вдруг писарь слышит, как кто-то – стук! стук! – в дверь, но так тихо, что он едва ловит ухом этот стук.

– Кто там? – громко спросил он, сердясь, что ему помешали.

– Я, – ответил кто-то шепотом.

– Кто это «я»?

Голос пролепетал едва внятно:

– Я, Репиха.

Писарь вскочил и отворил дверь. Репиха вошла так робко, что хотела что-то сказать – и не смогла. А он был добрый человек – Золзикевич – и ободрил ее. Хотя он и был не одет, он сразу же обнял ее, говоря:

– Ты за контрактом, Марыся?

– Да...

Тогда он притянул ее к себе, обнял крепче и поцеловал в дрожащие губы.

– А теперь что? – спросил он игриво.

Женщина побелела как полотно.

– Да будет воля божья, – шепнула она.

Пан писарь погасил свечу...

ГЛАВА XI

Конец страданиям

На небе уже скрылась Большая Медведица и заблестели звезды, когда дверь скрипнула и Репиха тихо вошла к себе в избу. Вошла и остановилась как вкопанная. Она думала, что Репа, по обыкновению, заночует в корчме, между тем он сидел па сундуке, подперев голову руками и уставясь в землю.

На очаге догорал огонь.

– Ты где была? – мрачно спросил Репа.

Она, не отвечая, повалилась ему в ноги и горько зарыдала:

– Вавжон! Вавжон! Ведь для тебя это, для тебя! На этакий срам пошла. Обманул он меня. Только надругался надо мной и прогнал. Вавжон! Ты-то хоть пожалей меня! Любимый мой! Вавжон!..

Репа достал из сундука топор.

– Нет,– тихо проговорил он,– уж теперь-то пришел конец тебе, бедняга! Уже не жить тебе больше, не видать света белого. Уже не будешь ты, бедняга, в избе сидеть, а будешь на погосте лежать... уж ты...

Она в ужасе поглядела на него.

– Ты что же, убить меня, что ли, хочешь?

А он:

– Ну, Марыся, не трать попусту времени, молись богу, ты, бедняга, и не почувешь боли...

– Да ты вправду, Вавжон?..

– Клади голову на сундук...

– Вавжон, помилосердствуй!

– Клади голову на сундук! – крикнул он уже с пеной у рта.

– О господи! Спасите! Люди добрые, спаси...

Раздался глухой удар, потом стон и стук головы об пол, второй удар и более слабый стон, потом третий удар, четвертый, пятый, шестой... На пол ручьем хлынула кровь, огонь в очаге погас. Репиха содрогнулась всем телом, потом вытянулась и так застыла.

Вскоре после этого кровавое зарево разлилось по небу, разорвав мрак: горели господские постройки.

ЭПИЛОГ

А теперь я скажу вам кое-что на ушко, милые читательницы. Репу не взяли бы в солдаты. Условия, написанного в корчме, было недостаточно. По, видите ли, мужики в таких делах мало смыслят, а интеллигенция благодаря своей нейтральности – тоже не многим больше, и следовательно... следовательно, Золзикевич, который все это понимал, мог твердо рассчитывать, что дело, наверное, затянется и страх бросит женщину в его объятия.

И этот великий человек не просчитался. Вы спросите, что с ним случилось? Да что же с ним могло случиться? Репа, после того как он поджег господские постройки, хотел отомстить и писарю, но на крик: «Пожар!» – проснулась вся деревня, и Золзикевич был спасен.

Таким образом, он и поныне занимает должность писаря в Бараньей Голове, но надеется, что в скором времени будет избран в судьи. Он как раз прочитал роман «Варвара Убрик» и надеется также и на то, что в самом недалеком будущем панна Ядвига пожмет ему руку под столом.

Оправдаются ли его надежды – покажет будущее.

КОМЕДИЯ ОШИБОК
Картинки американской жизни

Случай, о котором я хочу рассказать, произошел, как говорят, на самом деле в одном американском городке. На западе это было или на востоке, я так и не узнал, — да, в сущности, это все равно. Возможно также, что какой-нибудь американский или немецкий новеллист уже до меня использовал этот сюжет; но я полагаю, что моим читателям это так же безразлично, как и вопрос, где именно было дело.

Лет пять-шесть тому назад в округе Марипоза были открыты нефтяные источники. Слухи об огромных барышах, которые приносят такие разработки в Неваде и других штатах, побудили нескольких предпринимателей сразу же организовать товарищество для эксплуатации новооткрытых источников. Навезли сюда всякие машины, насосы, краны, лестницы, бочки и бочонки, буры и чаны, построили дома для рабочих, назвали этот участок «Страк-Ойл»[15] и через некоторое время в пустынной и безлюдной местности, где еще год назад единственными обитателями были койоты, вырос поселок — несколько десятков домиков, в которых жило несколько сот рабочих.

Прошло два года, поселок Страк-Ойл стал уже именоваться Страк-Ойл-Сити. И в самом деле, это был настоящий сити, в полном смысле слова. Примите во внимание, что к тому времени здесь имелись уже портной, сапожник, столяр, кузнец, мясник и врач-француз — правда, у себя на родине этот француз занимался ремеслом брадобрея, но как-никак был человек ученый и притом безвредный, а для американского доктора это уже очень много.

Доктор, как это часто бывает в маленьких американских городках, одновременно был аптекарем и почтарем и, таким образом, подвизался сразу на трех поприщах. Аптекарь он был такой же безвредный, как врач, так как в его аптеке можно было получить только два лекарства: сахарный сироп и леруа[16]. Тихий и добродушный старичок говаривал своим пациентам:

— Вы можете принимать мои лекарства совершенно спокойно. У меня правило: раньше, чем дать больному лекарство, я для проверки принимаю такую же дозу. Сами понимаете, если оно не повредит мне, здоровому, так, значит, и для больного оно неопасно. Верно?

— Верно, — соглашались успокоенные обыватели. Им почему-то не приходило в голову, что врач обязан не только не вредить, но помогать больным.

Мистер Дасонвилль — так звали доктора — в особенности верил в чудодейственные свойства леруа. Не раз он на собраниях, сняв шапку, обращался к своим согражданам с такой речью:

— Леди и джентльмены, убедитесь своими глазами, как действует леруа! Мне пошел восьмой десяток, я уже сорок лет ежедневно употребляю это средство — и вот смотрите: у меня пи единого седого волоса на голове!

Леди и джентльмены могли бы, конечно, возразить, что у доктора не только седых волос, но и вообще ни единого волоса на голове нет, ибо череп его был гол, как колено. Но так как подобные замечания никак не послужили бы к чести и славе

Страк-Ойл-Сити, то их никто не делал.

А Страк-Ойл-Сити между тем все рос и рос. Еще через два года сюда провели железнодорожную ветку. В городе уже были свои выборные должностные лица. Всеми любимый доктор, как представитель интеллигенции, был избран судьей, а сапожник, польский еврей, мистер Дэвис (бывший Давид), – шерифом, то есть начальником полиции, которая состояла из него одного. Выстроили школу, где начальствовала специально для этого выписанная учительница, старая дева весьма древнего возраста и с вечным флюсом. И, наконец, появилась первая гостиница под названием «Отель Соединенных Штатов».

Чрезвычайно оживилась в городе торговля, «бизнес». Нефть приносила большие барыши. Мистер Дэвис поставил перед своей мастерской стеклянную витрину вроде тех, какие украшают обувные магазины в Сан-Франциско. Это всеми было отмечено, и на очередном собрании жители Страк-Ойл-Сити публично выразили ему благодарность за «новое украшение города», на что мистер Дэвис отвечал со скромностью великого гражданина: «Благодарю! Благодарю!»

Где есть судья и шериф, там неизбежны судебные процессы. А где тяжба, там и бумагомарание, и, следовательно, требуется бумага. Поэтому на углу Первой улицы и улицы Койотов открылся писчебумажный магазин, где продавались также газеты и политические карикатуры, изображавшие президента Гранта в виде крестьянина, доящего корову (корова символизировала Соединенные Штаты). Шериф не считал нужным запрещать продажу таких изображений, ибо это не входило в обязанности полиции.

Культурный рост Страк-Ойл-Сити па этом не остановился. Американский город не может существовать без прессы; и вот прошел еще год – и в Страк-Ойл-Сити начала издаваться газета «Saturday Weekly Beview», то есть «Еженедельное субботнее обозрение», имевшая подписчиков ровно столько, сколько в городе насчитывалось жителей. Редактор этого «Обозрения» был одновременно его издателем и заведующим редакцией, сам его печатал и сам же и разносил. Выполнять последнюю обязанность ему было нетрудно, потому что он, кроме того, имел корову и каждое утро носил молоко по домам. Это, однако, ничуть не мешало ему писать политические передовицы, начинавшиеся примерно так:

«Если бы наш ничтожный президент послушался совета, который мы дали ему в предыдущем номере...» – и так далее, и так далее.

Как видите, в благословенном Страк-Ойл-Сити было все, что городу требуется, К тому же рабочие нефтепромыслов не такой грубый и необузданный народ, как золотоискатели, так что в городе было спокойно. Никто ни с кем не дрался, о линчеваниях и слуху не было, жизнь текла мирно, и один день был как две капли воды похож на другой. По утрам каждый занимался своим делом, вечерами обыватели жгли на улицах мусор и, если не было никаких собраний, ложились спать в счастливой уверенности, что завтра так же будут вечером сжигать мусор.

Единственной заботой и огорчением шерифа было то, что он никак не мог отучить жителей Страк-Ойл-Сити от стрельбы из карабинов по диким гусям, пролетающим по вечерам над городом. Стрельба на городских улицах запрещена законом. «В какой-нибудь паршивой захолустной дыре – это еще куда ни шло, – говаривал шериф. – Но в таком большом городе, как наш, постоянные пиф-паф, пиф-паф – это же просто безобразия!»

Граждане слушали, кивали головами, поддакивали шерифу, но, когда к вечеру на розовеющем небе появлялись белые и серые вереницы гусей, летевших с гор к морю, все забывали о своих благих намерениях, хватали карабины и опять начиналась стрельба вовсю.

Мистер Дэвис мог бы, разумеется, препроводить виновных к судье, а судья – брать с них штраф. Но не следует забывать, что эти правонарушители, когда заболели, были пациентами доктора, а когда им нужно было починить или сшить обувь, являлись заказчиками шерифа. И, поскольку рука руку моет, рука руки не обидит.

Итак, Страк-Ойл-Сити наслаждался мирным благополучием. Но неожиданно счастливым дням наступил конец.

Бакалейщик воспылил смертельной ненавистью к бакалейщице, а она к нему.

Тут, пожалуй, придется вам объяснить, что в Америке называется бакалейной торговлей, или, по-ихнему, «гросерн». Это лавка, где продается решительно все: здесь вы можете купить муку, рис, шляпу, сигары, метлу, пуговицы, сардины, рубашку и брюки, сало, семена, ламповое стекло, топор, сухари, тарелки, бумажные воротнички, вяленую рыбу – словом, все, что требуется человеку. В Страк-Ойл-Сити сначала открылась только одна такая лавка. Хозяин ее, Ганс Каске, был флегматичный немец из Пруссии, мужчина лет тридцати пяти, лупоглазый, не тучный, но довольно-таки солидной комплекции. Он всегда ходил без сюртука и не выпускал изо рта трубку. По-английски умел говорить лишь то небольшое, что ему нужно было для «бизнеса», а больше – ни в зуб. Торговлю свою он, впрочем, вел умело, и через год в Страк-Ойл-Сити уже поговаривали, что Ганс Каске «стоит» несколько тысяч долларов.

Но вдруг в городе появилась вторая «гросери».

И удивительное дело; хозяйин первой был немец, и вторую открыла тоже немка!

Кунегунда и Эдуард, Эдуард и Кунегунда!

Между ними сразу же вспыхнула война. Началась она с того, что мисс Нейман (или, как она себя называла на американский лад, Ньюмен) в первое же утро продала посетителям лепешки из муки, смешанной с содой и квасцами. Наибольший вред это причинило бы ей самой, восстановив против нее общественное мнение, если бы она не утверждала, ссылаясь на свидетелей, что муку для лепешек купила у Ганса Каске, так как свою не успела еще распаковать. Выходило, что Ганс Каске – завистник и негодяй, который хотел сразу же осрамить и погубить конкурентку.

Правда, легко было предвидеть, что две «гросери» будут конкурировать между собой, но никто не ожидал, что соперничество их хозяев перейдет в страшную взаимную ненависть. Ненависть эта скоро дошла до того, что Ганс жег мусор только тогда, когда ветер нес дым в лавку его конкурентки, а конкурентка в глаза и за глаза называла его «этот дачмэн», что Ганс рассматривал как величайшую обиду.

Вначале покупатели только посмеивались над обоими, тем более что ни Ганс, ни мисс Нейман не умели говорить по-английски.

Но, когда ея;едневно покупаешь в одной лавке и общаешься с ее хозяином или хозяйкой, трудно сохранить нейтралитет, – и постепенно в городе образовались две

партии: гансистов и нейманистов. Представители противных партий уже начинали косо поглядывать друг на друга, а это могло нарушить мир и благополучие в республике Страк-Ойл-Сити и в будущем вызвать грозные осложнения. Шериф, мистер Дэвис, как глубокомысленный и тонкий политик, всегда считал нужным искоренять зло в самом зародыше и потому старался помирить конкурентов. Не раз, остановившись среди улицы, он увещевал обоих на их родном языке:

– Ну, зачем вам ссориться? Разве же у одного сапожника вы покупаете башмаки? А у меня как раз сейчас есть такие, каких во всем Сан-Франциско не найдете!

– Что толку выхвалять свою обувь перед тем, кто скоро будет ходить босиком? – кисло возразила мисс Нейман.

Ганс отзывался флегматично, как всегда:

– Ко мне покупатели ходят не ради моих ног.

Надо вам сказать, что у мисс Нейман были очень красивые ножки, и колкие намеки Ганса наполняли ее сердце яростным возмущением.

Обе враждующие партии и на городских собраниях начали поднимать вопрос о Гансе и мисс Нейман. Но в Америке тот, кто вздумает воевать с женщиной, никогда не может рассчитывать на защиту правосудия. Большинство граждан перешло на сторону мисс Нейман, и Ганс скоро увидел, что его торговля едва окупает расходы.

Впрочем, и у мисс Нейман дела шли не блестяще, так как все женщины города были на стороне Ганса, с тех пор как они подметили, что их мужья что-то уж слишком часто ходят за покупками к хорошенькой немке и подолгу засиживаются у нее в лавке.

Когда в обеих лавках не было покупателей, Ганс и мисс Нейман стояли друг против друга, обмениваясь злобными взглядами. Мисс Нейман напевала па мотив немецкой песенки «Мой милый Августин»:

– Дачмэн, дачмэн, да-ачмэн!

А Ганс мерил ее взглядом с головы до ног с таким же выражением, с каким рассматривал убитого месяц назад койота. Потом, раздражаясь сатанинским смехом, восклицал:

– О господи!

Ненависть этого флегматика дошла до того, что если он утром, выходя на порог, не видел мисс Нейман, он беспокойно топтался на месте, как человек, которому чего-то недостает.

Между ними давно дошло бы до столкновений, если бы Ганс не был уверен, что ни один представитель власти его не поддержит, тем более что мисс Нейман нашла себе защитника в лице редактора «Субботнего обозрения». В этом Ганс убедился, когда распустил слух, будто мисс Нейман носит фальшивый бюст. Собственно, в этом не было ничего неправдоподобного – в Америке это принято. Но в ближайшую субботу в «Обозрении» появилась громовая статья, в которой редактор распространялся о клеветнических замашках некоторых «дачмэнов» и в заключение, «как человек, хорошо осведомленный», торжественно заверял читателей, что бюст у некой

оклеветанной дамы не фальшивый, а настоящий.

С того дня мистер Ганс пил по утрам кофе без молока, потому что не желал больше покупать молоко у редактора. Зато мисс Нейман стала брать молоко в двойном количестве. Кроме того, она заказала портному платье такого фасона, который помог ей окончательно убедить всех, что Ганс – недостойный клеветник.

Теперь Ганс чувствовал себя беззащитным против женской хитрости. А немка каждое утро, выходя на порог лавки, напевала все громче:

– Дачмэн, дачмэн, да-ачмэн!

«Чем бы таким ей насолить? – думал Ганс. – Есть у меня для крыс пшеница с мышьяком, так не отравить ли ее кур? Нет, нельзя, меня заставят за них заплатить!.. А, знаю, что делать!»

Вечером мисс Нейман, к своему крайнему изумлению, увидела, что Ганс сносит целыми охапками кустики дикого гелиотропа и укладывает их под решетчатыми окнами погреба. «Любопытно, что это он затевает? – сказала она себе. – Наверное, что-нибудь против меня!»

Между тем стемнело. Уложив зелень двумя рядами, так что посередине оставался свободный проход к окну погреба, Ганс вынес из дому какой-то предмет, прикрытый тряпкой, повернулся спиной к соседке и только тогда развернул этот таинственный предмет и прикрыл его листьями; после чего подошел к стене и стал что-то на ней писать.

Мисс Нейман сгорала от любопытства.

«Не иначе, как это он обо мне что-то пишет, – думала она. – Пусть только все уснут, тогда я пойду погляжу. Умру, а узнаю, что он там такое написал!»

Окончив таинственные приготовления, Ганс ушел к себе наверх и скоро погасил свет. Тогда мисс Нейман поспешно надела халатик и туфли на босу ногу и побежала через улицу. Дойдя до рядов гелиотропа, она двинулась прямо по проходу к погребу, чтобы прочитать надпись на стене.

Но вдруг у нее глаза полезли на лоб. Она откинулась назад и жалобно вскрикнула: «Ах! Ай!» Потом отчаянно завопила: «Помогите! Спасите!»

Наверху открыли окно.

– Что такое? – послышался спокойный голос Ганса. – Что случилось?

– Проклятый дачмэн! – завизжала мисс Нейман. – Убил меня, убил! Завтра тебя за это вздернут! Спасите! Спасите!

– Сейчас сойду, – сказал Ганс.

И действительно, через минуту он появился внизу со свечой в руке. Посмотрел на мисс Нейман, которая стояла как пригвожденная к месту, и, подбоченясь, захохотал:

– Что я вижу? Мисс Нейман? Ха-ха-ха! Добрый вечер, мисс! Ха-ха-ха! Поставил

капкан на скунсов, а поймал девицу! Зачем это вы, мисс, вздумали заглядывать в мой погреб? Я же нарочно написал на стене, чтобы никто не подходил близко. Ну, теперь можете кричать во все горло, пусть люди сбегутся! Пусть увидят все, что вы по ночам ходите к моему погребу подглядывать! Кричите, сколько сил хватит, – вы у меня постоите тут до самого утра. Доброй ночи, мисс, приятных снов!

Положение мисс Нейман было ужасно. Кричать? Нельзя, сбегутся люди, срам! Молчать? Стоять целую ночь пойманной в капкан и завтра стать посмешищем для всего города? Да и зажатая в капкан нога болит все сильнее.

В голове у нее помутилось, звезды сливались перед глазами, а среди них мигал месяц со зловещей физиономией Ганса... Мисс Нейман упала в обморок.

«Негг Je![17] – ахнул про себя Ганс. – Если она умрет, меня завтра линчуют без суда!»

Волосы у него встали дыбом от страха.

Делать было нечего. Ганс поспешно разыскал отмычку, чтобы открыть железный капкан. Но открыть его было нелегко – мешал халат мисс Нейман. Пришлось его немного приподнять, и... несмотря на всю ненависть и страх, Ганс не мог не взглянуть на прелестные, словно мраморные, ножки своего врага, освещенные луной.

Кажется, в нем заговорила жалость. Он торопливо открыл капкан, и, так как девушка все еще была без памяти, взял ее на руки и быстро понес к ней в дом. И пока нес, испытывал все то же чувство жалости.

Он вернулся к себе, по всю ночь не мог сомкнуть глаз.

Наутро мисс Нейман не появилась в дверях лавки, чтобы, как всегда, спеть свое любимое: «Дачмэн, дачмэн, да-ачмэн!» Может быть, ей было стыдно, а может быть, она обдумывала план мести.

Оказалось, что она замышляла месть. Вечером того же дня редактор «Сатердей уикли ревью» вызвал Ганса на кулачный бой и сразу же подбил ему глаз. Но доведенный до отчаяния Ганс задал ему такую трепку, что после недолгого и тщетного сопротивления редактор во весь рост растянулся на земле и закричал: «Довольно! Довольно!»

Неведомо как – не от Ганса – весь город узнал о ночном происшествии с мисс Нейман. А из сердца Ганса после драки с редактором испарилась жалость к противнице и осталась одна лишь вражда.

Он предчувствовал, что ненавистная рука нанесет ему какой-то внезапный удар. И удар не заставил себя долго ждать.

Лавочники часто вывешивают на улице перед лавкой объявления о различных полученных ими товарах, и эти объявления начинаются со слова «Notice»[18]. И еще надо вам знать, что в американских «гросери» обычно продают для ресторанов и баров лед, без которого ни один американец не станет пить ни пива, ни виски. И вот Ганс вдруг заметил, что у него совсем перестали брать лед. Огромный запас, привезенный им по железной дороге и сложенный в погреб, растаял, убытку было больше чем на десять долларов. В чем же дело? Почему так вышло? Ганс видел, что даже его сторонники каждый день покупали лед у мисс Нейман, и не мог понять, что

бы это значило, тем более что он ни с кем из буфетчиков не ссорился.

Он решил выяснить дело.

– Отчего вы не берете у меня льду? – спросил он своим ломаным английским языком у бармена Питерса, когда тот проходил мимо лавки.

– Очень просто: оттого что вы им больше не торгуете.

– Как это не торгую? Почему?

– А я откуда знаю почему?

– По это же неправда! У меня есть лед!

– А это что? – Питере ткнул пальцем в объявление, наклеенное на стену.

Ганс посмотрел и позеленел от злости. В его объявлении кто-то в слове «Notice» вырезал букву «t», и получилось «No ice», что по-английски означает «Льда нет».

– Ах, негодяйка! – крикнул Ганс; весь посипев и дрожа, ворвался он в лавку мисс Нейман.

– Это подлость! – кричал он с пеной у рта. – Как вы смели выцарапать у меня в середине букву?

– Что я у вас выцарапала в середине? – с невинным видом спросила, притворяясь удивленной, мисс Нейман.

– Я же вам сказал – букву «t», не слышите, что ли? Это вы ее выцарапали! Нет, черт возьми, этому надо положить конец! Вы мне заплатите за весь лед!

Обычное хладнокровие изменило Гансу, он вопил как сумасшедший, а мисс Нейман тоже в долгу не оставалась. На крик сбежались люди.

– Спасите! – визжала мисс Нейман. – Немец взбесился! Твердит, что я у него внутри что-то выцарапала, а я ничего у него не выцарапывала. Что я могу у него выцарапать? Видит бог, я охотно выцарапала бы ему глаза, если бы могла, а больше ничего. Я одинокая беззащитная девушка! Он тут меня со свету сживет! Он меня убьет!

Крича это, она заливалась горячими слезами. Американцы так и не поняли, в чем дело, но они не выносят женских слез – и Гансу надавали тумачков и вышвырнули его вон. Он попробовал упираться, но – где там! – вылетел пулей, перелетел через улицу, влетел к себе в лавку и грохнулся на пол.

Через неделю над дверью его лавки висела огромная, ярко размалеванная вывеска. На ней была изображена обезьяна в полосатом платье и белом фартуке с лямками – словом, одетая точно так, как мисс Нейман. А ниже красовалась надпись большими золотыми буквами:

БАКАЛЕЯ «ПОД ОБЕЗЬЯНОЙ»

Набежало множество любопытных – всем хотелось посмотреть вывеску. Услышав хохот на улице, мисс Нейман вышла, взглянула, побледнела, но, не растерявшись, воскликнула громко:

– Бакалея «Под обезьяной»? Ну что же, это верно – ведь над лавкой живет мистер Каске. Ха-ха-ха!

Тем не менее это был для нее удар в сердце. Днем она слышала, как дети, гурьбой возвращаясь из школы, останавливались перед вывеской и кричали:

– Ох, да это же мисс Нейман! Здравствуйте, мисс Нейман!

Это было уже слишком. Вечером, когда к ней пришел редактор, она сказала ему:

– Обезьяна на вывеске – это я! Знаю, что я! И этого я ему не спущу! Я заставлю его снять вывеску и при мне слизать обезьяну языком!

– Что ты хочешь делать?

– Сейчас же идти к судье!

– То есть как это сейчас?

– Ну, завтра.

Рано утром она вышла и, подойдя к Гансу, сказала:

– Вот что, мистер дачмэн: я знаю, что это меня ты намалевал в виде мартышки. Ну-ка, пойдём к судье! Увидим, что он на это скажет.

– Скажет, что я имею право рисовать на своей вывеске что хочу!

– Посмотрим! – Мисс Нейман с трудом переводила дух.

– А откуда вы знаете, что обезьяна – вы?

– Сердце мне это говорит! Идем, идем к судье! Не пойдешь, так тебя шериф в кандалах поведет!

– Что ж, пойдёмте, – согласился Ганс, уверенный, что на этот раз победа за ним.

Они закрыли лавки и отправились к судье, перебраниваясь всю дорогу. И только у самых дверей мистера Дасонвилля оба спохватились, что не настолько знают английский язык, чтобы изложить судье все дело.

Как тут быть? Вспомнили, что шериф, польский еврей, говорит и по-английски, и по-немецки. Пошли дальше, к шерифу.

Но шериф собрался куда-то ехать и уже сидел в телеге.

– Ступайте вы к черту! – сердито прикрикнул он на них. – Взбудоражили весь город! Годами носите одну пару башмаков! Некогда мне с вами возиться. Я еду за дровами. Прощайте!

И уехал.

Ганс упер руки в бока и сказал спокойно:

– Ну, мисс, придется вам потерпеть до завтра.

– Ждать? Ни за что, легче умереть! Только если вы снимете обезьяну...

– Обезьяны не сниму.

– Тогда тебя вздернут! Будешь болтаться па дереве, немец, ой, будешь! Обойдется дело и без шерифа! Судья тоже знает всю историю.

– Ну, так идем к нему без шерифа!

Однако мисс Нейман ошиблась: судья один во всем городе ровно ничего не знал об их ссорах. Безобидный старичок приготавливал свои снадобья и воображал, что спасает мир.

Он принял их, как принимал каждого, – учтиво и ласково.

– Покажите языки, дети мои!.. Сейчас я вам пропишу лекарство.

Оба махнули руками, пытаясь таким образом объяснить ему, что пришли не за лекарством. Мисс Нейман твердила:

– Мы не за этим! Не за этим!..

– Так чего же вам нужно?

Ганс и мисс Нейман заговорили разом, перебивая друг друга. Ганс – слово, она – десять. Наконец немку осенила удачная мысль: она указала себе па грудь в знак того, что Ганс пронзил ее сердце семью мечами.

– Ага, теперь понимаю! Понимаю! – обрадовался доктор.

Он раскрыл большую книгу и начал что-то в нее записывать. Спросил у Ганса, сколько ему лет. Оказалось – тридцать шесть. Спросил у мисс Нейман, но она не помнила точно, сказала, что, кажется, около двадцати пяти.

– All right![19] А как зовут? Ганс, Лора. All right! Чем занимаетесь? Торговлей! All right! – Доктор задал еще какие-то вопросы. Они их не поняли, но на всякий случай ответили: «Jes»[20]. Доктор кивнул головой: вот и все.

Кончив писать, он встал и вдруг, к великому удивлению Лоры, обнял ее и поцеловал.

Она решила, что это доброе предзнаменование, и пошла домой, полная самых радующих надежд.

Дорогой она пригрозила Гансу:

– Я вам покажу! Вы у меня запляшете!

– Запляшет кое-кто другой,– спокойно отпарировал тот.

На другое утро к их лавкам подошел шериф. Оба – и Ганс, и мисс Нейман – стояли в дверях. Он пытал трубой, она напевала:

– Дачмэн, дачмэн, да-ачмэн!

– Думаете идти к судье? – спросил шериф.

– Мы уже ходили.

– Ну и что?

– Шериф, голубчик! Дорогой мой мистер Дэвис! – взмолилась мисс Нейман. – Пойдите узнайте, что он постановил. А я в долгу не останусь... Мне как раз нужны новые ботинки. Замолвите там за меня словечко судье! Вы сами видите – я одинокая, беззащитная девушка-

Шериф ушел. Он вернулся через четверть часа, и почему-то за ним шла целая толпа.

– Ну, как? Как? – спросили в один голос оба противника.

– Все в полном порядке,– отвечал шериф.

– Что же судья сделал?

– А что он мог сделать плохого? Он вас поженил.

– По-же-нил?!

– Ну да. Что же тут странного? Все люди рано или поздно женятся.

Если бы в них ударила молния, и тогда Ганс и его соседка не были бы так потрясены. Ганс выпучил глаза, разинул рот и как полоумный уставился на мисс Нейман, а она, не менее ошеломленная,– на него. Оба в первую минуту словно окаменели, потом подняли крик:

– Его жена? Я?!

– Мне быть се мужем?!

– Караул! Люди добрые! Ни за что! Сию минуту иду разводиться! Не хочу!

– Нет, это я не хочу.

– Лучше смерть, господи!.. Развод, сейчас же развод! Что же это такое творится?!

– Кричать-то зачем, мои дорогие? – спокойно сказал шериф. – Крик тут не поможет. Судья женить женит, но разводиться он не может. Вы же не миллионеры из Сан-Франциско, чтобы затевать разводы. Разве вы не знаете, во что это обходится? Ай-ай-ай! Зачем кричать? У меня на складе есть чудные детские башмачки, я вам их дешево продам. До свидания!

Шериф ушел. Люди, весело смеясь, тоже стали расходиться. Новобрачные остались

одни.

– Во всем этом француз виноват! – крикнула жена. – Он нарочно сделал нам такую неприятность, оттого что мы немцы.

– Правильно! – подтвердил Ганс.

– Но мы потребуем развода!

– Я первый! Вы мне вырезали букву «t» из середины!

– Нет, я первая! Вы на меня капкан ставили!

– Мне такая жена не нужна!

– Я вас видеть не могу!

Они разошлись и заперли свои лавки. Она целый день сидела у себя в комнате и размышляла; он делал то же самое у себя наверху. Наступила ночь. Ночь, как известно, приносит людям покой, но этим двоим было не до сна. Оба легли в постель, но не смыкали глаз. Ганс думал: «Там, через улицу, спит моя жена!» Миссис Нейман говорила себе: «Там спит мой муж». И новое неясное чувство рождалось в их сердцах. У каждого к ненависти и гневу примешивалось сознание своего одиночества. А Ганс, кроме того, думал об обезьяне на вывеске. Как теперь ее оставить висеть – ведь это карикатура на его жену! Ему уже начинало казаться, что он поступил очень гадко, заказав такую вывеску. Но эта Нейман тоже хороша! Из-за нее у него весь лед залежался и растаял. Он ее ненавидит... Правда, она это сделала в отместку за то, что он поймал ее в капкан в ту лунную ночь... Тут ему вспомнились ее ножки, освещенные луной. «Девушка она хоть куда – что правда, то правда! – думал он. – Но она меня терпеть не может. И я ее тоже. О господи, вот положение! Женат! И на ком? На мисс Нейман! А развод стоит так дорого: хоть всю лавку продай – и то не хватит денег».

«Значит, я жена этого дачмэна, – размышляла в то же время мисс Нейман. – Я уже больше не девушка... То есть девушка, но замужем. И за кем? За Каске, который меня поймал в капкан, как скунса!.. Правда, он меня на руках отнес домой... А сильный какой! Взял на руки, как будто это для него пустяк... Ай, что это? Что за шорох?!»

Никакого шороха не было, но мисс Нейман вдруг стало страшно, хотя раньше она никогда не боялась темноты.

– А что, .если он теперь осмелится... Боже мой!

И тут же добавила тоном, в котором звучала нотка непонятого разочарования:

– Нет, не осмелится он... Нет...

Однако страх мучил ее все сильнее. «Как же не бояться ночью одинокой женщине? – думала она. – Будь в квартире мужчина, было бы безопаснее... Вот говорят о каких-то убийствах в нашей округе (ни о каких убийствах мисс Нейман не слышала)... Я уверена, что и меня здесь когда-нибудь прикончат... Ах, этот Каске! Этот Каске! Отрезал мне все пути... Надо будет все-таки поразузнать насчет развода...»

С такими мыслями она ворочалась без сна на своей широкой американской кровати и в самом деле чувствовала себя очень одинокой.

Вдруг она опять так и подскочила. На этот раз она испугалась не без причины: в ночной тишине ясно слышался стук молотка.

– Иисусе! – вскрикнула мисс Нейман. – Это добираются, до моей лавки!

Соскочив с постели, она подбежала к окну и, выглянув наружу, сразу успокоилась. При свете месяца на противоположной стороне улицы видна была приставленная к двери лестница и на ней мощная фигура Ганса. Он молотком выбивал гвозди, на которых держалась вывеска с обезьяной.

Мисс Нейман тихонько отворила окно.

«Ага, обезьяну он все-таки снимает! Это благородно с его стороны!» Она вдруг почувствовала, что сердце у нее тает.

Ганс осторожно вытащил гвозди, и жестяная вывеска загремела, падая на землю. Потом он слез, оторвал рамку, а жестяной лист свернул в трубку и принялся передвигать лестницу на место.

Мисс Нейман не сводила с него глаз. Ночь была, тихая, теплая...

– Мистер Ганс! – неожиданно прошептала девушка.

– А, вы не спите? – так же тихо отозвался Ганс.

– Нет. Добрый вечер!

– Добрый вечер, мисс!

– Что это вы делаете?

– Да мартышку снимаю.

– Вот за это спасибо, мистер Ганс!

Минута молчания.

– Мистер Ганс! – зашелестел снова девичий голос из окна.

– Что, мисс Лора?

– Нам надо столкнуться насчет развода.

– Надо, надо, мисс Лора.

– Завтра?

– Ну, хотя бы завтра.

Снова пауза. Месяц смеется на небе, собаки затихли, не лают.

– Мистер Ганс!

– Что, мисс Лора?

– Ведь мне же необходимо развестись поскорее...

Это было сказано меланхолическим тоном.

– Мне тоже, мисс Лора!

Голос Ганса звучал уныло.

– Вы сами понимаете, этого нельзя откладывать...

– Да, лучше не откладывать.

– И чем скорее мы с вами все обсудим, тем лучше.

– Можно бы и сейчас...

– Если вы позволите...

– Так приходите сюда, ко мне!

– Хорошо, вот только оденусь.

– Не -нужно, к чему эти церемонии?..

Дверь внизу отворилась, Ганс исчез в темноте, но через минуту он был уже в теплой и уютной девичьей спальне. Мисс Лора в белом пеньюаре была восхитительна.

– Слушаю вас, мисс,– сказал Ганс дрогнувшим голосом, звучащим удивительно мягко.

– Видите ли... я очень хотела бы развестись, но... Ах, боюсь, как бы нас кто-нибудь не увидел с улицы...

– Да ведь здесь темно,– возразил Ганс.

– Ах да, правда...

Затем: началось совещание о разводе... Но это уже выходит за рамки моего рассказа.

В Страк-Ойл-Сити снова воцарилось спокойствие.

1877

В ПРЕРИЯХ
Рассказ капитана Р.

В бытность мою в Калифорнии собрался я однажды с моим приятелем, славным и храбрым капитаном Р., навестить нашего родственника И., живущего в пустынных горах Санта-Лючия. Дома мы его не застали и просидели дней, пять в глухом ущелье, в обществе старого слуги-индейца, который: в отсутствие хозяина смотрел за пчельником и ангорскими козами. Приноравливаясь к местным обычаям, я спал большую часть дня, а по ночам, сидя у костра из сухого «чамизала», слушал рассказы капитана о его удивительных приключениях, возможных только в американских пустынях.

Эти часы были, для меня восхитительны. Ночи – настоящие калифорнийские – тихие, теплые, звездные; костер весело пылает, и его отблеск освещает мощную и статную благородную фигуру старого воина-пионера. А он, глядя на звезды, напрягает память и ищет в ней события прошлого, дорогие имена и образы, навевающие при одном воспоминании тихую грусть на его чело.

Один из этих рассказов я передам так, как его слышал, ничего не изменяя, и надеюсь, что читатель выслушает его с таким же интересом, с каким слушал я.

I

Прибыв в Америку в сентябре 1849 года, рассказывал капитан, я очутился в Новом Орлеане, тогда еще наполовину французском городе. Оттуда я направился па большую сахарную плантацию в верховьях Миссисипи, где нашел работу и хорошее вознаграждение. Но в те времена я был молод и предприимчив, мне скучно было сидеть на одном месте и заниматься канцелярской работой; и вот я вскоре оставил жизнь на плантации, сменив ее на жизнь в лесах. Несколько лет я провел с моими товарищами среди луизианских озер, крокодилов, змей и москитов. Мы промышляли охотой и рыбной ловлей, а время от времени сплавляли большие партии леса по реке до Орлеана, где нам платили за пего немалые деньги. Наши экспедиции часто достигали весьма отдаленных краев. Мы спускались до Кровавого Арканзаса, который и теперь еще мало заселен, а тогда и вовсе был пустынным. Такая жизнь, полная труда и опасностей, кровавых стычек с пиратами на Миссисипи и с индейцами, которыми были еще полны Луизиана, Арканзас и Теннесси, закалила мою от природы недюжинную силу и здоровье. Кроме того, она дала мне опыт степной жизни, так что я научился читать в великой книге прерий не хуже любого краснокожего воина. И когда в Калифорнии обнаружили золото и большие партии эмигрантов стали почти ежедневно туда уходить из Бостона, Нью-Йорка, Филадельфии и других городов Востока, одна из таких партий, зная мою опытность, пригласила меня в качестве начальника, или, как говорят у нас, капитана.

Согласился я охотно: о Калифорнии тогда рассказывали чудеса, я же издавна носился с проектом поездки на далекий Запад. При этом я вполне отдавал себе отчет в опасности этого предприятия. Нынче расстояние от Нью-Йорка до Сан-Франциско можно одолеть по железной дороге за неделю, а настоящая пустыня начинается только от Омахи; тогда же все было совсем иначе. Всех этих городов и селений, рассыпанных теперь густо, как мак, между Нью-Йорком и Чикаго, еще и в помине не было. А сам Чикаго, выросший потом, как гриб после дождя, был еще тогда жалким, неизвестным рыбацким поселком, и вы не нашли бы его ни на одной карте.

Итак, нам предстояло двигаться с повозками, людьми и мулами по совершенно диким краям, заселенным грозными племенами индейцев – Воронов, Черноногих, Поуни, Сиу

и Арикаров. Нечего было и думать о том, чтобы от их глаз могло скрыться движение стольких людей, ибо эти подвижные, как песок, племена не имеют постоянного местопребывания, а, по обычаю всех охотников, кружат по степному простору, преследуя стада буйволов и антилоп. Так что нам предстояли немалые трудности, но тот, кто отправляется на далекий Запад, долями быть к ним готов и даже к тому, что придется не раз рисковать головой. Больше всего прочего меня заботила ответственность, которую я брал на себя, по делу было уже решено, и мне оставалось лишь заняться приготовлениями к пути, которые продолжались более двух месяцев, ибо надо было выписать повозки из Пенсильвании и Питтсбурга, закупить мулов, лошадей, оружие и большие запасы продовольствия. К концу зимы все было готово.

Я хотел выступить так, чтобы большие прерии между Миссисипи и Скалистыми горами пересечь весной, ибо я знал, что летом из-за жры, царящей на этих открытых пространствах, люди болеют многими болезнями. По этой же причине я решил вести отряд не по южной дороге, на Сен-Луи, а через Айову, Небраску и Северный Колорадо. Этот путь был более опасен в отношении индейцев, по зато, без сомнения, менее вреден для здоровья. Мое намерение вызвало вначале недовольство среди людей моего отряда. Но когда я заявил, что если они не хотят подчиниться мне, то пусть ищут другого капитана, они, недолго поразмыслив, согласились со мной.

С первым дуновением весны мы двинулись в путь. Сразу же начались для меня трудные дни, особенно пока люди не освоились со мной и с условиями. Моя личность внушала им доверие, так как авантюрные походы в Арканзас создали мне некоторую славу у непоседливого пограничного населения, и имя Big Half (Большой Ральф), под которым я был известен в степях, не раз звучало в ушах большинства моих людей. Но все же капитан, или начальник, часто оказывался по самой природе вещей в весьма затруднительном положении, имея дело с переселенцами. В мои обязанности входило выбирать место для ночного привала, заботиться об экспедиции днем, следить за караваном повозок, растягивающихся по степи иногда на целую милю, назначать охрану во время движения и стоянок и разрешать садиться на повозки группам, по очереди отправляющимся отдыхать.

Американцам, правда, в высшей степени присущ дух дисциплины, но из-за трудностей похода энергия у человека слабеет, недовольство охватывает даже самых стойких, и тогда уже никому не хочется, проскакав день на коне, ночью идти в охрану, — наоборот, всякий рад увильнуть, когда подходит его очередь, и лежать целыми днями на повозке. Притом, имея дело с янки, капитан должен сочетать дисциплину с известной приятельской фамильярностью, а это весьма нелегко. Случалось, что во время похода и в часы ночных стоянок я полностью господствовал над волей каждого из моих спутников, но в часы дневного отдыха на фермах и в поселках, вначале попадавшихся нам по дороге, моя роль командира оканчивалась. Каждый тогда был сам себе хозяин, и мне не раз приходилось ломать сопротивление дерзких авантюристов.

Однако на многочисленных «рингах» неоднократно выяснялось, что мой мазовецкий кулак сильнее американских, и после этого мой авторитет настолько вырос, что впоследствии у меня уже не бывало каких-либо стычек. Впрочем, американский характер я знал насквозь и знал, как с ним обходиться, а стойкость и бодрость во мне поддерживала к тому же пара небесно-голубых глаз, поглядывавших на меня с особым интересом из-под холщового навеса повозки. Эти глаза и лоб, обрамленный пышными золотистыми волосами, принадлежали молодой девушке по имени Лилиан Морис, родом из города Бостон, штат Массачусетс. То было нежное, гибкое создание

с тонкими чертами грустного и почти детского лица.

Грусть у такой молодой девушки поразила меня в самом начале путешествия, но обязанности капитана вскоре отвлекли мою мысль и внимание в другую сторону. В первые недели, помимо обычного ежедневного «Good morning!», мы едва ли обменялись двумя-тремя словами. Однако молодость Лилиан и ее одиночество – ведь во всем караване у нее не было ни одного родственника – вызвали во мне сочувствие, и я оказал бедной девушке несколько мелких услуг. Ограждать ее от назойливости молодых людей, путешествовавших с нами, своим авторитетом начальника и кулаком мне не было никакой нужды. Среди американцев самая молодая женщина может рассчитывать если не на преувеличенную любезность, которой отличаются французы, то, по крайней мере, на полную безопасность. Однако, приняв во внимание слабое здоровье Лилиан, я поместил ее в самой удобной повозке, которой правил весьма опытный возчик Смит. Я сам устал ей сиденье, чтобы ночью она могла спать на нем с удобством, и, наконец, отдал в ее распоряжение одну из теплых буйволовых шкур, бывших у меня в запасе. Хотя услуги эти были незначительны, Лилиан, по-видимому, почувствовала за них живую признательность и не упускала ни одного случая, когда могла мне ее выказать. Видно было, что она была очень кротким и робким созданием. Две женщины – тетушка Гроссвенор и тетушка Аткинс, ехавшие с ней на одной повозке, вскоре чрезвычайно ее полюбили за мягкий нрав, а прозвище Little Bird (Маленькая Птичка), которое они ей дали, вскоре стало именем, известным во всем обозе.

Однако между мной и Маленькой Птичкой не было ни малейшего сближения до тех пор, пока я не подметил, что голубые и почти ангельские глаза этого ребенка обращаются ко мне с какой-то особой симпатией и упорным интересом. Можно было это объяснить тем, что из всех людей отряда один я немного знал толк в светском обращении, и Лилиан, у которой также чувствовалось хорошее воспитание, видела во мне человека, более близкого ей, чем другие спутники. Но тогда я объяснял себе это несколько иначе, и ее интерес ко мне льстил моему тщеславию. Тщеславие же привело к тому, что и я стал более внимателен к Лилиан и начал чаще заглядывать ей в глаза. Вскоре я уже сам не мог понять, как это случилось, что я раньше не обращал почти никакого внимания на такое прелестное существо, способное внушить нежные чувства всякому человеку с сердцем. С тех пор мне полюбілось гарцевать на коне возле ее повозки. Во время дневного зноя, изрядно докучавшего нам в полуденные часы, – хотя еще стояла ранняя весна, – когда мулы лениво тащились, а караван так растягивался по степи, что, стоя у головной повозки, едва можно было разглядеть последнюю, я часто проносился верхом из конца в конец, без нужды гоняя коня только ради того, чтобы мельком взглянуть на эту светлую головку и эти глаза, не выходявшие у меня из ума. Сперва Лилиан больше занимала мое воображение, чем сердце, но и тогда мысль, что среди этих чужих людей я не совсем одинок, что есть душа, сочувствующая мне, хоть немного интересующаяся мною, вселяла в меня отраду. Возможно, это было уже не тщеславие, а человеческая потребность в том, чтобы ум и сердце не расплывались на такие неопределенные и необозримые предметы, как леса и степи, чтобы сосредоточить всю душу на одном живом и любимом существе и, вместо того чтобы теряться в каких-то далих и бесконечностях, найти себя в одном родном сердце.

Я почувствовал себя менее одиноким, и все путешествие приобрело для меня новую, дотоле неведомую прелесть. Прежде, когда караван растягивался, как уже сказано, по степи и последние упряжки исчезали из виду, я усматривал в этом лишь недостаток осторожности и беспорядок, за что сильно сердился. Теперь же, когда я останавливался на какой-либо возвышенности, вид этих белых и полосатых фургонов, освещенных солнцем и плывущих подобно кораблям в море трав, вид вооруженных

всадников, разбросанных в живописном беспорядке подле вереницы повозок, наполнял мою душу восторгом и блаженством. Сам не знаю, откуда возникали у меня такие сравнения, но мне казалось, что это какой-то библейский караван, который я, как некий патриарх, веду в землю обетованную. Колокольчики на упряжках мулов и напевное «Get up!» возчиков, как музыка, вторили моим мыслям, стремившимся из переполненного сердца.

Однако мы с Лилиан ограничивались немой беседой взоров, так как меня стесняло присутствие женщин, ехавших вместе с ней. Вдобавок с того времени, как я заметил, что между нами уже есть что-то, чего я сам еще не умел назвать, хотя чувствовал, что оно есть, меня охватила какая-то странная робость. Но я удвоил свою заботливость о женщинах и часто, заглядывая внутрь повозки, осведомлялся о здоровье тетушки Аткинс и тетушки Гроссвенор, чтобы таким образом оправдать и уравновесить заботу, которой я окружил Лилиан. Она же прекрасно понимала мою политику, и это составляло как бы нашу тайну, скрытую от окружающих.

Но вскоре мне уже стало недостаточно взглядов, беглого обмена словами и нежных забот. Эта девушка со светлыми волосами и ласковым взглядом влекла меня к себе с неодолимой силой. Я думал о ней целыми днями и даже по ночам. Когда, измученный объездом дозоров и охрипший от выкрикивания «All's right»[21], я взбирался наконец на повозку и, завернувшись в буйволу шкуру, закрывал глаза, чтобы заснуть, мне казалось, что комары и москиты, жужжащие вокруг меня, беспрестанно поют мне имя: «Лилиан, Лилиан, Лилиан!» Ее образ был со мной в моих снах; когда я пробуждался, первая моя мысль летела к ней, словно ласточка. И все же — странная вещь! — я не сразу заметил, что прелесть, какую приобрел для меня весь мир, и душевная радость, окрашивающая все вокруг в радужные цвета, что мысли, летящие вслед за повозкой, — что все это не дружба и не привязанность к сиротке, но гораздо более сильное чувство, от которого нет защиты никому, чей час настал.

Возможно, я заметил бы это раньше, но нежный характер Лилиан покорял не одного меня, а всех: вот я и думал, что нахожусь под очарованием этой девушки не больше, чем другие. Все любили ее, как родное дитя, доказательства тому ежедневно были перед моими глазами. Ее товарки были женщинами простыми и довольно сварливыми, но я не раз видел, как тетушка Аткинс, настоящий Ирод в юбке, расчесывая по утрам волосы Лилиан, целовала ее с материнской сердечностью, меж тем как миссис Гроссвенор сжимала в своих ладонях руки девушки, иззябшие за ночь. Мужчины также окружали ее заботами и вниманием. Был в караване некий Генри Симпсон, молодой искатель приключений из Канзаса, бесстрашный стрелок, по сути хороший парень, но настолько самоуверенный, дерзкий и неотесанный, что в первый же месяц я был вынужден дважды его поколотить, чтобы он знал, что тут есть кое-кто, у кого кулаки посильнее, чем у него, и старший по положению. Так вот надо было видеть этого Генри, беседующего с Лилиан: он, ни во что не ставящий самого президента Соединенных Штатов, вдруг терял весь апломб и смелость и, снимая шапку, то и дело повторял: «I beg your pardon, miss Moris!»[22] Вид у него был как у волкодава па цепи, но было ясно, что этот волкодав готов повиноваться каждому мановению крошечной полудетской ручки. На привалах Генри также старался быть подле Лилиан, чтобы оказывать ей разные мелкие услуги. Он разводил костер, выбирал ей защищенное от дыма место, предварительно устлав его мхом и попонами, откладывал для нее лучшие куски дичи. И все это он делал с какой-то робкой заботливостью, которой от него трудно было ожидать, вызывавшей, однако, во мне неприязнь, весьма похожую на ревность.

Но я мог только сердиться, не больше. Генри, пока не приходила ему очередь быть

в дозоре, мог распоряжаться своим временем, как ему угодно, а это значило – быть близ Лилиан. Между тем мое дежурство не кончалось никогда. В пути повозки тащились одна за другой, часто на большом расстоянии; но с того дня, как мы вступили в пустынные земли, я, как это делается в прериях, размещал фургоны на полуденный привал в одну поперечную линию так тесно, чтобы между колесами едва мог протиснуться человек. Трудно себе представить, сколько усилий и хлопот мне стоило выстроить такую линию, удобную для обороны. Мулы, животные от природы дикие и непослушные, вместо того чтобы становиться в ряд, упирались па месте, не хотели сходить в сторону от проторенной дороги и при этом кусались, визжали и лягали друг друга; повозки на крутых поворотах часто опрокидывались, а чтобы поднять эти дома из дерева и холста, надо было затратить немало времени; визг мулов, ругань возчиков, брэнчанье бубенцов и лай собак, следующих за нами, создавали адский шум. Когда мне удавалось кое-как привести все в порядок, я должен был еще следить, как распрягают животных, и присматривать за теми людьми, чья очередь была гнать их на пастбище и водопой. Л меж тем к табору стягивались со всех сторон люди, отправившиеся во время похода в степь поохотиться, все собирались и располагались у костров. А я едва урывал время поесть и отдохнуть.

Но, пожалуй, вдвое больше работы было тогда, когда после привала мы пускались в путь; запрягание мулов сопровождалось криками и суматохой еще больше, чем распрягание. Каждый возчик старался опередить других, чтобы потом не пришлось их объезжать стороной, нередко по плохому грунту; начинались ссоры, споры, проклятия, и происходила досадная задержка в пути. За всем этим надо было следить, а в походе – ехать впереди вместе с проводниками, чтобы осматривать окрестности и своевременно выбирать места защищенные, снабженные водой и вообще пригодные для ночлега. Часто проклинал я свои обязанности капитана, хотя, с другой стороны, меня наполняла гордостью мысль, что на всем этом бесконечном просторе я – первый перед прерией, первых! перед людьми, первый перед Лилиан и что судьба всех этих существ, бредущих с возами по прериям, в моих руках.

II

Однажды, переправившись через Миссисипи, мы остановились на ночлег у реки Сидар, берега которой поросли хлопковым деревом, обеспечившим нас топливом на всю ночь. Проводив отряд с топорами в чашу, я, возвращаясь в лагерь, издали заметил, что наши люди, пользуясь хорошей погодой, тихим и теплым днем, разбрелись по степи. Было еще очень рано, так как обычно мы останавливались на ночевку уже часов в пять вечера, чтобы на завтра двинуться дальше с первым проблеском дня. Вскоре я встретил мисс Морис. Я тотчас спешился и, взяв коня в повод, приблизился к ней, счастливый, что могу хоть немного побыть с ней наедине. Я стал расспрашивать, какая причина побудила ее, такую молодую, отправиться одной в этот путь, истощающий силы самых здоровых мужчин.

– Я никогда бы не согласился, – сказал я, – принять вас в наш караван, но в первые дни я полагал, что вы дочь тетушки Аткинс, а теперь уж поздно возвращаться обратно. Но хватит ли у вас сил, дорогое дитя? Ведь вы должны быть готовы к тому, что дальнейший путь будет не таким легким, как до сих пор.

– Сэр! – ответила она, подымая свои голубые печальные глаза. – Я знаю это, но должна ехать и почти счастлива, что отступить уже нельзя. Мой отец находится в Калифорнии, и из письма, обошедшего мыс Горн, я узнала, что вот уже несколько месяцев он болен лихорадкой и лежит в Сакраменто. Бедный отец! Он привык к

удобствам и к моим заботам – и лишь ради меня он уехал в Калифорнию. Не знаю, застану ли еще его в живых, но чувствую, что, отправляясь к нему, я только выполняю дочерний долг.

На эти слова нечего было возразить, да и все доводы, которые я мог бы привести против этого решения, были бы неуместны. Поэтому я только стал расспрашивать Лилиан подробнее о ее отце. Она рассказывала очень охотно. Я узнал, что мистер Морис был «Judge of the supreme court», то есть судьей верховного суда в Бостоне. Затем, потеряв состояние, он отправился на недавно открытые калифорнийские прииски, где надеялся восстановить утраченное богатство и вернуть дочери, которую любил больше жизни, ее прежнее положение в обществе. Но там он заболел лихорадкой в гнилой долине Сакраменто и, ожидая смерти, прислал Лилиан последнее благословение. Тотчас же, собрав все средства, оставленные ей отцом, она решила ехать к нему. Вначале она собиралась отправиться морем, по случайное знакомство с тетужкой Аткинс, за два дня до отправления в путь нашего каравана, изменило ее решение. А тетужка Аткинс была родом из Теннесси и наслушалась тех рассказов, которые мои приятели с берегов Миссисипи передавали всем и каждому о моих дерзких, походах в пресловутый

Арканзас, о моей опытности в путешествиях по прериям, а также о заботе, которой я окружал слабых (что я считал своим прямым долгом). Она-то и обрисовала меня перед Лилиан в таких красках, что, недолго думая, девушка присоединилась к каравану, выступавшему под моим начальством. Именно этим преувеличенным рассказам тетужки Аткинс, которая не преминула добавить, что я настоящий «knight», то есть прирожденный рыцарь, и следовало приписать интерес мисс Морис к моей персоне.

– Милое, нежное дитя! – сказал я, когда она кончила свой рассказ. – Можешь быть уверена, что никто здесь не причинит тебе зла и что в заботе о тебе недостатка не будет; что нее до твоего отца, то Калифорния – это самый здоровый край на свете, и от калифорнийской лихорадки никто не умирает. Во всяком случае, пока я жив, ты не будешь одинока, и да благословит господь твое милое личико!

– Благодарю вас, капитан! – ответила она растроганно, и мы пошли дальше, только сердце мое забилось сильнее.

Беседа наша все более оживлялась, и никто из нас не предвидел, что через мгновение настроение наше внезапно омрачится.

– Но ведь все здесь к вам относится хорошо, мисс Морис? – спросил я, не предполагая, что именно этот вопрос станет причиной недоразумения.

– О да! – ответила она. – Все! И тетужка Аткинс, и тетужка Гроссвенор, и Генри Симпсон – он тоже очень добрый.

Это упоминание о Симпсоне вдруг причинило мне боль, как укусы змеи.

– Генри – погонщик мулов, – сухо ответил я, – и должен смотреть за повозками.

Но Лилиан, занятая течением собственных мыслей, не заметила перемены в моем голосе и продолжала, как бы разговаривая с собой:

– У него честное сердце, и я буду благодарна ему всю жизнь.

– Мисс! – прервал я ее тогда, крайне задетый этими словами. – Вы можете даже отдать ему свою руку, однако я удивлен, что вы избрали именно меня поверенным своих чувств.

Когда я сказал это, она с удивлением взглянула на меня, но ничего не ответила, и мы продолжали идти рядом в неловком молчании. Я не знал, что ей сказать, сердце мое было полно горечи и досады на нее и на себя самого. Я чувствовал, что ревность к Симпсону мною целиком завладела, и я не мог ей воспротивиться. Ситуация показалась мне настолько невыносимой, что внезапно я сказал Лилиан коротко и сухо:

– Спокойной ночи, мисс!

– Спокойной ночи! – тихо ответила она, отвернув лицо, чтобы скрыть две слезы, катившиеся по ее щекам.

Я сел па коня и снова направился в ту сторону, откуда доносился звук топоров и где Генри Симпсон вместе с другими рубил хлопковые деревья. Но через мгновение меня охватила безмерная жалость. Мне казалось, будто эти две слезы упали на мое сердце. Я поворотил коня и вмиг снова оказался подле нее. Соскочив с седла, я преградил ей путь.

– Отчего вы плачете, Лилиан? – спросил я.

– О сэр! – ответила она. – Я знаю, что вы из знатного рода, мне это рассказала тетюшка Аткинс. Но вы были так добры ко мне...

Она старалась не плакать, но не могла сдержаться, не могла договорить, так душили ее слезы. Бедняжка! Она чувствовала себя оскорбленной до глубины своей опечаленной души моим ответом, ибо видела в нем какую-то аристократическую надменность, а мне и не снился никакой аристократизм – я попросту ревновал, и теперь, когда я видел, как она опечалена, мне хотелось схватить себя за шиворот и поколотить. Я взял ее за руку и быстро заговорил:

– Лилиан, Лилиан! Ты меня не поняла. Бог свидетель, что не гордость говорила во мне. Гляди! Кроме этих двух рук, у меня больше ничего нет на свете. Что мне вся эта генеалогия! Мне стало больно по другой причине, и я хотел: уйти, но не мог перенести твоих слез. И клянусь тебе также в том, что причина, о которой я говорю, терзает меня больше, чем тебя. Ты для меня не безразлична, Лилиан! О, вовсе нет! Ведь иначе мне было бы все равно, что ты думаешь о Генри. Он честный парень, но не в этом дело. Видишь, как меня огорчают твои слезы? Так прости меня так же искренне, как я прошу о прощении.

С этими словами я прижал ее руку к своим губам, и это высшее доказательство почтения, а также искренность, звучавшая в моей просьбе, немного успокоили девушку. Она не сразу перестала плакать, но то уже были другие слезы – сквозь них, как луч среди мрака, проглядывала улыбка. Мне тоже что-то сдавило горло, и я не мог сдержать волнения. Невыразимая нежность заполнила мое сердце. Мы снова шли молча, но нам было хорошо и сладостно. Тем временем солнце склонялось к закату, погода стояла великолепная, а в темнеющем: воздухе было еще столько света, что вся степь, и далекие заросли, и повозки в нашем лагере, и вереницы диких гусей, тянущиеся на север, казались золотыми и розовыми. Ни одно дуновение ветра не шевелило траву; издали доносился шум водопадов, образованных в этом месте рекою Сидар, и ржание лошадей со стороны лагеря. Этот чарующий вечер,

девственный край, присутствие Лилиан рядом со мной – все настраивало меня как-то так, что душе хотелось покинуть тело и улететь высоко-высоко, в самое небо. Я чувствовал себя колоколом, который раскачали. Минутами у меня появлялось желание еще раз взять руку Лилиан, прижать ее к губам и не отпускать долго-долго. Но я боялся, что это ее обидит. Меж тем она шла рядом со мной, спокойная, кроткая и задумчивая. Слезы ее уже высохли, временами она подымала па меня свои лучистые глаза; мы снова начали разговаривать – и так дошли до лагеря.

Однако этому дню, столь богатому впечатлениями, предстояло закончиться весело. Переселенцы, радуясь хорошей погоде, решили устроить picnic, то есть гулянье под открытым небом. После ужина, более обильного, чем обычно, развели большой костер, у которого собирались устроить танцы. Генри Симпсон для этого очистил от травы площадку в несколько квадратных саженей и, утопав землю, как глиняный пол, посыпал ее песком, принесенным с Сидара. Когда зрители собрались на подготовленном таким образом месте, Симпсон под аккомпанемент негритянских дудок начал, ко всеобщему удовольствию, танцевать джигу. Руки у него были опущены, все тело неподвижно, а ногами он перебирал так быстро, ударяя о землю попеременно то каблук, то носком, что за их движением почти невозможно было уследить. Тем временем дудки неистовствовали, в круг вступил второй танцор, потом третий, четвертый – и веселье стало всеобщим. К неграм, играющим на дудках, присоединились и зрители, брэнча жестяными тазами для промывки золотоносного песка или отбивая такт кусочками бычьих ребер, зажатых между пальцами обеих рук и издающими звук, подобный стуку кастаньет. Внезапно по всему лагерю пронесся возглас: «Певцов сюда!» Зрители образовали ring, или кольцо, вокруг танцевальной площадки, а на середину вышли негры – Джим и Кроу. Первый держал бубен, обтянутый змеиной кожей, а второй – упомянутые кусочки бычьих ребер. Минуту оба смотрели друг на друга, вращая белками глаз, а потом затянули негритянскую песню, то печальную, то буйную, прерываемую топотом и резкими телодвижениями. Протяжное «Дайна-а-а!», которым завершался каждый куплет, перешло в конце концов в крик, почти звериный вой. По мере того как танцоры разгорячались, их движения становились все исступленнее, и, наконец, они стали стучаться головами с такой силой, что европейские черепа, наверно, треснули бы, как ореховая скорлупа. Эти черные фигуры, освещенные ярким блеском огня и извивающиеся в безумных прыжках, представляли собой поистине фантастическое зрелище. К их выкрикам, к звукам бубна, дудок, жестяных тазов и щелканью костей примешивались возгласы зрителей: «Ура Джиму. Ура Кроу!» – и даже пистолетные выстрелы. Когда негры наконец устали и, пытая и отдуваясь, упали на землю, я велел дать им по глотку бренди, что сразу поставило их на ноги. Но затем люди потребовали, чтобы я произнес speech[23].

Вмиг утихли крики и музыка. Мне пришлось отпустить плечи Лилиан и, взобравшись на облучок повозки, обратиться к присутствующим с речью. Когда я смотрел с возвышения на эти фигуры, освещенные пламенем костров, на этих людей – рослых, широкоплечих, бородатых, с ножами за поясом и в шляпах с изорванными полями, – мне казалось, будто я нахожусь в каком-то театре либо что я предводитель шайки разбойников. Но это были честные, мужественные сердца, хотя многие из них, возможно, прожили жизнь бурную, полудикую, суровую. Мы как бы составляли здесь маленький мирок, оторванный от остального общества и замкнутый в себе, обреченный на общую участь и общую опасность. Здесь надо было идти плечом к плечу, каждый чувствовал себя братом другому, а бездорожье и бесконечная пустыня, окружавшая нас, побуждали этих закаленных рудокопов заботиться друг о друге. Вид Лилиан, бедной, незащищенной девушки, чувствующей себя спокойно и в безопасности среди них, словно под родительским кровом, внушил мне эти мысли, и

я высказал их так, как чувствовал и как подобало военачальнику и одновременно сотоварищу в пути. Ежеминутно меня прерывали возгласами: «Ура поляку! Ура капитану! Ура Большому Ральфу!» – и хлопали в ладоши. И более всего обрадовало меня то, что я заметил среди сотен этих загорелых, крепких ладоней пару крошечных ручек, розовых от отблесков огня и порхающих, как пара белых голубок. Тогда я вдруг почувствовал, что нипочем мне пустыня, и дикие звери, и индейцы, и outflow[24]. И с большой горячностью я воскликнул, что «справлюсь со всеми, поколочу всякого, кто станет мне поперек дороги, и поведу караван на край света – и пусть бог отымет мою правую руку, если это неправда!» Ответом мне было еще более громкое «ура!», и все с воодушевлением запели песню переселенцев: «I crossed Mississippi, I shall cross Missouri!»[25] Потом еще говорил Смит, старейший среди переселенцев, шахтер из окрестностей Питтсбурга, в Пенсильвании, он благодарил меня от имени всего обоза, причем восхвалял мое искусство вождения караванов. После Смита появились ораторы почти на каждой повозке. Некоторые говорили весьма забавно, например, Генри Симпсон, который ежеминутно выкрикивал: «Пусть меня повесят, джентльмены, если я вру!» Когда наконец ораторы охрипли, снова зазвучали дудки, трещотки и снова начали плясать джигу. Тем временем наступила ночь, месяц выкатился на небо и засветил так ярко, что пламя костров побледнело от его сияния, а люди и повозки осветились двойным, красным и белым, светом. Это была прекрасная ночь. Шум в нашем лагере составлял странный, но приятный контраст тишине спящей глубоким сном прерии.

Взяв Лилиан под руку, я ходил с ней по всему лагерю, и взгляд наш убежал вдаль от костров и терялся в волнах высоких и тонких стеблей степных трав, посеребренных лунными лучами и таинственных, как степные привидения. Так бродили мы вместе, а тем временем у одного костра два горца-шотландца (Highlanders) начали играть на цитрах свою печальную горскую песню «Bonnie Dundee». Мы встали поодаль и некоторое время слушали молча. Вдруг я взглянул на Лилиан, она опустила глаза – и, сам не знаю почему, я взял ее руку, опирающуюся на мою, и долго и крепко прижимал ее к моей груди. У бедной Лилиан сердечко тоже заколотилось так сильно, что я как будто почувствовал его в своей руке; мы оба дрожали, ибо поняли, что между нами что-то возникает, что-то преодолевается и теперь наши отношения будут не такими, как раньше. Но я уже плыл по воле волн. Я забыл, что ночь так светла, что недалеко от нас пылают костры, а вокруг них веселятся люди, мне хотелось тут же упасть к ее ногам или хотя бы посмотреть в ее глаза. Лилиан тоже прижалась к моему плечу, но отворачивала при этом голову, как бы желая укрыться в тени. Я хотел заговорить и не мог, мне казалось, что голос мой зазвучит как чужой, а если я скажу Лилиан «люблю», то еще, пожалуй, и сам упаду. Робок я был, потому что был молод и руководил мною не столько рассудок, сколько сердце. И я отчетливо чувствовал, что если раз скажу «люблю», то на все мое прошлое падет завеса и одни двери закроются, а откроются другие, через которые я войду в какую-то неизведанную страну. Так что хоть и видел я за этой завесой счастье, все же я задержался на пороге – быть может, именно потому, что свет, льющийся оттуда, ослепил меня. К тому же когда любовь рвется не из уст, а из сердца, то, пожалуй, нет ничего другого, о чем было бы так трудно говорить.

Я осмелился прижать к груди руку Лилиан. Но мы оба молчали, потому что о любви я говорить не решался, а о чем-либо другом не хотел, да и нельзя было в такую минуту.

Окончилось все тем, что оба мы подняли головы к небу и смотрели на звезды, словно молясь. Потом меня позвали к большому костру; мы вернулись. Веселье кончилось, и, дабы завершить его достойно и чинно, переселенцы решили спеть перед сном псалмы. Мужчины обнажили головы, и, хотя среди нас были люди

различных верований, все стали на колени в степную траву и запели псалом «Блуждая в пустыне». Это была трогательная картина. В паузах наступала такая торжественная тишина, что слышно было, как трещат искры, вылетающие из костров, и как шумят далекие водопады на реке. Стоя на коленях рядом с Лилиан, я раз-другой взглянул на нее: ее дивно блестящие глаза были подняты к небесам, волосы чуть-чуть рассыпались, и, набожно подпевая псалом, она была так похожа на ангела, что, право, можно было на нее молиться.

После молитвы люди разошлись по повозкам; я, как всегда, объехал дозоры, а потом также отправился отдохнуть. Но теперь, когда ночные мошки вновь запели у моих ушей: «Лилиан! Лилиан!», я уже знал, что там, в повозке, спит зеница ока моего и душа души моей и что в целом свете у меня нет ничего дороже одной этой девушки.

III

На рассвете следующего дня мы благополучно переправились через Сидар и поехали по ровной обширной степи, простирающейся между этой рекой и Виннипегом, слегка уклоняясь к югу, чтобы приблизиться к полосе лесов вдоль границы штата Айова. Утром Лилиан не осмеливалась смотреть мне в глаза. Я видел, что она задумчива; казалось, она стыдится чего-то или чем-то огорчена; а какой же грех совершили мы вчера? Она почти совсем не сходила с повозки. Тетушка Аткинс и тетушка Гроссвенор, думая, что она нездорова, окружили ее заботами и вниманием. Лишь я один знал, что это значит и что здесь не болезнь, но не терзания совести, а борьба невинного существа с предчувствием какой-то новой неведомой силы, которая схватит и понесет его, как листок, куда-то вдаль. Это было ясновидение, это было понимание того, что ничего уже не поделаешь и что раньше или позже придется покориться, и отдать себя на волю этой силы, и забыть обо всем – и только любить.

Чистая душа медлит и страшится на пороге любви, но слабеет, чувствуя, что уже переступает его. И Лилиан была как бы в оцепенении сна; у меня же, когда я понял все это, от радости просто дыхание в груди перехватило. Не знаю, можно ли назвать благородным это чувство, но, когда утром я пролетал на коне мимо ее повозки и видел ее, надломленную, как цветок, я испытывал нечто подобное чувству хищной птицы, знающей, что голубка от нее уж не скроется. И, однако, я не причинил бы этой голубке зла за все сокровища в мире, так как в сердце у меня была великая жалость. Но странное дело: несмотря на самое нежное чувство к Лилиан, этот день прошел для нас как бы во взаимной обиде или, во всяком случае, в большой озабоченности. Я ломал себе голову, как бы мне увидеть Лилиан хоть на минуту с глазу на глаз, и не мог ничего придумать. К счастью, мне пришла на помощь тетушка Аткинс, заявив, что малютка нуждается в движении, – сидеть в душном фургоне вредно для ее здоровья. Я подумал, что Лилиан полезно будет ездить верхом, и велел Симпсону оседлать для нее коня. Правда, в нашем караване не было дамского седла, но его отлично заменяло обычное мексиканское седло с высокими луками, которым повсюду пользуются женщины на границах пустыни. Я запретил Лилиан удаляться от каравана и терять его из виду.

Заблудиться в однообразной степи было довольно трудно, потому что люди, которых я посылал за дичью, бродили на значительном расстоянии вокруг каравана и всегда можно было встретить кого-нибудь из них. Со стороны индейцев также опасность не угрожала: в эту часть прерий, вплоть до Виннипега, племя Поуни навевывалось только во время великой охоты, которая еще не началась. Другое дело – южная,

примыкающая к лесам часть степи: она изобиловала дичью не только травоядной, так что там осторожность была бы не лишней. Правду сказать, я рассчитывал, что Лилиан, безопасности ради, будет держаться рядом со мной, а это позволило бы нам довольно часто бывать наедине, ибо в походе я обычно выезжал далеко вперед; передо мной ехали только два проводника-метиса, а за мной следовал весь караван. Так оно и получилось, и в первый же день я поистине чувствовал себя несказанно счастливым, глядя, как моя нежная амазонка легким галопом подъезжает ко мне со стороны каравана. От быстрой езды волосы ее рассыпались по плечам, а борьба с платьем, коротковатым для верховой езды, украсила ее лицо прелестной озабоченностью. Подъезжая ближе, она раздурманилась, как роза, она знала, что идет в сети, расставленные мною с той целью, чтобы мы остались вдвоем,— и, зная об этом, она все же шла, краснея и словно нехотя и пытаясь сделать вид, будто ни о чем не подозревает. У меня же сердце стучало, как у нашалившего мальчугана, и, когда наши лошади поравнялись, я злился на себя, потому что не знал, что сказать. И сразу же нас повлекло друг к другу такое сладостное и сильное чувство, что я, движимый какой-то невидимой силой, склонился к Лилиан, словно для того, чтобы поправить что-то в гриве ее коня, а меж тем прильнул устами к ее руке, лежавшей на краю седла. Какое-то неведомое и невыразимое блаженство, больше и сильнее всех радостей, которые я испытал в жизни, разлилось по моим жилам. Потом я прижал к сердцу эту маленькую ладонь и начал говорить Лилиан, что, если бы бог даровал мне все царства на земле и все сокровища на свете, я не отдал бы за них единого завитка ее кудрей, потому что она овладела навсегда моей душой и телом.

— Лилиан, Лилиан! — говорил я. — Я никуда не отпущу тебя, и пойду за тобой через горы и пустыни, и буду целовать твои ноги, и молиться на тебя, только люби меня немного, только скажи мне, что я кое-что значу для твоего сердца.

И говоря так, я думал, что грудь моя вот-вот разорвется, а Лилиан в величайшем смущении повторяла:

— О Ральф! Ты ведь знаешь! Ты все знаешь!

А я и сам не знал, смеяться или плакать, бежать или оставаться. Вот как теперь я жажду райского спасения, так тогда я чувствовал себя уже спасенным в раю, потому что у меня было все, чего я желал.

С тех пор, насколько позволяли мои обязанности начальника, мы все время были вместе. А обязанности эти с каждым днем приближения к Миссури уменьшались. Пожалуй, ни одному каравану не везло так, как нам в первые месяцы путешествия. Люди и животные привыкли к порядку и усвоили необходимые в пути навыки, так что я мог меньше следить за ними, а доверие, которое питали ко мне все, поддерживало в отряде отличное настроение. Притом обеспеченность продовольствием и хорошая весенняя погода пробуждали в людях веселье и укрепляли здоровье. Я ежедневно убеждался, что мой смелый замысел — вести караван не обычной дорогой на Сен-Луи и Канзас, а на Айову и Небраску — был весьма удачен. Там уже докучала невыносимая жара, и в нездоровом междуречье Миссисипи и Миссури от лихорадки и других болезней редели ряды путешественников. Здесь же более прохладный климат предохранял от болезней и уменьшал трудности пути.

Правда, дорога на Сен-Луи в своей начальной части была более безопасна, но мой караван, состоявший из двухсот тридцати человек, хорошо вооруженных и боеспособных, мог не бояться нападения индейцев, особенно из племен, населяющих Айову, ибо они чаще встречаются с белыми и лучше знают их силу, а потому не

смеют нападать на превосходные по численности отряды. Надо было только остерегаться *stampeadas* – ночных нападений на мулов и лошадей, так как похищение ездовых животных ставит караван в пустыне в отчаянное положение. Но защитой от этого была бдительность и опытность дозорных, которые в большинстве не хуже меня были знакомы с набегами индейцев.

Таким образом, введя походный порядок и приучив к нему людей, я имел днем несравненно меньше дел, чем вначале, и мог больше времени уделять чувствам, владевшим моим сердцем. Вечерами я отправлялся спать с мыслью: утром я увижу Лилиан; утром я говорил себе: сегодня я увижу Лилиан, – и с каждым днем я был все более счастлив и влюблен. Постепенно это начали замечать и люди из нашего каравана, но никто не отнесся к этому дурно, потому что оба мы – я и Лилиан – пользовались симпатией этих людей. Однажды старик Смит, проезжая мимо нас, воскликнул: «*God bless you, captain, and you, Lilian!*»[26] – и это соединение наших имен сделало вас счастливыми на целый день. Тетушка Гроссвенор и тетюшка Аткинс часто тогда шептали что-то на ухо Лилиан, отчего девушка краснела, как маков цвет; однако никогда она не соглашалась рассказать мне, что они ей говорили. Только Генри Симпсон посматривал на нас угрюмо; возможно, он и замыслил что-нибудь против меня в душе, но я тогда не обращал на это внимания.

Каждый день с четырех часов утра я бывал уже в.. голове каравана. Проводники, едущие впереди меня тысячи на полторы шагов, пели песни, которым их обучили их матери-индианки; на таком же расстоянии позади меня двигался караван, как белая лента в степи. И какая дивная минута наступала для меня, когда, примерно в шесть утра, я внезапно слышал позади конский топот и видел: вот приближается она, зеница ока моего, моя любимая девушка, и утренний ветерок развеивает ее волосы, будто бы рассыпавшиеся от езды, а на самом деле нарочно плохо заколотые, потому что маленькая шалунья знала, что ей это идет, что мне это нравится и что, когда ветер бросает ко мне ее косы, я их прижимаю к губам, я же делал вид, будто не понимаю этой хитрости. И вот таким сладостным ожиданием начиналось для нас каждое утро. Я научил ее говорить по-польски: «*День добрый!*», и, когда я слышал, как она произносит милым голосом эти слова, она казалась мне еще дороже. Воспоминания о родине, семье, о прошедших годах, обо всем, что было и прошло, перелетали тогда через пустыню, как чайка через океан, и часто хотелось мне рыдать, но я стыдился и, зажмуривая глаза, сдерживал готовые пролиться слезы. А она, видя, что хотя глаза мои полны слез, по сердцу тает от счастья, повторяла, как скворушка: «*День добрый! День добрый! День добрый!*» И как же было мне не любить моего милого скворушку больше всего на свете? Я учил ее еще другим фразам, и, когда она складывала свои губки, чтобы произнести наши трудные для нее звуки, я смеялся над ее неверным произношением. Тогда она, как ребенок, надувала губки, притворяясь, будто сердится. Но мы никогда не ссорились, и лишь однажды облачко промелькнуло между нами. Как-то утром я сделал вид, будто хочу затянуть ремешок на ее стремя, а на самом-то деле пробудился во мне повеса-улан былых лет и я начал целовать ее ножку и бедный, стоптанный в пустыне башмачок, который я не променял бы на все царства в мире. Тут она, прижимая ножку к лошадиному боку и повторяя: «*Нет, Ральф! Нет! Нет!*» – отскочила в сторону. Хотя потом я просил прощения и успокаивал ее, но она не желала приблизиться ко мне. Правда, Лилиан все же не уехала тогда к повозкам, не желая меня обидеть. А я изобразил на своем лице скорбь во сто раз большую, чем на самом деле испытывал, и, погруженный в молчанье, ехал с видом человека, для которого все на свете кончено. Я знал, что в ней зашевелится жалость. И в самом деле, вскоре, обеспокоенная моим молчанием, она подъехала поближе и стала заглядывать мне в глаза, как дитя, желающее узнать, сердится ли еще мама. Как ни старался я сохранить скорбный вид, но мне приходилось отворачиваться, чтобы не

рассмеяться вслух... Но так было только раз. Обычно мы веселились, как степные белки, а временами (боже, прости меня, грешного!) я, начальник всего каравана, превращался при ней в ребенка.

Сколько раз, когда мы спокойно ехали рядом, я вдруг, бывало, поворачивался к ней и говорил, что хочу сказать нечто важное и новое, а когда она подставляла любопытное ушко, шептал ей: «Люблю». И она потом, тоже краснея, отвечала мне на ухо с улыбкой: «Also!», что означало: «Я тоже». Эту тайну поверяли мы друг другу шепотом в пустыне, где один лишь ветер мог нас слышать!

Дни летели за днями так быстро, что мне казалось, будто утро и вечер соединяются, как звенья в цепи. Лишь порой какое-нибудь дорожное приключение нарушало это приятное однообразие. Как-то в воскресенье метис Вихита поймал своим лассо антилопу крупной породы, называемой в степях *disk*, и ее детеныша. Я подарил его Лилиан, а та смастерила для пего ошейник с колокольчиком из упряжки мула. Мы дали козочке имя Кэтти. За педелю она освоилась и стала есть из наших рук. Бывало, во время похода я ехал по одну сторону от Лилиан, а по другую бежала Кэтти, беспрестанно подымая на нее свои большие черные глаза, и блеяла, прося приласкать ее.

За Виннипегом мы вступили в ровную, как стол, девственную степь, просторную, заросшую богатой растительностью. Временами проводники скрывались из наших глаз в травах и кустарниках, а кони брели, как в волнах. Я знакомил Лилиан с этим совершенно неизвестным ей миром, а когда она восхищалась его красотами, я был горд, что ей так нравится мое царство. Была весна, примерно конец апреля, то есть пора самого буйного роста трав и всякого зелья. Все, что должно было цвести в этой пустыне, уже расцвело.

По вечерам из степи, словно из тысяч кадилниц, плыли упоительные ароматы, а днем, когда подымался ветер, раскачивая всю цветущую равнину, глаза болели от мелькания красного, голубого, желтого и всевозможных других красок. Из густого нижнего слоя трав вздымались топкие стебли желтых цветов, похожих на наш царский скипетр; возле них вилось серебристое невзрачное растение по названию «tears»— «слезы»; его соцветие состоит из прозрачных шариков, действительно напоминающих слезы. Мой взор, приученный читать в степи, как в книге, всякий раз открывал знакомые мне растения: то большие листья калумна, излечивающего раны, то белые и красные цветы степной мимозы, закрывающей чашечки при приближении зверя или человека, то, наконец, индейские топорики, запах которых вызывает сон и даже обморок. Я учил Лилиан читать в этой божьей книге и говорил:

— Тебе, любимая, придется жить среди лесов и степей, так узнай нее хорошенько их заранее.

Местами на степной равнине вздымались, как оазисы, группы хлопковых деревьев и елей, так увитых диким виноградом и лианами, что их не видно было под завитками и листьями. А по лианам еще вились плющ, повилика и колючая вахтия, похожая па дикую розу. Все это было усыпано цветами, а внутри, под двойной цветочной и лиственной завесой, царил таинственный сумрак; под стволами, в темноте, дремали большие лужи весенней воды, которую не сумело выпить солнце, а с верхушек деревьев из цветочных гирлянд доносились необычные голоса и крики птиц. Когда я впервые показал Лилиан такие деревья и эти каскады свисающих цветов, она остановилась как вкопанная и только повторяла, сложив ладони:

— О Ральф! Неужели это правда?

Она признавалась, что ей немного страшно войти туда, но однажды в полдень, когда стоял сильный зной и над степью пролетало дыхание горячего техасского ветра, мы зашли вдвоем вглубь и с нами Кэтти.

Остановись над небольшим озером, в котором отражались наши фигуры и лошади, мы минуту стояли молча. Там было холодно, мрачно и торжественно, как в готическом соборе, и чуточку страшно. Дневной свет едва проникал сюда и был зеленым из-за листвы. Какая-то птица, скрытая под куполом лиан, кричала: «Но-но-но!», как бы предостерегая, чтобы мы не шли дальше. Кэтти начала дрожать и прижиматься к лошадям, а мы с Лилиан вдруг оглянулись, и наши уста впервые встретились, а встретясь, уже не могли расстаться. Она пила мою душу, я пил ее душу, и нам уже не хватало дыхания, а уста все еще были слиты с устами. Наконец ее глаза затуманились и руки, лежавшие на моих плечах, задрожали, как в лихорадке. Охваченная каким-то самозабвением, она ослабела и положила голову мне на грудь. Мы оба опьянели от счастья и восторга. Я не смел шевельнуться, но душа моя была полна, я любил ее во сто раз больше, чем можно выразить или даже вообразить, и я лишь подымал глаза ввысь, чтобы увидеть небо среди густой листвы.

Очнувшись от упоения, мы снова выбрались из зеленой чащи в открытую степь, где нас залило ярким светом и теплым ветерком, и перед нами раскрылись привычные, обширные и радостные просторы. Степные курочки шмыгали вокруг в траве.

На небольших возвышенностях, продуваемых, как сито, земляными, белками, стояли отряды этих зверюшек; при нашем приближении они исчезали под землей. Впереди виднелся караван и кружившие у повозок всадники.

Мне казалось, будто мы вышли из темной комнаты на белый свет, то же, видимо, чувствовала и Лилиан. Но меня радовала ясность дня, а ее этот избыток золотого света и воспоминание об упоении наших поцелуев, следы которых еще были заметны на ее лице, наполняли смутной тревогой и печалью.

– Ральф, не думаешь ли ты обо мне дурно? – внезапно спросила она.

– Что ты, моя дорогая! Пусть бог меня забудет, если в моем сердце есть к тебе иное чувство, кроме преклонения и величайшей любви.

– Ведь это случилось потому, что я очень сильно люблю! – сказала она. Тут губки ее задрожали, она тихо заплакала, и хотя я готов был душу отдать, чтобы ее успокоить, она оставалась весь день печальной.

IV

Наконец мы достигли Миссури. Индейцы обычно выбирали для нападений на караваны момент переправы через эту реку, потому что труднее всего защищаться, когда часть повозок осталась на одном берегу, а часть находится на реке, когда мулы и лошади встают на дыбы и упираются, а люди не знают, что им делать. Я видел по пути к реке, что индейцы-разведчики два дня следовали за нами, поэтому я принял все меры предосторожности и вел обоз по-военному. Я не разрешал повозкам растягиваться по степи, как на восточных окраинах Айовы; все наши люди должны были держаться вместе и быть в полной боевой готовности. Подъехав к берегу и отыскав брод, я приказал отрядам, разбив их по шестьдесят человек, окопаться на

обоих берегах, чтобы под прикрытием небольших валов и дул карабинов обеспечить переправу. Остальным ста десяти переселенцам предстояло переправить повозки. Я выпускал не более двух-трех повозок за раз, чтобы избежать суматохи. Благодаря этому все проходило в наилучшем порядке, и нападение оказалось невозможным: ведь нападающим пришлось бы сперва овладеть одним из окопов, прежде чем ринуться на тех, кто был на реке. Эти предосторожности не были лишними – нас убедили в этом дальнейшие события, ибо двумя годами позже четыреста немцев были изрублены все до единого индейцами племени Кайавата во время переправы в том месте, где теперь стоит город Омаха. Я нее извлек сейчас еще и ту пользу, что люди мои, много наслышавшиеся доходящих до Востока рассказов о страшных опасностях переправы через желтые воды Миссури, увидели, как уверенно и легко я справляюсь с этой задачей, и они прониклись слепым доверием ко мне, видя во мне чуть ли не духа-властителя этой пустынной земли.

Похвалы и восторги ежедневно слышала и Лилиан, и в ее влюбленных глазах я стал сказочным героем. Тетушка Аткинс сказала ей: «Пока your Pole[27] будет с тобой, можешь спокойно спать хоть в бурю, потому что и дождь тебя не замочит». А у моей девочки от этих похвал сердце наполнялось гордостью. Однако во время переправы я не мог уделить ей почти ни одной минуты и только мимолетными взглядами говорил ей обо всем, чего не могли сказать уста. Целыми днями был я на коне то на одном берегу, то на другом, то в воде. Я стремился поскорее уйти от этих вязких желтых вод, несущих гнилые пни, кучи листьев, травы и зловонный дакотский ил, который распространяет лихорадку.

К тому же люди были крайне утомлены непрерывным бодрствованием, а лошади болели от нездоровой воды, которую мы могли пить не иначе, как прокипятив ее несколько часов па огне. Наконец через восемь дней мы все были на правом берегу, не сломав ни одной повозки и потеряв только семь мулов и лошадей. Но в тот же день грянули первые выстрелы: мои люди убили, а затем, по отвратительному обычаю дикарей, скальпировали трех индейцев, которые пытались проникнуть к стоянке мулов. Из-за этого случая вечером следующего дня к нам явилось посольство из шести старших воинов племени Кровавых Следов, принадлежащего к ветви Поуни. Усевшись с мрачной торжественностью у наших костров, они потребовали в виде возмещения мулов и лошадей, заявляя, что в случае отказа на нас немедленно нападут пятьсот воинов. Но эти пятьсот воинов не слишком-то пугали меня: обоз был уже переправлен и защищен окопами. Мне было ясно, что посольство это прислано лишь потому, что дикари ухватились за первый повод выторговать себе кое-что без боя, в успешность которого они уже не верили. И я сразу же прогнал бы их, если бы не хотел устроить интересное зрелище для Лилиан. И вот пока они неподвижно сидели у костра совета, впериw глаза в огонь, она, прячась за повозкой, смотрела с тревогой и любопытством на их одежду, обшитую по швам человеческими волосами, на топорики, украшенные по рукояткам перьями, и на лица в черных и красных разводах – знак приготовления к войне. Несмотря на эти приготовления к войне, я решительно отверг их требования и, перейдя из обороны в наступление, заявил, что, если пропадет хоть один мул из лагеря, я сам доберусь до них и разметаю кости их пятисот воинов по всей степи. Они ушли, с трудом сдерживая ярость; удаляясь, они подбросили над головой свои топорики в знак объявления войны. Все же сказанные мной слова остались у них в памяти, а когда в момент их ухода двести моих людей, нарочно подготовленных, внезапно поднялись с угрожающим видом и, бряцая оружием, издали воинственный клич, эта готовность произвела на диких воинов глубокое впечатление.

Несколько часов спустя Генри Симпсон, который вызвался проследить за послами, вернулся, весь запыхавшийся, с вестью, что большой отряд индейцев приближается к

нам. Во всем лагере лишь я один, хорошо зная нравы индейцев, понимал, что это пустые угрозы: их было слишком мало, чтобы со своими луками из дерева гикоро выступить против кентуккских дальнобойных ружей. Я сообщил это Лилиан, желая ее успокоить, потому что она дрожала за меня. Но все прочие были убеждены в неизбежности боя, а молодежь, в которой пробудился воинственный дух, страстно его желала. И впрямь мы услышали вскоре вой краснокожих, но они остановились на расстоянии в десяток с лишним выстрелов, как бы выжидая удобного момента. Всю ночь в нашем лагере пылали большие костры из хлопчатника и миссурийской лозы; мужчины охраняли повозки; женщины, борясь со страхом, пели псалмы; мулы, которых не вывели, как обычно, на ночное пастбище, окруженные повозками, визжали и кусали друг друга; собаки выли, чуя близость индейцев. Словом, во всем обозе было шумно и тревожно. В короткие мгновения тишины мы слышали жалобно-зловещий вой индейских часовых, подражавших койотам в своей перекличке. Около полуночи индейцы попытались поджечь прерию, но, хотя уже несколько дней не выпадало ни капли дождя, влажная весенняя трава не загоралась.

Лишь под утро, объезжая посты, я сумел на минутку приблизиться к Лилиан. Усталость ее сморила, она спала, положив головку на колени славной тетушки Аткинс, которая, вооружась кухонным ножом, поклялась, что уничтожит целое племя Кровавых Следов, прежде чем кто-либо из них посмеет приблизиться к ее любимице. А я, глядя на это хорошенькое сонное личико с любовью мужской и в то же время почти материнской, чувствовал, подобно тетушке Аткинс, что разорвал бы на куски каждого, кто посмеет угрожать моей любимой. В ней была моя радость, мое счастье, а без нее осталось бы одно бродяжничество, бесконечные скитания и превратности. Доказательства были налицо: степь вдаль, стук оружия, ночи в седле, стычки и хищные краснокожие разбойники. А здесь, подле меня, – тихий сон милого существа, гордящегося мной и доверяющего мне. Ведь достаточно было одного моего слова, чтобы она поверила, что нападения не будет, и уснула беспечно, словно под родительским кровом.

Когда я представил себе эти две картины, то впервые почувствовал, как измучила меня авантюрная жизнь без завтрашнего дня, и понял, что покой и тишину я найду лишь подле Лилиан. «Только бы добраться до Калифорнии! Только бы добраться! – думал я. – Да, только бы нам одолеть трудности всего этого пути, более легкая половина которого, уже пройденная нами, успела наложить свой отпечаток на это бледное личико. А там нас ждут прекрасный край изобилия, теплые небеса и вечная весна!» Размышляя так, я прикрыл ноги спящей своим плащом, чтобы уберечь ее от ночного холода, и вернулся на край площадки. От реки подымался туман, такой густой, что индейцы действительно могли бы им воспользоваться и попытаться счастья. Костры все более меркли и бледнели, а час спустя в десяти шагах уже не видно было человека. Тогда я приказал часовым ежеминутно перекликаться, и вскоре вокруг только и слышалось протяжное: «All's well!», которое, подобно словам литании, переходило из уст в уста. Зато лагерь индейцев совершенно затих, будто люди там онемели, и это начинало меня беспокоить. С первым проблеском зари нами овладела невероятная усталость, так как одному богу известно, сколько ночей многие из нас провели без сна. К тому же на диво едкий туман пронизывал нас холодом и дрожью.

Я рассудил, что чем стоять на месте и ждать, пока индейцы что-нибудь надумают, лучше ударить на них и разогнать их на все четыре стороны. Это была не удаля улана, а скорее настоятельная необходимость. Смелая и успешная атака могла нам принести громкую славу, которая распространилась бы среди диких племен и обеспечила бы нам безопасность на большей части пути. Поэтому, оставив за брествером сто тридцать человек под началом опытного стенного волка Смита, я

велел другой сотне сесть на коней, и мы двинулись вперед, немного, пожалуй, наугад, но с большим рвением, так как холод досаждал все сильнее, а тут можно было хоть согреться. На расстоянии двух выстрелов мы ринулись с криком в галоп и, стреляя, как вихрь налетели на лагерь дикарей. Какая-то пуля неловкого стрелка, пущенная с нашей стороны, просвистела у самого моего уха, но только сбила с меня шапку. Тем временем мы уже напали на индейцев, видно ожидавших чего угодно, только не нападения; наверно, это был первый случай, когда путешественники сами нападали на осаждающих. Их обуяло такое смятение, что они разбежались в беспорядке во все стороны, воя, как дикие звери, от испуга и погибая без сопротивления. Один лишь небольшой отряд, прижатый к реке, увидев, что бежать некуда, защищался так яростно и упорно, что воины предпочитали бросаться в реку, чем просить пощады.

Их копья с наконечниками из острых оленьих рогов и томагавки из кремня были не такими уж грозными, но они владели ими очень ловко. Однако мы одолели их в мгновение ока, и я сам взял в плен какого-то рослого бездельника, которому в пылу сражения сломал и руку вместе с топориком. Мы захватили несколько десятков лошадей, но они оказались такими дикими и злыми, что пользы от них не было никакой. Пленных, включая раненых, мы взяли около двадцати человек. Я приказал тщательно их обыскать и затем, подарив им, по просьбе Лилиан, одеяла, оружие, а для тяжелораненых и лошадей, я отпустил их на свободу. Бедняги были убеждены, что мы их привяжем к столбу пыток, и начали было уже бормотать свои монотонные предсмертные песни; поэтому они сперва просто перепугались. Они думали, что мы их отпускаем только для того, чтобы, по индейскому обычаю, устроить на них охоту. Но видя, что им на самом деле ничего не угрожает, они ушли, прославляя наше мужество и доброту Белого Цветка – так они окрестили Лилиан.

Однако этот день завершился печальным происшествием, омрачившим нашу радость от большой победы и ее ожидаемых последствий. Среди моих людей убитых не было, но свыше десяти человек получили более или менее тяжелые ранения. Тяжелей всех был ранен Генри Симпсон, по своей горячности слишком увлекшийся в схватке. Вечером его состояние ухудшилось, началась агония; он силился сделать мне какое-то признание, но бедняга не мог уже говорить, потому что щека его была рассечена топором. Он лишь пробормотал: «Pardon, my captain»[28] и у него начались конвульсии. Я догадался, что именно, он хотел мне сказать, ибо вспомнил пулю, просвистевшую утром у моего уха, и простил ему, как подобает христианину. Знал я также, что он уносит с собой в могилу глубокое, хотя и невысказанное чувство к Лилиан и что он, возможно, сознательно искал смерти. Он умер в полночь, похоронили мы его под огромным деревом хлопчатника, на коре которого я вырезал ножом крест.

V

На следующий день мы двинулись дальше. Перед нами расстилалась еще более обширная, более ровная и дикая степь – край, куда почти не ступала нога белого: словом, мы были в Небраске. В первые дни мы продвигались по этой безлесной местности довольно быстро, но все же не без трудностей: у нас совсем не было топлива. Берега реки Платт, пересекающей эти бескрайние равнины, покрыты, правда, густыми зарослями лозы и ивы; но река, текущая в низких берегах, была тогда, как и всегда весной, в разливе, и нам приходилось держаться от нее подальше. Ночи мы проводили у жалких костров из буйволового навоза, недостаточно высушенного солнцем, – он не горел, а скорее тлел голубоватым огоньком. Так,

затратив много усилий, мы пробирались к Биг-Блю-Ривер, берега которой изобилуют топливом. Местность эта и впрямь была девственным краем. То и дело перед караваном, ехавшим теперь более сомкнутой цепью, разбегались стада антилоп – рыжеватых, с белой шерстью на брюхе; временами из моря трав появлялась чудовищная лохматая голова буйвола с налитыми кровью глазами и дымящимися ноздрями, а на горизонте виднелись многочисленные стада, похожие на черные движущиеся точки.

Кое-где на нашем пути мы видели целые города могильных курганов, засыпанных песками.

Индейцы не показывались, лишь через несколько дней мы впервые заметили трех диких наездников, украшенных перьями, но и они сразу же скрылись из наших глаз, исчезнув, как привидения. Впоследствии я убедился, что кровавый урок, данный им на берегу Миссури, сделал имя Бигара (так они переделали Биг Ральф) страшным для стенных грабителей из многих племен, а великодушие, оказанное нами пленникам, покорило этих людей, диких и злобных, но не лишенных рыцарских чувств.

Прибыв к Биг-Блю-Ривер, я решил остановиться дней на десять у ее лесистых берегов. Вторая половина пути, ожидавшая нас, была труднее первой, так как за степями находились Скалистые горы, а дальше – «злые земли» Юты и Невады, а наши мулы и лошади, несмотря на обилие корма, притомились и исхудали; необходимо было восстановить их силы более длительным отдыхом. С этой целью мы разбили лагерь в треугольнике, образованном реками Биг-Блю и Бивер-Крик, то есть Бобровым Ручьем. Удобная позиция, защищенная с двух сторон руслами рек, а с третьей – повозками, была почти неприступной, а дров и воды было достаточно тут же, на месте. Работы в лагере почти не было никакой, особой бдительности не требовалось, и люди могли вполне свободно распоряжаться своим досугом. Это были лучшие дни за все время нашего путешествия. Погода стояла великолепная, а ночи были такими теплыми, что люди спали под открытым небом.

Охотники выходили по утрам и возвращались в полдень, отягощенные добычей – антилопами и степными птицами, которые кишели в окрестностях миллионами. Остаток дня все проводили за едой, сном и песнями или стреляли для потехи в диких гусей, пролетающих над лагерем большими стаями.

Во всей моей жизни не было более прекрасного и счастливого времени, чем эти десять дней. Мы с Лилиан не расставались ни на минуту с утра до вечера; это было как бы начало нашей совместной жизни вместо прежних мимолетных свиданий, и я все сильнее убеждался, что навеки полюбил это кроткое, милое создание. Я теперь ближе и лучше узнал ее. Часто ночью, вместо того чтобы спать, я размышлял, почему она стала мне дорога и необходима, как воздух. Видит бог, я сильно любил ее прелестное лицо, ее длинные косы, глаза, такие голубые, как небо над Небраской, и ее стройную и гибкую фигуру, казалось, говорившую: поддержи и охраняй меня вечно, без тебя я не проживу на свете! Видит бог, я любил все, что ей принадлежало, каждое ее жалкое платьице – и так меня влекло к ней, что, право, я не мог с собой совладать. Но была в ней для меня еще иная прелесть – ее кротость и нежность. Много женщин видел я в жизни, но такого ангела не встречал и не встречу никогда, и неизбывная печаль охватывает меня, когда я думаю об этом. Душа ее была нежна, как цветок, свертывающий лепестки, когда к нему приближаются.

Она отвечала чувством на каждое мое слово, и каждая моя мысль отражалась в ней, как в глубокой прозрачной воде отражается все, что ни появится над нею. К тому

же эта чистая душа уступала своему чувству с такой стыдливостью, что я понимал, как сильна должна быть ее любовь, если она ей покоряется! И все благоговение, какое только может быть в мужском сердце, превращалось у меня в бесконечную благодарность к ней. Она была моей единственной, моей самой дорогой в мире, и была она так удивительно целомудренна, что мне надо было убеждать ее, что любить не грешно, и я ломал себе голову, как убедить ее в этом. В таких переживаниях шли для нас дни в этом междуречье, где в конце концов я достиг моего высшего блаженства. Однажды на рассвете мы пошли на прогулку вверх по Вивер-Крик. Мне хотелось показать ей бобров, целый город, процветавший не далее как в полумиле от нашего лагеря. Осторожно идя по берегу среди зарослей, мы вскоре оказались у цели. Там был не то заливчик, не то маленькое озерцо, образованное ручьем. Неподдалеку от воды стояли два больших дерева гикоро, а над самыми берегами росли ивы, и ветви их наполовину утопали в воде. Плотина, построенная бобрами немного выше по течению, преграждала бег ручья и поддерживала воду в озере на постоянном уровне; на светлой поверхности озера выделялись куполообразные домики этих хитроумных зверюшек.

Нога человека, наверно, никогда не ступала в этот уголок, со всех сторон закрытый деревьями. Осторожно раздвинув тонкие ивовые ветви, мы смотрели на зеркально гладкую голубую воду. Бобры еще не принялись за работу; водяной городок, видимо, спал спокойно, и над заводью царил такая тишина, что я слышал дыхание Лилиан. Ее золотистая головка, наклоняясь между ветвями, касалась моего виска. Я обнял девушку, поддерживая ее на покато берегу, и мы терпеливо ожидали, упиваясь тем, что видели наши глаза. Привыкнув к жизни в пустыне, я любил природу, как родную мать, и, не мудрствуя, чувствовал, что в ней заключена божественная радость жизни.

Было раннее утро, заря только еще показалась между ветвями гикоро и румянила небо, по листьям ив стекала роса. С каждой минутой становилось все светлей. Вот на противоположном берегу появились степные курочки, серые с черной шейкой и хохолком на головке: они пили воду, задирая клювики вверх. «Ах, Ральф! Как здесь хорошо!» – шептала мне Лилиан. А у меня была лишь одна мечта – какая-нибудь хижина в далеком каньоне, Лилиан и вереница спокойных дней, тихо уносящих нас в вечность, к последнему успокоению. Нам казалось тогда, что в эти радости природы мы внесли и нашу радость, в ее спокойствие – наше спокойствие и в ее рассвет – рассвет нашего счастья, рождавшегося в наших сердцах. Меж тем ровная гладь покрылась кругами и из воды медленно показалась усатая мокрая и розовая от утренней зари голова бобра, за ней вторая, и двое зверьков поплыли к плотине, рассекая мордами голубое зеркало, фыркая и урча. Взойдя на плотину и усевшись на задние ланки, они начали пищать; на этот призыв, как по волшебству, вынырнули большие и маленькие головы. По всему озерку пошел плеск. Сначала стая лишь забавлялась, купалась и верещала от удовольствия, но первая пара бобров, наблюдая с плотины, вдруг издала ноздрями протяжный свист, и в мгновение ока половина стада очутилась на плотине, а вторая половина поплыла к берегам и исчезла под бахромой ив, где вода начала волноваться, и звук, похожий на звук пилы, показал, что зверьки и там работают, отделяя от стволов ветки и кору.

Долго-долго смотрели мы с Лилиан на повадки и забавы зверей, которым еще не испортил жизнь человек. Вдруг Лилиан, желая немного повернуться, нечаянно задела ветви – и вмиг все исчезло. Только колебание воды показывало, что в ней кто-то есть; но через минуту вода успокоилась, и снова нас объяла тишина, прерываемая лишь стуком дятлов о твердую кору гикоро.

Тем временем солнце поднялось над деревьями и начало пригревать сильнее. Так как

Лилиан еще не устала, мы решили обойти заводь. Но дороге мы встретили другой маленький ручей, пересекавший лес и впадавший в заводь с противоположной стороны. Лилиан не могла перейти ручья, и мне пришлось перенести ее. Несмотря на сопротивление, я взял ее, как ребенка, на руки и вошел в воду. Но этот ручей был для нас ручьем искушений. Боясь, как бы я не упал, Лилиан охватила мою шею обеими руками и прижалась ко мне изо всех сил, пряча свое пристыженное лицо за моим плечом, а я стал целовать ее висок, шепча: «Лилиан! Моя Лилиан!» И так я нес ее через ручей. Ступив на другой берег, я захотел нести ее дальше, но она вырвалась от меня почти силой. Обоих нас охватило какое-то беспокойство. Она начала озираться словно в испуге, и лицо ее то бледнело, то краснело. Мы шли дальше. Я взял ее руку и прижал к сердцу. Минутами я боялся самого себя. Становилось жарко; с неба на землю плыл зной, ветер не веял, листья гикоро свисали неподвижно. Дятлы, как и прежде, стучали по коре, но казалось, что все засыпает и слабеет от зноя. Я подумал было, что в этом воздухе и в этом лесу есть какие-то чары. А потом уже я думал только о том, что рядом со мной Лилиан и что мы одни. Тем временем она почувствовала усталость: дыхание ее становилось все учащенней и прерывистей, а на лице обычно бледном, выступил яркий румянец. Я спросил, не устала ли она и не хочет ли отдохнуть. «О нет, нет!» – быстро ответила она, словно обороняясь от одной этой мысли, но через несколько шагов вдруг пошатнулась, шепча:

– Я не могу... Правда, я не могу идти дальше!

Тогда я снова взял ее на руки и с этой драгоценной ношей спустился к берегу, где ивовые ветви, свисая до земли, образовали как бы тенистые ниши. В таком зеленом алькове, положив ее на мох, я стал перед ней на колени, но, когда я посмотрел на нее, сердце мое сжалось. Ее лицо побледнело как полотно, а расширенные глаза смотрели на меня с испугом.

– Лилиан, что с тобой, дорогая? – воскликнул я. – Это я с тобой...

Говоря так, я склонился к ее ногам и осыпал их поцелуями.

– Лилиан! – говорил я. – Моя единственная, избранная моя, жена моя!

Когда я произнес это последнее слово, дрожь охватила ее с ног до головы, и вдруг, будто в лихорадке, с необычной силой она закинула руки мне на шею, повторяя: «My dear, my dear, my husband!»[29] – и потом все исчезло, и мне казалось, что весь земной шар падает куда-то вместе с нами...

Уж не знаю теперь, что со мной было, но знаю, что, когда я очнулся от упоения и пришел в себя, между черными ветвями гикоро снова светилась заря, но уже вечерняя. Дятлы перестали стучать, заря из озера улыбалась другой заре на небе, обитатели озера уснули, вечер был прекрасный, тихий, наполненный красноватым светом. Пора было возвращаться в лагерь. Когда мы покинули сень плакучих ив, я глянул на Лилиан: в ее лице не было ни грусти, ни беспокойства, только в глазах, поднятых к небу, светилась тихая покорность, а ее ангельскую головку словно окружал лучистый нимб жертвенности и серьезности. Когда я подал ей руку, она спокойно склонила голову на мое плечо и, не сводя глаз с неба, сказала:

– Ральф, повтори мне, что я твоя жена, и повторяй это часто.

И так как ни в пустыне, ни там, куда мы шли, не было других браков, кроме союза любящих сердец, я опустил на колени в этом лесу и, когда она опустилась рядом

со мной, произнес:

– Перед небом, землей и богом! Заявляю тебе, Лилиан Морис, что беру тебя в свои супруги. Аминь!

На что она ответила:

– Теперь я твоя навсегда, до смерти. Твоя жена, Ральф!

С этой минуты мы были обвенчаны. Отныне она была уже не моей возлюбленной, а законной женой. И было обоим нам. хорошо от этой мысли. Как хорошо было мне! В сердце моем пробудилось новое чувство какого-то священного уважения к Лилиан и к себе самому, какого-то внутреннего достоинства и значительности, благодаря чему любовь наша стала благородной и достойной благословения. Рука об руку, с поднятой головой и смелым взглядом мы вернулись в лагерь, где о нас уже сильно беспокоились. Человек десять разъехалось в разные стороны искать нас, и позже я с удивлением узнал, что некоторые из них проходили мимо озера, но не заметили нас, а мы не слышали их зова. Чтобы не было кривотолков, я созвал всех, и, когда люди: собрались, торжественно вышел на середину, взяв Лилиан за руку, и сказал:

– Джентльмены! Будьте свидетелями, что в вашем присутствии я называю эту женщину, стоящую рядом со мной, женой моей. И так и свидетельствуйте перед судом, законом и перед каждым человеком, который об этом вас спросит на Западе или на Востоке.

– All right – and hurra for you both[30]. – ответили переселенцы. Затем, по обычаю, старый Смит спросил Лилиан, согласна ли она взять меня в свои мужья, и, когда она ответила: «Да», мы были уже законно повенчаны и перед людьми. В далеких прериях Запада и на всех окраинах, где ни городов нет, ни судов, ни церквей, бракосочетание совершается только таким образом, и до сей поры во всех Штатах достаточно мужчине назвать женщину, с которой он обитает под одной крышей, своей женой, чтобы это заявление заменило все юридические документы. Поэтому никто из моих людей не удивлялся происходящему, и на наше бракосочетание все смотрели с серьезностью, соответствующей обычаю. Все были рады. Ибо хотя я и обращался с ними несколько более сурово, чем другие предводители караванов, но они понимали, что я это делаю для их добра, и с каждым днем они относились ко мне все лучше, а жена моя всегда была любимицей всего каравана. Вскоре начались торжество и веселье. Разожгли костры; шотландцы достали из повозок свои цитры, звук которых нравился нам обоим, пробуждая в нас дорогие нам воспоминания; американцы взялись за свои излюбленные костяные трещотки, и наш свадебный вечер проходил среди песен, криков и стрельбы. Тетушка Аткинс то плакала, то смеялась, ежеминутно заключала Лилиан в свои объятия, то и дело зажигала свою гаснущую трубку. Более всего растрогал меня следующий обряд, вошедший в обычай этих непоседливых жителей Штатов, проводящих большую часть жизни на колесах. Когда зашла луна, мужчины насадили на шомполы карабинов пучки зажженных прутьев, и целая процессия во главе со стариком Смитом водила нас от одной повозки к другой, спрашивая у Лилиан: «Is this your home?»[31]. Моя прелестная подруга отвечала: «No!» – и мы шли дальше. У повозки тетушки Аткинс истинное умиление охватило всех, так как здесь до сих пор жила Лилиан. Когда же и здесь она тихо ответила: «No!», тетушка Аткинс зарычала, как буйвол, и, схватив Лилиан в объятия, стала повторять: «My little! My sweet!»[32], плача при этом навзрыд. Плакала и Лилиан, и тут все эти закаленные сердца на миг оттаяли, и у всех на глазах показались слезы. Когда мы подошли к моей повозке, я едва узнал ее, так была она украшена зеленью и цветами. Тут мужчины высоко подняли пылающие связки

прутьев, а Смит спросил более громко и торжественно:

– Is this your home?

– That's it! That's it![33] – ответила Лилиан.

Тогда все обнажили головы и наступила такая тишина, что я слышал гуденье огня и треск пылающих прутьев, падающих на землю, а старый, седовласый шахтер сказал, протянув над нами свои жилистые руки:

– Да благословит бог вас обоих и ваш дом. Аминь!

Троекратное «ура!» было ответом на это благословение, после чего все разошлись, оставив меня с моей любимой наедине.

Когда последний из присутствовавших удалился, она положила голову мне на грудь, шепча: «Навсегда! Навсегда!» И в этот миг в сердцах наших было больше звезд, нежели на небе.

VI

Утром я покинул еще спящую жену и пошел за цветами для нее. Собирая их, я все повторял: «Ты женат!», и эта мысль наполняла меня такой радостью, что я возносил взор к господу богу, слагая ему хвалу за то, что он дал мне дожить до той минуты, когда человек становится настоящим человеком и жизнь свою дополняет жизнью другого существа, любимого более всего на свете. Теперь и у меня было что-то свое в мире, и, хотя покамест жилищем и очагом моим была всего лишь крытая холстом повозка, я чувствовал себя богачом и смотрел на прежнюю мою скитальческую жизнь с жалостью и удивлением, недоумевая, как я мог до сих пор так жить. Ведь мне раньше и в голову не приходило, сколько счастья в слове «жена», когда этим именем зовешь кровь от крови твоего сердца и лучшую часть собственной своей души. Уже давно я так ее любил, что весь мир видел только через Лилиан, и все сводил к ней, и понимал лишь то, что ее касалось. И теперь, когда я говорил: «жена», это означало: «моя, моя навсегда». И я думал, что прямо с ума сойду от счастья, потому что в мозгу у меня не вмещалось, как это я, бедняк, могу обладать таким сокровищем. Чего мне тогда недоставало? У меня было все. Если бы эта степь была чуть теплее и безопаснее для нее и если бы не мое обязательство привести этих людей туда, куда я обещал, я готов был даже и не ехать в Калифорнию, а поселиться хотя бы и в Небраске, лишь бы. вместе с Лилиан. Я ехал в Калифорнию искать золото, а теперь эта затея казалась мне смешной. «Какое еще богатство могу я найти, когда у меня уже есть она? – спрашивал я себя. – К чему нам обоим золото, и ей и мне? Вот выберу какой-нибудь каньон, где вечно цветет весна, нарублю бревен для хижины и буду жить с Лилиан, и плуг и ружье доставят нам пропитание – с голоду не умрем!»

Так я думал, собирая цветы, а когда их было уже достаточно, я возвратился в лагерь. По дороге мне встретилась тетушка Аткинс.

– Малютка спит? – спросила она, вынимая изо рта свою неизменную трубку.

– Спит, – ответил я.

Прищуриив глаз, тетушка Аткинс промолвила:

– Ah, you rascal![34]

Но «малютка» уже не спала. Мы увидели, как она сошла с повозки и, прикрыв глаза от солнца рукой, стала озираться по сторонам. Заметив меня, она порывисто подбежала, вся розовая и свежая, как заря, и, когда я раскрыл объятия, она упала в них, запыхавшись, и, подставляя мне свои губки, зашебетала по-польски: «День добрый! День добрый!» Потом она поднялась на цыпочки и, глядя мне в глаза, сказала с лукавой усмешкой:

– Am I your wife?[35]

Чем другим мог я на это ответить, как не поцелуями и ласками без конца?

Так проходило у нас все это время, прожитое в развилине рек, потому что до отправления в дальнейший путь все мои обязанности взял на себя старик Смит. Мы навестили еще разок наших бобров и наш ручей; через который я ее перенес на этот раз без сопротивления. Однажды поплыли мы в маленькой лодке из красного дерева вверх по Блю-Ривер, где на одном из поворотов реки я показал Лилиан совсем вблизи буйволов, бьющих рогами в глинистый берег, отчего головы их покрыты как бы броней из засохшей глины.

Только за два дня до выступления мы прекратили эти экскурсии, потому что, во-первых, в окрестностях появились индейцы, а во-вторых, моя дорогая госпожа начала чем-то хворать. Она побледнела и ослабела, а когда я спрашивал, что с ней, отвечала мне улыбкой и заверениями, что ничего. Я бодрствовал во время ее сна, укрывал ее, как умел, и, право, не давал и ветру коснуться ее, так что сам от забот немного похудел. Правда, тетушка Аткинс, говоря об этой болезни Лилиан, с таинственной миной прищуривала левый глаз и выпускала такие густые клубы дыма, что за ними ее самой не видать было. Но я все же беспокоился, тем более что временами у Лилиан появлялись грустные мысли. Она вбила себе в голову, что, быть может, нехорошо любить друг друга так сильно, как мы любим, и однажды, положив прелестный пальчик на Библию, которую читала каждый день, печально сказала:

– Читай, Ральф!

Я глянул, и у меня тоже сжалось сердце в каком-то странном предчувствии, когда я прочел: «Who changed the truth- of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed for ever?»[36]

Она же сказала, когда я кончил читать:

– Но если господь гневается за это, я знаю, он будет настолько добр, что покарает только меня.

Я успокаивал ее, говоря, что любовь – это ангел двух человеческих душ, который летит к самому господу и приносит ему с земли хвалу. Больше мы не разговаривали об этом, потому что начались приготовления к походу, осмотр повозок и животных и тысяча мелких дел, отнимавших мое время.

Когда наступил наконец час отъезда, мы в печали и слезах простились с этим местом – свидетелем нашего величайшего счастья. Но, увидев караван, снова растянувшийся по степи, вереницу фургонов и упряжки мулов перед фургонами, я испытал облегчение, подумав, что конец нашего путешествия с каждым днем близится, что вот еще несколько месяцев – и мы увидим Калифорнию, куда

стремимся с такими трудностями.

Однако первые дни пути были не слишком успешны. За Миссури, до самого подножья Скалистых гор, почва прерий на огромном пространстве непрерывно подымается вверх, поэтому животные быстро утомлялись и часто останавливались. Бритом мы не могли подойти к реке Платт, хотя ее вода уже спала, так как было время великой весенней охоты и множество индейцев бродило у реки, выслеживая стада буйволов, шедших на север. Ночная служба дозорных стала тяжким и изнурительным трудом. Ни одна ночь не проходила без тревог. А на четвертый день после выхода из междуречья мы опять разбили большой отряд краснокожих, когда они пытались совершить стампеаду, то есть нападение на наших мулов. Неприятней всего, однако, были ночи без костров: не имея возможности приблизиться к Блатт, мы часто оставались без топлива. Меж тем по утрам стал моросить мелкий дождик, и навоз, которым на худой конец можно было заменить дрова, намокал и не загорался. Передвижения буйволов также внушали мне беспокойство: временами мы видели на горизонте стада в несколько тысяч голов, мчавшиеся, как вихрь, вперед, сокрушая все на своем пути. Налети такое стадо на лагерь – и мы погибли бы бесповоротно. В довершение бед степь в эту пору кишела всевозможными хищными зверями; за буйволами, кроме индейцев, следовали страшные серые медведи, ягуары, крупные волки из Канзаса и индейских территорий. Останавливаясь на ночлег, у небольших ручьев, мы иногда видели в час захода солнца множество зверей, приходивших на водопой: после жаркого дня. Однажды медведь напал на нашего метиса Вихиту и, не поспей мы со стариком Смитом и вторым проводником Томом на помощь, разорвал бы его. Я размозжил голову чудовища топором, удар был так силен, что рукоятка из твердого дерева гикоро раскололась надвое, но зверь еще бросился на меня и упал лишь тогда, когда Смит и Том выстрелили ему в ухо из карабинов. Эти свирепые звери были так дерзки, что ночью подходили к самому лагерю, и в течение недели мы убили двух медведей не далее как в ста шагах от повозок. Собаки с вечера и до рассвета подымали такой лай, что невозможно было сомкнуть глаза.

Прежде такая жизнь мне нравилась. Год тому назад, в Арканзасе, я попадал в еще большие переделки, и мне это доставляло только удовольствие. Но теперь стоило мне вспомнить, что там, в фургоне, моя любимая жена губит свое здоровье, проводя ночи без сна, в вечном страхе за меня, как мне хотелось послать к черту индейцев, медведей и кугуаров. Я хотел поскорее обеспечить покой этому созданию, такому хрупкому и нежному, такому обожаемому, что я готов был вечно носить ее на руках. И только тогда у меня отлегло от сердца, когда, после трех недель таких переходов, я увидел наконец какие-то белесые, как бы замешенные с мелом, воды реки, которая теперь называется Ринабликэн-Ривер, а тогда еще не имела английского названия. Густые заросли черного тростника, тянущиеся траурной каймой вдоль белой воды, могли дать нам топлива сколько потребуется. Этот тростник лопается в огне с сильным треском, разбрасывая снопы искр, но все же он горит лучше, чем влажный навоз. Я дал здесь каравану двухдневный отдых, потому что скалы, разбросанные по берегам, предвещали близость трудно проходимой гористой местности, лежащей по обе стороны Скалистых гор. Мы и так поднялись уже высоко над уровнем моря, это можно было узнать хотя бы по ночным холодам.

Резкая разница между дневной и ночной температурами немало нам досаждала. Несколько человек – среди них старик Смит – заболели лихорадкой и должны были ехать на повозках. Заболели они, видно, еще на заболоченных берегах Миссури, а трудные условия вызвали теперь вспышку болезни. Близость гор вселяла в нас, правда, надежду на скорое выздоровление. А покамест моя жена ухаживала за больными с самоотверженностью, свойственной только ангельским душам.

Но и сама она все худела. Просыпаясь утром, я глядел на лицо прелестной женщины, спящей подле меня, и сердце мое тревожно билось при виде бледных щек и синих кругов под глазами. Случалось, что, когда я так смотрел на нее, она просыпалась и, улыгнувшись мне, снова засыпала. Тогда я чувствовал, что отдал бы половину моего железного здоровья за то, чтобы мы уже были в Калифорнии. Но до нее было еще далеко, очень далеко!

После двух дней отдыха мы двинулись дальше и вскоре, оставив на юге Рипабликэн-Ривер, направились вдоль развилин Белого Человека к южным ответвлениям Платт, значительная часть которой течет уже в Колорадо. Местность с каждым шагом становилась все более гористой, и, по сути, мы уже находились в каньоне, по обе стороны которого громоздились все более высокие гранитные скалы, то одинокие, то сливающиеся в длинные и ровные стены, то образующие теснины, то раздвигающиеся пошире. Дров теперь было достаточно, во всех трещинах и расселинах росли карликовые сосны и карликовые дубы; кое-где по каменистым стенам журчали ручьи; на скалах прыгали пугливые каменные козлы. Воздух был холодный, чистый, здоровый. Через неделю больные выздоровели. Только мулы и лошади, вынужденные питаться вместо сочных трав Небраски кормом, в котором преобладал вереск, все больше худели и трудно дышали, таща вверх наши тяжелые, сильно нагруженные фургоны.

Наконец как-то пополудни мы увидели впереди не то маяки, не то клочковатые, расплывающиеся тучи, туманные, синие, голубые, а сверху белые и золотистые, огромные – до самого неба.

При этом зрелище во всем караване поднялся шум; люди взбирались на крыши фургонов, чтобы лучше видеть; отовсюду слышались возгласы: «Rocky Mountains! Rocky Mountains!»[37] Люди махали шапками, лица светились воодушевлением.

Так американцы приветствовали свои Скалистые горы, а я подошел к моему фургону и, прижав жену к груди, еще раз дал в душе обет верности перед этими достигающими небес алтарями божества, излучавшими торжественную таинственность, величие и недоступность. Как раз в это время заходило солнце, и вскоре мрак покрыл всю местность, лишь эти исполины в последних лучах заката казались огромной грудой раскаленного угля и лавы. Потом этот огненно-красный цвет перешел в более темный, с фиолетовым отливом, и, наконец, все исчезло и слилось в сплошной мрак, сквозь который на нас сверху глядели звезды – мерцающие глаза ночи.

Мы были еще, однако, не менее чем в ста пятидесяти английских милях от главной цепи; на следующий день ее скрыли от наших глаз близкие скалы, а потом она то появлялась вновь, то исчезала, в зависимости от поворотов дороги. Двигались мы медленно, нам мешали все новые препятствия, и хотя мы старались держаться русла реки, но часто, где берега были круты, нам приходилось отходить от нее и отыскивать проходы через соседние долины. Почва их была покрыта серым вереском и диким горохом, непригодным в еду даже для мулов, длинные и крепкие стебли путались в колесах, мешали движению и были для нас серьезной помехой.

Порой нам попадались непроходимые расселины и трещины длиной в несколько сот ярдов, которые также приходилось объезжать. То и дело наши проводники, Вихита и Том, возвращались с известиями о новых препятствиях. Почва то оцетинивалась скалами, то внезапно проваливалась пропастями. Иногда нам казалось, что мы едем долиной, и вдруг на краю этой долины вместо окаймляющих гор разверзалась такая бездонная пропасть, что взгляд боязливо скользил по отвесно падающей стене и

голова кружилась. Растущие на дне пропасти исполинские дубы казались маленькими черными кустиками, а пасущиеся среди дубов буйволы – жуками. Мы все дальше углублялись в край каменистых глыб, обломков, ущелий и скал, громоздящихся одна на другую в диком беспорядке. Эхо, отражаясь от гранитных сводов, многократно повторяло проклятия возчиков и визг мулов. В степи наши повозки, возвышаясь над плоской землей, казались большими, даже величественными, здесь же они странно уменьшались в наших глазах рядом с каменными утесами и исчезали в горловинах ущелий, словно пожираемые огромной пастью. Небольшие водопады, или, как индейцы называют их, «смеющиеся воды», преграждали нам путь через каждые несколько сот шагов; напряжение истощало и нас, и животных, а меж тем горная цепь, когда она временами показывалась на горизонте, была все такой же далекой и туманной. К счастью, любопытство, поддерживаемое постоянной сменой ландшафта, побеждало в нас даже усталость. Ни один из моих людей, не исключая и тех, что были родом из Аллеганов, никогда не видел такой дикой местности. Я сам с изумлением смотрел на эти каньоны, где необузданная фантазия природы нагромоздила замки, крепости и целые каменные города.

Индейцы, которых мы иногда встречали, отличались от степных сородичей большей разрозненностью и дикостью. Вид белых людей пробуждал в них страх, смешанный с жадной кровью. Они казались еще более свирепыми, чем их братья из Небраски; были они рослые, темнокожие, с широкими ноздрями, и бегающий взгляд делал их похожими на диких зверей в клетке. Движения их также отличались почти звериным проворством и настороженностью. Разговаривая, они прикасались большим пальцем к своим щекам, размалеванным белыми и голубыми полосами. Их оружие состояло из топоров и луков, изготовленных из твердого горного шиповника, и луки были такие тугие, что у моих людей не хватало сил натянуть тетиву. Дикари эти при большей численности могли быть весьма опасны, так как отличались неукротимой жестокостью. К счастью, они были очень немногочисленны и самый большой отряд, встреченный нами, не превышал пятнадцати воинов. Называли они себя Табегаучи, Вемипучи и Ямпасы. Метис наш Вихита, хотя и разбирался в индейских наречиях, совершенно не понимал их языка, поэтому мы никак не могли взять в толк, отчего все они, указывая на Скалистые горы, а потом на нас, сжимали в кулак и раскрывали руки, словно показывая нам на пальцах какое-то число.

Дорога становилась такой трудной, что мы едва делали по пятнадцати миль в день, затратив огромные усилия. Лошади, менее выносливые, чем мулы, и более привередливые в еде, начали падать; люди, целыми днями подтягивая повозки на веревках наравне с мулами или поддерживая повозки в опасных местах, обессилели. Постепенно у более слабых стало проявляться недовольство; несколько человек заболело костной болезнью, а у одного от натуги хлынула изо рта кровь, и он умер в три дня, проклиная минуту, когда ему пришла в голову мысль покинуть нью-йоркский порт. Были мы тогда на самом тяжелом участке пути, близ небольшой реки, называемой индейцами Кайова. Здесь не было таких высоких скал, как на восточной границе Колорадо, но весь край, насколько мог охватить взгляд, был усеян большими и малыми глыбами, беспорядочно набросанными одна на другую торчком или плашмя. Эти глыбы напоминали разрушенные кладбища с вывороченными надгробиями. Поистине то были «злые земли» Колорадо, подобные тем, что простираются на севере Небраски. С величайшим трудом мы выбрались оттуда после целой недели мучений.

Остановились мы только у подножья Скалистых гор.

Страх охватывал меня, когда я смотрел вблизи на этот окутанный туманами гранитный мир, с гребнями, которые теряются в вечных снегах за облаками. Безмолвное величие каменных громад давило меня, и я склонялся перед творцом, моля его, чтобы он дал мне провести через эти бесконечные стены мои повозки, моих людей и мою любимую жену. После молитвы я смелей углубился в ущелья и проходы, и они сомкнулись за нами, отрезав нас от остального мира. Над нами небо, в нем кружится несколько орлов, а вокруг лишь гранит – настоящий лабиринт проходов, арок, ущелий, расселин, пропастей, башен, безмолвных зданий и исполинских, охваченных сном залов. Такая там торжественность и душа пребывает под таким каменным гнетом, что человек, сам не зная почему, начинает говорить шепотом. Ему чудится, что дорога перед ним то и дело замыкается, что некий голос говорит ему: «Не ходи дальше, ибо там уже прохода нет!» Чудится ему, что он нарушает некую тайну, на которую положил печать сам бог. Ночью, когда эти отвесные громады чернели, как траурное покрывало, и луна набрасывала серебряную печальную вуаль на их гребни, когда из «смеющихся вод» подымались какие-то странные тени, дрожь пробирала самых закаленных искателей приключений. Целые часы мы проводили у костров, с суеверным ужасом всматриваясь в черные, освещенные кровавыми отблесками провалы, будто ожидая, что вот-вот из них покажется нечто жуткое.

Однажды в углублении скалы мы нашли человеческий скелет, и, хотя по остаткам присохших к черепу волос и по оружию было видно, что это был индеец, наши сердца сжало зловещее предчувствие. Скаля зубы, скелет, казалось, предостерегал, что тот, кто здесь заблудится, отсюда уже не выйдет. В тот же день метис Том сорвался вместе с конем со скалы и погиб. Мрачное уныние охватило весь караван. Прежде мы ехали шумно и весело, теперь даже возчики перестали ругаться, и мы двигались в молчании, прерываемом лишь скрипом колес. Мулы тоже все чаще упрямылись, а когда одна пара остановилась, все упряжки за ней остановились как вкопанные. Сильнее всего терзало меня то, что в эти тяжкие минуты, когда жена моя больше чем когда-либо нуждалась в моем присутствии и поддержке, я не мог быть с ней, – я должен был поспевать повсюду, чтобы подавать пример, укреплять бодрость и надежду. Люди мои переносили трудности со свойственной американцам стойкостью, но при этом теряли последние силы. Только мое крепкое здоровье выдерживало все испытания. Бывали ночи, когда у меня и двух часов отдыха не было: вместе с другими я тащил повозки и еще расставлял охрану, объезжал расположение – словом, выполнял службу вдвое более тяжкую, чем любой из моих людей, но, видно, счастье прибавило мне силы. Ведь когда я, усталый и измученный, приходил наконец к своему фургону, то находил там все, что было мне дороже всего в мире, – верное сердце и любящую руку, которая отирала пот с моего лица. Хотя Лилиан и была немного нездорова, она никогда не засыпала до моего прихода; я выговаривал ей за это, но она закрывала мне уста поцелуями и просьбами не сердиться на нее. Я укладывал ее спать, и она засыпала, держа мою руку. Часто она просыпалась и укрывала меня бровными шкурами, чтобы я лучше отдохнул. Всегда кроткая, нежная, любящая и заботливая, она вызывала во мне настоящее обожание – я целовал подол ее платья как величайшую святыню, а наш фургон стал для меня почти храмом. Лилиан была крошкой рядом с вздымающимися до неба каменными громадами, на которые она смотрела, запрокинув голову; и все-таки она заслоняла их собой, и при ней скалы как бы исчезали. И среди всех этих исполинов видна была лишь она одна. Что ж странного в том, что, когда у других не хватало сил, я чувствовал, что, пока это нужно будет для нее, моих сил всегда хватит?

Через три недели мы наконец добрались до большого каньона, образуемого рекой Белой. У входа в него индейцы из племени Уинта устроили нам засаду, вызвав у нас небольшое замешательство. Но когда красные стрелы стали залетать на крышу фургона моей жены, мы разом ударили на индейцев с таким напором, что они тут же разбежались. Три четверти нападавших мы перебили. Единственный пленник, взятый живым, — молодой, шестнадцатилетний парень, — оправясь от испуга, начал повторять те жесты, которые делали Ямпасы, указывая поочередно то на нас, то на запад. Мы полагали, что он хочет сообщить о присутствии белых людей поблизости; правда, этой догадке трудно было поверить. Между тем она оказалась правильной, и легко себе представить наши удивление и радость, когда на следующий день, спускаясь с высокого плоскогорья, мы увидели на дне обширной долины у наших ног не только повозки, но и дома, построенные из свежесрубленных бревен. Эти домики располагались по кругу, в центре которого высился большой сарай без окон; посреди долины протекал ручей и бродили стада мулов под охраной всадников. Присутствие людей моей расы в этом месте вызвало во мне изумление, вскоре перешедшее в тревогу при мысли, что это могут быть outlaw, после своих злодеяний скрывающиеся от смертной казни в пустыне. Я знал по опыту, что подобные отбросы общества часто уходят в очень отдаленные и совершенно пустынные края, где создают отряды с прекрасной военной организацией. Иногда они основывали даже новые общины, вначале занимаясь разбойничьими набегами, а затем номере притока поселенцев постепенно возникали из таких поселений настоящие штаты. Когда в качестве скваттера я сплавлял лес в Новый Орлеан, не раз приходилось мне встречаться с outlaw в верховьях Миссисипи и вступать с ними в кровавые стычки. Поэтому их жестокость и воинственность были мне хорошо известны.

Я бы их не боялся, не будь среди нас Лилиан, но при мысли об опасности, в которой оказалась бы она в случае проигранного сражения и моей смерти, волосы у меня становились дыбом, и впервые в жизни я испытывал страх, как последний трус. Но я был уверен, что если это outlaw, то никакими средствами нам не избежать боя, и дело тут будет потруднее, чем с индейцами.

Я тотчас предупредил людей о возможной опасности и выстроил их к бою. Я был готов либо погибнуть, либо перебить до последнего всех в этом осином гнезде и поэтому решил первым ударить на них. Тем временем из долины нас заметили, и два всадника помчались к нам во весь опор. Видя это, я облегченно вздохнул, так как outlaw не выслали бы парламентаров. Оказалось, что это были звероловы американской компании, торгующей мехами, а в этом месте находился их летний лагерь, так называемый summer camp. Таким образом, вместо сражения нас ожидали самый радушный прием и большая помощь со стороны суровых, но честных охотников пустыни. Нас приняли с распростертыми объятьями, а мы благодарили бога за то, что он снизошел к нашим нуждам и уготовил нам столь сладостный отдых. Ведь минуло уже два с половиной месяца, как мы покинули Биг-Блю-Ривер, силы наши истощились, мулы были чуть живы. Здесь же мы могли снова отдохнуть с недельку в полной безопасности при обилии пищи для нас и корма для животных.

Это было для нас прямо спасением. Мистер Торстон — начальник лагеря, благовоспитанный и образованный человек, узнав, что я не обычный степной бродяга, сразу подружился со мной и предоставил свой домик для меня и Лилиан, чье здоровье все ухудшалось.

Два дня я заставил ее лежать в постели. Она была так измучена, что в первые сутки почти не открывала глаз. Я же следил, чтобы ее отдыху ничто не мешало, сидя у ее постели и часами глядя на нее. Через два дня она уже настолько окрепла, что могла выходить, но я не позволял ей заниматься какой-либо работой.

Люди мои в первые несколько дней тоже спали как убитые, где кто свалился, и только после отдыха мы принялись за починку повозок, одежды и за стирку белья. Добрые охотники помогали нам от всего сердца. То были в основном канадцы на службе у торговой компании. Зимой они проводили на охоте, ловили в западни бобров, убивали скунсов и куниц, а летом стягивались в так называемые summer camps – летние лагеря, где находились временные меховые склады. Обработанные кое-как шкуры отправлялись отсюда с охраной на восток. Работа этих людей, нанимающихся на несколько лет, была несказанно трудной: им приходилось отправляться в очень далекие и пустынные местности, где, правда, всякого зверья было вдоволь, но жизнь протекала в непрерывных опасностях и упорной борьбе с краснокожими. Они получали за это хорошую плату, однако большинство из них служило не для денег, а из любви к жизни в пустыне и к приключениям, в которых недостатка не было. Люди тут подобрались крепкие, здоровые, способные вынести всякие трудности. Их рослые фигуры, меховые шапки и длинные карабины напоминали моей жене повести Купера, которые ей случалось читать в Бостоне. Поэтому она с большим интересом смотрела на лагерь и на все его устройство. Дисциплина царила у них такая, как в рыцарском ордене, и Торстон, главный агент компании, а заодно их главарь, пользовался властью военачальника. То были люди вполне порядочные, и мы прекрасно провели с ними время. Наши люди им тоже очень понравились, и они говорили, что никогда еще не встречали такого дисциплинированного и благоустроенного каравана. Торстон при всех хвалил мой план путешествия по северной дороге вместо дороги на Сен-Луи и Канзас. Он рассказал нам, что караван из трехсот человек, отправившийся по той дороге под начальством некоего Марквуда, испытал много мучений от жары и саранчи, потерял тягловых животных и был полностью истреблен индейцами племени Арапагоков. Канадские стрелки знали об этом от самих Арапагоков, которых они, в свою очередь, изрядно потрепали в большом сражении, захватив у них более ста скальпов, в том числе скальп Марквуда. Это известие так сильно подействовало на моих людей, что даже старый бродяга Смит, сперва противившийся плану пути через Небраску, сказал мне при всех, что я более smart[38], чем он, и что ему надо у меня поучиться. За время отдыха в гостеприимном летнем лагере мы полностью восстановили свои силы. Кроме Торстона, с которым у меня завязалась прочная дружба, я там еще познакомился со знаменитым во всех Штатах Миком. Он не принадлежал к отряду, но бродил по пустыне в компании двух известных охотников, Линкольна и Кида Карстона. Эти удивительные люди вели втроем настоящую войну с целыми племенами индейцев, и их ловкость и сверхчеловеческая отвага всегда обеспечивали им победу. Имя Мика, о котором теперь написана не одна книга, было так страшно индейцам, что его слово больше значило для них, чем договоры с правительством Штатов. Правительство тоже часто пользовалось его посредничеством и в конце концов назначило губернатором Орегона. Когда я познакомился с ним, ему было уже под пятьдесят, но волосы его были черны как вороново крыло, а во взгляде светились сердечная доброта, сила и неукротимая смелость. Притом он слыл самым сильным человеком во всех Штатах, и когда я с ним попытался бороться, то он оказался первым, кого я, к всеобщему удивлению, не смог одолеть. Этот человек большой души очень любил Лилиан и благословлял ее всякий раз, когда навещал нас. На прощанье он подарил ей пару изящных маленьких мокасин из оленьей кожи собственной работы. Подарок пришелся весьма кстати: у моей бедняжки уже не было ни одной пары целых башмаков.

Наконец мы двинулись в путь при хороших предзнаменованиях, снабженные подробными указаниями о том, каких каньонов нам следует держаться в походе, а также запасами солонины. Мало того: добрый Торстон оставил себе худших наших мулов и дал нам взамен сильных и хорошо отдохнувших, а Мик, который уже бывал в Калифорнии, рассказывал нам настоящие чудеса не только о ее богатстве, но и о приятном климате, прекрасных дубовых лесах и горных каньонах, не имеющих себе

равных во всех Штатах. Итак, великая бодрость влилась в наши сердца, ибо мы не ведали о мучениях, ожидавших нас до прихода в эту землю обетованную. Отъезжая, мы долго махали честным канадцам шапками в ответ на их «Fare well!»[39]. Что до меня, то этот день отъезда навеки остался в моем сердце, потому что в тот яге полдень любимая звездочка моей жизни, обняв мою шею обеими руками, краснея от стыда и волнения, начала шептать мне на ухо слова, услышав которые я склонился к ее ногам и, плача от сильного чувства, целовал колени не только жены моей, но и будущей матери моего ребенка.

VIII

Через две недели, после того как мы расстались с летним лагерем, мы вступили в пределы Юты, где путешествие наше вначале шло быстрее, хотя по-прежнему не без трудностей. Нам предстояло еще пройти западную часть Скалистых гор, образующих целую группу отрогов под названием Wasath Mountains, но две реки – Green и Grand River, – образующие при слиянии большое озеро Колорадо, а также многочисленные притоки этих рек, прорезывающие горы во всех направлениях, открывают в них проходы, не слишком трудные для путников. По этим проходам мы через некоторое время добрались до озера Юта, где начинаются солончаки. Вокруг нас простирался странный, однообразный, угрюмый край: большие стенные долины, окруженные амфитеатрами тупоконечных скал, тянутся однообразной утомительной чередой. Суровость и мертвая нагота этих пустынь и скал заставляет вспомнить о библейских пустынях. Озера здесь соленые, с сухими и бесплодными берегами.

Деревьев нет вовсе. На огромных пространствах оголенная земля выделяет, как из пор, соль и поташ. Только кое-где почва покрыта серыми растениями с толстыми плоскими листьями, – если надорвать их, они сочатся тягучим и соленым соком. Дорога здесь томительная и гнетущая. Проходят недели, а пустыня тянется без конца, и видишь перед собой все те же однообразные каменистые равнины. Наши силы стали снова истощаться. В степях царило однообразие жизни, здесь – однообразие смерти.

Постепенно людьми овладевали подавленность и безразличие. Вот мы прошли Юту – все те же мертвые земли! Вступили в Неваду – то же самое! Солнце пекло так сильно, что гол она трещала от боли; лучи, отражаясь от поверхности, покрытой солью, резали глаза; в воздухе носилась пыль, неизвестно откуда берущаяся, и от нее воспалялись веки. Мулы и лошади то и дело хватили зубами землю, часто они падали, сраженные солнцем, как молнией. Многих поддерживала только надежда, что вот еще неделя-другая – и на горизонте покажется Сьерра-Невада, а за ней желанная Калифорния. А пока дни и недели приносили все больше трудностей. За одну неделю нам пришлось бросить три повозки – не хватало упряжек. О, это была земля нужды и скорби! А в Неваде пустыня стала еще более дикой, и положение наше еще ухудшилось, ибо начались болезни.

Однажды утром пришли мне сказать, что Смит болен. Я отправился проведать его и с удивлением убедился, что старого горняка свалил тиф. Нельзя безнаказанно столько раз менять климат: усталость, несмотря на короткие передышки, дает себя знать, а болезнетворные микробы развиваются именно у людей утомленных и терпящих лишения. Лилиан, которую Смит любил как родное дитя и благословил в день свадьбы, во что бы то ни стало хотела ухаживать за ним. А я, слабый человек, дрожал за нее, но не мог запретить ей выполнить этот христианский долг. Итак, она проводила у больного целые дни и ночи вместе с тетушкой Аткинс и тетушкой Гроссвенор, последовавшими ее примеру. Однако на второй день старик потерял сознание, а на восьмой день умер на руках у Лилиан. Я похоронил его, проливая горькие слезы над

останками того, кто был не только моим помощником и правой рукой во всем, но также настоящим отцом для нас обоих. Надеялись мы, что после такой тяжелой жертвы бог смилуетя над нами, но наши испытания только начинались: в тот же день свалился другой шахтер, а затем почти каждый день кто-нибудь ложился в повозку и покидал ее, лишь несомый нами в могилу. Так тащились мы по пустыне, а вслед за нами шла болезнь, похищая все новые жертвы. Заболела и тетушка Аткинс, но благодаря заботам Лилиан болезнь ее кончилась благополучно. Сердце мое постоянно замирало от страха, и нередко, когда Лилиан бывала при больных, а я на своем посту, один во мраке, где-то впереди каравана,— я сжимал виски руками и падал ниц как покорный пес, моля бога о милосердии к ней и не смея вымолвить: «Да будет воля твоя, а не моя». Даже когда я был рядом с Лилиан, я иногда внезапно просыпался ночью, мне казалось, что болезнь приподымает полог моей повозки и заглядывает внутрь, ища Лилиан. Минуты, что я не был с ней — а их было немало,— превратились для меня в сплошную пытку, от которой я сгибался, как дерево в бурю. Однако Лилиан покамест выдерживала все трудности и лишения. Самые крепкие люди валились с ног, а она, хотя исхудавшая, бледная, со все более заметными признаками беременности на лице, но все же здоровая, переходила от повозки к повозке. Я не решался даже спросить у нее, как она себя чувствует, только заключал ее в объятия и долго-долго прижимал к груди. А когда хотел заговорить, горло мое сжималось так, что я слова не мог вымолвить.

Но постепенно во мне оживала надежда, и в голове перестали звучать страшные слова Библии: «Who worshipped and served the creature more than the Creator?»

Мы уж приближались к западной части Невады, где за полосой мертвых озер кончаются солончаки и скалистая пустыня и снова начинается степная полоса, более ровная, зеленая и плодородная. Когда после двух дней пути никто не заболел, я думал, что бедствия наши кончились. И пора бы уже!

Девять человек умерли, шестеро были еще больны. Страх перед болезнью расшатал у нас дисциплину. Лошади почти все пали, мулы походили на скелеты. Из пятидесяти повозок, с которыми мы покинули летний лагерь, только тридцать две тащились теперь по пустыне. При этом никто не хотел идти на охоту из боязни свалиться где-нибудь вдали от лагеря и остаться без помощи. Запасы паши не пополнялись и подходили к концу. Уже с неделю, стремясь экономить их, мы питались черными степными белками, но их зловонное мясо было так нам противно, что мы с величайшим отвращением подносили его ко рту. Не хватало, однако, и этой негодной пищи. Правда, за озерами дичи стало попадаться больше и пастбища улучшились.

Мы снова встретили индейцев, которые напали на нас, вопреки своим обычаям, среди бела дня и в открытой степи,— у них было немного огнестрельного оружия. Они убили у нас четырех человек. В схватке меня ранили топором в голову, и так сильно, что к вечеру я впал в беспамятство от потери крови. Но я был почти счастлив, что так случилось; теперь Лилиан ухаживала за мной, а не за больными, от которых могла заразиться тифом. Три дня пролежал я в фургоне, и это были хорошие три дня — я все время был подле нее, мог целовать ее руки, когда она меняла повязки, и смотреть на нее. На третий день я уже был в состоянии сесть на коня, но духом я ослабел и перед самим собой притворялся еще больным, лишь бы остаться подле Лилиан.

Только теперь я почувствовал, как я измучен, и, пока я лежал, безмерная усталость исходила из костей моих. Потому что и я немало натерпелся от страха за жену и тоже исхудал как скелет; и как я раньше смотрел на мою любимую с тревогой и беспокойством, так теперь она смотрела на меня. Но когда голова моя перестала

переваливаться от слабости с плеча на плечо, тут уж нечего было делать, надо было садиться на последнюю выжившую клячу и вести караван дальше, не мешкая, тем более что со всех сторон появлялись какие-то тревожные признаки. Зной становился почти сверхъестественным, и в воздухе плавал грязноватый туман с гарью как бы от отдаленного пожарища. Горизонт затуманился и потемнел, небо омрачилось, и лучи солнца, доходившие до нас, были рыжеватыми и скудными. Животные обнаруживали странное беспокойство — они хрипло дышали, скаля зубы; нам казалось, будто мы вдыхаем огонь. Я полагал, что это результат одного из тех удушливых ветров, которые дуют из пустыни Джила; о них мне говорили на Востоке. Но вокруг царила тишина, ни один стебелек в степи не шелохнулся. Вечерами солнце заходило багряное, как кровь, и наступала душная ночь. Больные со стонами просили воды, собаки выли, а я ночи напролет кружил за несколько миль от лагеря, проверяя, не горит ли степь. Но зарева нигде не было видно.

Наконец я успокоился на мысли, что это действительно гарь, но от уже потухшего пожара. Днем я заметил, что зайцы, антилопы, буйволы и даже белки поспешно движутся на восток, как бы убегая из той Калифорнии, к которой мы стремимся с таким упорством. Но потом воздух стал немного чище, жара уменьшилась, и я окончательно утвердился в мысли, что пожар был, но догорел, а звери всего лишь ищут пастбищ. Нам надо было только поскорее добраться до пожарища и проверить, можно ли пройти через него или придется делать объезд. По моим расчетам, до гор Сьерра-Невада оставалось не более трехсот английских миль, или около двадцати дней пути, и я решил идти к ним, пусть из последних сил.

Теперь мы двигались только по ночам, так как жара крайне изнуряла животных, а между повозками всегда было немного тени, где они могли отдохнуть днем. Однажды, от усталости и раны не будучи уже в силах держаться в седле, я ехал ночью в фургоне Лилиан. Вдруг я услышал странный свист и скрежет колес, трущихся о какой-то особый грунт. Тут же по всему табору раздались окрики: «Стой! Стой!» Я тотчас соскочил с повозки и при свете месяца увидел, что возчики наклонились к земле и пристально в нее всматриваются. Меня окликнули: «Эй, капитан, мы едем по углю!» Я нагнулся и пощупал почву. Действительно, мы были в сожженной степи.

Я сразу задержал обоз, и остаток ночи мы простояли на месте. Утром, с восходом солнца, удивительное зрелище предстало нам. Насколько хватало зрения, простиралась черная, как уголь, равнина: не только все кусты и травы на ней были сожжены, но самая почва как бы остекленела, — ноги мулов и колеса повозок отражались в ней, словно в зеркале. Мы не могли точно установить, как широка полоса пожара, потому что горизонт еще застилала гарь. Но я без колебаний приказал повернуть на юг, чтобы обогнуть пожарище и не рисковать, пытаясь перейти через него. Я знал по опыту, что значит ехать по сожженной степи, где нет ни стебля травы для животных. Огонь, видимо, двигался по ветру в северном направлении, и я надеялся, идя к югу, достигнуть границы, от которой начался пожар. Мой приказ был выполнен, правда, довольно неохотно, так как он означал бог весть какую долгую проволочку. Во время дневного отдыха гарь стала рассеиваться, но зато жара так страшно усилилась, что воздух просто дрожал от накала. И вдруг случилось нечто, что можно было счесть за чудо.

Неожиданно, как по мановению, туман и дым раздвинулись — и перед нашими глазами показались горы Сьерра-Невада, зеленые и радостные, чудесные, покрытые на гребнях сверкающими снегами, и так близко, что мы могли рассмотреть невооруженным глазом впадины в горах, зеленые склоны и леса. Нам казалось, что свежее дуновение ветра, полное живительного аромата елей, долетает к нам через пепелище и что через несколько часов мы достигнем их цветущего подножья. При

этом зрелище люди, изнуренные страшной пустыней и тяготами, чуть не сошли с ума от радости: одни, рыдая, падали наземь, другие протягивали руки к небу или разражались смехом, некоторые побледнели и молчали, не будучи в силах вымолвить слова. Мы с Лилиан также плакали от радости, которая смешивалась во мне с изумлением: ведь я полагал, что от Калифорнии нас отделяет еще не менее ста пятидесяти миль. А тем временем горы усмехались нам через пепелище и словно по какому-то волшебству, казалось, приближались и склонялись к нам, зазывая и маня. Хотя часы отдыха еще не кончились, люди и слышать не хотели о том, чтобы дольше оставаться на месте. Даже больные, протягивая пожелтевшие руки из-под холщовых навесов, просили поскорее запрягать и ехать. Быстро и охотно двинулись мы вперед, и к скрежету колес по обугленной земле присоединились щелканье бичей, песни и выкрики. О том, чтобы объезжать сожженную полосу, не было уже и речи.

И к чему тут объезжать, когда в нескольких десятках миль была Калифорния с ее дивными Снежными горами! Итак, мы шля напрямик. Тем временем сизая гарь внезапно снова заслонила от нас лучистое зрелище. Шли часы, горизонт становился все уже; наконец солнце зашло, на небе слабо замерцали звезды, наступила ночь, а мы все ехали вперед. Но горы, очевидно, были дальше, чем нам показалось.

К полуночи мулы начали визжать и упираться, а час спустя обоз остановился, так как большинство животных улеглось на землю. Люди тщетно пытались поднять их. Никто не сомкнул глаз во всю ночь. При первых лучах солнца наши взгляды жадно устремились вдаль и... ничего не нашли там. Перед нами, сколько видел глаз, простиралась черная траурная пустыня, однообразная, угрюмая, отделенная резкой линией от горизонта: вчерашних гор не было и в помине.

Люди остолбенели, а мне все стало ясно. Это зловещая фата-моргана! Дрожь пронизала меня до мозга костей. Что же делать? Идти дальше? А если эта сожженная равнина тянется еще на сотни миль? Возвращаться? А вдруг там, в нескольких милях, конец черной полосы пожарища? Наконец, выдержат ли мулы обратный путь по выжженной полосе, которую мы уже прошли? Поистине не хватало духу взглянуть на дно той пропасти, на краю которой все мы очутились. Однако я хотел знать, что дальше делать. Поэтому я сел на коня, поехал вперед и с ближайшего холма окинул взглядом более широкий горизонт. Я разглядел в бинокль какие-то зеленые полосы, но, когда после часа езды я добрался до этого места, оказалось, что то было всего лишь болото, где огонь не сумел полностью уничтожить зелень по краям. Сожженная равнина тянулась дальше, чем можно было увидеть и в бинокль. Ничего не поделаешь! Надо отступить и объехать пожарище. С этой мыслью я поворотил коня.

Я приказал ждать меня и рассчитывал застать повозки на том же месте. Но распоряжения моего не послушали. Люди поднимали мулов, и обоз двигался дальше. На мой вопрос мне угрюмо ответили:

— Там горы, и туда мы пойдем!

Я даже не пытался спорить, так как знал, что нет силы человеческой, способной удержать этих людей. Может быть, я бы и повернул обратно вдвоем с Лилиан, но у меня уже не было повозки, а Лилиан ехала с тетушкой Аткинс.

Итак, мы шли вперед. Снова наступила ночь, а с ней вынужденный отдых. Над обугленной степью взошла большая красная луна и осветила ровную черную даль. Наутро уже только половина повозок могла двинуться в путь, ибо половина мулов пала. Днем стояла ужасная жара. Лучи, поглощаемые углем, наполняли воздух огненным жаром. Один из наших больных умер в страшных конвульсиях, и никто не

занялся его погребением. Положили его в степи и поехали дальше. Вода из большого болота, где я был вчера, придала на миг бодрости людям и животным, но не могла восстановить их силы. В течение полутора суток мулы не съели ни травинки и питались только соломой из повозок, но и той уже не хватало. Дальнейший наш путь был обозначен их трупами. На третий день остался только один мул, которого я силой взял для Лилиан. Повозки с инвентарем для работы в Калифорнии остались в этой навеки проклятой пустыне. Кроме Лилиан, все шли пешком. Вскоре новый враг глянул нам в глаза – голод. Часть провизии осталась на повозках, то, что каждый мог нести на себе, было съедено. А вокруг – ни одного живого существа. Из всего каравана у меня одного остались еще сухари и кусок солонины, но я прятал их для Лилиан и готов был разорвать на клочки всякого, кто напомнил бы мне об этих запасах. Я их тоже не ел... А эта страшная равнина все тянулась без конца!

Как бы для того, чтобы усилить наши муки, фата-моргана снова играла над степью в полуденные часы, показывая нам горы, леса, озера. Однако ночи были еще страшнее. Лучи солнца, поглощенные в течение дня углем, ночью обжигали наши ноги и наполняли жаром горло. В такую ночь один из наших помешался и, усевшись на землю, начал судорожно хохотать. Этот ужасный смех долго преследовал нас во мраке. Свалился мул, на котором ехала Лилиан. Изголодавшиеся люди в мгновение ока разорвали его на куски, но разве этим могли подкрепиться две сотни людей! Пошел четвертый день, пятый. От голода лица у всех стали какие-то птичьи. Люди с ненавистью смотрели друг на друга. Они знали, что у меня есть провизия, но знали также, что потребовать у меня хоть крошку равносильно смерти, и инстинкт самосохранения еще брал верх над голодом. Я кормил Лилиан только по ночам, чтобы не разъярять других этим зрелищем. Она заклинала меня всеми святыми разделить с ней еду, но я пригрозил, что пушу себе пулю в лоб, если она еще заикнется об этом, и, плача, она ела одна. Она ухитрялась, однако, как ни был я бдителен, выкрадывать крохи, которые отдавала тетушке Аткинс и тетушке Гроссвенор. А тем временем голод железными когтями терзал и мои внутренности. Раненая голова моя горела. Уже пять дней, как у меня во рту не было ничего, кроме болотной воды. Мысль, что я несу хлеб и мясо, что они при мне, что я могу это съесть, превращалась в пытку. При этом я боялся, что из-за ранения сойду с ума и могу наброситься на эту пищу.

– Господи! – молил я. – Ты не допустишь, чтобы я дошел до этого, и не дашь мне озвереть настолько, чтобы я дотронулся до пищи, которая может ей сохранить жизнь.

Но не было тогда надо мной милосердия божьего. Утром шестого дня я заметил на лице Лилиан багровые пятнышки, руки ее горели, и она тяжело дышала. Вдруг, глянув на меня блуждающим взглядом, она быстро сказала, как бы опасаясь, что вот-вот потеряет сознание:

– Оставь меня здесь, Ральф, спасайся сам, мне уже пет спасения!

Я стиснул зубы, потому что мне хотелось выть и богохульствовать, и, не говоря ни слова, взял ее на руки. Огненные зигзаги начали прыгать у меня перед глазами и складываться в слова: «Who worshipped and served the creature more than the Creator?»

Но дух мой гордо распрявился, как слишком сильно натянутый лук, и я, глядя в безжалостное небо, отвечал в своем бунтующем сердце: «Я!»

Тем временем я нес на свою Голгофу самую дорогую для меня ношу, единственную,

святую, любимую мою мученицу. Не знаю, откуда и силы у меня появились. Я потерял чувство голода, жары, усталости, не видел ничего: ни людей, ни выжженной степи, — только ее. Ночью ей стало еще хуже. Она теряла сознание и лишь минутами тихо стонала:

– Воды, Ральф!

А у меня — о, проклятье! — были только сухари и солонина. В крайнем отчаянии я разрезал себе ножом руку, чтобы собственной кровью увлажнить ее уста, но она вдруг пришла в себя и, вскрикнув, впала в длительное беспамятство, из которого, казалось мне, она уже не выйдет. Придя в себя, она хотела что-то сказать, по лихорадка путала ее мысли, и она лишь тихонько бормотала:

– Не сердись, Ральф! Я твоя жена.

Я нес ее дальше и молчал, ибо уже отупел от страданий.

Наступил седьмой день. На горизонте наконец показалась Сьерра-Невада. Но с заходом солнца стал угасать и светоч жизни моей. Когда началась агония, я положил Лилиан на сожженную землю и стал рядом с ней на колени. Глаза ее были широко раскрыты, они блестели и были устремлены на меня. На миг в них засветилось сознание. Она еще прошептала: «My dear! My husband!» — потом по телу ее пробежала дрожь, на лице изобразился страх, и она умерла.

Я сорвал с головы своей повязки, потерял сознание; и уж не помню, что было дальше. Как сквозь сон припоминаю людей, окруживших меня и отобравших оружие. Потом как будто копали могилу, а еще позже мной овладели беспамятство и мрак, а в нем огненные слова: «Who worshipped and served the creature more than the Creator?»

Очнулся я месяц спустя уже в Калифорнии, у колониста Мошинского. Поправившись немного, я отправился в Неваду. Степь там снова заросла высокой травой и пышно зазеленела, так что я даже не мог отыскать могилы Лилиан и до сих пор не знаю, где лежат ее священные останки. Чем провинился: я перед господом, что он отвратил от меня лицо свое и забыл меня в этой пустыне, — не знаю. Если бы я мог хоть поплакать иногда на ее могиле, жить было бы легче. Каждый год я езжу в Неваду и каждый год веду бесплодные поиски. С того страшного часа прошли уже годы. Жалкие уста мои уже не раз промолвили: «Да будет воля твоя!» Однако худо мне без нее на свете. Живет человек и ходит среди людей, смеется иногда, а старое одинокое сердце там, внутри, плачет и любит, тоскует и помнит...

Я уже стар, пора мне собираться в другой, вечный путь. Но лишь о том я еще прошу бога, чтобы в небесных степях я нашел мою небесную любовь — и уже никогда не разлучался с ней...

1878

АНГЕЛ

Картинка деревенской жизни

Схоронив Каликстову, в городке Деришкурове отслужили по ней панихиду, а после панихиды в костеле осталось еще несколько старух, чтобы допеть псалмы. Было

только четыре часа пополудни, но зимой об эту пору, уже смеркается, и в костеле стало темно. Необычно большой алтарь тонул во мраке; две свечи еще теплились возле дароносицы, и их мерцающее пламя слабо освещало золотые дверцы и над ними ноги распятого на кресте Спасителя, пробитые огромным гвоздем. Шляпка этого гвоздя выделялась на алтаре круглой блестящей точкой. Остальные свечи только что погасили, и над ними вились тоненькие струйки дыма, наполняя воздух чисто церковным запахом воска.

У подножья алтаря суетились старик и мальчик. Один: подметал, другой стаскивал ковер со ступеней. В те минуты, когда бабы переставали петь, слышно было, как старик сердитым шепотом бранит мальчика и как о запорошенные снегом окна бьются воробьи, которым холодно и голодно было на дворе.

Женщины с молитвенниками сидели на скамьях у входных дверей. Там было бы еще темнее, если б не несколько сальных свечек, которые они зажгли, чтобы облегчить себе чтение. Пламя одной свечи довольно ясно освещало хоругвь с изображением грешников, адского пламени и чертей, прикрепленную к стоящей впереди скамье. Па других хоругвях нельзя было ничего разобрать.

Сидящие на скамьях женщины не пели, а бормотали сонными голосами псалом, в котором все время повторялись слова:

Когда придет наш последний час,
Пред Сипом будь заступницей за нас...

Царящий в костеле полумрак, торчащие над скамьями хоругви, желтые лица старух, пугливо трепещущие огоньки свечей — все это вызывало гнетущее чувство и даже страх. Унылая зауспокойная песнь была вполне под стать окружающему.

По временам женщины переставали петь; одна из них вставала со скамьи и дрожащим голосом говорила: «Богородица, дева, радуйся». Остальные подхватывали: «Господь с тобою...» Но поскольку в тот день схоронили Каликстову, они после «Богородицы» прибавляли: «Царствие небесное и вечный покой даждь, господи, усопшей рабе твоей и сотвори ей вечную память».

Марыся, дочка Каликстовой, сидела на скамье рядом с одной из старух. На свежую могилу ее матери в это время тихо падал пушистый снег, но девочке было всего десять лет, и она, казалось, не сознавала ни своей утраты, ни того сострадания, которое вызывала. Ее личико с огромными голубыми глазами было детски безмятежно и даже безучастно. На нем проступало лишь легкое любопытство — не больше. Раскрыв рот, она сосредоточенно глядела на хоругвь, где были нарисованы грешники в адском огне, потом перевела взгляд в глубь костела, потом на окна, в которые бились воробьи.

Глаза ее смотрели все так же равнодушно. Бабы между тем в десятый раз принялись бормотать сонными голосами:

Когда придет наш последний час...

Девочка накручивала на палец прядь своих светлых волос, заплетенных сзади в две косички, тоненькие, как мышинные хвостики. Ей, видимо, было скучно. Но вот внимание ее привлек старик. Он вышел на середину костела и стал дергать

узловатую веревку, свисавшую с потолка. Звонил он по Каликстовой, но делал это совершенно механически, думая, наверно, о чем-то другом.

Звон этот означал также, что вечерняя служба окончена. Бабы, повторив в последний раз свою просьбу о ниспослании им легкой кончины, вышли из костела на рынок. Одна из них вела за руку Марысю.

– Куликова, – спросила у нее другая, – что думаете с девчонкой-то делать?

– А что с ней делать? Вот поедет Войтек Маргула, которого на почту прислали, обратно в Лещинец, он ее и захватит. А то куда же ее девать?

– А в Лещинце что она делать будет?

– И-и, милая! Да то же, что и здесь. Пусть уж ее идет, откуда пришла. Глядишь, и в усадьбе приютят сироту, позволят переночевать в людской.

Разговаривая так, шли они через рыпочную площадь к корчме. Сумерки сгущались. Стояла тихая зимняя погода; небо заволокли тучи, и было сыро, пахло талым снегом. С крыш капало, площадь покрывало грязное месиво из снега и соломы. В городке с его жалкими, облезлыми домишками было так же уныло, неприятно, как и в костеле. Кое-где в окнах светились огоньки; дневная суета улеглась, и только в корчме шарманка наигрывала оберек.

Играла она, зазывая гостей. В корчме не было ни души. Бабы вошли, выпили водки. Куликова и Марысе протянула полрюмки с такими словами:

– На-ка, глотни. Сирота ты теперь, не видать тебе больше ласки.

Слово «сирота» напомнило кумушкам смерть Каликстовой.

– За ваше здоровье, Куликова! Выпейте! – сказала Капустинская. – И-и, касатки! Как ее паралич-то схватил, она и охнуть не успела. Ксендз исповедовать пришел, а она уже холодная лежит.

Куликова на это заметила:

– Я уже давно говорила, что она на ладан дышит. Намедни пришла она ко мне в воскресенье, я и говорю ей: «Эй, Каликстова, Каликстова, отдали бы вы лучше Марыську в усадьбу». А она отвечает: «Одна она у меня на свете, никому я ее не отдам». А сама в слезы, видать, истомилась вся. Потом пошла в канцелярию, к войту, бумагу выправить. Четыре злотых и шесть грошей стала ей эта бумага. «Для доченьки, говорит, не жалко». И-и, касатки! У нее в ту пору глаза уже были вытарщены, а после смерти и вовсе выкатились. Хотели их закрыть, да сколько ни старались, ничего не вышло. Люди говорили, что она, мол, и мертвая все на дочку свою глядела.

– Выпьем с горя еще по стаканчику!

Шарманка все играла плясовую. Кумушки слегка захмелели. Куликова все повторяла жалобным голосом: «Бедная ты, бедная», а Капустинская вспомнила покойного своего мужа:

– Как помирал он, то уж так вздыхал, так вздыхал, так вздыхал... – твердила она

и, растягивая слова, невольно стала повторять их нараспев, в такт шарманке, а потом и вовсе перешла на мотив оберека и, подбоченясь, запела:

Он вздыхал, вздыхал, Ой, вздыхал, как помирал!

Но вдруг заплакала навзрыд, бросила шесть грошей шарманщику и выпила еще водки. Куликова тоже растрогалась, но она излила свои чувства на Марысю:

– Не забудь, сиротка, что сказал тебе пан ксендз, когда мамку твою в могилу зарывали: андел хранит тебя... – Тут она внезапно замолчала и, удивленным взором посмотрев вокруг, с необычайной энергией добавила: – Говорю андел – значит, андел!

Никто ей не перечил. Марыся, беспомощно моргая своими бедными глупыми глазенками, уставилась на Куликову, а та разглагольствовала:

– Ты сиротка, к тебе нечистая сила не подступится. Сирот андел хранит. Он добрый. На вот тебе десять грошей. Иди хоть пешком в Лещинец, все равно не заблудишься: он тебя доведет.

Капустинская запела:

Под сенью крыл хранит тебя навечно,
Его защите вверься ты беспечно.

– Тише! – крикнула Куликова и снова обратилась к Марысе: – Говори, глупая, кто хранит тебя?

– Андел, – тоненьким голосом ответила девочка.

– Сиротинушка ты, ягодка моя, букашечка! Ангел с крылышками тебя хранит, – совсем расчувствовавшись, пробормотала Куликова и с пьяной, но искренней горячностью прижала девочку к своей груди.

Девочка расплакалась. В этот миг в ее несмышленной головке и неискушенном сердце, может быть, пробудилась какая-то смутная догадка.

Корчмарь крепко спал за стойкой, сальные свечи оплыли грибами; шарманщик перестал играть: его забавляла сцена, происходившая у него на глазах.

В корчме наступила тишина, но вот за дверью зачавкали по грязи копыта и кто-то крикнул:

– Тпру!

Вошел Войтек Маргула с зажженным фонариком. Поставив его на пол, он стал похлопывать руками, чтобы разогреться, а потом крикнул корчмарю:

– Дай-ка стаканчик!

– Маргула, леший тебя заешь, – воскликнула Куликова, – отвези девчонку в Лещинец!

– Как пе отвезти, коли велено,– ответил он и, приглядевшись к бабам, заметил: – Ну и нализились вы, как...

– Да пропади ты пропадом... – огрызнулась Куликова. – Говорю, береги девчонку – значит, береги. Сирота она. Знаешь ты, олух, кто хранит ее?

Но Войтек не снизошел до ответа: этот предмет, видно, мало его занимал, и он обратился к другому, то есть к стакану с водкой.

– Чтоб вам... – начал было он, но не договорил, потому что в этот момент опрокинул водку в рот, сморщился, плюнул и, ставя стакан, недовольно сказал: – Да это я; вода, а не водка. Налей-ка из другой бутылки!

Корчмарь налил из другой. Войтек выпил и скривился еще сильнее:

– А арака у тебя не найдется?

Маргуле, очевидно, грозила та же опасность, что и бабам. Следует, однако, принять во внимание, что в это самое время деришкоровский помещик сочинял для одного журнала пространный и исчерпывающий трактат под названием: «Право землевладельца на винный откуп – основа общественного устройства». Таким образом, Войтек, сам того не ведая, содействовал укреплению общественных устоев, тем более что это питейное заведение, хоть и находилось в городе, принадлежало помещику.

Внеся свою лепту этак раз пять кряду, Войтек, правда, позабыл про фонарь, в котором погасла свечка, но зато не забыл про Марысю. Взяв полусонную девочку за руку, он сказал:

– Айда, заморыш!

Бабы уснули в своем углу, и никто не попрощался с Марысей. Что ж, дело житейское: мать ее осталась лежать на кладбище в Деришкорове, а она ехала в Лещинец.

Они вышли, уселись; Маргула крикнул: «Но-о!» – и лошади тронулись. Поначалу сани с трудом тащились по уличной грязи, но скоро лошади вынесли их на широкие белые поля. Сани легко заскользили по снегу, чуть слышно скрипевшему под полозьями. Только изредка фыркала лошадь да где-то далеко-далеко лаяла собака.

Так они ехали да ехали. Войтек погонял и напевал себе под нос: «Помнишь ли, бездельник, что мне обещал...» Но скоро он замолчал и стал клевать носом. Качнулся вправо, влево... Ему снилось, будто в Лещинце ему надавали по шее за то, что он потерял сумку с письмами, и сквозь сон он время от времени бормотал: «Чтоб вас!» Марыся не спала, ей было холодно. Широко раскрытыми глазами смотрела она на белые поля, которые то и дело заслоняла черная спина Маргулы. Смотрела и думала: «Матуля померла», и в ее воображении всплывало

бледное, худое лицо матери с глазами навывкате. Смутно она сознавала, что матули, которую она так любила, нет уже в Лещинце и больше никогда-никогда там не будет. Ведь она своими глазами видела, как ее зарывали в землю. Марыся, быть может, заплакала бы с горя, вспоминая все это, но у нее замерзли ноги, и она заплакала от холода.

Мороза, правда, не было, но погода стояла промозглая, как всегда в оттепель. Войтек, по крайней мере, почерпнул изрядный запас тепла в корчме. Деришкурковский помещик весьма резонно отмечал, что «зимой водка согревает, а поскольку она для мужика – единственная утеха, то следовательно, лишая крупных землевладельцев исключительного права нести это утешение в народ, их лишают и возможности влиять на него». На сей раз Войтек так разутешился в корчме, что ничто на свете его не могло бы омрачить.

Не омрачило его и то обстоятельство, что, достигнув леса, лошади поплелись шагом, хотя дорога здесь куда лучше, а потом забрали в сторону и опрокинули сани в придорожную канаву. Он, правда, проснулся, но так и не уразумел, в чем дело.

Марыся стала его тормозить:

– Войтек!

– Чего пищишь?

– Мы перевернулись.

Но Войтек буркнул: «Стаканчик?» – и снова крепко заснул.

Девочка, сжавшись в комочек, примостилась возле саней. Но лицо у нее скоро совсем застыло, и она опять затеребила спящего:

– Войтек!

Ответа не было.

– Войтек, домой хочу! – сказала Марыся и немного погодя добавила: – Войтек, я пешком пойду!

И она пошла. Ей казалось, что до Лещинца совсем близко. Дорога была знакомая, она каждое воскресенье ходила по ней с матерью в костел. Но сегодня она шла одна. Несмотря на оттепель, в лесу лежал глубокий снег. Зато ночь была совсем светлая. Снег искрился, в вышине светились тучи, и в этом сиянии дорога была видна, как днем. Устремив взор в глубину темного леса, Марыся отчетливо различала вдаль черные неподвижные стволы деревьев, четко рисовавшиеся на белом фоне. Видела она и снег, снизу доверху облепивший их. Какое-то всеобъемлющее спокойствие было разлито в лесу, и оно придавало девочке смелости. С сучьев, на которые намерзла толстая ледяная корка, падали капли и с тихим шорохом разбивались о ветки и веточки. Кроме этого слабого шороха, в лесу не было слышно ни звука. Безмолвие, глушь, тишина и снег, снег кругом.

Ветер стих. Осыпанные снегом ветки не шелхнутся. Все спало зимним сном. Казалось, будто белоснежная скатерть, устилавшая землю, и молчаливый, запорошенный снегом лес, и бледные тучи на небе – все слилось в одну сплошную мертвенную белизну. Так бывает в оттепель. Единственным живым существом, которое, словно крошечная черная точка, двигалось среди этих безмолвных исполинов, была Марыся. Милый, добрый лес! Может быть, это не вода каплет, а слезы льются над сиротой. Такие большие деревья, а как жалеют малютку. Бедная, слабенькая, бредет она одна-одинешенька ночью по занесенному снегом лесу, но с верой – и все ей нипочем! Ясная ночь словно охраняет ее. Есть что-то необычайно трогательное в том, что маленькое беззащитное существо вверяется столь

могущественной силе. Так и все сущее отдается на волю божью. Девочка шла долго и наконец совсем выбилась из сил. Ей мешали идти большие тяжелые сапоги, которые поминутно спадали с ее маленьких ножек. Нелегко было вытаскивать из снега эти огромные сапожищи. К тому же и руки у нее были заняты: в одной, напряженно вытянутой вперед, она крепко сжимала монетку, подаренную Куликовой. Она боялась уронить ее в снег. Иногда девочка принималась громко плакать, но сразу же умолкала, словно хотела проверить, не услышит ли кто ее плача. О да, лес слышал ее. Капель шуршала как-то особенно монотонно и жалобно. А может быть, девочку слышал и кто-то еще? Марыся шла все тише и тише. Уж не заблудилась ли она? Да где там! Дорога широкой белой лентой, сужаясь вдаль, вьется между двумя степами темных деревьев. Девочку клонило в сон.

Она сошла с дороги и присела под дерево. Глаза у нее слипались. Вот ей чудится, будто матуля спешит к ней с кладбища по белой равнине. Но никого нет. Девочка, однако, была уверена, что кто-то должен прийти. Кто же? Ангел. Ведь старая Куликова говорила, что «андел» ее хранит. Марыся даже знала, какой он. В их хатенке был нарисован на картинке ангел с крыльями и с лилией в руке. Он непременно придет. Капли закапали громче. Это, наверное, ангел крыльями задел за ветки. Тс-с! Кто-то идет сюда, слышно, как шуршит рыхлый снег, шаги все ближе и ближе – осторожные, но торопливые. Марыся доверчиво открывает сонные глаза.

Что это?

Серая, клиновидная голова с торчащими ушами уставилась на девочку... страшная, отвратительная...

1878

ЯНКО-МУЗЫКАНТ

Родилось это на свет слабое такое да тщедушное. Кумушки, собравшиеся участливой кучкой у скамьи, на которой лежала родильница, покачивали головами над этой матерью и над этим ребенком. Шиманиха, жена кузнеца, самая разумная из них, обратилась к больной с словом утешенья.

– Давайте,– говорит,– я над вами громницу зажгу. Бы уж,– говорит,– не жилица на свете, вам уж на тот свет собираться, да его преподобие позвать, чтобы грехи вам разрешил.

– Ба! – другая говорит. – А мальчишку-то сейчас крестить надо: он и ксендза не дождется, и то хорошо, коли стригой не останется.

Говоря таким образом, зажгла громницу, а затем, взяв на руки ребенка, приснула на него водой, так что бедняга стал жмуриться, да и говорит при этом:

– Крещу тебя во имя отца и сына и духа святого и даю тебе имя Ян, а теперь, душенька христианская, ступай, откуда пришла. Аминь!

Но христианская душа, очевидно, не имела ни малейшего желания «идти, откуда пришла» и вообще не желала оставлять крохотного тела, а начала брыкаться худенькими ножками этого тела и плакать, да тихо таково да жалостно, что кумушки говорили промеж себя: «Котенок не котенок – кто его знает, что уж это такое!»

Послали за ксендзом. Приехал, сделал свое дело, уехал; больной стало лучше. Через неделю вышла баба на работу. Малый еле тянет, а все-таки тянет, да на четвертый год «укуковала» кукушка хворость, он и поправился, да кое-как через пень колоду перевалил за десятый годок.

Худой он был всегда да загорелый, щеки впалые, а брюхо раздутое. Волосенки белые-белые, точно вот лен, спадали все на лоб, закрывая большие глаза навывкате, всегда широко раскрытые, точно глядевшие в какую-то неведомую необъятную даль. Зимой сидел малый за печкой, тихо всхлипывая от холода, а порой так и с голодухи, когда матушке нечего было положить ни в горшок, ни в печку. Летом ходил в рубашонке, опоясанной кромкой, и в соломенном обдерганном капилюхе, из-под которого поглядывал точно птица, задирая голову кверху. Мать, бедная коморница, жившая изо дня в день точно ласточка под чужой крышей, может, и любила там малыша как-нибудь по-своему, да и была же часто и звала обыкновенно «подмененышем». Восьми лет ходил малый за стадом в качестве подпаса или порой, когда дома есть было нечего, в бору собирал грибы. Как уж его там волки не съели – божья милость, видно!

Очень уж был он нерасторопен, и, как обыкновенно деревенские ребята при разговоре с чужими, он пихал в рот указательный палец. Не ожидали люди, чтобы малыш «дошел», и еще менее, чтобы мать дождалась от сынка поддержки, потому что и в работе он ничего не стоил. И в кого только он удался – неизвестно, на одно лишь был очень падок, именно на игру. Повсюду ему слышались какие-то звуки, и, как от земли немного поднялся, повыврос, ни о чем более и не думал. Пойдет это в бор за коровой или с двояками по ягоды соберется, ничего не наберет, с пустыми руками вернется, да и говорит, шепелявя:

– Матуля, так штой-то в бору «игрляет». Ой, ой!

А мать ему:

– Сыграю я тебе, погоди!

Да и бывало: игрывала по нем большой кухонной ложкой. Малыш визжал, обещал: «Не буду, не буду!», а сам все думал: «Играло штой-то в бору, играло!» Вечерами он жадно ловил разноголосицу не угомонившейся еще к ночи деревни, и, уж верно, ему чудилось, что вся деревня звучит каким-то концертом. Даже на работе, раскидывая в поле навоз, он слушал с интересом, как ветер играл между зубьями вил.

Увидел этак однажды карбовый, как он стоял недвижно, с вставшими по ветру волосами, жадно слушая музыку ветра и вил, – увидел, снял это с себя крепкий ремень да и вывел мальчика из приятного созерцания знатною встрепкой. Да куда уж тут! Так его люди и прозвали: «Музыкант Янко!» Весной он бегал из дому к ручью делать свирели из ивовой коры, а по вечерам, когда лягушки в прудах затягивали свой тысячеголосый торжественный хор, когда в траве отзывался дергач, большие неуди гудели, обивая блестящие росинки, и петухи, рассевшись на изгородях, выкрикивали в разных местах по деревне, музыкант Янко не мог сомкнуть глаз, и уж бог один знает, какую только музыку мог он слышать и в этой нескладице... В костел мать его и водить перестала, а то, бывало, как загудит орган или запоят на хорах сладким голосом божественную песню, у ребенка глаза застилают туманом, и глядит он кругом таково странно, точно вот с того света.

Сторож, ходивший по деревне ночным дозором и, чтобы отогнать сон, считавший на небе звезды или тихо беседовавший с собаками, много раз примечал белую рубашонку

музыканта, который тихо подкрадывался по направлению к корчме. Однако мальчик не входил, конечно, в корчму,— он подползал только к стенке и там, прикорнув и затаив дыхание, слушал. Внутри гремел веселый обертас, порой парубок выкрикивал: «У-га!»— и раздавалось притоптывание каблуков, то опять звонкие девичьи голоски выносились: «Что же!» Скрипки напевали тихо и нежно: «Будем есть, будем пить, будем душу веселить», а контрабас грубым голосом вторил с надлежащей важностью: «Как бог даст! Как бог даст!» Снопы яркого света брызгали из окон в темноту летней ночи, и каждый брус в корчме, казалось, вздрагивал, колебался и пел... А музыкант Янко только слушал и слушал!..

И чего только не отдал бы Янко за эти скрипки, выводившие тонкими нежными голосками: «Будем есть, будем пить, будем душу веселить», за эти звенящие певучие дощечки. Ба! Да откуда возьмешь их и где только их делают?! Эх, дали бы ему раз, хоть один только разочек взять что-либо подобное в руки. Где уж!.. Он мог только слушать, и он слушал, слушал до тех пор, пока из ночной темноты не раздавался голос ночного стражника:

— А не пойдешь ты домой, полуночник!

Тогда уж он мелькал в темноте своими босыми пятками, а за ним вдогонку неслись голоса скрипок: «Будем есть, будем пить, будем душу веселить», и исполненный важности контрабас добавлял свое: «Как бог дал, как бог дал, как бог дал!»

Большой праздник выпадал на долю Янка, когда ему удавалось послушать любимые скрипки — на свадьбе или после жнитва. После таких праздников он забивался за печку и целые дни просиживал молча, посматривая из темноты сверкающими, как у котелка, глазами. Кой-как снарядил он и себе скрипочку из теса и конских волос, но она не умела играть так прекрасно, как те, что подвизались в корчме; она звенела тихо, таково тихо, точно вот мошка мелкая или комары. Однако он играл на этой скрипке от утра и до ночи, хоть за это столько ему пинков доставалось, что наконец он стал похож на незрелое избитое яблоко. Да уж такая была натура: малыш худел все больше и больше, только живот все выпячивался, да белые волосы становились все гуще, да глазенки раскрывались все шире, да все чаще дрожали в них светлые детские слезки. А щеки и грудь западали все глубже и глубже...

Он нисколько не походил на других детей, скорее напоминал он свою же скрипку из жалкого теса, издававшую тихие, еле звенящие звуки. Притом каждый год к весне он начинал помаленьку обмирать от голода, так как в это время ему приходилось питаться сырой морковью да еще мечтами об обладании настоящей, всамделишной скрипкой.

Не к добру привели беднягу эти мечты!

На барском дворе у лакея была скрипка, и он пиликал на ней в час серых сумерек, желая этим прельстить горничную панны. Янко подползал временами промеж густого лопушника к самым дверям лакейской, чтобы поближе присмотреться к инструменту. А скрипка висела на стене, прямо против дверей, и у бедняги вся душа сосредоточивалась в глазах, устремленных к этой недоступной святыне, к которой он недостоин прикоснуться; это был предмет его жгучей, страстной любви. И он пожелал ее. Раз, хоть раз один взять ее в руки или хоть взглянуть на нее прямо и вблизи... Бедное маленькое мужичье сердечко билось и трепетало от счастья при одной этой мысли.

Однажды ночью в лакейской не было ни души. Господа давно уже гуляли за границей,

дом стоял пустырем, а лакей коротал вечера у горничной. Янко, притаившись в лопушнике, давно уже созерцал сквозь широко раскрытую дверь предмет своих страстных желаний. На небе как раз стоял полный месяц, и свет его, падая косвенно в отверстие двери, рисовал на противоположной стене светлый, яркий, выделявшийся из темноты четырехугольник. Этот светлый четырехугольник, сползая вдоль стены, все приближался к тому месту, где висела скрипка, и наконец она, вся освещенная, вынырнула из мрака. Тогда она засияла из глубины темной комнаты точно серебряным светом; все выпуклости и изгибы сверкали так сильно, что глаза Янка не выносили этого блеска. В этом волшебном освещении видны были совершенно ясно: изящный перехват, струны, перегиб ручки. Шпеньки белели и искрились подобно светящимся червячкам, и тут же серебряной нитью светился тонкий смычок...

Ах, все было так прекрасно, так волшебно прекрасно! И взор Янка светился все разгоравшейся страстью. Сидя на корточках меж листьями лопуха, с локтями, упертыми в худые колени, с открытым ртом, он все смотрел и смотрел. Страх удерживал его на месте, непонятное непобедимое желание толкало вперед. Колдовство, что ли, какое?! Скрипка, вся сверкающая, ясная, казалось, выплывала из мрака вперед, приближалась к ребенку... то опять очертания темнели, она точно удалялась, чтобы приблизиться опять и опять. Чудеса, видимое колдовство! Между тем подул ветер, деревья тихо прошумели, залопотали широкие листья лопушника, и Янку послышалось так явственно:

«Ступай, Янко! Там нет никого... Ступай же, Янко!..»

Ночь была тихая, светлая. В барском саду над прудом соловей стал запевать да пощелкивать: «Поди возьми!» Добрая птица лелек закружилась бесшумно над его головой: «Нет, нет! Янко!» Но лелек улетел, а соловей остался, и лопушник, качаясь, все бормотал про себя: «Нет никого, нет никого!» Скрипка опять выступила вперед, засияла...

Маленькая сторбленная фигурка двинулась осторожно вперед, а между тем соловей тихо-тихо пощелкивал: «Поди, иди, возьми!»

Белая рубашонка, не закрытая темными листьями, мреет невдалеке от растворенной двери; усиленное дыхание больной детской груди слышится уже на пороге. Еще мгновение — и за порогом виднеется одна только босая детская ножка. Напрасно ты, лелек, добрая птица, пролетаешь еще раз, крича: «Нет, Янко, нет!» Янко ступил уже в комнату.

Тут лягушки грянули разом в соседнем пруду из-под темных ветвей барского сада. Соловей замолк, лопух не шелохнет, стих ветер... Между тем Янко полз далее и далее, но вдруг его объял ужас. Среди лопухов он чувствовал себя дома, точно зверенок в родимых кустах, теперь он напоминал зверенка в ловушке. Его движения стали порывисты, дыхание короткое, со свистом, к тому же он очутился во тьме. Тихая летняя зарница, промчавшись по небу от востока и до заката, еще раз осветила комнату и в ней Янко на четвереньках перед скрипкой, с головой, приподнятой кверху. Но зарница потухла, туча закрыла луну, и уже ничего не было ни видно, ни слышно-

Только через минуту из темноты вырвался тихий и жалобный звук, точно кто неосторожно коснулся натянутой струны, и вдруг-

Грубый заспанный голос, по-видимому из темного угла комнаты, окликнул сердито:

– Кто тут?

Янко притаил дыхание, но грубый голос окликнул вторично:

– Кто тут?

Чиркнули по стене спичкой, стало светло, а затем... Ах, боже! Послышалась ругань, удары, детский плач, крики: «О! Ради бога!», собачий лай. В окнах забегали огоньки, в усадьбе поднялся шум, суетня...

На следующий день Янко стоял уже перед судом у войта.

Неужто хотят судить малого в качестве вора?.. Вероятно. Посмотрели на него войт и судьи, как он стоял перед ними с пальцем во рту, с широко раскрытыми испуганными глазами, маленький, худой, запачканный, избитый, не зная даже, где он, что нужно от него этим людям. Как тут судить этакое создание, которому всего десять лет, которое еле держится на своих слабых ножках. В тюрьму его, что ли?.. Где уж! Надо же притом иметь и немного жалости к детям. Пусть его попросту возьмет сторож да пусть постегает маленько розгой, чтобы другой раз неповадно было, и все тут.

– Ну, конечно!

Позвали Стаха, что был сторожем.

– Возьми-ка его да постегай для памяти.

Стах мотнул глуповатой головой, головой зверя, захватил Янка под мышку, точно котенка, и понес его на гумно. Дитя будто не понимало, что с ним происходит, или уж очень было запугано, оно не издало ни одного звука, лишь смотрело из рук, как смотрит пойманная птица. Почем ему знать, что это с ним хотят делать. Только когда Стах на гумне сгреб его своими лапами, растянул на земле, поднял рубашонку и вытянул прутком со всего плеча, тогда только Янко вскрикнул:

– Матуля! – И как его сторож розгой ударит, он свое: «Матуля, матуля!», но все тише, слабее, и наконец удары раздавались по-прежнему и уже не сопровождались детскими криками. Янко замолк.

Бедная, разбитая скрипка!..

И глуп же ты, скверный Стах! Разве бьют этак детей? Ведь это же было мало и бессильно, в чем и раньше душа-то держалась!

Пришла матка, взяла ребенка, но уж должна была донести на руках до дому... На другой день Янко не поднялся, а на третьи сутки, вечером, он умирал спокойно под толстым рядом.

За стенкой в листе черешни щебетали ласточки, солнечный луч прорывался в оконце, окружая сиянием спутанные светлые кудри и бледное личико ребенка, в котором не было уже ни Кровинки. Луч этот был точно открытой дорогой отходящей детской душе. Благо, что хоть теперь открылась ей широкая дорога ярких лучей, ее жизненный путь был поистине путь страшно тернистый. Между тем исхудалая грудь подымалась еще слабым дыханием, а по выражению детского личика было видно, что

оно жадно ловит голоса деревни, врывавшиеся в открытое окошко. Был вечер, и девки, возвращаясь с сенокоса, пели: «На зеленой на травушке!», а со стороны ручья лились переливы свирелей. Последний раз слушал музыкант Янко, как пела деревня... На рядне с ним рядом лежала его тесовая скрипка...

Вдруг лицо умирающего ребенка прояснилось, и побелевшие уста пролепетали:

– Матуля...

– Что, сыночек? – спросила мать, подавляя подступившие к горлу рыдания...

– Матуля! Будет ли у меня на том свете настоящая скрипка?

– Будет, сыночек, будет! – ответила мать, но уж не могла сказать ничего больше, потому что в груди ее поднялась горькая жгучая жалость: «О боже! боже!» – И она повалилась грудью па сундук и заревела точно безумная или как человек, которому стало ясно, что уж не вырвать ему свою любовь из когтей смерти.

Да и не вырвала, – когда, поднявшись, она посмотрела на ребенка, глаза маленького музыканта были открыты, но неподвижны, а лицо носило печать какого-то напряженного и как будто мрачного величия. Луч солнца отошел также...

Мир тебе, Янко!

* * *

На следующий день господа вернулись из Италии в свою усадьбу. Вернулась молодая барышня с женихом. Жених говорил барышне:

– *Que! beau pays que l'Italie!*[40]

– И что за народ, – настоящий народ художников. *On est heureux de chercher la-bas des talents est de les proteger...*[41] – добавляла барышня.

Над музыкантом Янко шумели березы...

1878

ОРСО

Последние дни осени в городке Анагейме в Южной Калифорнии – дни празднеств и забав. К этому времени заканчивается сбор винограда и город кишит толпами рабочего люда. Нет ничего красочнее этой толпы, состоящей из мексиканцев, а главным образом из индейцев племени Кагуилла, которые ради заработка приходят сюда даже с диких гор Сан-Бернардино, лежащих далеко в глубине страны. И те и другие располагаются на улицах и рыночных площадях (или так называемых «лотах»), где спят под навесами или прямо под открытым небом, всегда ясным в это время года. Прелестный городок, окруженный группами эвкалиптов, касторовых и перцовых деревьев, кипит, словно шумная и говорливая ярмарка, представляя собою разительный контраст с глубоким и суровым покоем пустыни, поросшей кактусами и начинающейся сразу же за виноградниками. Вечером, когда солнце скрывает свой сверкающий диск в пучинах океана, а по розовому небу тянутся стаи розовых в лучах заката диких гусей, уток, пеликанов, чаек и журавлей, целыми тысячами

летающих с гор к океану, в городе зажигаются костры и начинается веселье. Негры-музыканты щелкают кастаньетами, около каждого костра слышны звуки бубна и ворчливый рокот банджо; мексиканцы танцуют на разостланных пончо свои излюбленные болеро, индейцы подражают им, держа в руках длинные белые тростинки киотэ и покрикивая «эвива!»; трещат костры, в которые все время подбрасывают поленья красного дерева, летят искры, и кровавое пламя освещает скачущие фигуры и стоящих вокруг об руку со своими прекрасными женами и дочерьми местных колонистов, глядящих со стороны па всеобщее веселье.

Но день, когда индейцы выжимают последнюю гроздь винограда, бывает еще более торжественным. В этот день из Лос-Анджелеса приезжает бродячий цирк немца господина Гирша со своим зверинцем, состоящим из обезьян, ягуаров, африканских львов, слона и нескольких впавших от старости в детство попугаев: «The Greatest Attraction of the World!» И тогда кагуиллы отдают свои последние песо, которые они еще не успели пропить, лишь бы попасть в цирк. Кагуиллов привлекают, конечно, не столько дикие звери — их достаточно и в Сан-Бернардино, — сколько желание посмотреть на цирковых артисток, силачей, клоунов и на всевозможнейшие чудеса, которые кажутся им чародейством, возможным лишь с помощью сверхъестественных сил.

Но всякий, кто осмелился бы подумать, что цирк господина Гирша является приманкой только для индейцев, китайцев и негров, навлек бы на себя справедливый и — видит бог! — небезопасный гнев господина директора. Напротив, с приездом цирка в Анагейм съезжаются не только окрестные фермеры, но и жители мелких соседних городов: Вестминстера, Оранжа и Лос-Ньетос. Улица Апельсина бывает тогда так запружена всевозможными повозками и тележками, что среди них трудно пробраться. Местный «большой свет» представлен полностью. Молоденькие стройные мисс со светлыми челками, взбитыми над самыми глазами, грациозно восседая на козлах, правят лошадьми и весело щебечут, сверкая зубками; испанские сеньориты из Лос-Ньетос бросают долгие томные взгляды из-под кружевных накидок; замужние женщины, одетые по последней моде, гордо шествуют, опираясь на руку своих загорелых мужей-фермеров, весь наряд которых состоит из потрепанной шляпы, рипсовых панталон и фланелевой рубашки, застегнутой ввиду отсутствия галстука па крючок и петельку.

Все шумно здороваются, окидывая внимательным взглядом наряды, оценивая, насколько они «фешенебельны», и потихоньку сплетничают. Между повозками, украшенными цветами и напоминающими огромные букеты, гарцуют на мустангах молодые люди, наклоняясь с высоких мексиканских седел, заглядывают украдкой под женские шляпки. Полудикие лошади, испуганные грохотом повозок и шумом толпы, вращают налитыми кровью глазами, вскидываются на дыбы и пронзительно ржут, но ловкие всадники словно бы и не замечают этого.

Все говорят о «грандиознейшем аттракционе», то есть о подробностях вечернего представления, которое своим великолепием должно превзойти все, что только можно было видеть до сих пор. И действительно, огромные афиши извещают о настоящих чудесах. Директор Гирш, «маэстро бича», выступит с самым свирепым из всех известных до сих пор африканских львов. По программе лев должен броситься на директора, единственной защитой которого будет бич. Но это обыкновенное орудие превратится в чудодейственных руках (всегда согласно программе) в огненный меч и щит. Кончик бича будет жалить, как гремучая змея, сверкать, словно молния, греметь, как гром, и держать на расстоянии чудовище, которое тщетно будет метаться и бросаться на артиста. Однако это еще не все: шестнадцатилетний Орсо, «американский Геркулес», рожденный от белого и индианки, будет носить шесть

человек, по трое на каждом плече; сверх того, дирекция предлагает сто долларов каждому, «независимо от цвета его кожи», кто сможет побороть юного атлета в рукопашной схватке. По Анагейму прошли глухие слухи, что с гор Сан-Бернардино специально для этой цели прибыл Гризли-Киллер (Истребитель Медведей) – охотник, известный своей силой и неустрашимостью, который первым осмелился, с тех пор как стоит Калифорния, выйти на серого медведя, вооружившись только ножом и топором.

Возможная победа «истребителя медведей» над шестнадцатилетним цирковым атлетом доводит разгоряченные умы всей мужской половины населения Анагейма до последней степени возбуждения. Ведь если Орсо, до сих пор повергавший па землю самых сильных янки от Атлантического до Тихого океана, окажется теперь побежденным, то бессмертная слава покрывает всю Калифорнию.

Женщины не менее возбуждены следующим номером программы: тот же самый могучий Орсо будет носить на тридцатифутовом шесте маленькую Дженни, «чудо света», о которой афиша гласит, что она самая красивая девушка, какая только жила на земле «от начала христианской эры». И несмотря на то, что Дженни не более тринадцати лет, директор также предлагает сто долларов каждой девице, «независимо от цвета кожи», которая осмелилась бы соперничать красотой с «воздушным ангелом». Все мисс из Анагейма и его окрестностей от мала до велика, читая этот пункт программы, презрительно улыбаются и единодушно заявляют, что вступать в подобное соревнование было бы недостойно «леди» из порядочной семьи. Тем не менее каждая из них предпочла бы даже отказаться от своего кресла на бегах, чем пропустить вечернее представление и лишиться себя возможности взглянуть на эту маленькую соперницу, красота которой, по всеобщему мнению, несомненно померкнет в сравнении с красотой сестер Бимпа. Обе сестры Бимпа, старшая – Рефуджио и младшая – Мерседес, небрежно откинувшись в прелестной коляске, как раз в это время читают афишу. Их прекрасные лица не выражают ни малейшего волнения, хотя они и чувствуют, что в эту минуту на них устремлены глаза всего Анагейма: на них смотрят как бы с мольбой поддержать честь целого округа и в то же время с патриотической гордостью, основанной на убеждении, что красивее этих двух калифорнийских цветков не найти во всех городах и каньонах Нового Света. Ох, и хороши же сестры Рефуджио и Мерседес! Недаром в их жилах течет чистая кастильская кровь, о чем их мать не устает бесконечно повторять, выражая тем самым свое глубокое презрение ко всем темнокожим, а также и к обладателям светлых волос, то есть к янки.

Обе сестры, стройные, легкие, преисполненные тайного очарования, полны томной неги и такой неизъяснимой сладости, что при приближении к ним сердца у молодых людей трепещут от тайной и невысказанной страсти. От сестер Рефуджио и Мерседес исходят чары, как благоухание от магнолий и лилий. Их лица красивы, кожа прозрачна, хоть и окрашена, точно отблеском утренней зари, легким румянцем, а взгляд манящих черных с поволокой глаз открыт и нежен. Закутанные в спадающие складками муслиновые мантильи, они сидят в засыпанной цветами коляске, такие невинные, спокойные и прекрасные, что, кажется, и сами не сознают своей красоты. Анагейм смотрит на них, пожирает их глазами, гордится ими, влюблен в них.

Какова же должна быть эта Дженни, если она хочет одержать победу? «Сатердей уикли ревью» писало, правда, что, когда маленькая Дженни взбирается па верхушку шеста, опирающегося на могучее плечо Орсо, когда там, вверху, высоко над землей, ежеминутно рискуя упасть и разбиться насмерть, она раскрывает ручки и начинает порхать как мотылек, в цирке наступает тишина, и не только глаза, но и сердца с трепетом следят за каждым движением прекрасного ребенка. «Кто хоть раз видел ее на шесте или на коне, – кончает «Обозрение», – тот уже не забудет ее никогда:

величайший художник в мире, сам мистер Гарвей из Сан-Франциско, который расписывал Палас-Отель, не создал бы ничего подобного».

Скептически настроенная, или просто влюбленная в сестер Бимпа, анагеймская молодежь считает, что тут явное преувеличение. Однако все это должно выясниться только вечером. Между тем движение около цирка растет с каждой минутой. Из длинных деревянных балаганов, окружающих полотняный цирк, доносится рычание львов и рев слона, пронзительно кричат попугаи, вцепившись в обручи, висящие на столбах, обезьяны раскачиваются на собственных хвостах или передразнивают публику, удерживаемую на расстоянии протянутой вокруг строения веревкой. Наконец из цирка выезжает процессия с целью окончательно поразить публику. Во главе процессии движется огромный фургон, запряженный шестеркой лошадей с плюмажами на головах. Возницы в костюмах французских почтальонов правят лошадьми; на повозках стоят клетки, где вместе со львами сидят леди с оливковыми ветвями в руках. За повозками шествует слон, покрытый ковром, с башней на спине и с лучниками внутри башни. Трубят трубы, звенят бубны, рычат львы, щелкают бичи – словом, весь караван с шумом и гамом продвигается вперед. Мало того: за слонем катится машина, напоминающая орган, с трубой, как у паровоза, которая при помощи пара наигрывает; а вернее, с адским визгом и присвистом извергает национальный «Янки Дудл». Иногда пар задерживается в трубе, и тогда из нее выходит обыкновенный свист, что, однако, нисколько не уменьшает энтузиазма толпы, которая, вне себя от восторга, слушает эту пронзительную песню пара. Американцы кричат «ура!», немцы «хох!», мексиканцы «эвива!», а кагуиллы вопят, словно дикие животные, искусанные оводом.

Толпы потянулись за повозками, место около цирка опустело, попугаи перестали орать, мартышки кувыркаться. «Грандиозный аттракцион», однако, не принимает участия в процессии. На фургонах не видно ни «непревзойденного маэстро бича» – директора, ни «непобедимого» Орсо, ни «воздушного ангела» – Дженни. Все это для большего эффекта приберегается на вечер. Директор находится то внутри здания, то заглядывает в кассы, в которых сидят его негры и скалят в улыбке белые зубы, – заглядывает и злится. Орсо же и Дженни как раз в это время заняты репетицией в цирке. Однако под его полотняной крышей царит тишина и полумрак, особенно густой в глубине, куда уходят скамьи; почти весь свет, проникающий сквозь купол, падает на посыпанную песком и опилками арену. При этом тусклом, просеянном через полотно свете видна одиноко стоящая у парапета лошадь. Выхолненный конь, очевидно, скучает: он отмахивается хвостом от мух и вскидывает головой, насколько ему позволяет туго натянутый белый повод. Постепенно глаза начинают различать и другие предметы: шест, на котором Орсо обычно носит Дженни, и несколько оклеенных бумагой обручей, через которые Дженни прыгает, – все это лежит, небрежно брошенное, на песке. Полуосвещенная арена и погруженный в полный мрак цирк напоминают покинутое здание с давно заколоченными ставнями. Расположенные амфитеатром ряды скамеек, освещенные лишь кое-где, выглядят, словно руины. Не оживляет картины и стоящий у парапета с опущенной головой копь.

Но где нее Орсо и Дженни?

Проникающая сквозь щели полоса света, в которой летают и снуют пылинки, падает золотистым пятном в глубь самых задних рядов скамеек. Пятно, перемещаясь вместе с движением солнца снаружи, наконец освещает Орсо и Дженни.

Орсо сидит на спинке скамейки, а рядом с ним Дженни. Она прильнула своим прелестным детским личиком к плечу атлета, а рукой обняла его за шею. Глаза девочки подняты кверху, точно она внимательно прислушивается к словам товарища,

который, наклонившись к ней, кивает иногда головой, как бы что-то растолковывая и объясняя ей. Они так нежно принялись друг к другу, что их можно было бы принять за влюбленную пару. Но обтянутые бледно-розовым трико ножки Дженни, не достающие до земли, раскачиваются совершенно по-детски взад и вперед, а ее поднятые глаза выражают лишь глубокое внимание и сильное напряжение мысли, а не какие-либо более нежные чувства. К тому же ее фигура едва лишь начинает приобретать женские очертания. Вообще Дженни еще ребенок, но такой очаровательный, что, не в обиду будь сказано господину Гарвею из Сан-Франциско, расписывавшему Палас-Отель, ему действительно трудно было бы представить себе что-нибудь подобное. У нее и в самом деле ангельское личико: выражение ее огромных грустных голубых глаз серьезно, нежно и доверчиво; темные брови вырисовываются необыкновенно четко на белом лбу, ее белокурые шелковистые, рассыпавшиеся волосы бросают такую тень на лицо, какой не постыдился бы не только мастер Гарвей, но и некий другой художник по имени Рембрандт. Девочка напоминает одновременно и Золушку, и Гретхен. Поза, в которой она сидит, прижавшись к Орсо, свидетельствует о натуре робкой, нуждающейся в опеке. На этой фигурке в стиле Греза кажется удивительно странным цирковой костюм, состоящий из розового трико и короткой газовой юбочки, расшитой серебряными блестками, такой коротенькой, что она не прикрывает даже колен девочки. На темном фоне, в золоте солнечных лучей, тоненькая девочка выглядит словно олицетворение света и легкости в сравнении с квадратной фигурой юноши.

Орсо, одетый в трико телесного цвета, издали кажется нагим. Солнечный луч освещает его непропорционально широкие плечи, чересчур выпуклую грудь, втянутый живот и слишком короткие, по сравнению с длинным туловищем, ноги. Его могучие формы кажутся наспех высеченными топором. Орсо обладает всеми характерными для циркового атлета особенностями, но настолько преувеличенными, что он похож на карикатуру. К тому же он некрасив. Когда он поднимает голову, видно его лицо с чертами хотя и правильными, быть может даже слишком правильными, но словно застывшими и тоже как бы вытесанными топором. Низкий лоб и спадающие чуть ли не до самого носа черные, похожие на конскую гриву волосы, унаследованные им, вероятно, от матери-индианки, придают его лицу угрюмое и грозное выражение. Напоминая чем-то быка и медведя, он вообще является воплощением страшной и злой силы. Да он и на самом деле совсем не из добрых. Когда Дженни проходит мимо стойл, где стоят лошади, благородные животные поворачивают головы, смотрят на нее умными глазами и тихонько ржут, как бы желая сказать ей: «Как поживаешь, дорогая?» При виде же Орсо они даже вздрагивают от страха. Орсо — замкнутый, раздражительный и угрюмый юноша. Негры господина Гирша, исполняющие обязанности конюхов, клоунов, музыкантов и акробатов, не любят его и досаждают как только могут, а так как он к тому же и метис, то они открыто высказывают ему свое презрение. Директор, который, говоря по совести, не очень-то рискует, ставя сто долларов против каждого, кто возьмется побороть Орсо, тоже ненавидит его. Но он в то же время боится Орсо, как укротитель зверей — льва, и бьет его при всяком удобном случае.

Господин Гирш делает еще это потому, что считает, что если бы он не бил мальчика, то мальчик бил бы его. Вообще директор придерживается правила некой креолки, которая считала побои наказанием, а отсутствие их — наградой.

Таков Орсо. Однако он стал лучше с тех пор, как полюбил маленькую Дженни. Год тому назад, когда Орсо, присматривавший также за животными, чистил клетку ягуара, зверь, просунув лапу между прутьями, довольно сильно поранил ему голову. Тогда атлет ринулся в клетку, и из страшной борьбы, которая завязалась между ним и зверем, живым вышел только Орсо. Правда, он был сильно покалечен и тут же

потерял сознание, а потом долго хворал; вдобавок ко всему еще и директор отстегал его в наказание за сломанный хребет ягуара. Во время болезни маленькая Дженни отнеслась к нему с большим участием, а так как не было никого другого, то она сама перевязывала ему раны, а в свободные минуты, усевшись около него, читала ему Библию, которую они называли «доброй книжкой», потому что в ней говорилось о любви, о прощении, о милосердии – словом, о вещах, о которых в цирке господина Гирша никогда не упоминалось. Слушая Дженни, Орсо долго размышлял и наконец пришел к убеждению, что если бы в цирке было так, как в этой книжке, то и он не был бы таким злым. Думал он также о том, что тогда его не били бы так часто, а может быть, даже кто-нибудь и полюбил бы его. Но кто? Не негры же и не господин Гпрш, разве что маленькая Дженни, голос которой звучал так сладко, словно голос маукависа.

Под влиянием подобных размышлений Орсо однажды вечером страшно расплакался и стал целовать маленькие руки Дженни. С той поры он полюбил ее. Теперь во время вечерних представлений, когда девочка галопировала на лошади, Орсо всегда был на арене и следил за нею заботливым взглядом. Подставляя Дженни заклеенные папиросной бумагой обручи, он улыбался ей, а когда под звуки песенки «Ах, смерть близка!» носил ее, к величайшему ужасу зрителей, на верхушке шеста, то и сам трепетал от страха. Он прекрасно в этот момент понимал, что упади она – и в цирке уже никого не останется из «доброй книжки». Он не спускал с нее глаз, и эта осторожность и напряженность в движениях атлета придавали особенный трагизм всему зрелищу. Потом, когда они вместе выбегали на арену, вызванные бурей аплодисментов, Орсо всегда выдвигал Дженни вперед, чтобы на ее долю выпали самые бурные овации, и урчал от удовольствия. Только с ней мог беседовать этот нелюдим. Только перед ней раскрывал он свою душу. Он ненавидел цирк и господина Гирша, совсем непохожего на людей из «доброй книжки». Его всегда влекло к далекому горизонту, в леса и степи. Когда странствующей труппе в ее постоянных скитаниях случалось проходить по безлюдным пространствам, в нем пробуждались такие же инстинкты, как у прирученного волка, впервые увидевшего лес. Эту любовь к свободе он унаследовал, должно быть, не только от матери-индианки, но и от отца, который был, вероятно, охотником, бродившим по степным просторам. Свои мечты он поверял маленькой Дженни, рассказывая ей, как живут люди в пустыне. По большей части это были его догадки. Однако кое-что он слышал от степных охотников, время от времени заходивших в цирк к господину Гиршу: они поставляли диких зверей или приходили попытать свое счастье в борьбе с Орсо, надеясь получить обещанный директором приз в сто долларов.

Маленькая Дженни слушала обычно эти домыслы и фантазии индейца, широко раскрыв голубые глаза и задумавшись. О, ведь Орсо никогда не отправлялся в пустыню один, она всегда была с ним, и было им там очень хорошо! Каждый день открывал перед ними что-нибудь новое, они обзавелись там, конечно, целым хозяйством, и, следовательно, надо было хорошенько обо всем подумать.

Так вот и сейчас они сидят вдвоем в полосе солнечного света и разговаривают, вместо того чтобы репетировать новый номер с прыжками. Лошадь стоит на арене и скучает. Маленькая Дженни, прислонившись к плечу Орсо и устремив задумчивый взгляд в пространство, болтает ножками и размышляет о том, как это будет в пустыне, и только изредка задает вопросы, чтобы разузнать все получше.

– А где же там жить? – спрашивает она, поднимая глаза на своего товарища.

– Там полно дубов. Берут топор и строят дом.

– Хорошо,– говорит Дженни,– а пока дом будет строиться?

– Там тепло. Гризли-Киллер говорил, что там всегда очень тепло.

Дженни еще сильнее болтает ножками, словно в знак того, что если там тепло, то ей больше ничего и не нужно. Но немного погодя она снова задумывается. У нее в цирке есть любимая собака, которую зовут «Госпожа Собака», и кот по имени «Господин Кот», и ей хотелось бы разрешить свои сомнения также и относительно их.

– А Госпожа Собака и Господин Кот тоже пойдут с нами?

– Пойдут,– отвечает Орсо и радостно урчит.

– И «добрую книжку» возьмем с собой?

– Конечно! – говорит Орсо и урчит еще громче.

– Хорошо,– щебечет девочка. – Господин Кот будет ловить нам птичек, а Госпожа Собака лаять, если к нам приблизится злой человек; ты будешь моим мужем, я – твоей женой, а они – нашими детьми.

Блаженство Орсо было так велико, что он замолчал, а Дженни продолжала:

– И господина Гирша не будет, и цирка не будет, и мы никогда ничего не будем делать. Вот и все!.. Или нет,– добавляет она через минуту,– «добрая книжка» говорит, что нужно трудиться. Ну, так я могу иногда проскочить сквозь обруч, сквозь два обруча, сквозь три обруча, сквозь четыре обруча!

Дженни, очевидно, не представляет себе иной работы, кроме прыганья сквозь обручи. Немного погодя она снова спрашивает:

– Орсо, я и правда всегда буду с тобой?

– Ну да, Джи, я же тебя очень люблю.

При этих словах его лицо проясняется и становится почти красивым.

И все же он сам еще не понимает, как любит эту маленькую белокурую головку. Как свирепый дог свою госпожу. На всем свете только ее одну. Конечно, он выглядит рядом с ней словно чудовище, по разве это может быть помехой? Конечно, нет!

– Джи,– говорит он немного погодя,– послушай, что я тебе скажу.

Дженни, которая было привстала, желая взглянуть на лошадь, снова опускается на колени перед Орсо и, чтобы не проронить ни одного слова, упирается локтями в его колени, подпирает подбородок руками и, запрокинув головку, слушает. В это мгновение, на несчастье детей, в цирк входит «маэстро бича» в самом отвратительном расположении духа, потому что репетиция со львом совсем не удалась.

Облезший от старости зверь, который был бы рад, чтобы его навсегда оставили в покое, никак не хотел бросаться на артиста, а под ударами бича забивался в глубь клетки. Директор с отчаянием думал, что если такое миролюбивое настроение

продлится у льва до вечера, то номер с бичом может провалиться, так как бить льва, который только отворачивается, не большее искусство, чем есть рака с хвоста. Настроение директора испортилось еще больше, когда негр, продающий билеты на галерку, доложил ему, что кагуиллы, очевидно, уже пропили деньги, вырученные за сбор винограда. Правда, в кассу их является немало, но вместо денег они предлагают за билеты свои одеяла с буквами С.Ш. или же жен, по большей части старых. Отсутствие денег у кагуиллов было немалой потерей для «маэстро бича». Он не мог рассчитывать на полный сбор, если в цирке не будет кагуиллов. Поэтому директор хотел бы в эту минуту на спинах у всех индейцев, вместе взятых, задать с помощью бича концерт на глазах всего Анагейма. В подобном состоянии маэстро вошел в цирк и, заметив лошадь, празднично стоящую около барьера, готов был лопнуть со злости. Куда могли деваться Орсо и Дженни? Прикрыв глаза рукой, чтобы проникающий через купол свет не слепил его, директор всмотрелся в глубь цирка и наконец увидел в яркой полоске света Орсо и стоящую перед ним на коленях Дженни. При виде этой картины он ударил бичом.

– Орсо!

Удар грома, разразившийся над головами детей, ие поразил бы их сильнее. Орсо сорвался с места и устремился вниз по проходу между скамьями с поспешностью животного, бегущего на зов к ногам своего господина; за ним последовала с широко раскрытыми от ужаса глазами маленькая Дженни, натываясь по дороге на скамейки. Войдя на цирковую арену, Орсо остановился у барьера, угрюмый и молчаливый. Падающий сверху тусклый свет теперь отчетливо осветил его могучее туловище на коротких ногах.

– Ближе! – хриплым голосом крикнул директор, в то время как конец развернутого бича зловеще извивался по песку арены, словно хвост притаившегося в засаде тигра.

Орсо сделал несколько шагов вперед, и некоторое время оба смотрели друг другу в глаза. У директора был вид настоящего укротителя, который, войдя в клетку, намеревается ударить свирепого зверя и в то же время настороженно следит за ним.

Но все же бешенство берет в нем верх над осторожностью.

Его тонкие ноги в лосинах и высоких сапогах для верховой езды так и подпрыгивают от злости. Впрочем, возможно, что не только безделье детей вызывает в нем гнев. Сверху, стоя между лавками, на них смотрит Дженни, точно серна на двух рысей.

– Подлое отродье! Бездельник! Собака! – шепчет директор.

Бич с быстротой молнии описал круг, засвистел, зашипел и опустился.

Орсо тихо заскулил и подался па шаг вперед, но его остановил второй, потом третий, четвертый, десятый удары. Представление началось, хотя зрителей еще не было. Поднятая рука великого артиста почти не двигалась, вращалась только кисть, точно какая-то машина, насаженная на вал, за каждым оборотом кисти следовало щелканье бича по телу Орсо. Казалось, что бич или, вернее, его жалящий конец заполнил все пространство между атлетом и директором, который, все более возбуждаясь, пришел в экстаз. Маэстро импровизировал. Копчик бича, рассекая воздух, уже два раза оставил на шее атлета багровые полосы, которые вечером придется скрыть под пудрой.

Орсо молчал, но с каждым ударом он подвигался на шаг вперед, а директор отступал назад. Так они обошли всю арену. Постепенно директор начал пятиться с арены, совсем как укротитель из клетки, пока наконец не исчез у входа в конюшню... Совсем как укротитель.

Но, когда он уходил, его взгляд упал на Дженни.

– На коня! – крикнул он. – С тобой я рассчитаюсь после.

Еще не замерли последние слова, как белая юбочка мелькнула в воздухе и Дженни, как обезьянка, в одно мгновение вскочила па спину лошади. Директор исчез за занавесом, а лошадь начала бегать по кругу, изредка ударяя копытами о барьер.

– Гоп! Гоп! – тоненьким голоском покрикивала Дженни. – Гоп! Гоп!

Но это «гоп! гоп!» звучало как рыдание. Лошадь скакала все быстрее, стуча копытами и все больше наклоняясь в стремительном беге. Стоя на седле, с ножками, плотно прижатыми одна к другой, девочка, казалось, едва касалась его кончиками пальцев; ее обнаженные розовые ручки резко взмахивали, удерживая равновесие, волосы и газовая юбочка, откинутые назад движением воздуха, неслись следом за ее легкой фигуркой, делая ее похожей на летящую птицу.

– Гоп! Гоп! – не переставая покрикивала девочка. Между тем слезы застилали ей глаза, так что она должна была запрокидывать голову, чтобы хоть что-нибудь видеть. Бег коня совсем одурманивал ее: уходящие вверх ряды скамеек, и стены, и арена – все закружилось вокруг нее. Она покачнулась раз, другой и наконец упала на руки Орсо.

– О Орсо! Бедный Орсо! – восклицала, рыдая, девочка.

– Что с тобой, Джи? – шептал мальчик. – Чего ты плачешь? Мне не очень больно, право, не очень.

Дженни закинула ему на шею обе руки и целовала его щеки. От волнения она дрожала всем телом, а плач ее перешел в рыдания.

– Орсо! Орсо! – повторяла она, не в силах вымолвить ничего больше, а руки ее судорожно сжимались вокруг его шеи. Если бы побили ее, то и тогда она не плакала бы сильнее. Кончилось тем, что Орсо принялся ласкать и утешать ее. Забыв о боли, он схватил ее на руки и прижал к сердцу, впервые почувствовав, что он любит ее, а не только предан ей, как пес своей госпоже. Он тяжело дышал и шептал дрожащими губами:

– У меня ничего не болит... Когда ты со мной, мне так хорошо... Дженни!.. Дженни!..

Между тем директор метался по конюшне и кипел от злости. В его сердце бушевала ревность. Он видел девочку на коленях перед Орсо, а с некоторых пор прелестное дитя возбуждало в нем низменные инстинкты. И теперь, увидев их вдвоем, он жаждал мести. Для него было бы величайшим наслаждением побить ее, очень сильно побить, и он не мог устоять против этого искушения. Вскоре он позвал ее.

Дженни тотчас вырвалась из объятий атлета и в мгновение ока исчезла в темном проходе, ведущем к конюшням. Орсо был точно сам не свой и, вместо того чтобы

следовать за ней, добрался неверным шагом до скамейки и сел, с трудом переводя дыхание.

В это время девочка, вбежав в конюшню, где было еще темнее, чем на арене, сначала никого там не увидела. Но, боясь, как бы ее не обвинили в том, что она не сразу явилась на зов, она повторяла тихим и испуганным голосом:

– Я уже здесь, сударь, я уже здесь!

В эту самую минуту директор схватил ее за маленькую ручку и хриплым голосом произнес:

– Иди!

Его гнев и ругань испугали бы ее меньше, чем то молчание, с каким он вел ее в сторону артистической уборной. Откинувшись назад, она упиралась что было силы и быстро повторяла:

– Мистер Гирш! Золотой мой! Миленький мой! Я больше никогда не буду!

Но он с силой втащил ее в длинную темную каморку, в которой находился склад костюмов, и запер дверь на ключ.

Дженни бросилась на колени. Подняв на него умоляющие глаза, сложив руки, дрожа как лист и заливаясь слезами, она пробовала смягчить его гнев, но он, сняв со стены нагайку, промолвил только:

– Ложись!

Тогда она, помертвев от страха, стала с отчаянием цепляться за его ноги. Каждый нерв дрожал в ней, как натянутая струна. Но напрасно она умоляла его, прижимая свои побелевшие губки к его лакированным голенищам. Ее страх и мольбы, казалось, еще сильнее возбуждали его. Схватив Дженни, которая отчаянно отбивалась ногами, он бросил ее на грудь лежащей на столе одежды и наконец ударил.

– Орсо! Орсо! – закричала девочка.

В ту же минуту дверь закачалась на своих петлях, затрещала сверху донизу и целая створка, выломанная с чудовищной силой, с грохотом повалилась на землю.

В дверях появился Орсо.

Нагайка выпала из рук директора, лицо покрылось смертельной бледностью, потому что Орсо был действительно страшен. Глаза его закатились так, что видны были только одни белки, толстые губы были покрыты пеной, голова опущена, как у быка, а тело напряглось, точно он приготовился к прыжку.

– Вон! – закричал директор, стараясь криком превозмочь страх.

Но плотина была уже прорвана. Орсо, обычно такой послушный малейшему мановению руки своего хозяина, на этот раз не отступил, а, только ниже нагнув голову, зловеще надвигался на «маэстро бича», расправляя свои железные мускулы.

– Help! Help![42] – завопил маэстро.

Его услышали.

Четверо огромных негров ринулись из конюшни и набросились на Орсо. Завязалась страшная борьба, на которую директор смотрел, лязгая зубами. Долгое время можно было различить только клубок темных, судорожно барахтающихся, то сплетающихся, то расплетающихся тел; в наступившей тишине раздались стоны, хрип и свистящее дыхание. Но вскоре один из негров, выброшенный с нечеловеческой силой из этой бесформенной кучи, перевернулся в воздухе и упал возле директора, ударившись с глухим стуком головой об пол; затем вылетел еще один, и, наконец, над клубком сплетенных тел поднялся один Орсо, еще более страшный, окровавленный, с взлохмаченными волосами. Коленями он придавил двух лежащих в обморочном состоянии негров. Потом он выпрямился и снова направился к директору.

Маэстро закрыл глаза.

В ту же самую секунду он почувствовал, что ноги его уже не касаются земли, что он летит по воздуху, и после этого он уже ничего не мог чувствовать, так как, ударившись всем телом об оставшуюся створку двери, рухнул замертво наземь.

Орсо вытер пот с лица и приблизился к Дженни.

– Идем! – сказал он.

Он взял ее за руку, и они вышли. Как раз в это время весь город следовал за процессией цирковых повозок и за машиной, наигрывающей «Янки Дудл», поэтому около цирка было совершенно пусто. Только попугаи, раскачивающиеся на своих кольцах, наполняли воздух криком. Взявшись за руки, дети пошли куда глаза глядят; где-то в конце улицы виднелись простирающиеся до самого горизонта поля, поросшие кактусами. Молча проходили они мимо домов, укрытых в тени эвкалиптов, затем миновали городскую скотобойню, около которой тысячами кружились черные с красными крыльшками скворцы, перескочили через большую оросительную канаву, вошли в рожицу померанцевых деревьев и, пройдя ее, очутились среди кактусов.

Это была уже пустыня. Всюду, насколько хватал глаз, громоздились все выше и выше колючие кактусы; переплетающиеся и растущие один из другого листья преграждали дорогу, цепляясь своими колючками за платье Дженни. Порою кактусы достигали такой высоты, что дети оказывались словно в лесу, но зато в этом лесу их уже никто не смог бы найти. И они шли, сворачивая то вправо, то влево, лишь бы уйти подальше. Местами, где пирамиды кактусов были поменьше, можно было видеть на самом краю горизонта голубые горы Санта-Ана. Они шли по направлению к горам. Была страшная жара. В кустах стрекотала пепельно-серая саранча. Солнечные лучи потоками лились на землю. Иссохшая земля была испещрена сеткою трещин, жесткие листья кактусов, казалось, плавилась от жары, а цветы поблекли и завяли. Дети шли в молчаливом раздумье. Но все, что окружало их, было так ново, что вскоре они оба всецело отдались впечатлениям и даже забыли об усталости. Дженни перебежала глазами от одной группы растений к другой, с любопытством всматривалась в самую гущу кактусов, время от времени тихо спрашивая товарища:

– Это и есть пустыня, Орсо?

Однако пустыня оказалась совсем не пустынной. Из дальних зарослей доносились призывы самцов-куропаток, а вокруг раздавался писк, возня, ворчанье – словом, самые разнообразные звуки, принадлежащие маленьким зверюшкам, живущим среди

кактусов. Порою срывалась целая стая куропаток; хохлатые птицы убегали прямо по земле на своих длинных ногах, черные белки с приближением детей скрывались под землю, зайцы и кролики так и разбегались во все стороны; суслики, сидящие на задних лапках перед норками, напоминали толстых немецких фермеров, стоящих в дверях своих домов. Немного отдохнув, дети пошли дальше. Вскоре Дженни захотелось пить, и Орсо, в котором проснулась свойственная индейцам сообразительность, легко вышел из положения, нарвав плодов кактуса. Было их множество, и росли они, как и цветы, на листьях. Правда, очищая их, оба они искололись о тонкие, как волоски, шипы, но зато плоды пришлись им по вкусу. Сладковато-кислые плоды утолили и жажду, и голод. Пустыня накормила детей, как мать: подкрепившись, они могли идти дальше. Кактусы громоздились все выше и выше, можно было подумать, что они растут друг на друге. Земля под ногами постепенно, по неуклонно шла в гору. Еще раз оглянувшись с пригорка, они увидели Анагейм, уже потерявший свои очертания и напоминающий издали большую группу деревьев, растущих в низине. Цирка уже совсем не было видно. Тем не менее дети без устали шли к горам, которые вырисовывались все отчетливее. Местность начала приобретать иной характер. Среди кактусов появились кусты и даже деревья. Началась лесистая часть предгорья Санта-Ана. Орсо сломал одно деревце поменьше и, оборвав ветки, сделал из него дубинку, которая в его руках могла стать грозным оружием. Инстинкт индейца подсказал ему, что в горах лучше иметь хотя бы палку, чем идти с голыми руками, тем более что солнце начало уже медленно опускаться к западу. Большой огненный диск, который был виден уже далеко за Анагеймом, погружался в океан. Вскоре солнце совсем исчезло, и на западе загорелись огни, словно длинные, раскинутые через все небо, красные, золотые и оранжевые ленты. На этом ярком фоне торчали острыми зубцами горы; кактусы принимали фантастические очертания, похожие то на людей, то на зверей. Глаза Дженни слипались от усталости, но оба они спешили из последних сил к горам, сами не понимая зачем. Вскоре они увидели скалы и, добравшись до них, нашли ручей. Напившись воды, они пошли дальше вдоль его русла. Между тем скалы, вначале лишь изредка встречавшиеся, встали сплошной стеной, чем дальше, тем все более высокой. Наконец дети вошли в каньон, то есть в ущелье. Заря угасала. Мрак все больше и больше окутывал землю. Местами, где лианы перебрасывались с одной стены ущелья на другую, образуя как бы свод над ручьем, было совершенно темно и очень страшно. Вверху слышался шум невидимых снизу деревьев, и Орсо догадывался, что там – пуща, которая, наверное, кишит дикими зверями. Время от времени оттуда доносились какие-то подозрительные звуки, а когда спустилась ночь, стало явственно слышно хриплое завывание рыси, рычание ягуаров и плачущие голоса койотов.

– Боишься, Джи? – спрашивал Орсо.

– Нет! – отвечала девочка.

Но она была совершенно измучена и не могла идти дальше, поэтому Орсо взял ее на руки и понес. Сам же он шел все вперед в надежде набрести на жилье какого-нибудь скваттера или мексиканский поселок. Два раза ему показалось, что он видит вдали светящиеся глаза дикого зверя. Тогда он одной рукой прижимал к груди заснувшую Дженни, а другой стискивал в руке свою палку. Он и сам мучительно устал. Хотя он обладал огромной силой, Дженни уже начинала оттягивать ему руку, тем более что он нес ее все время на одной левой руке, оставляя правую свободной на случай нападения. По временам он замедлял шаг, чтобы перевести дух, а потом шел дальше. Вдруг он остановился и стал напряженно прислушиваться. Ему показалось, что до его слуха донеслись звуки колокольчиков, какие обычно скваттеры привязывают на ночь коровам и козам. Ускорив шаг, он дошел до поворота ручья. Звук

колокольчиков становился все отчетливее, а вскоре к нему присоединился и лай собаки. Теперь Орсо был уверен, что они приближаются к какому-то жилью. Это было более чем своевременно: он вконец измучился и выбился из сил.

Орсо миновал еще один поворот и увидел свет; по мере того как он подвигался вперед, его зоркие глаза стали различать костер, собаку, по-видимому привязанную к дереву, которая рвалась и лаяла, и, наконец, сидящего около огня человека.

«Дай бог,— подумал Орсо,— чтобы это был человек из «доброй книжки».

Затем он решил разбудить Дженни.

— Джи! — позвал он. — Проснись, сейчас будем есть.

— Что это? — спрашивала девочка. — Где мы?

— В пустыне.

Она окончательно проснулась.

— А что это там за свет?

— Там живет какой-то человек. Сейчас мы будем есть.

Бедный Орсо был очень голоден.

Тем временем они уже приблизились к костру. Собака лаяла все яростней, а старик, сидящий у огня, заслонив рукой от света глаза, всматривался в темноту. Затем он спросил:

— Кто там?

— Это мы,— ответила тоненьким голоском Дженни,— и нам очень хочется есть.

— Подойдите сюда,— сказал старик.

Они вышли из-за огромного камня, за которым укрывались, и стали перед костром, держась за руки. Старик взглянул на них изумленными глазами; с уст его сорвалось невольное восклицание:

— What is that?[43]

Ибо перед его глазами предстало видение, которое могло изумить всякого в безлюдных горах Санта-Ана. Ведь и Орсо, и Дженни были одеты в цирковые костюмы. Прелестная девочка в своем розовом трико и коротенькой юбочке, появившись так внезапно, выглядела при свете костра как сказочная фея. А за ней стоял необычайно коренастый мальчик, тоже одетый в трико телесного цвета, обтягивающее его могучие мускулы. Старый скваттер смотрел на них широко раскрытыми глазами.

— Кто вы такие? — спросил он.

Маленькая женщина, очевидно, рассчитывая больше на свое красноречие, зашебетала:

— Мы из цирка, дорогой господин. Мистер Гирш сильно побил Орсо, а потом хотел

бить меня. Но Орсо не дал меня бить и сам побил мистера Гирша и еще четырех негров. И вот мы убежали в пустыню и долго пробирались среди кактусов, и Орсо нес меня, а потом мы пришли сюда, и нам очень хочется есть.

Лицо старого отшельника постепенно прояснилось, а взгляд его с добродушным отеческим выражением остановился на прелестной девочке, которая, очевидно, спешила высказать все одним духом.

– Как тебя зовут, крошка?

– Дженни.

– Ну, так добро пожаловать, Дженни, и ты, Орсо! Я так редко вижу людей... Подойди ко мне, Дженни.

Маленькая женщина без долгих размышлений обняла своими обнаженными ручками старца и крепко поцеловала его. Он решительно казался ей героем из «доброй книжки».

– А господин Гирш не найдет нас здесь? – спрашивала она, отстраняя свое розовое личико от сморщенного лица старого колониста.

– Пулю он найдет, – возразил старец и потом добавил: – Вы говорите, что вам хочется есть?

– О да, очень!

Скваттер разгреб золу и вытащил оттуда великолепный кусок оленьего окорока, аромат которого распространился вокруг. Они принялись за еду.

Ночь была великолепная: на небе высоко над ущельем взошла луна, в чаще сладко запели маукависы, весело трещал огонь, и Орсо стал урчать от удовольствия. И он, и девочка набросились на еду как волки – только старый отшельник не мог есть, и неизвестно почему при взгляде на маленькую Дженни у него навертывались на глаза слезы.

Может быть, он и сам был когда-то отцом, а может быть, просто в пустынных горах редко видел людей...

С тех пор все трое стали жить вместе.

1879

ЗА ХЛЕБОМ

I

На океане. – Размышление. – Буря. – Прибытие

На широких волнах океана колыхался немецкий пароход «Блюхер», шедший из Гамбурга в Нью-Йорк.

Пароход уже четыре дня был в пути, а два дня тому назад обогнул зеленые берега Ирландии и вышел в открытый океан. С палубы виднелась лишь необозримая, тяжело

колышущаяся равнина, то зеленая, то серая, изборожденная грядками вспененных волн. Вдали она сливалась с горизонтом, затянутым тучами, и казалась совсем темной.

Местами тучи отражались в воде, и на этом сверкающем жемчужном фоне отчетливо выделялся черный корпус парохода. Обращенный носом к западу, пароход то усердно взбирался на волны, то низвергался в глубину, как будто тонул; минутами он исчезал из виду, а затем снова высоко подымался на гребни валов, так что показывалось его дно, и так шел вперед. Волны неслись к нему, а он несся к волнам и разрезал их грудь. За ним гигантской змеей вилась белая полоса вспененной воды; несколько чаек летало за рулем, кувыркаясь в воздухе с таким же пронзительным криком, как и польские чайки.

Ветер был попутный, пароход распустил паруса и шел на неполных парах. Небо прояснялось. Кое-где между разорванными тучами проглядывали клочки лазури, поминутно менявшие очертания. С тех пор как пароход вышел из гамбургского порта, стояла ветреная погода, но бури не было. Дул сильный западный ветер; минутами он затихал, и тогда паруса опадали и вяло плескались, но вскоре опять надувались и напоминали лебединую шею. Матросы в плотных шерстяных фуфайках тянули канат нижней реи грот-мачты и, протяжно выкрикивая: «Го-го-о!», мерно нагибались и подымались, а голоса их смешивались с завыванием мичманских свистков и прерывистым дыханием трубы, извергающей клубы или кольца черного дыма.

Пользуясь хорошей погодой, пассажиры высыпали на палубу. На корме парохода показались черные пальто и шляпы пассажиров первого класса, у носа пестрела разношерстная толпа эмигрантов, едущих в трюме. Одни сидели на скамьях, покуривая коротенькие трубочки, другие лежали или, опершись о борт, поглядывали вниз на воду.

Было тут и несколько женщин с детьми на руках и жестяными фляжками, привязанными к кушаку, какие-то молодые люди, пошатываясь и спотыкаясь, прохаживались вдоль палубы, с трудом удерживая равновесие. Они громко распевали «Wo ist das deutsche Vaterland?»[44] и, хотя думали, должно быть, что никогда уже не увидят своего «Vaterland'a», их не покидало веселое настроение. В этой толпе двое были особенно печальны и казались всем чужими: старик и молодая девушка. Оба они не понимали немецкого языка и были действительно одиноки среди чужих. Каждый из нас с первого взгляда угадал бы в них польских крестьян.

Крестьянина звали Вавжон Топорек, а девушка, Марыся, была его дочерью. Они ехали в Америку и сейчас впервые осмелились выйти на палубу. Их лица, изнуренные морской болезнью, выражали страх и удивление. Они испуганно разглядывали своих попутчиков, матросов, пароход, бурно дышавшую трубу и грозные волны, обдающие пеной борта парохода. Они не решались даже разговаривать друг с другом. Вавжон ухватился одной рукой за перила, а другой придерживал свою четырехугольную шапку, боясь, чтобы ее не сорвало ветром; Марыся вцепилась в рукав отца и всякий раз, когда пароход сильнее накренился, крепче прижималась к нему и тихо вскрикивала от страха. Наконец старик прервал молчание:

– Марыся!

– Что?

– Видишь?

– Вижу!

– А чудно тебе?

– Чудно!

На самом деле ей было страшно, а не чудно, так же как старику. К счастью для них, ветер утих, и сквозь тучи проглянуло солнце. Когда они увидели «ясное солнышко», им стало легче на душе, потому что оба подумали, что «оно точнехонько такое, как в Липицах». Действительно, все тут было для них ново и незнакомо, и только этот пылающий лучезарный джуж казался им старым, любящим другом.

Тем временем море совсем успокоилось, а немного спустя зашумели паруса; тогда с высокой рубки раздался свисток капитана, и матросы бросились их убирать. Вид этих людей, словно повисших в воздухе над бездной, поразил Топорека и Марысю.

– Нашим парням так не суметь, – промолвил старик.

– Немцы влезли, так и Ясько влез бы, – возразила Марыся.

– Это какой Ясько – Собков?

– Какое там – Собков. Я про Смоляка говорю, про конюха.

– Что ж, он и вправду хват, а только выкинь ты его из головы. Ни ему до тебя, ни тебе до него дела нет. Ты едешь, чтоб стать барыней, а он как был конюх, так и останется.

– Ну него тоже есть земля!

– Есть, да в Липицах.

Марыся ничего не ответила, подумав про себя, что от судьбы не уйдешь, и с тоской вздохнула. Между тем матросы убрали паруса, зато винт с такой силой бурлил воду, что весь пароход содрогался. Качка почти совсем прекратилась, и вдали вода уже казалась гладкой и голубой. Из трюма появлялись все новые фигуры: рабочие, немецкие крестьяне, бродяги из разных приморских городов, ехавшие в Америку искать счастья, а не работы. Толпа постепенно заполнила всю палубу, и Вавжон с Марысей, чтобы не лезть никому на глаза, уселись на связке канатов в самом уголке, на носу.

– Отец, а долго нам еще ехать по воде? – спросила Марыся.

– Почему я знаю? Тут кого ни спроси, никто тебе не ответит по-нашему.

– А как же мы будем разговаривать в Америке?

– Да ведь сказывали нам, что нашего народу там тьма-тьмущая!

– Отец!

– Чего тебе?

– Чудно-то тут чудно, а в Липицах-то все ж таки было лучше.

– Не болтай попусту.

Через минуту, однако, Вавжон прибавил, как бы говоря самому себе:

– На все воля божья!..

У девушки глаза наполнились слезами, и оба стали думать о Липинцах. Вавжон Топорек размышлял о том, для чего он едет в Америку и как это случилось, что он поехал. Как случилось? Да вот летом, всего полгода назад, корову его захватили на чужом поле, засеянном клевером. Хозяин поля потребовал с него за потраву три рубля. Вавжон не хотел дать. Стали судиться. Дело затянулось. Мужик, захвативший корову, требовал уже не только за потраву, но и за прокорм коровы, и долг этот рос с каждым днем. Вавжону жалко было денег, и он упорствовал; тяжба уже влетела ему в копеечку, а дело все тянулось да тянулось, долг рос. Кончилось тем, что Вавжон проиграл в суде. За корову он уже бог весть сколько задолжал, а платить было нечем, вот и забрали у него лошадь, а самого за оказанное сопротивление арестовали. Топорек извивался, как уж; к тому времени как раз подошла жатва – значит, нужны были и руки, и лошадь. Он не успел вовремя свезти хлеб, потом пошли дожди, и рожь проросла в снопах. Увидел Топорек, что из-за одной потравы все его добро пошло прахом: и денег он столько потерял, и скот у него пропал и весь урожай, а к весне придется ему с дочкой либо землю глодать, либо по миру идти.

До тяжбы Вавжон жил в достатке, хозяйство у него ладилось, но после суда он затосковал, а потом и запил. В корчме Вавжон познакомился с немцем, который шатался по окрестным деревням, будто бы скупая лен, а на самом деле подбивая людей ехать за море. Немец рассказывал всякие чудеса про Америку. Земли наобещал больше, чем во всей их деревне, да в придачу еще лес да луга – и все даром. У мужика глаза разгорелись. Он и верил и не верил чужаку, но здешний арендатор тоже говорил, что правительство там дает каждому столько земли, «сколько кто может держать». Он это узнал от своего племянника. А немец показывал деньги, каких не только мужики, но и сам помещик в жизни своей не видывал. Соблазняли мужика, соблазняли и наконец соблазнили. Да и чего ради ему было тут оставаться? Из-за одной потравы он потерял столько, что за эти деньги мог бы целый год держать батрака. Так неужели ему здесь пропадать? Неужели взять палку да суму и на паперти лазаря тянуть? Нет, не бывать этому! Ударил он с немцем по рукам, распродал все свое добро – и вот едет с дочкой в Америку.

Однако путешествие оказалось не таким приятным, как он ожидал. В Гамбурге с них содрали кучу денег, а на пароходе они сидели в трюме. Необъятность океана их пугала, изнуряла качка. Никто их на пароходе не понимал, и они никого не понимали. С ними обращались как с вещами, толкали, точно камни на дороге; немцы-спутники насмеялись над ним и над Марысей. В обеденный час, когда все с посудой протискивались к повару, раздававшему пищу, их отталкивали в самый конец, так что не раз они оставались голодными. Худо ему было на этом пароходе: он чувствовал себя чужим и одиноким, однако перед дочерью Вавжон бодрился, сдвигал шапку набекрень, приказывал Марысе удивляться и всему удивлялся сам, хотя ничему не доверял. Минутами его охватывало опасение, как бы эти «язычники» (так он называл своих попутчиков) не бросили их обоих в воду. А то вдруг заставят переменить веру или велят подписать такую бумагу, что невзначай черту душу продашь!

Даже самый пароход, который днем и ночью шел по беспредельным водным просторам,

трясая, гудел, вспенивал воду и дышал, как дракон, а ночью пускал целые клубы огненных искр, вызывая у него подозрение и казался нечистой силой. Эти ребяческие опасения, в которых Топорек не хотел признаться даже перед самим собой, не раз овладевали им; этот польский крестьянин, оторванный от родного гнезда, был действительно настоящим ребенком. Все, что он видел, все, что его окружало, не укладывалось у него в голове, и не удивительно, что теперь, когда он сидел на куче канатов, голова его клонилась под бременем тягостной неуверенности и заботы. Морской ветер шелестел у него в ушах и как бы повторял: «Липинцы! Липинцы!» Иногда этот ветер свистел, как липинецкая дудка. Солнце тоже говорило: «Как ты там, Вавжон? Я сейчас светило в Липинцах». А винт все сильнее бурлил воду, труба дышала все громче и громче, точно два злых духа, которые тащили его все дальше и дальше от Липинцев.

А между тем Марысю не покидали иные мысли, и воспоминания неотступно неслись за нею, как эти чайки или пеннистая дорожка за пароходом. Вспомнилось ей, как осенью поздним вечером, незадолго до отъезда, она пошла к колодцу за водой. На небе уже мерцали первые звезды, а она тащила из колодца полное ведро и пела: «Ясек лошадей поил – Кася за водой шла», и ей почему-то было так тоскливо, словно ласточке, что жалобно поет, улетая в далекие края. Потом в темноте в лесу протяжно заиграла свирель: это Ясько Смоляк, конюх, давал ей знать, что видит, как склонился журавль у колодца, и что сейчас он придет. И действительно, вскоре послышался топот, Ясь подъехал к колодцу, соскочил с жеребца, тряхнул густыми вихрами, а речи его вспоминались ей теперь, словно музыка. Марыся закрыла глаза, и чудилось ей, что Смоляк опять шепчет дрожащим голосом:

– Раз уж так уперся твой старик, я отдам пану задаток, продам избу, продам все хозяйство и поеду... Слышишь, Мары-

ся, – говорил он, – куда ты поедешь, там и я буду, журавлем полечу по небу, селезнем поплыву по воде, перстнем золотым покачусь по дороге, а найду тебя, моя ненаглядная. Какая же мне жизнь без тебя? Куда ты пойдешь, туда и я пойду, что тебе суждено, то и мне суждено, одна нам жизнь и одна смерть! И как обещался я тут тебе, так пусть бог меня оставит, если я тебя оставлю, Марыся моя любая.

Вспоминая эти слова, Марыся видела и колодец, и большой красивый месяц над лесом, и Яся, как живого. Эти думы утешили и облегчили ей душу. Ясек был парень твердый и упорный, и Марыся верила, что как он сказал, так и сделает. Только хотела бы она, чтобы он сейчас был с ней и вместе с нею слушал, как шумит море. С ним ей было бы веселей и не так страшно, потому что он никого не боялся и нигде не робел. Что-то он теперь делает в Липинцах? Там уже, наверно, выпал снег. В лес ли поехал за дровами или лошадей чистит, а может, барин его куда-нибудь послал и велел прорубь рубить в пруду? Где-то он теперь, сердечный? И ей сразу представились Липинцы, какими они были: скрипучий снег на дороге, заря, алеющая сквозь черные голые ветви, стаи ворон, носящиеся с карканьем от леса к деревне, дым, поднимающийся из труб, замерзший журавль возле колодца, а вдали лес, окутанный снегом и розовеющий в лучах зари.

Эх, где же она теперь, куда занесла ее воля отцовская! Кругом вода, вода, зеленоватые борозды и пеннистые гряды, а на этой бескрайней водной равнине только один их пароход, словно заблудившаяся птица. Вверху небо, внизу пучина, грозно шумит океан, свистит ветер, и словно плачут волны, а впереди, далеко-далеко, должно быть, край света.

Бедный Ясек, найдешь ли ты к пей дорогу, полетишь ли соколом по небу, поплывешь

ли рыбой но воде, думаешь ли ты в Липинцах о своей Марысе?

Между тем солнце медленно склонялось к западу, погружаясь в океан. На водной глади, покрытой, словно золотой чешуей, мелкой рябью, пролегла широкая солнечная дорога; она горела, ослепительно: сверкала, переливаясь всевозможными красками, и терялась где-то вдалеке. Пароход, попав в эту огненную полосу, казалось, гнался за убегающим солнцем. Дым, вырывающийся из трубы, стал красным, паруса и покрытые влагой канаты – розовыми; матросы затаили песню, а тем временем лучезарный диск становился все больше и все ниже опускался в океан. Вскоре над волнами виднелась уже половина диска, потом только лучи, а потом на западе по всему небосклону разлилась багряная заря, и в этом сиянии уже нельзя было различить, где кончаются волны и где начинается небо; розовый свет, одинаково озарявший воду и небо, постепенно угасал, океан мерно и мягко роптал, словно творил вечернюю молитву. В такие минуты душа становится крылатой, оживают воспоминания; то, что любишь, – любишь тогда горячее, сильнее стремишься к тому, о ком тоскуешь. Вавжон и Марыся чувствовали оба, что они теперь – словно сорванные листья, несомые ветром, а родимое их дерево растет все же не в той стороне, куда они ехали, а в той, которую они покинули, – в родной польской земле. Родина! Она – благо, вся покрытая колыхающимися нивами, лугами, нежно-золотистыми от одуванчиков, заросшая лесами, испещренная соломенными крышами; в ней есть и ласточки, и аисты, и придорожные кресты, и белые домики среди лип. Родина! Низкий поклон тебе: «Слава Иисусу», а она отвечает: «Во веки веков». Она – могучая, она – иезная мать, такая ласковая, самая любимая на свете. И то, что их простые крестьянские сердца не чувствовали раньше, они почувствовали теперь. Вавжон снял шапку, закатные лучи упали на его седеющие волосы. Бедняк не знал, как объяснить Марысе то, о чем он неустанно думал. Наконец он сказал:

– Марысь, мне все сдается, что там, дома, за морем, у нас что-то осталось.

– Судьба наша и любовь наша там остались, – тихо ответила девушка, подняв к небу глаза.

Наконец совсем стемнело, пассажиры стали расходиться с палубы, однако на пароходе поднялось необычайное движение. После такого заката ночью часто наступает буря, поэтому то и дело раздавалась команда и матросы тянули канаты. Последние пурпурные лучи угасли в море, и тотчас из воды поднялся туман, звезды загорелись и исчезли. Туман сгущался, застилая небо, горизонт и даже пароход. Можно было разглядеть только трубу и грот-мачту; фигуры моряков казались тенями. Час спустя все скрылось в беловатом тумане – даже фонарь, висевший на верхушке мачты, даже искры, вылетающие из трубы.

Пароход совсем не качало, как будто волны, обессилев, разлились под тяжестью тумана.

Надвигалась тихая, поистине глухая ночь. Внезапно среди этой тишины откуда-то с самого далекого края горизонта донесся странный шум, словно тяжелое дыхание какой-то гигантской груди; оно приближалось и становилось все громче. Порою чудилось, будто кто-то зовет из темноты, потом послышался целый хор протяжных, как бы плачущих голосов. Голоса эти лились прямо из темноты и бесконечности.

Матросы, услышав такие голоса, уверяют, что это буря вызывает ветер из ада.

Шум становился все отчетливее. Капитан в резиновом плаще с капюшоном вышел на

мостик, дежурный офицер занял место перед освещенным компасом. На палубе уже не было никого из пассажиров. Вавжон и Марыся вслед за другими спустились в трюм. Здесь было тихо. Лампы, укрепленные на низком потолке, бросали тусклый свет, в котором едва видны были люди, усевшиеся кучками возле коек. Трюм был большой, но сумрачный, как всегда помещения четвертого класса. Потолок почти соприкасался с бортами парохода, койки, разделенные перегородками, напоминали скорее темные норы, чем кровати, да и весь трюм производил впечатление громадного погреба. Воздух был пропитан запахом просмоленной парусины, корабельных канатов, гнилых водорослей и сырости. Можно ли было сравнивать это помещение с роскошными салонами первого класса! Достаточно было двухнедельного переезда в таком помещении, чтобы отравить легкие зараженным воздухом, получить отечную бледность и даже заболеть цингой. Вавжон с дочкой ехали всего четыре дня, но уже и сейчас никто бы не узнал прежнюю, пышущую здоровьем липинецкую Марысю в этой бледной девушке, изнуренной морской болезнью. Старый Вавжон тоже пожелтел, как воск; в первые дни путешествия они совсем не выходили на палубу, полагая, что это не разрешается. Да разве они знали, что разрешается, что воспрещается? Они тут вообще не смели шевельнуться, да и боялись отойти от своих вещей. Теперь, правда, сидели возле своих пожитков не только они, но и другие пассажиры. Узлами эмигрантов был завален весь трюм, что еще усугубляло беспорядок и мрачный вид этого помещения. Постель, одежда, съестные припасы, рабочие инструменты и жестяная посуда – все вперемежку лежало кучками на полу. На узлах сидели эмигранты, преимущественно немцы. Одни жевали табак, другие курили трубки, клубы дыма длинными полосами тянулись под низким потолком, застилая свет. По углам плакали дети, но обычный здесь шум затих; туман всех встревожил, наполнив сердца унынием и страхом. Более опытные пассажиры знали, что он предвещает бурю. Ни для кого, впрочем, уже не было тайной, что надвигается опасность, а может быть, и смерть. Только Вавжон и Марыся ни о чем не догадывались, хотя, когда открывалась дверь, явственно слышался далекий зловеющий шум.

Они сидели в глубине трюма, в самом узком месте носовой части. Качка там ощущалась сильнее, а потому попутчики загнали их туда. Старик достал хлеб, который вез еще из деревни, и принялся закусывать, а девушка со скуки заплетала на ночь косы.

Однако необычная тишина, прерываемая только плачем детей, начала ее тревожить.

– Отчего это немцы нынче притихли? – спросила она.

– Почем я знаю? – по обыкновению, ответил Вавжон. – Праздник у них, что ли, какой или еще что...

Вдруг пароход тряхнуло так, словно он вздрогнул пред чем-то страшным; жестяная посуда жалобно звякнула, огонь в лампах вспыхнул и загорелся ярче, послышались испуганные голоса.

– Что случилось? Что случилось?

Но ответа не было. Второй толчок, сильнее прежнего, рванул пароход, его нос внезапно поднялся и так же внезапно опустился; одновременно волна глухо ударила в круглые окна левого борта.

– Буря идет! – в ужасе прошептала Марыся.

Между тем вокруг парохода что-то зашумело, как лес, по которому внезапно

пронесся вихрь, и завывало, как стая волков. Ветер ударил еще и еще раз, накренил пароход, потом закружил его, поднял па гребень вала и бросил в бездну. Судно скрипело, жестяная посуда, узлы, корзины и баулы скользили по полу, перекатываясь из угла в угол. Несколько человек упало на землю; из чьей-то подушки посыпались перья и разлетелись по трюму, стекла в лампах жалобно зазвенели.

Раздался шум, грохот, плеск воды, хлынувшей на палубу, крик женщин, плач детей, беготня, и среди этой сумятицы и хаоса слышались пронзительные свистки да глухой топот матросов, бегающих по верхней палубе.

– Пресвятая дева Ченстоховская! – шептала Марыся.

Нос корабля, где она сидела с отцом, то взлетал вверх, то обрушивался вниз, словно обезумев. Они крепко вцепились в края коек, тем не менее их так кидало, что они поминутно ударялись о стены. Волны ревели все громче, потолок скрипел и трещал; казалось, вот-вот балки и доски разлетятся вдребезги.

– Держись, Марыся! – кричал Вавжон, стараясь перекричать бурю, но ужас сдавил ему горло, как и другим пассажирам. Дети перестали плакать, женщины кричать; все только учащенно дышали, с усилием держась за предметы, прикрепленные к полу.

Ярость бури все возрастала. Стихия разбушевалась, туман смешался с ночным мраком, тучи – с водой, вихрь – с пеной. Волны с грохотом бились о корабль, швыряли его из стороны в сторону, то подбрасывая его ввысь, то низвергая чуть не до дна морского.

Лампы в трюме одна за другой гасли. Становилось все темнее, и Вавжону с Марысей казалось, что это уже предсмертный мрак.

– Марыся! – начал, задыхаясь, Вавжон прерывающимся голосом. – Прости, дочка, что увез я тебя из деревни па погибель. Пришел наш последний час. Не смотреть уж нам грешными глазами на божий мир, не исповедаться нам, не причаститься, не почим мы в родной земле, а из воды пойдем на Страшный суд.

Услышав это, Марыся поняла, что спасения уже нет. Обрывки мыслей проносились у нее в голове, а в душе что-то кричало: «Ясен, Ясек, мой любимый, слышишь ли ты меня в Липинцах?»

Страшная тоска сжала ей сердце, она громко заплакала. Рыдания ее разносились по темному трюму, где все молчали, как па похоронах. Кто-то крикнул из угла: «Тихо!», но умолк, словно испугавшись собственного голоса. Между тем упало стекло еще с одной лампы, и она погасла. Стало еще темнее. Люди сбились в один угол, чтобы быть поближе друг к другу. Всюду царило тревожное молчание, как вдруг среди этой тишины раздался голос Вавжона:

– Kyrie eleison!

– Christe eleison! – рыдая, отвечала Марыся.

– Господи, услышь нас! Отец небесный! – молились они.

В темноте голоса их, прерываемые рыданиями девушки, производили странно торжественное впечатление. Многие обнажили головы. Мало-помалу девушка перестала

плакать, голоса обоих стали спокойнее, чище и все отчетливее звучали под завывание бури.

Вдруг у входа раздался крик. Налетевшая волна вышибла дверь и хлынула в трюм; вода с плеском растекалась по углам; с громкими воплями женщины бросились к койкам. Всем казалось, что это уже конец.

Через минуту вошел дежурный офицер с фонарем в руке, весь мокрый и красный от ветра. Несколькими словами он успокоил женщин, объяснив им, что вода проникла в трюм случайно и что в открытом море опасность вообще невелика.

Прошло часа два или три. Океан бушевал все неистовее. Пароход скрипел, зарывался носом по самую палубу, ложился то на один бок, то на другой, но не тонул. Мало-помалу пассажиры стали успокаиваться; некоторые даже улеглись спать. Прошло еще несколько часов, в темный трюм сквозь верхнее зарешеченное окошко просочился серый свет. На океане наступил день, бледный, точно испуганный, печальный и сумрачный, но все же он принес какую-то бодрость и надежду. Прочитав все молитвы, какие они только вспомнили, Вавжон и Марыся влезли на свои койки и крепко уснули.

Разбудил их звонок к завтраку. Но есть они не могли. Головы у них отяжелели, точно налитые свинцом; старик чувствовал себя еще хуже, чем его дочь. В его одурманенной буре голове теперь уже ничего не укладывалось. Правда, немец, заманивший его в Америку, говорил, что ехать нужно морем, но Вавжон никак не думал, что оно так велико и что путешествие продлится столько дней и ночей. Он представлял себе, что переедет на пароме, как переезжал уже не раз в своей жизни. Если бы он знал, что море так огромно, то ни за что не поддавался бы уговорам немца и остался бы в Липницах. Мучила его еще одна мысль: не обрек ли он свою и Марысину души на погибель? Не грешно ли католику из Липинцев искушать господа бога, пускаясь в это страшное море, по которому они едут вот уже пятый день и никак не доедут до другого берега, если только есть на той стороне какой-нибудь берег. Буря стала понемногу стихать лишь через сорок восемь часов, но сомнения и страх терзали его еще семеро суток. Наконец он решился снова выйти с Марысей на палубу, однако когда они увидели бурное, потемневшее и как будто разгневанное море, когда увидели водяные горы, надвигающиеся на судно, и бездонные движущиеся долины, то опять подумали, что разве только десница господня или какая-нибудь иная, но не человеческая, сила спасет их от этой пучины.

Постепенно, однако, погода улучшилась. Но дни шли задними, а вокруг по-прежнему была видна только вода, вода без края и конца, то зеленая, то голубая, сливавшаяся с небом. По небу порой проносились в вышине маленькие светлые тучки; к вечеру они краснели и укладывались спать где-то на западе. Корабль гнался за ними по воде. Вавжон на самом деле уже стал подумывать, что морю так и не будет конца; он собрался с духом и решил спросить сведущих людей.

Однажды, увидев проходившего мимо матроса, Вавжон смиренно снял шапку и, поклонившись ему в ноги, спросил:

– Скажите, сделайте милость, что, скоро мы доберемся до перевоза?

О чудо! Матрос не прыснул со смеху, остановился и молча выслушал. По его обветренному красному лицу было видно, что он силится что-то вспомнить и собраться с мыслями. Наконец он спросил по-немецки:

– Was?[45]

– Скоро мы доберемся до земли?

– Два дня, два дня! – с трудом произнес матрос, одновременно показывая два пальца.

– Покорно благодарю.

– Откуда вы?

– Из Липинец.

– Was ist das Lipiniec?[46]

Как раз в эту минуту подошла Марыся; она сильно покраснела, но, робко взглянув на матроса, сказала тоненьким голоском, каким обычно говорят деревенские девушки: – Мы из-под Познани.

Матрос задумчиво разглядывал большой медный гвоздь, вбитый в борт парохода, потом поднял глаза на девушку, на ее светлые, как лен, волосы, и слабая, как будто умиленная улыбка скользнула по его обветренному лицу.

– Я был в Гданьске... – сказал он серьезно, – и понимаю по-польски... Я кашуб... ваш Bruder[47], но это давно было! Jetzt ich bin Deutsch...[48]

Он отвернулся, поднял конец каната, который обронил во время разговора, и, крикнув по-матросски: «Го-го-о!», стал его тянуть.

С этой минуты всякий раз, встречая Вавжона и Марысю на палубе, матрос дружелюбно улыбался Марысе. Они тоже радовались, что нашли на этом немецком пароходе хоть одну живую душу, расположенную к ним. Впрочем, путешествие уже подходило к концу. На другое утро, когда они вышли на палубу, их поразило странное зрелище. Вдали, в открытом море, что-то покачивалось на волнах; когда пароход приблизился к этому предмету, оказалось, что это большая красная бочка, дальше виднелась вторая, за ней третья, четвертая. Над водой поднимался легкий серебристый туман; море затихло, и на зеркальной глади, куда ни кинешь взгляд, плавно колыхались красные бочки. С пронзительным криком тучей летели за пароходом чернокрылые птицы. На палубе поднялось необычное движение. Матросы надели новые фуфайки; одни мыли палубу, другие начищали металлические крепления бортов и рамы иллюминаторов, на мачте вывесили один флаг, на корме парохода другой, побольше.

Оживление и радость охватили всех; старый и малый – все высыпали на палубу; многие уже выносили наверх свои узлы и стягивали их ремнями.

При виде этих приготовлений Марыся сказала:

– Никак, подъезжаем.

И она, и старик приободрились. Но вот на западе показался сначала какой-то остров, за ним другой, посреди которого стояло большое здание, а вдали виднелся не то густой туман, не то туча, а может быть, дым – словом, что-то смутное, неясное, бесформенное... При виде всего этого на палубе все зашумели,

заволновались, стали показывать на что-то руками, пароход пронзительно засвистел, словно тоже радовался.

– Что это такое? – спрашивал Вавжон.

– Нью-Йорк, – ответил стоявший рядом с ними матрос-кашуб.

Но вот туман стал рассеиваться и наконец совсем растаял. По мере того как пароход разрезал серебристую воду, постепенно все яснее обрисовывались на голубом фоне очертания домов, остроконечные колокольни, высокие фабричные трубы, а над ними столбы дыма, поднимавшиеся к небу густыми клубами. Впереди высился целый лес мачт, а на их верхушках пестрели тысячи разноцветных флагов и при каждом дуновении ветерка колыхались, как цветы на лугу. Пароход подходил все ближе и ближе, город, казалось, выступал перед ним из воды. Восторг и изумление охватили Вавжона; он снял шапку и, разинув рот, смотрел не отрываясь, потом, обернувшись к дочери, промолвил:

– Марыся!

– О боже мой!

– Видишь?

– Вижу.

– А ведь чудно!

– Чудно!

Однако Вавжон не только изумлялся, но и жаждал поскорее добраться до земли. Увидев зеленые берега и темные ленты парков, он обрадовался:

– Ну, слава богу! Слава богу! Лишь бы дали земли поближе к городу, вон с тем лужком, чтобы на базар недалеко ездить.

Будет ярмарка, погонишь корову иль свинью, тут сразу и продашь. А народу здесь видимо-невидимо. Был я в Польше мужиком – и хватит, а тут буду барином... – В эту минуту перед глазами его открылся во всю длину великолепный Национальный парк. Вавжон, увидев роскошные деревья, сказал:

– Поклонюсь я низенько вельможному комиссару и скажу ему честь по чести, чтоб подарил мне хоть несколько десятин этого лесу. Уж коли поместье, так поместье. Утречком пошлю в город батрака с дровами. Слава тебе господи, теперь я и сам вижу, что немец меня не надул.

Марысе тоже улыбалась мысль о барстве, и ей почему-то пришла в голову песенка, которую в Липипцах невесты пели на свадьбах жениху:

Что же ты за паи?

Что же ты за пан?

Все твое наследство –

Шапка да жупан.

Быть может, она уже собиралась запеть что-то вроде этого бедному Яську, когда он приедет за ней, а она будет помещицей...

Между тем из карантина летел маленький пароходик. Человек пять или шесть поднялись на палубу. Послышались оживленные разговоры, восклицания. Вскоре подошел второй пароход, уже из города, на нем приехали агенты из отелей и гостиниц, комиссионеры, гиды, менялы и железнодорожные агенты; все они отчаянно кричали, толкались, шныряли по палубе. Вавжон и Марыся попали словно в водоворот и не знали, что делать.

Кашуб посоветовал старику обменять деньги и обещал присмотреть, чтоб его не обманули. Вавжон так и сделал. За все свои наличные он получил сорок семь долларов серебром. Тем временем пароход настолько приблизился к городу, что видны были уже не только дома, но и люди, стоявшие на набережной. Наконец пароход, пройдя мимо множества больших и малых судов, вошел в узкий портовый док.

Путешествие кончилось.

Люди высыпали с парохода, как пчелы из улья. По узким сходням, перекинутым на берег, потянулась разношерстная толпа: сначала пассажиры первого класса, затем второго и напоследок пассажиры трюма, нагруженные корзинами и узлами. Когда Вавжон и Марыся подошли к выходу, у сходней их ждал кашуб. Он крепко пожал руку Вавжону и сказал:

– Брудер! Желаю тебе глюк![49] И тебе, девушка. Да поможет вам бог!

– Да наградит тебя бог! – ответили оба, но попрощаться как следует не успели; толпа увлекла их за собой, и через минуту они очутились в обширном здании таможни.

Таможенный чиновник в сером сюртуке с серебряной звездой ощупал их вещи, потом крикнул: «В порядке!» – и указал на выход. Они вышли и очутились на улице.

– Отец, а что же мы теперь будем делать? – спросила Марыся.

– Ждать будем. Немец сказал, что, как приедем, сейчас придет сюда комиссар от правительства и спросит про нас.

В ожидании комиссара они стали у стены. Вокруг шумел огромный неведомый город. Они никогда не видели ничего подобного. Во все стороны тянулись улицы, прямые, широкие, а по ним валили толпы народа, как на ярмарке; посреди улиц ехали кареты, omnibusы, нагруженные телеги. Кругом слышалась странная, незнакомая речь; раздавались крики рабочих и торговцев. То и дело мимо них проходили люди, совершенно черные, с большими курчавыми головами. При виде их Вавжон и Марыся набожно крестились. Чудным казался им этот большой шумный город; они испуганно разглядывали его, оглушенные свистом паровозов, грохотом колес, громкими восклицаниями. Все бежали так быстро, точно гнались за кем-то или от кого-то скрывались. И какое множество народу! Какие странные лица: то черные, то оливковые, то красноватые. Как раз там, где они стояли, у входа в порт, движение было особенно оживленное: одни суда разгружались, другие грузились, поминутно подъезжали возы, гулко гроыхали тачки по сходням, грохот и шум стоял, как на лесопильне.

Так прошел час, другой, а они, стоя у стены, все еще ждали комиссара.

Странно выглядели на американской земле в Нью-Йорке этот польский крестьянин с длинными седеющими волосами, выбивающимися из-под четырехугольной барашковой шапки, и эта девушка из Липинец в темно-синем казакине, с бусами на шее.

Однако люди проходили мимо, даже не замечая их. Там не удивляются никаким лицам и никаким костюмам.

Прошел еще час, небо заволокло тучами, пошел дождь, смешанный со снегом; с моря подул холодный сырой ветер...

А они все еще стояли в ожидании комиссара.

Крестьянская натура терпелива, однако и у них стало тяжело на душе.

Одиноко было на пароходу, среди чужих людей и водной пустыни, одиноко и страшно. Они молились богу, чтобы он провел их, как заблудившихся детей, через пучину морскую, и надеялись, что, как только выйдут на берег, так сразу и кончатся их бедствия. Но вот они приехали в большой город и здесь, среди людского шума, испытывали еще большее одиночество и страх, чем на пароходу.

Комиссар не приходил. Что же им делать, если он вовсе не придет, если немец их обманул?

При этой мысли тревожно забились их бедные крестьянские сердца. Как же тогда им быть? Ведь пропадут они, просто пропадут.

А пока их пронизывал насквозь ветер и мочил дождь.

— Марыся, не холодно тебе? — спросил Вавжон.

— Холодно, отец,— ответила девушка.

Прошел еще час. Смеркалось. Движение в порту постепенно затихло; на улицах зажглись фонари; весь город запылал морем огней. Портовые рабочие хриплыми голосами пели «Янки Дудл» и то большими, то маленькими группами направлялись в город. Мало-помалу набережная совсем опустела, сторожа заперли здание таможни.

А они все еще ждали комиссара.

Наконец настала ночь, и в порту воцарилась тишина. Только время от времени черные трубы пароходов с шипением выбрасывали целые снопы искр и они гасли в темноте да волна с плеском ударяла в каменную набережную. Иногда доносилась песня пьяного матроса, возвращающегося на корабль. Фонари тускло горели в поднявшемся тумане. А они все еще ждали.

Да если бы они и не хотели ждать, куда им было идти, что делать, к кому обратиться, где приклонить измученные головы? Холод пронизывал их до костей, к тому же они и проголодались. Хоть бы укрыться где-нибудь под крышей, а то они промокли до нитки. Нет! Не пришел комиссар и не придет, потому что таких комиссаров и на свете нет. А немец тот был агентом акционерного общества по перевозке эмигрантов, получал процент за каждого доставленного человека и ничего больше знать не хотел.

У Вавжона ноги подкашивались, он почувствовал страшную тяжесть, которая обрушилась на него и давила к земле, будто над ним разразился гнев божий.

Он страдал и терпеливо ждал, как способен ждать только крестьянин.

Голос дочери, дрожавшей от холода, заставил его очнуться:

– Отец!

– Молчи, Марыся!.. Некому нас пожалеть!

– Вернемся в Липинцы...

– Иди утопись...

– Боже мой, боже! – тихо шептала Марыся.

Вавжона охватила жалость к дочери:

– Сиротка ты моя бедная!.. Хоть бы над тобой смиловался господь...

Но Марыся его не слышала. Прикинув головой к стене, она закрыла глаза и уснула тяжелым, горячечным, часто прерывающимся сном. Ей снились родные Липинцы и как будто песенка конюха Яська:

Что же ты за пани?

Что же ты за пани?

Все твое наследство –

Венок из тимьяна.

Первые солнечные лучи в нью-йоркском порту озарили воду, мачты и здание таможни.

На этом сером фоне можно было различить двух спящих у стены людей с бледными, посиневшими лицами, припорошенных снегом и неподвижных, как мертвецы.

Но в книге их бедствий раскрылись только первые страницы, о дальнейшем мы расскажем в следующих главах.

II

В Нью-Йорке

Спускаясь по широкому проспекту Бродвей к порту по направлению к Чаттам-сквер и пройдя с десятков прилегающих к нему улиц, путешественник попадет в бедную, грязную и мрачную часть города. Улицы становятся уже. Дома, построенные, быть может, еще голландскими поселенцами, с течением времени покосились, крыши провалились, штукатурка осыпалась, а стены настолько осели, что окна подвальных этажей верхним краем едва выступают над уровнем мостовой. Вместо излюбленных в Америке прямых улиц здесь разбегаются во все стороны кривые закоулки. Дома то низенькие, то повыше разбросаны как попало и покрыты старыми выщербленными черепицами.

Вследствие низменного расположения и близости к морю лужи в этой части города на

улицах почти никогда не высыхают, а маленькие, тесно застроенные площади напоминают пруды с черной густой стоячей водой. Окна обветшалых домов угрюмо отражаются в этой гнилой воде, поверхность которой пестрит клочьями бумаги, картона, кусками стекла, дерева и жести от сломанных корабельных ящиков; таким же мусором завалены все улицы, или, вернее, весь слой нечистот, которыми они покрыты. Везде тут беспорядок, нищета и грязь.

В этой-то части города находятся постоянные дворы, в которых за два доллара в неделю можно получить ночлег и питание. Здесь же ютятся харчевни, в которых владельцы китобойных судов вербуют для себя всяких бродяг, а подпольные агенты – венесуэльские, бразильские, эквадорские и другие – занимаются подыскиванием людей для колонизации экватора и обеспечиванием лихорадки достаточным количеством жертв. Тут имеются кухмистерские, питающие своих посетителей солониной, протухшими устрицами и рыбой, которую, наверно, сама вода выбросила на песок, тайные дома, где играют в кости, китайские прачечные, сомнительные номера для матросов и, наконец, притоны, где царят преступление, нищета, голод и слезы.

Тем не менее эта часть города всегда оживлена, так как эмигранты, которые не находят даже временного прибежища в бараках и не хотят или не могут идти в так называемые «working houses», или работные дома, попадают сюда, здесь живут и умирают. С другой стороны, если эмигрантов можно назвать накипью европейских народов, то обитателей этих трущоб можно назвать накипью эмиграции. Эти люди обычно бездельничают – или вследствие отсутствия работы, или по собственной лени. Поэтому ночами здесь раздаются выстрелы из револьверов, крики о помощи, хриплые яростные вопли, песни пьяных ирландцев, вой дерущихся негров. Днем на улицах собираются кучками бродяги в оборванных шляпах, с трубками в зубах, которые наблюдают кулачные бои, причем бьются об заклад от одного до пяти центов за каждый выбитый глаз. Дети белых и маленькие негрятя с курчавыми волосами не учатся в школе, а шатаются по улицам, стуча – вместо шпаг – обломками воловьих ребер, разыскивая в мусоре остатки овощей, апельсинов и бананов; исхудалые ирландки просят милостыню у случайно забредших туда прилично одетых прохожих.

Вот в такой-то человеческой геенне мы находим наших старых знакомых – Вавжона Топорека и его дочь Марысю. Поместье, которое они надеялись получить, оказалось сном и, как сон, рассеялось, а действительность предстала перед ними в виде маленькой комнатухи в подвале, с одним окном, зияющим выбитыми стеклами. Почерневшие стены покрыты плесенью и сыростью, у окна стоит заржавевшая дырявая железная печка, подле нее колченогий столик; в углу валяется охапка ячменной соломы, которая заменяет постель. Вот и все.

Старый Вавжон, присев у печки, ищет, не осталось ли в остывшей золе хоть одной картофелины, и поминутно, но, увы, тщетно возобновляет эти поиски... вот уже второй день. Марыся, обхватив руками колени, сидит на соломе, уставясь неподвижным взглядом в пол. Она изнурена голодом и больна. Это как будто та же Марыся, но ее прежде румяные щеки побледнели и глубоко впали. От голода, спертого воздуха и огорчений лицо у нее осунулось и стало болезненным. Питались они одним картофелем, но уже два дня, как и картофеля не стало. Теперь они окончательно растерялись и не знали, что делать и чем жить дальше. Вот уже третий месяц, как они живут в этой яме без работы и без денег. Старый Вавжон пытался было искать работу, но никто не мог понять, что ему нужно; ходил он в порт таскать тюки и грузить уголь на пароходы, по, к несчастью, у него не было тачки, да, впрочем, ирландцы сразу подбили ему глаз; хотел поработать топором на постройке доков – ему снова подбили глаз. Да и какой это работник, раз он не

понимает, что ему говорят? Куда он ни совался, за что ни брался, куда ни шел – всюду над ним смеялись, толкали его, били, прогоняли. Так он ничего и не нашел, нигде гроша не мог заработать, ни выпросить. Волосы у него побелели от горя, надежда угасла, деньги кончились, и наступил голод.

На родине, среди своих, если б даже он все потерял, если бы его постигла болезнь, если бы дети выгнали его из избы, – взял бы он клюку, надел нищенскую суму, стал бы у придорожного креста или на паперти костела – и затянул бы лазаря. Бария проехал бы мимо, дал бы пятак; барыня из коляски послала бы ребенка с денежкой в розовой ручонке; и ребенок, вглядываясь в деда широко раскрытыми глазами, подал бы ему милостыньку, крестьянин дал бы полкаравая хлеба, баба тоже подала бы кусочек сала – и можно было бы жить, как птице небесной, которая не сеет и не жнет. И притом когда бы он так вот стоял, крест над ним был бы как раскинутые руки, а вверху было бы небо, а вокруг поля, и в этой деревенской тиши господь бог услышал бы его молитвы. А здесь, в этом городе, что-то так страшно гудело, словно в какой-то громадной машине; здесь каждый рвался вперед и думал только о себе, а чужой беды никто не замечал. Здесь просто голова шла кругом, опускались руки, глаза не могли охватить всего, что видели, одна мысль не могла догнать другую. Все здесь было так странно, чуждо, все куда-то стремились, отталкивая других, и каждый, кто не умел попасть в этот круговорот, должен был отлететь в сторону и разбиться, как глиняный горшок.

Что и говорить, разница громадная: в тихих Липинцах Вавжон был хозяином и гласным волостного суда; у него там была земля, его уважали люди, и обедал он каждый день; по воскресеньям он со свечой к алтарю выходил, а здесь он был последний человек, как приبلудный пес на чужом дворе, робкий, съезжившийся и голодный. В первые дни бедствия у него часто мелькала мысль, что в Липинцах было лучше. Совесть роптала: «Вавжон, зачем ты оставил Липинцы?» Зачем? Да затем, что бог его оставил. Нес бы он свой крест и терпел, если бы хоть вдаль был виден конец его крестному пути, но, увы, он знал, что каждый день будет все более суровым испытанием, и каждое утро солнце осветит еще большую нищету его и дочери. Так что же? Неужели ему только и остается ссучить веревку, помолиться и повеситься? Он-то не боится смерти, не закрывает глаз перед нею, но что будет с дочерью? Думая об этом, он чувствовал, что его не только оставил бог, но ум оставляет. Не было никакого просвета в окружающем его мраке, а самого большого страдания он не смел даже назвать.

Этим самым большим страданием была тоска по Липинцам. Она терзала его днем и ночью, и терзала тем страшнее, что Вавжон не знал, что это такое, чего ему надо, к чему рвется его душа, изнывая от муки; а ему нужен был сосновый лес, нужны были поля, крытые соломой хаты и близкие, знакомые люди – все то, над чем простирается родное небо и к чему сердце уж как прильнет, так и не оторвется, а если оторвется, то истекает кровью. Чувствовал он, будто что-то давит его к земле. Порой он готов был рвать на себе волосы и биться головой об стену, или броситься на землю и выть, как пес на цепи, или звать кого-то на помощь, но кого – он и сам не знал. Вот уже сгибается он под этим неведомым бременем, вот уже падает, а тут чужой город все гудит, гудит; стонет и Вавжон, взывает к Христу, а тут и креста нигде нет, никто не отвечает, только город все гудит, гудит, а там, на соломе, сидит голодная дочь, уставясь глазами в землю, и молча страдает. Странное дело! Они почти не расставались: сидят, бывало, по целым дням вместе и даже словом не обмолвятся, будто затаили обиду друг против друга. Худо и тяжело им было так жить, но о чем им было говорить? Не о том ли, что нет уже ни монетки в кармане, ни картофелины в печке, ни мысли в голове?.. Не надо беречь сочащиеся раны.

Помощи они ни от кого не имели. Поляков в Нью-Йорке очень много, но никто из более-менее состоятельных не живет в этом районе. Неделю спустя после приезда они, правда, познакомились с двумя польскими семьями: одной – из Силезии, другой – из Познани, но те и сами умирали с голоду. У силезцев умерло уже двое детей, а третий ребенок хворал и вот уже две недели спал вместе с родителями под мостом; питались же они только тем, что находили на улицах. Потом их забрали в больницу, и неизвестно, что с ними случилось. Другой семье тоже жилось плохо, пожалуй, даже еще хуже, так как глава семьи пил; Марыся, пока могла, помогала его жене, но теперь и сама нуждалась в помощи.

Правда, они могли бы обратиться в польский костел. Ксендз, по крайней мере, сообщил бы о них своим прихожанам, но откуда ж им было знать, что здесь существует костел или польский ксендз; разве могли они с кем-нибудь поговорить, что-нибудь разузнать? Таким образом, каждый потраченный цент был для них как бы ступенью лестницы, ведущей в бездну нищеты.

И так они молча сидели – он у печки, она на соломе. Прошел час, другой. В комнате становилось все темнее; был еще день, но с моря поднялся туман, тяжелый и пронизывающий, как всегда весенней порой. На улице уже было тепло, а здесь, в этой комнате, оба они дрожали от холода; наконец Вавжон отчаялся найти что-нибудь в остывшей золе.

– Марыся, – проговорил он, – мне уже неважно стало, да и ты замучилась, пойду к морю щепок наберу; хоть печку затопим, а может, и найду что из еды.

Она ничего не ответила, и старик ушел. Вавжон научился уже ходить в порт и вылавливать обломки досок от ящиков, выброшенных с пароходов, которые выносила на берег вода. Так делают все, кому не на что купить уголь. Иной раз при этой ловле его угощали пинками, а иной раз обходилось благополучно; случалось, что он находил и какие-нибудь объедки или остатки прогнивших овощей, выброшенных с судов. А главное, бродя в тумане в поисках неведомо чего, минутами он даже забывал о своих бедствиях и о той тоске, которая мучила его больше всего. Когда он пришел к морю, было время ленча, и на берегу оставалось только несколько мальчишек; они, правда, сразу же подняли крик, стали бросать в него комками грязи и ракушками, но поколотить его не могли. На воде колыхалось много дощечек, волны то прибывали их к берегу, то уносили вдаль. Вавжон скоро наловил их достаточное количество.

На воде покачивались еще кучки какой-то зелени, может быть и съедобные, но они были слишком легки и не подплывали к берегу, так что он не мог их достать. Мальчишки закидывали на них веревки и таким образом притягивали к себе. А у Вавжона не было веревки, и потому он только жадно смотрел, ждал, когда мальчишки уйдут, и рылся в мусоре, поедая то, что казалось ему съедобным. О том, что дочь его тоже не ела, он забыл.

Однако на этот раз судьба ему улыбнулась. Возвращаясь домой, он наткнулся на большой воз с картофелем, который по пути в порт завяз в выбоине и не мог сдвинуться с места. Вавжон, не задумываясь, ухватился за колеса, помогая вознице вытащить воз. Тяжело ему было, даже поясницу заломило, потому что воз был нагружен доверху, но вот наконец лошади рванули, воз выскочил, и с него посыпалось прямо в грязь довольно много картошки. Возница и не подумал ее собирать, поблагодарил Вавжона за помощь и, стегнув лошадей, поехал.

Вавжон бросился собирать картофелины, жадно хватая их дрожащими руками, спрятал за пазуху и сразу повеселел.

Когда человек умирает с голоду, найденный кусок хлеба кажется ему счастьем. Так и Вавжон, возвращаясь домой, тихо бормотал:

– Ну, слава богу! Смилостивился он над нашим горем. Дрова есть, дочка печку затопит, а картошки столько, что дня на два хватит. Бог милостив! Сейчас у нас веселей станет. Марыся моя два дня не ела, вот обрадуется!

Так, разговаривая сам с собой, он в одной руке нес доски, а другой то и дело ощупывал, не падает ли у него из-за пазухи картофелина. Это было целое сокровище для него, и крестьянин с благодарностью подымал глаза к небу, бормоча:

– Думал я: воровать пойду, а тут без воровства само с воза упало. Бог милостив! Вы, дескать, не ели, так ешьте. Марыся мигом встанет, как узнает, что я картошку принес.

После ухода отца Марыся не двигалась с места. Когда он с утра ходил за дровами, девушка топила печку, приносила воду, ела, что было дома, а потом часами смотрела в огонь. Вначале и она искала работу. Ее было даже наняли в какую-то харчевню мыть посуду и мести пол, но распоряжения ей делали по-английски, она, не понимая их, делала не то, что велят, и дня через два ее прогнали. Потом она уже ничего не искала. По целым дням сидела она одна, боясь выйти из дому, потому что на улице к ней приставали ирландцы и пьяные матросы. Эта вынужденная праздность делала ее еще более несчастной. Тоска грызла ее, как ржавчина железо. Она была даже более несчастна, чем Вавжон, потому что, кроме голода и всевозможных лишений, кроме мучительного сознания, что им неоткуда ждать помощи и спасения, кроме страшной тоски по Липинцам, ее еще терзала мысль о Яське. Правда, он клялся ей в верности и говорил: «Куда ты пойдешь, туда и я пойду». Но тогда она ехала в надежде стать помещицей и барыней, а как страшно теперь все изменилось!

Ян работал батраком у помещика, но была у него и своя земля, а она так обеднела, так изголодалась, как мышь в липинецком костеле. Приедет ли он? А если и приедет, прижмет ли ее к груди? Скажет ли: «Бедняжка ты моя, сердечная» или «Пошла прочь, нищенка!»? И какое же у нее теперь приданое? Одни лохмотья. Теперь бы на нее и в Липинцах лаяли собаки, и все же как ее туда тянет, ах, как тянет! Душа так и рвется, так и полетела бы туда резвой ласточкой, и хоть умереть потом, лишь бы там. Там он, Ясь, и помнит ли он ее или позабыл, но она-то помнит его и любит, только с ним она была бы счастлива и покойна, с ним одним на всем божьем свете.

Когда топилась печка и голод не томил так сильно, как сегодня, пламя, шипя и стреляя искрами, говорило девушке о Липинцах и напоминало ей, как прежде она с подругами сидела за прялкой. Ян, выглядывая из боковушки, говорил: «Пойдем, Марыся, к ксендзу, уж больно ты мне мила!» А она отвечала: «Молчи ты, озорник!» И так ей было хорошо, так весело на душе, кат; и в то время, когда он силой вел ее плясать на середину избы, а она, закрывая глаза руками, шептала: «Отвяжись ты, мне стыдно!»

Раньше, когда пламя напоминало об этом, слезы текли у нее по лицу, а теперь ни огня не было в печке, ни слез у нее на глазах, потому что все слезы она уже выплакала. Иногда ей казалось, что слезы плывут ей прямо в грудь и там ее душат.

Она была очень изнурена и слаба, даже думать у нее не хватало сил, и она покорно страдала и только смотрела большими глазами грустно-грустно, как птичка, которую мучают.

Так она смотрела и теперь, неподвижно сидя на охапке со-- ломы. Вдруг кто-то отворил дверь. Марыся, предполагая, что это отец, не повернула головы, пока не послышался чужой голос:

– Look here! [50]

Это был владелец трущобы, в которой они жили, старый угрюмый мулат, грязный и оборванный.

Увидев его, девушка испугалась. Они должны были уплатить вперед за будущую неделю, а у них не было не только доллара, но даже цента. Надеясь смягчить его покорностью, она подошла к нему и, поклонившись в ноги, поцеловала у него руку.

– Я пришел за долларом! – сказал хозяин.

Марыся поняла слово «доллар» и, отрицательно качая головой, не сводя с него молящего взгляда, пыталась ему объяснить, что у них вышли все деньги, что вот уже второй день они ничего не ели, что они голодны и чтобы он сжалился над ними.

– Бог вас за это наградит, – прибавила она по-польски, не зная уже, что сказать и что делать.

Мулат понял только одно: что доллара он не получит, и понял это настолько, что, захватив узелки с их вещами в одну руку, другой подтолкнул девушку к лестнице и, выгнав на улицу, бросил ей вещи под ноги. Потом с тем же хладнокровием открыл дверь в прилегающий к его дому кабак и крикнул:

– Эй, Падди, комната для тебя готова.

– All right! – ответил чей-то голос внутри. – Я приду ночевать.

Мулат исчез в темных сенях, а девушка осталась одна на улице. Она сложила свои узелки в какой-то нише, чтобы они не валялись в грязи, и, став возле них, покорно, как всегда, принялась ждать отца.

На этот раз пьяные матросы, проходя мимо, не приставали к ней. Улица была залита солнцем, и в лучах его лицо девушки казалось таким истощенным, точно она перенесла тяжелую болезнь. Только ее светлые, как лен, волосы были хороши по-прежнему, зато губы посинели, щеки ввалились, а под глубоко запавшими глазами легли черные тени, скулы заострились. Она казалась увядающим цветком, и видно было, что ей недолго осталось жить.

Прохожие смотрели на нее с некоторым состраданием. Старая негритянка спросила ее о чем-то, но, не получив ответа, ушла с обиженным видом.

Тем временем Вавжон спешил домой с тем добрым чувством, какое пробуждает в очень бедных людях очевидное доказательство божьего милосердия. Вот он несет дочери картофель; он думал, как они будут его есть, как завтра он опять пойдет в порт, куда приезжают возы, а о дальнейшем в эту минуту не думал, так как был слишком голоден.

Увидев издали дочь, стоявшую на тротуаре перед домом, Вавжон удивился и прибавил шагу.

– Ты чего здесь стоишь? – спросил он.

– Хозяин прогнал нас с квартиры!

– Прогнал?

Дрова вывалились у него из рук. Это было уже слишком. Прогнать их в ту минуту, когда есть дрова и картофель! Что же им теперь делать, где испечь картошку, что поесть, куда идти? Вслед за дровами Вавжон швырнул и шапку в грязь.

– Господи боже! – оторопело прошептал он, растерянно посмотрел на дочь и еще раз повторил: – Прогнал?

Потом хотел было куда-то идти, но раздумал и хриплым от гнева голосом сухо спросил:

– Что же ты его не просила, разиня?

– Я просила, – со вздохом ответила Марыся.

– И в ноги кланялась?

– Кланялась.

Вавжон закружился на месте, как червяк, когда его проколют. У него потемнело в глазах.

– А, чтоб ты пропала! – крикнул он.

Девушка с тоской взглянула на него.

– Я-то чем виновата?

– Стой тут и никуда не ходи. Я схожу сам, попрошу, чтобы он позволил хоть картошку испечь.

Он пошел. Через минуту в сенях послышался шум, топот, громкие голоса, и на улицу вылетел Вавжон, которого, видимо, вытолкала сильная рука.

С минуту он помолчал, потом коротко сказал:

– Пойдем.

Девушка наклонилась и подняла узлы. Для ее истощенных сил они были тяжелы, но отец ей не помог, точно забыл или не видел, что она не в состоянии их тащить.

Они пошли. Две такие жалкие фигуры – старик и девушка, наверно, привлекли бы внимание прохожих, если бы эти прохожие не так привыкли к виду нищеты. Однако куда же им идти? На какую еще муку?

Девушка дышала все тяжелее и прерывистее, потом зашаталась и наконец умоляющим голосом сказала:

– Возьми вещи, отец, я больше не могу.

Вавжон будто вдруг проснулся.

– А ты брось их!

– Да ведь могут пригодиться.

– Не пригодятся.

Внезапно обернувшись, он увидел, что девушка стоит в нерешительности, и с бешенством крикнул:

– Брось, не то убью!

Она послушалась, испуганная, и они пошли дальше. Старик несколько раз повторял:

– Если так, то будь что будет! – потом умолк, но что-то недоброе сверкало у него в глазах.

По узким, утопающим в грязи улочкам они вышли в порт, поднялись на длинный помост на сваях, прошли мимо домика с надписью «Приют моряков» и спустились к воде. В этом месте строился новый док. Высокая платформа, с которой вколачивали сваи, выступала далеко в море, а между досок и балок сновали люди, работавшие на стройке. Марыся не в силах была дальше идти и села на сваленные грудой балки; Вавжон молча сел подле нее.

Было уже четыре часа дня. В порту царило обычное оживление. Туман рассеялся, и яркое солнце залило светом и теплом двух бедняков. С моря веяло свежим, живительным дыханием весны. Кругом было столько лазури и света, что глазам становилось больно. Вдали морская гладь сливалась с небом. На этом лазурном фоне высились мачты и трубы пароходов, от дуновения ветерка развевались флаги. На горизонте шедшие в порт суда, казалось, подымались в гору, будто вынырнув из воды. В ярких лучах солнца распущенные паруса, словно облачка, сверкали ослепительной белизной на водной лазури. Другие суда уходили в океан, вспенивая за собой воду. Они шли в ту сторону, где были Липинцы, где было их утраченное счастье и покой. Вот и думала девушка, чем они так согрешили, чем прогневали господу бога, что он, такой милосердный, отвернулся от них обоих и бросил их тут, па далеком берегу, среди чужих людей. А будь на то его воля, он мог бы вернуть им счастье. Сколько судов уходят в ту сторону, а все уходят без них. Измученная Марыся снова унеслась горестной мыслью к Липинцам и Яську-конюху. Думает ли он там о ней? Помнит ли ее? Она-то помнит; забывают только счастливые, а в горе и одиночестве мысль вьется вокруг любимых, как хмель вокруг тополя. А он? Может, посмеялся над старой любовью и уже сватов заслал в другую хату? Верно, и думать постыдился бы о такой нищенке, как она, а у нее, и правда, нет ничего на свете, кроме «веночка из тимьяна», и никто уже не зашлет к ней сватов – разве только смерть.

Ей нездоровилось, поэтому она не очень чувствовала голод, но от слабости и душевной муки Марысей овладевала дремота. Глаза невольно закрывались, голова клонилась вниз. Минутами она просыпалась и открывала глаза, потом опять их

закрывала. Ей снилось, что, блуждая по каким-то ущельям, она свалилась в пропасть, как та Кася в крестьянской песне, что упала в Дунаец глубокий, и она тотчас услышала как бы продолжение этой песни:

То увидел Ясек на крутой горе,
К милой он спустился на шелковом шнуре,
Короток шнурок был, с аршин недостает.
Милому Марыся косу подает.

Тут Марыся внезапно проснулась: ей почудилось, что косы у нее нет и что она летит в пропасть. Сон рассеялся. Не Ясек сидел подле нее, а старый отец, и не Дунаец был перед ней, а нью-йоркский порт, верфи, леса, мачты и трубы. Какие-то суда уходили в открытый океан, и с них-то доносилось пение. Наступал тихий теплый весенний вечер. Вода и небо отливали пурпуром. Морская гладь стала зеркальной, каждый корабль, каждая свая отчетливо отражались в воде, и все вокруг было прекрасно. Счастье и великий покой были разлиты в воздухе; казалось, весь мир радуется – только они были несчастны и забыты; рабочие стали расходиться по домам – только у них не было дома.

Между тем голод все сильнее терзал Вавжона, сжимая его внутренности железной рукой. Он сидел мрачный, неподвижный, и вся его фигура выражала какое-то страшное решение. Всякий, кто взглянул бы на него теперь, испугался бы: от голода в лице его появилось что-то звериное или птичье, а вместе с тем оно было безнадежно спокойно, как у мертвеца. За все это время Вавжон не промолвил дочери ни слова, и, только когда настала ночь и порт обезлюдел, он как-то странно сказал:

– Пошли, Марыся!

– Куда? – спросила она сонным голосом.

– На помост. Там на досках и заночуем.

На помосте было совсем темно, и им пришлось пробираться ползком, чтобы не провалиться в воду.

В конце помоста была платформа из досок, а за ней таран для вколачивания свай. На этой платформе, защищенной навесом от дождя, обыкновенно находились рабочие, вколачивавшие сваи, но теперь там не было никого.

Подойдя к самому краю платформы, Вавжон сказал:

– Тут мы и будем ночевать.

Марыся не легла, а скорее повалилась на доски и, несмотря на рои moskitov, крепко уснула.

Внезапно среди ночи ее разбудил голос отца:

– Марыся, вставай!

Что-то было в его голосе такое, что она тотчас проснулась.

– Что, отец?

В ночной тишине и мраке голос старого крестьянина звучал глухо, страшно, но спокойно.

– Слушай, дочка,– говорил он. – Не помирать тебе больше с голоду. Не пойдешь ты к людям на порог просить хлеба, не будешь спать под открытым небом. Люди тебя забыли, бог тебя забыл, горе истомило, так пусть хоть смерть тебя приголубит. Вода тут глубокая, недолго тебе мучиться.

В темноте она не могла разглядеть лицо отца, но глаза ее широко раскрылись от ужаса.

– Утоплю я тебя, горемычную, и сам утоплюсь,– продолжал отец. – Никто нам тут не поможет, никто не пожалеет. Завтра уж ты не захочешь есть, завтра уж тебе лучше будет, чем сегодня...

Нет! Она не хотела умирать. Ей было только восемнадцать лет, и со всей силой юности она тянулась к жизни и страшилась смерти. Вся душа ее содрогнулась при мысли, что завтра она будет утопленницей, уйдет куда-то во тьму и будет лежать в воде среди рыб и гадов на илистом дне! Ни за что на свете! Нестерпимое отвращение и ужас охватили ее, а родной отец показался ей в этой темноте каким-то злым духом.

Между тем обе его руки опустились на ее исхудалые плечи, и он продолжал все с тем же страшным спокойствием:

– Кричи не кричи, никто тут тебя не услышит. Дай только спихну тебя – и все. «Отче наш» не прочитаешь.

– Я не хочу, отец, не хочу! – кричала Марыся. – Побойтесь вы бога! Родной мой, голубчик! Пожалейте мою молодость! Чем я вам не угодила? Ведь не жаловалась я на мою злую долю, а ведь с вами вместе терпела холод и голод... Отец...

Он тяжело дышал, руки его сжались, как клещи; дочь молила его все отчаянней:

– Смилуйтесь! Пожалейте меня! Пожалейте. Ведь я дочь вам родная, пожалейте меня, хворую, и так мне недолго жить на свете. Боюсь я, боюсь!

Марыся хваталась за сермягу и с мольбой прижималась губами к его рукам, к тем рукам, которые сталкивали ее в бездну. Но его, казалось, это только возбуждало. Спокойствие его перешло в безумие. Он захрипел и стал задыхаться. Минутами они оба затихали, и тогда слышалось только прерывистое дыхание, какой-то шорох и треск досок. Была глубокая, темная ночь, и помощи ждать было неоткуда; в этот дальний конец порта даже днем, кроме рабочих, никто не заходил.

– Смилуйтесь! Смилуйтесь! – отчаянно кричала Марыся.

В эту минуту Вавжон одной рукой с силой рванул ее к самому краю платформы, а другой стал бить по голове, чтобы заглушить ее крики. Но и так ее крика никто не услышал: лишь где-то вдали завывала собака.

Девушка почувствовала, что слабеет. Наконец ноги ее скользнули в пустоту, и только руки еще держались за сермягу отца, но уже онемели. Вопли ее становились

все тише, тише, наконец руки ее оторвались вместе с клоком сермяги, и Марыся почувствовала, что летит в бездну.

Однако, падая, она ухватилась за сваю и повисла над водой.

Старик наклонился и, страшно сказать, стал отдирать ее руки.

Множество мыслей, словно стая вспугнутых птиц, проносилось у нее в голове, мгновенно озаряя отдельные образы: Липинцы, колодец с журавлем, отъезд, пароход, буря, нищета в Нью-Йорке, наконец... но что же это с ней происходит? Она видит какой-то громадный пароход с приподнятым носом, на нем: толпа народу, а из этой толпы две руки протягиваются к ней. О господи! Да ведь это Ясек. Ясек протягивает ей руки, а над пароходом и над Ясеком улыбается мать божья. При виде этого она с криком расталкивает людей, стоящих на берегу: «Мать боясья! Ясек, Ясек!» Еще минута... В последний раз она смотрит на отца.

– Отец! Там мать божья! Там мать божья!

Еще минуточку – и протянутые к ней руки, те же руки, которые сталкивали ее в воду, хватают теперь ее за плечи и с нечеловеческой силой вытаскивают вверх. Опять она чувствует под ногами доску платформы, снова обнимают ее руки – руки отца, а не палача, и голова ее склоняется на отцовскую грудь.

Очнувшись от обморока, Марыся увидела, что отец лежит лицом вниз подле нее; все его тело сотрясали тяжкие, горькие рыдания, от которых, казалось, разрывалась его грудь.

– Марыся, – проговорил он наконец прерывающимся от рыданий голосом, – прости меня, дочка...

Девушка поднялась, нащупала в темноте его руку и, прижав к ней бескровные губы, прошептала:

– Да простит вас Иисус Христос, как я вас прощаю.

Из бледной полосы света, озарившего небосклон, выплывала большая, ясная, полная луна, и снова стало твориться что-то странное. Марыся увидела, как от луны отрываются роями, словно золотые пчелки, маленькие ангелочки и, шелестя крыльшками, спускаются к ней по лучам, мелькают, кружась, и поют детскими голосами:

– Отдохни, усталая девушка! Отдохни, бедная пташка! Цветик полевой, терпеливый и тихий, отдохни!

Распевая, они потряхивали над ней чашечками белых лилий и маленькими серебряными колокольчиками, которые нежно звенели:

– Спокойного сна тебе, девушка! Спокойного сна тебе! Сна... сна... сна!

И ей сделалось так хорошо, так светло и спокойно, что она уснула.

Ночь проходила и уже бледнела. Рассветало. Мачты и трубы стали выступать из мрака, как будто приближаясь. Вавжон стоял на коленях, склонившись над Марысей.

Он думал, что она умерла. Ее стройное тело лежало без движения, глаза у нее были закрыты, иссиня-бледное лицо застыло в странном спокойствии. Тщетно старик тряс ее за плечо: она не дрогнула, не открыла глаз. Вавжону казалось, что и он умрет, но, прикоснувшись ладонью к ее губам, он почувствовал, что она дышит. Сердце ее билось, хотя и слабо, однако он понял, что с минуты на минуту она может умереть. Если из утреннего тумана выглянет солнце и согреет ее, она очнется, иначе нет.

Чайки, словно горя, кружились над ней или садились на высившиеся вокруг столбы. Но вот подул теплый весенний ветерок и рассеял туман.

Взошло солнце. Золотые лучи его упали сперва на верхушки строительных лесов, потом, спустившись ниже, на помертвелое лицо Марыси. Казалось, они целовали ее, нежили и ласкали. В этом сиянии, в венке белокурых волос, рассыпавшихся в ночной борьбе, она была прекрасна, как ангел, да она в действительности и была ангелом.

Между тем из моря вставал чудесный розовый день, солнце пригревало все сильнее, ветер мягко, как бы с состраданием, обвевал девушку, чайки, кружась над ней, кричали, точно желая ее разбудить. Вавжон сбросил с себя сермягу и укутал ей ноги. Надежда затеплилась в его сердце.

Понемногу синева исчезла с ее лица, щеки порозовели, она улыбнулась и открыла глаза.

Тогда старый крестьянин стал на колени, поднял глаза к небу, и слезы ручьем потекли по его морщинистому лицу.

В эту минуту он почувствовал, что она теперь все для него – зеница его ока, святая святых, его сокровище, самое дорогое на свете.

Молодая девушка не только проснулась, но проснулась более крепкой и бодрой, чем накануне.

Чистый морской воздух оказался для нее более здоровым, чем отравленная атмосфера комнаты. Видно, она и на самом деле ожила, так как, усевшись на досках, сказала:

– Отец, я есть хочу.

– Ступай, дочка, на берег: может, что и найдешь, – проговорил старик.

Марыся встала без особого усилия, и они пошли. Но, видно, этот день должен был стать исключительным среди мрачных дней их бедствий; не успели они пройти несколько шагов, как увидели на лесах засунутый между балками платок, в котором оказались хлеб, вареная кукуруза и кусок солонины. Объяснялось это просто тем, что кто-то из плотников, строивших здесь суда, оставил себе на сегодня часть своего завтрака. У тамошних рабочих есть такое обыкновение, но Вавжон и Марыся объясняли это еще проще. Кто положил здесь хлеб? Они полагали, что это был тот, кто заботится о каждом цветочке, о каждой птичке, о каждом кузнечике и муравье, – бог!

Они помолились, поели, хоть маловато этого было на двоих и пошли по берегу к главным докам. Силы их отчасти восстановились. Дойдя до здания таможни, они повернули на Вотер-стрит к Бродвею. По дороге не раз отдыхали и таким образом дошли только часа через три, так как путь был дальний. Они шли, сами не зная зачем, но Марысе почему-то казалось, что им непременно нужно идти в город. По

дороге им повстречалась целая вереница нагруженных доверху возов, направляющихся к порту. На Вотер-стрит уже было немалое движение. То тут, то там отпирались ворота, и из них выходили люди, спешившие к своим повседневным делам. Из одних ворот вышел высокий седой господин с мальчиком. При виде Вавжоиа и Марыси на лице его выразилось крайнее удивление, он улыбнулся, зашевелил усами и стал внимательно разглядывать их обоих.

Человек, дружелюбно улыбающийся им в Нью-Йорке,— это было чудо, чуть не колдовство, при виде которого оба они остолбенели. Между тем седой господин подошел к ним и спросил по-польски:

— Откуда вы, добрые люди?

Словно гром грянул с ясного неба. Вавжон не отвечал, но побледнел как полотно и зашатался, не веря ни своим ушам, ни своим глазам. Марыся первая опомнилась и, упав в ноги старому господину, воскликнула:

— Из Познани, ваша милость, из Познани!

— Что же вы тут делаете?

— В нужде живем, в холоде и в голоде, горе мыкаем.

Тут Марысе изменил голос, она умолкла. Вавжон, в свою очередь, повалился в ноги господину и, целуя полу его сюртука, вцепился в нее, будто за край неба ухватился. Да ведь это свой, свой барин. Он не даст умереть им с голоду, спасет их, не даст им пропасть зря. Мальчик, сопровождавший седого господина, витаращил глаза, прохожие, окружив их, от удивления рты разинули, глядя, как человек перед человеком стоит на коленях, целуя ему ноги. В Америке это вещь небывалая. Но старый господин рассердился на любопытных зевак.

— Это не ваш бизнес,— сказал он им по-английски,— занимайтесь своим бизнесом.

— Потом обратился к Вавжону и Марысе: — Нечего вам стоять тут на улице, идите за мной.

Он привел их в ближайший трактир и там, в отдельной комнате, заперся вместе с ними и с мальчиком. Они снова бросились ему в ноги, наконец господин рассердился.

— Довольно,— проговорил он. — Мы ведь земляки с вами, дети одной... матери...

Тут, очевидно, дым от сигары, которую курил старый господин, стал есть ему глаза, он протер их кулаком и спросил:

— Не голодны вы?

— Мы уже два дня ничего не ели, да вот сегодня кое-что нашли на берегу.

— Вильям,— окликнул старый господин мальчика,— вели подать им есть.

Затем опять стал их расспрашивать:

— Где вы живете?

- Нигде, ваша милость.
- А где ночевали?
- На берегу.
- Вас с квартиры прогнали?
- Прогнали.
- У вас нет больше вещей, кроме тех, что на вас?
- Нет.
- А денег тоже нет?
- Нет.
- Что же вы будете делать?
- Не знаем.

Старый господин спрашивал быстро, как бы сердито, потом неожиданно обратился к Марысе:

- Сколько тебе лет, девушка?
- Скоро восемнадцать.
- Много ты натерпелась, а?

Она ничего не ответила и только смиренно склонилась к его ногам.

Старому господину, очевидно, дым опять попал в глаза.

В эту минуту принесли пиво и жаркое. Старый господин велел им сейчас же приняться за еду, а когда они ответили, что не смеют есть в его присутствии, он обозвал их дураками. Однако, несмотря на сердитый вид, он казался им ангелом с неба.

Наконец они стали есть, чем доставили ему видимое удовольствие. Потом он велел им рассказать, как они сюда попали и что пережили.

Вавжон рассказал ему все подробно, ничего не скрывая, как на исповеди ксендзу. Старый господин сердился, бранил его, а когда услышал, как Вавжон хотел утопить Марысю, крикнул:

- Я бы шкуру с тебя содрал!

Потом подозвал Марысю.

- Иди сюда, девушка!

Когда она подошла, он обхватил ее голову обеими руками и поцеловал в лоб. Затем,

подумав минуту, проговорил:

– Да, много вы горя хлебнули. Страна эта хорошая, только нужно уметь здесь устроиться.

Вавжон глаза на него вытаращил: почтенный и умный барин называл Америку хорошей страной.

– Да, да,– сказал тот, заметив удивление Вавжона,– страна эта хорошая, только не надо быть увальнем. Когда я сюда приехал, у меня ничего не было, а теперь есть кусок хлеба. Но вам, крестьянам, нужно свою землю пахать, а не по свету таскаться. Если вы уедете, кто же там останется? Приехать-то сюда легко, но вернуться трудно. А здесь вы никому не нужны.

С минуту помолчав, он проговорил словно про себя:

– Сорок с лишним лет я здесь живу и, конечно, стал забывать родину, а все же подчас тоскую по ней. Вильям непременно туда поедет, он должен узнать страну, где жили его предки... Это мой сын,– показал он на мальчика. – Вильям, ты привезешь с родины горсть земли и положишь мне под голову в гроб.

– Jes, father![51] – ответил по-английски юноша.

– И на грудь, Вильям, и на грудь!

– Jes, father!

Дым снова стал есть глаза старому господину, и на этот раз так сильно, что они наполнились слезами. Он рассердился:

– Ведь понимает шалопай по-польски, а предпочитает по-английски говорить. Что ж, ничего не поделаешь. Кто сюда попал, тот для родины уже потерян. Вильям! Ступай домой и скажи сестре, что у нас будут гости к обеду и останутся ночевать.

– Отправить их назад – большой расход, да и что их там ждет? Ведь продали все, что у них было... – значит, по миру пойдут. Отдать девушку в прислуги – тоже бог весть что может случиться. Раз уж они здесь, надо подыскать им работу. Пошлю их куда-нибудь в колонию: девушка мигом выйдет замуж. Вдвоем с мужем она прокормится, а захотят вернуться, так и старика возьмут. – Затем он обратился к Вавжону: – Слышал ты о наших здешних колониях?

– Не слыхал, ваша милость.

– Ну и народ! Как же вы решили ехать в Америку? О господи! Мудрено ли, что вы тут погибаете. В Чикаго таких, как вы, тысяч двадцать, в Мильвоки столько же, в Детройте и в Буффало тоже много. Но там работают па фабриках, а крестьянину лучше заняться земледелием. Разве послать вас в Новый Радом в Иллинойс? Гм... Но там уже трудно получить землю. Теперь в Небраске основывают какую-то Новую Познань в прериях, но это далеко. Проезд по железной дороге будет дорого стоить. Отправить вас в Техас... Но это тоже далеко. Лучше всего было бы в Боровину, тем более что я могу вам достать даровые билеты, а денег на первое устройство я вам дам.

Он опять глубоко задумался.

– Слушай, старик,– сказал он. – Теперь в Арканзасе основывают новую колонию под названием Боровина. Это хороший край, теплый и почти совсем не населенный. Там ты получишь от правительства сто шестьдесят моргов земли, тебе придется платить только небольшую сумму железнодорожной компании. Понятно? На хозяйство я тебе дам и железнодорожные билеты – это я могу. Вы доедете до города Литтл-Рок, а дальше придется ехать лошадьми. Там вы найдете других эмигрантов, которые поедут вместе с вами. Впрочем, я дам вам рекомендательное письмо. Я хочу тебе помочь, как брат, но твою дочь я жалею во сто раз больше, чем тебя. Понятно? Благодарите бога, что вы меня встретили. – Тут голос его смягчился. – Слушай, дитя,– продолжал он, обращаясь к Марысе. – Вот возьми мою визитную карточку и свято храни. Если когда-нибудь ты окажешься в нужде, если останешься одинокой и без крова, то поищи меня. Ты доброе дитя, и мне тебя жаль. Когда я умру, Вильям позаботится о тебе. Смотри же, не потеряй карточку. Ну, а теперь пойдете ко мне.

По дороге старый господин купил им белья и одежду, а потом привел к себе и накормил до отвала. Это был дом добрых людей, потому что и Вильям, и его сестра Дженни отнеслись к своим гостям, как к родным. Вильям обращался с Марысей словно с какой-нибудь леди, что ее очень смущало. Вечером к Дженни пришли ее подруги, молоденькие барышни с челками на лбу, хорошо одетые и милые. Они не отходили от Марыси, удивлялись ее бледности и красоте, ее светлым, как лен, волосам и тому, что она поминутно кланяется в ноги и целует им руки. Это их особенно сместило. Старый господин расхаживал между молодыми, покачивал своей белоснежной головой, ворчал, иногда сердился, говорил то по-английски, то по-польски, расспрашивал

Марысю и Вавжона о далекой родине, предавался воспоминаниям, и иногда дым от сигары, видимо, опять ел ему глаза, и он то и дело утирал их украдкой.

Когда пришла пора ложиться, Марыся не могла удержаться от слез, видя, как Дженни собственными руками готовит ей постель. «Ох, какие же это хорошие люди,– думала она,– хотя что тут удивительного! Ведь старый господин тоже родом из Познани».

На третий день Вавжон и Марыся ехали уже в Литтл-Рок. Зная, что у него в кармане лежит сто долларов, Вавжон совершенно забыл о перенесенных бедствиях, а Марыся видела во всем перст божий и верила, что бог не даст ей погибнуть и как ее вывел из беды, так и Яся приведет в Америку, не оставит их своей милостью и позволит вернуться в Липинцы.

Тем временем в окнах вагона мелькали все новые города и фермы. Здесь было совсем не похоже на Нью-Йорк. По обеим сторонам тянулись поля, вдали темнели леса, среди деревьев стояли домики, а за ними кругом зеленели хлеба, совсем как в Польше. При виде этого Вавжона охватило такое волнение, что ему хотелось крикнуть: «Эй вы, леса, зеленые поля!» На лугах паслись стада коров и овец, на опушках лесов суетились люди с топорами. Поезд летел все дальше и дальше, постепенно окрестности становились менее населенными, наконец фермы исчезли, и началась широкая пустынная степь. Ветер волнами проносился по траве и раскачивал цветы. Кое-где вились золотистыми лентами дороги, поросшие желтыми цветами, иногда проезжал по ним воз. Высокие сорняки кивали головками, словно приветствуя странников. В небе парили на широких крыльях орлы, зорко вглядываясь в степь. А поезд все летел вперед, как будто хотел долететь туда, где эти степные просторы сливались с небом. Перед окнами вагонов пробегали целые стада зайцев и кроликов. Порой из чащи трав выглядывала рогатая голова оленя. Нигде не было видно ни города, ни деревни, ни колокольни, одни только станции. Вавжон смотрел, качал

головой и не мог уразуметь, как это столько «добра», как он называл землю, пропадает зря.

Прошли первые сутки. Утром въехали в лес, в котором деревья были опутаны растениями толщиной в человеческую руку. Всевозможные птицы щебетали в этих зеленых чащах. В одном месте Вавжону и Марысе показалось, что посреди этих извилистых растений они видят каких-то всадников с перьями на головах и красными, точно медными, лицами. При виде этих причудливых деревьев, этих пустынных степей и безлюдных лесов, всех этих неведомых чудес и совершенно других, непохожих людей Вавжон наконец не утерпел и сказал:

– Марыся!

– Что, отец?

– Видишь?

– Вижу.

– А чудно тебе?

– Чудно.

Наконец они проехали реку под названием Миссисипи, как они после узнали, которая была раза в три шире Варты, и поздно ночью прибыли в Литтл-Рок.

Отсюда им предстояло пробираться в Боровину.

Здесь мы их на время оставим. Второй этап их скитаний за хлебом был окончен. Третий начнется в лесах, под стук топоров, в тяжелом труде и горестях поселенческой жизни. Будет ли в нем меньше слез, страданий и бедствий, об этом мы вскоре узнаем.

III

Жизнь в колонии

Чем была в ту пору Боровина? Колонией, которая только должна была возникнуть. А название, очевидно, придумали заблаговременно, и авторы его, несомненно, исходили из принципа, что раз существует название, то должна существовать и вещь. Незадолго перед тем польские и даже английские газеты, выходившие в Нью-Йорке, Чикаго, Буффало, Детройте, Мильвоки и Денвере – словом, везде, где можно услышать польскую речь, возвещали *urbī et orbī*[52] вообще, а польским колонистам в частности, что если кто желает быть здоровым, богатым и счастливым, хорошо есть и долго жить, а после смерти наверное попасть в царствие небесное, то пусть едет в земной рай, то есть в Боровину. Объявления гласили, что Арканзас, в котором будет основана Боровина, – край хотя и пустынный, но зато самый здоровый в мире. Правда, селение Мемфис, расположенное на самой границе, по другую сторону Миссисипи, является очагом желтой лихорадки, но согласно объявлениям ни желтая и никакая иная лихорадка не сумеют переплыть такую реку, как Миссисипи. На высоком берегу в Арканзасе ее нет еще и потому, что живущие по соседству индейцы немедленно сняли бы с нее скальп без всякого сострадания. Лихорадка дрожит при виде краснокожих. Благодаря такому стечению обстоятельств переселенцы в Боровине будут жить между лихорадкой, обитающей на востоке, и краснокожими, обитающими на западе, то есть в полосе совершенно нейтральной, а

следовательно, имеющей пред собой такое будущее, что через тысячу лет в Боровине будет, несомненно, миллиона два жителей, а земля, за которую теперь платят полтора доллара за акр, будет стоить приблизительно тысячу долларов за квадратный локоть.

Перед такими обещаниями и перспективами трудно было устоять. Тех, кого не слишком прельщало соседство индейцев, объявления заверяли, что воинственное и доброе племя питает особую симпатию именно к полякам, а потому переселенцы могут рассчитывать на самое любезное отношение к ним краснокожих. Наконец, известно, что стоит только по лесам и прериям провести железную дорогу и водрузить телеграфные столбы наподобие крестов, как эти кресты в самом скором времени становятся памятниками на могилах индейцев, а так как Боровина приобретена у железнодорожной компании, то исчезновение краснокожих является делом ближайшего будущего.

Боровина действительно ранее принадлежала железнодорожной компании, что гарантировало колонии связь с остальным миром, сбыт продуктов и вообще будущее развитие. В объявлении, правда, забыли указать, что железная дорога пока только проектируется и что именно продажа земельных участков, которые правительство давало железнодорожным компаниям в незаселенных местностях, должна была обеспечить, или, вернее, пополнить, ассигнованный на постройку капитал. Забывчивость эту, однако, легко объяснить сложностью дела. Впрочем, для Боровины это представляло лишь ту незначительную разницу, что она была расположена не на железной дороге, а в глухой пустыне, и ехать туда приходилось на лошадях, да и то с большими трудностями.

Из-за этой забывчивости могли возникнуть разные неприятности, по, конечно, неприятности только временные, которые должны прекратиться с проведением железной дороги. Наконец, известно также, что объявления в Америке нельзя понимать дословно, потому что, как всякое растение, пересаженное на американскую почву, прекрасно растет, но не дает плодов, так и реклама в американских газетах разрастается до такой степени, что иногда очень трудно найти хоть зернышко правды среди риторических плевел. Однако, отбросив все, что в объявлениях следовало счесть риторикой, все-таки можно было предположить, что Боровина будет не хуже тысячи иных колоний, о которых газеты писали с не меньшими преувеличениями.

Условия могли даже показаться в некоторых отношениях выгодными, вот почему множество лиц и даже целых польских семейств, рассеянных по всем Соединенным Штатам, от Великих озер до пальмовых лесов Флориды, от Атлантики до Калифорнийского побережья, записалось в число поселенцев будущей колонии. Мазуры из Пруссии, силезцы, эмигранты из Познани и Галиции, литовцы из-под Августова и мазуры из-под Варшавы, работавшие на фабриках в Чикаго и Мильвоки и давно уже мечтавшие о сельской жизни, воспользовались первым попавшимся случаем, чтобы вырваться из душных, прокопченных дымом и сажей городов и взяться за плуг и топор в бескрайних полях, лесах и прериях Арканзаса. Те, кому было слишком жарко в Техасе или слишком холодно в Миннесоте, чересчур сыро в Детройте или чересчур голодно в Иллинойсе, присоединились к первым, и вот несколько сот человек, преимущественно мужчин, но также и женщин с детьми, направилось в Арканзас. Название «Кровавый Арканзас» не особенно пугало поселенцев. Хотя правду сказать, основания для страха были, так как до сих пор страна эта изобилует воинственными индейцами, а также преступниками, разбойниками, бежавшими от правосудия, одичавшими колонистами, вопреки правительственным запрещениям вырубавшим леса у берегов Red River, и всякими другими авантюристами, ускользнувшими от виселицы;

и до сих пор западная часть этого штата славится жестокой борьбой между краснокожими и белыми охотниками на буйволов, а также страшным судом Линча. Однако мазур, когда ему в руки попадает дубинка и в особенности когда он знает, что и с боков и сзади у него стоят свои мазуры, не очень-то любит идти на уступки, а тому, кто станет ему поперек дороги, без церемонии крикнет: «Не лезь, не то так двину, что костей не соберешь!» Давно также известно, что мазуры ладят между собой и селятся так, чтобы Мацек к Мацеку мог в любую минуту прибежать на помощь с дубиной.

Сборным пунктом для большинства поселенцев был назначен город Литтл-Рок, по от него до ближайшего к Боровине селения было дальше, чем от Варшавы до Кракова, и, что еще хуже, туда нужно было ехать по безлюдной местности, продираясь сквозь густые заросли и переплывая разлившиеся реки. Несколько человек, которые не захотели ждать, пока все соберутся, и отправились в одиночку, пропали без вести, но остальные благополучно добрались и расположились лагерем в лесу.

По правде говоря, прибыв на место, поселенцы испытали глубокое разочарование. Они рассчитывали найти на участке, предназначенном для колонии, поля и леса, а нашли только леса, которые надо было корчевать. Черные дубы, красное дерево, платаны и мрачные гикоры росли здесь сплошной массой. Сквозь чащу невозможно было продаться: внизу разрослись какие-то кустарники, вверху вились лианы, которые, как канаты, переплели деревья, образуя то висячие мосты, то завесы, то гирлянды, усыпанные цветами, до того густые и плотные, что сквозь них ничего нельзя было разглядеть. Забретет кто-нибудь подальше в лес, а там и неба не видно, а темно так, что можно сразу же заблудиться и погибнуть. Мазуры посматривали то на свои кулаки, то на топоры, то на дубы аршин по десять – двенадцать в обхвате, и им становилось не по себе.

Не худо иметь много лесу, чтобы было из чего избу построить и чем печку топить, но одному человеку вырубить восемьдесят десятин леса, выкорчевать пни, вывезти их и тогда только взяться за плуг – это дело на долгие годы.

Но что было делать? Приходилось браться за эту работу. И вот на другой день после приезда кое-кто из Мазуров перекрестился, поплевал на ладони, схватился за топор, крикнул – да как махнет... С той поры с утра до ночи в арканзасском лесу слышался стук топоров, а подчас и песня:

Пробрался Ясек
К милой во двор:
«Пойдем же, Кася,
Со мною в бор,
В зеленый темный бор...»

Лагерь стоял у ручья, на большой поляне, избы решили строить четырехугольником по опушке леса, а посредине со временем построить костел и школу. Но до этого было еще далеко, а пока здесь стояли фургоны, в которых приехали семьи поселенцев. Фургоны эти устали треугольником, чтобы в случае нападения можно было защищаться, как в крепости. Вокруг фургонов на поляне паслись мулы, лошади, волы, коровы и овцы, которых охраняли молодые парни, вооруженные пистолетами и ружьями. Люди спали в фургонах или внутри треугольника у костра.

Днем в лагере оставались только женщины и дети, а о существовании мужчин можно было узнать только по стуку топоров, разносившемуся по всему лесу. По ночам в

чаще были дикие звери: ягуары, арканзасские волки и койоты. Страшные серые медведи, которые меньше других хищников боятся огня, иногда подходили довольно близко к фургонам; тогда в темноте раздавались ружейные выстрелы и крики: «Бей зверя!» Люди, прибывшие из Техаса, в большинстве были опытными охотниками, и сейчас, в пору весеннего кочевья зверей на север, они без труда могли кормить свои семьи мясом антилоп, оленей и буйволов. Остальные поселенцы питались преимущественно кукурузной мукой и солониной, привезенными из Литтл-Рока или Кларксвилла. Кроме того, били овец, которых закупила по дороге каждая семья.

По вечерам посреди поляны между фургонами разводили большой костер, и молодежь, поужинав, вместо того чтобы ложиться спать, пускалась в пляс. Какой-то музыкант привез с собой скрипку, на которой лихо играл обертас, а когда звуки скрипки терялись в шуме леса, остальные помогали музыканту по-американски – стуча в жестяные миски. Жизнь проходила в тяжелом труде, шумно и беспорядочно. Прежде всего необходимо было построить избы; и вот вскоре на зеленой мураве поляны встали срубы домов, а весь лагерь усеялся стружками, щепками и корой. Красное дерево оказалось вполне пригодным для постройки, но за ним часто приходилось ходить довольно далеко. Многие поселенцы устроили себе временные шатры из холста, снятого с фургонов. Иные, особенно неженатые, которым не так был нужен кров над головой и которым надоело корчевать пни, стали пахать в местах, где было меньше дубов и гикор. Тогда, впервые с тех пор как стоит арканзасский лес, разнеслись в нем окрики, которыми понукали волов.

На поселенцев свалилось столько работы, что неизвестно было, за что прежде браться: строить ли сначала дома, корчевать или ходить па охоту. С самого начала выяснилось, что уполномоченный колонистов купил землю у железнодорожной компании заглазно и раньше никогда здесь не был, иначе он не стал бы приобретать дремучий лес, тем более что так же легко было купить степную землю, только частью поросшую лесом...

Правда, и он, и уполномоченный железной дороги прибыли на место, чтобы размежевать участки и указать каждому его делянку, но, увидев, как обстоят дела, они дня два повертелись, затем перессорились и уехали в Кларксвилл якобы за землемерными инструментами, но больше уже в колонии не показывались.

Вскоре оказалось, что одни поселенцы уплатили больше, другие меньше, но, что еще хуже, никто не знал, где находится его участок и как размежевать землю. Поселенцы остались без всякого руководства, без всякой власти, которая могла бы упорядочить их дела и разрешить споры. Им было непонятно, как им надлежало работать. Немцам хотелось бы взяться всем вместе за рубку леса, затем на очищенном пространстве они поставили бы общими усилиями дома и тогда бы начали отмерять для каждого приусадебный участок. Что же до Мазуров, то каждый из них хотел сразу получить свою землю, строить свой дом и рубить лес на своем участке, к тому же каждому хотелось захватить место на поляне, где лес был реже и ближе вода. Из-за этого происходили споры, которые еще более разгорелись, когда однажды появился, как снег на голову, фургон некоего господина Грюнманского. Этот господин Грюнманский приехал из Цинцинната, где живут немцы, и там, вероятно, назывался просто Грюнман, но в Боровине прибавил себе «ский», должно быть, для того, чтобы лучше шла торговля. Фургон у него был крытый, с холщовым верхом, на котором по обеим сторонам чернела надпись крупными буквами: «Салун», а внизу меньшими буквами: «Бренди, виски, джин».

Каким образом фургон этот добрался невредим через опасную пустыню между Кларксвиллом и Боровиной, как его не ограбили степные разбойники и почему

индейцы, которые бродят небольшими отрядами возле Кларксвилла, не сняли скальп с головы господина Грюнманского – это осталось его тайной; важно то, что он приехал и с первого же дня дела его пошли отлично. И с этого же дня поселенцы начали ссориться. Ко множеству споров из-за участков, из-за орудий, из-за овец, из-за мест у костра прибавились недоразумения из-за совсем пустячных причин. Ни с того ни с сего в поселенцах заговорил некий провинциальный американский патриотизм. Пришельцы из северных штатов стали восхвалять свое прежнее местожительство, в то же время хуля колонии южных штатов, и наоборот. Вот тут-то можно было услышать образцы американско-польского диалекта, заштопанного английскими нитками всюду, где образовались прорехи в польской речи вследствие оторванности от родины и пребывания среди чужих.

– Что вы так расхваливаете свои южные кантри[53], – говорил, например, парень из Чикаго. – У нас, в Иллинойсе, куда ни взглянешь, везде рейбрэд[54], а если каром[55] милю проедешь, то тут тебе и сити[56]. Пойдешь на ферму, захочешь дом построить, незачем лес рубить, а купишь ламбер[57] – и баста, а у вас что?

– У нас один каньон[58] больше стоит, чем все твои поселки.

– Какого черта ты меня тычешь? Я там был «сир» и тут буду «сир», а ты кто такой?

– Потихе, а то возьму шингелс[59] либо утоплю тебя в крике[60], если злишься. Что тебе за бизнес до меня!

– Чего ты меня фулишуешь?[61] Нужен ты мне очень!

Вообще в колонии дела шли плохо, так как поселенцы напоминали стадо овец без пастуха. Споры из-за участков все учащались. Дело доходило до побоищ, в которых выходцы из одних городов или колоний объединялись против выходцев из других местностей. Правда, люди более опытные и более рассудительные постепенно приобретали авторитет и власть, но не всегда могли их удержать. Только в минуты опасности инстинкт самосохранения заставлял забывать ссоры. Когда однажды вечером какие-то индейцы украли с десятков овец, мужчины, не задумываясь, бросились в погоню всем скопом. Овец отобрали, а одного вора избили так, что вскоре он умер, и в этот вечер в лагере царил полнейший мир; но на следующее же утро опять поднялась драка, когда стали корчевать пни. Впрочем, мир наступал иногда и по вечерам, когда музыкант играл не танцы, а разные песни, которые каждый слушал в далеком прошлом, еще у себя дома, под соломенной кровлей. Сразу стихали разговоры. Крестьяне окружали музыканта, шум леса вторил ему, пламя костров шипело и стреляло искрами, а они стояли понуря головы, и души их улетали за море. Нередко луна уже высоко стояла над лесом, а они все еще слушали. Но за исключением этих кратких минут жизнь в поселении все более разлаживалась. Беспорядок возрастал, зародилась ненависть. Это маленькое общество, заброшенное среди лесов, почти оторванное от остального мира и оставшееся без руководителей, не могло и не умело найти выход из создавшегося положения.

Между поселенцами оказались и знакомые нам лица: старый крестьянин Вавжон Топорек и его дочь Марьяся. Попав в Арканзас, они делили судьбу других поселенцев Боровины. Сначала им жилось сравнительно недурно. Лес – не нью-йоркская мостовая, к тому же там у них ничего не было, а здесь был фургон, немного инвентаря, приобретенного по дешевке в Кларксвилле, необходимые земледельческие орудия. Там их терзала страшная тоска, здесь тяжелый труд не позволял мыслям отвлекаться от насущных потребностей. Вавжон с утра до вечера рубил лес и

обтесывал бревна для постройки дома. Марыся стирала в ручье белье, разводила костер и стряпала обед, но, несмотря на усталость, работа на свежем воздухе постепенно стирала с ее лица следы болезни, явившейся следствием нищенской жизни в Нью-Йорке. Горячие ветры из Техаса покрыли золотистым загаром ее бледное личико. Молодые парни из Сан-Антонио и с Больших Озер, затевавшие драку из-за любого пустяка, сходились только в одном: что глаза у Марыси светятся из-под русых волос, как васильки во ржи, и что красивее девушки не видывал свет. Красота Марыси оказалась на руку Вавжону. Он сам себе выбрал участок земли, где лес был пореже, и никто ему не препятствовал, потому что все парни были на его стороне. Не раз парни помогали ему и рубить лес, обтесывать бревна и ставить сруб, хитрый старик сразу понял, в чем дело, и время от времени говаривал:

– Ходит моя дочка по лугу, словно лилия, словно королева. Кому захочу, тому ее и отдам; да первому встречному не отдам, потому что она не кто-нибудь, а хозяйская дочь. Кто мне ниже поклонится да больше угодит, тому и отдам, а не какому-нибудь шалопаю.

И всякий, помогая ему, думал, что помогает себе.

Таким образом, Вавжону было даже лучше, чем другим, и было бы совсем хорошо, если бы колонии предстояло какое-нибудь будущее. Но дела там ухудшались с каждым днем. Прошла неделя, другая. Вокруг поляны срубили лес, земля покрылась стружками, кое-где уже желтели срубы, однако все это было пустяком в сравнении с тем, что оставалось сделать. Зеленая стена леса очень-очень медленно отодвигалась вглубь под натиском топоров. Люди, заглянувши в чащу, приносили странные слухи, будто этому лесу конца нет, что неподалеку начинаются страшные топи и какая-то спящая вода под деревьями, будто обитают там какие-то чудища, а в чаще колышутся, словно духи, какие-то испарения; шипят неведомые змеи, а невидимые голоса кричат: «Не ходи!», и какие-то дикие кусты хватают за платье и не пускают. Один парень из Чикаго утверждал, что видел черта, будто он высунул из болота страшную косматую голову и так на него зарычал, что тот едва ноги унес. Выходцы из Техаса толковали ему, что, наверное, это был буйвол, но парень не верил. Таким образом, к неурядицам прибавились еще и суеверия. Через несколько дней после встречи с чертом два смельчака отправились в лес – и больше их уже в лагере не видели. Несколько человек надорвались на тяжелой работе, а потом заболели лихорадкой. Ссоры из-за участков обострились до такой степени, что дело доходило до кровопролития. Ссорились также и из-за скота, захватывали у тех, кто своевременно не поставил клейма. Лагерь распался, теперь поселенцы поставили свои фургоны по всем углам поляны, чтобы быть подальше друг от друга. Никто не знал, чья очередь сторожить скот, и вскоре стали пропадать овцы. Становилось все более очевидным, что пока солнце встанет, роса очи выест – пока зазеленеют посевы на лесных вырубках и появится приплод у скота, съестные припасы кончатся и настанет голод.

Люди приходили в отчаяние. Реже стучали в лесу топоры, уже иссякло терпение и мужество. Работал бы каждый, кому было бы сказано: «Вот, до сих пор твое». Но никто не знал, что принадлежит ему, что другому. Все чаще слышались справедливые нарекания на уполномоченных. Люди жаловались, что их завели сюда в лес на погибель. Мало-помалу все, у кого еще оставался хоть грош за душой, садились в фургоны и уезжали в Кларксвилл. Но больше было таких, которые потратили все деньги на переселение, и им не на что было возвращаться. Они ломали руки в отчаянии, предвидя неизбежную гибель.

Наконец рубка совсем прекратилась, а лес шумел, словно насмехаясь над слабостью

людской. «Руби два года, а потом с голоду помирай»,— говорили друг другу крестьяне. А лес все шумел, словно насмеялся над ними.

Однажды вечером Вавжон пришел к Марысе и сказал:

— Видать, всем тут погибать, да и нам не миновать.

— На все воля божья,— ответила девушка,— до сих пор бог миловал нас, так, может быть, и теперь не оставит.

Она подняла свои синие, как васильки, глаза к звездам и при свете костра казалась точно святой. Парни из Чикаго и охотники из Техаса, глядя на нее, говорили:

— И мы тебя не оставим, Марыся, зорька ты наша румяная.

А девушка в это время думала, что есть только один-единственный, с которым она пошла бы на край света, это Ясек из Липинец. Но он, хоть обещал селезнем переплыть за нею море, птицей прилететь по небу, золотым перстеньком покатиться по дороге, не приплыл к ней, не прилетел и, верно, забыл ее, горемычную.

Марыся не могла не видеть, что в колонии дела идут плохо, но она в таких уже побывала омутах, из таких пропастей бог ей помог выбраться, что никто не мог поколебать ее уверенность в небесной помощи.

Кроме того, она вспоминала, что старый пан в Нью-Йорке, который помог им выбраться из нужды и приехать сюда, дал ей свою визитную карточку, сказав, что, когда у нее будет горе, пусть она обратится к нему, а он ей всегда поможет.

Между тем положение в колонии с каждым днем ухудшалось. Люди убегали по ночам, и что с ними было потом — неизвестно. А вокруг лес шумел и насмеялся.

Но вот надорвался и старый Вавжон. Два дня он перемогался, боль переходила из позвонка в позвонок, а на третий день он уже не мог встать. Марыся пошла в лес, принесла мху, устлала им сколоченные бревна, уложила отца на эту постель и стала ему готовить какое-то снадобье с водкой.

— Марыся,— бормотал старик,— смерть уже идет ко мне из лесу; останешься ты сиротой одинокой на свете. Господь наказал меня за грехи мои тяжкие, за то, что увез я тебя за море и погубил. Тяжко мне будет помирать...

— Полно, отец,— отвечала девушка,— меня бы господь наказал, если бы я не пошла за тобой.

— Только бы мне одну тебя не оставить: отдал бы я тебя замуж, мне бы легче было помирать. Выходи за Черного Орлика, дочка, добрый он парень и тебя не оставит.

Черный Орлик, лучший техасский охотник, услышав слова старика, бросился на колени.

— Благослови, отец,— сказал он,— люблю я эту девушку, как свою долю. А жизнь в лесу я знаю и не дам Марысеньке пропасть.

Стоя на коленях, он смотрел на Марысю, как на икону, но она поклонилась старику

до земли и проговорила:

– Не невольте меня, отец: кому я поклялась, тот и будет мне мужем, а больше никто.

– Кому ты клялась, тот не будет твоим мужем, потому что я его убью,— ответил Орлик. — Моя ты будешь, Марыся, моя или ничья. Все мы тут пропадем, и ты пропадешь, ежели я тебя не спасу.

Черный Орлик был прав: колония действительно приближалась к гибели. Прошло еще недели две, съестные припасы кончились. Поселенцы били уже и рабочий скот. Начала свирепствовать лихорадка. Люди то проклинали судьбу, то зывали к небу о спасении. Однажды в воскресенье старики, молодые парни, женщины и дети, преклонив колени в траве, стали хором молиться. Верхушки деревьев перестали раскачиваться; лес, казалось, слушая, смолк. И только когда голоса утихли, он снова грозно зашумел, как бы говоря: «Я тут царь, я властелин, я тут сильнее всех!»

Но Черный Орлик, который немало лет провел в лесу, поднял на него свои черные глаза и, странно поглядев, промолвил:

– А ну-ка поборемся, кто кого...

Люди, в свою очередь, поглядели на Орлика, и надежда затеплилась в их сердцах. Многие знали его еще в Техасе и питали к нему большое доверие, так как он даже в Техасе славился как лучший охотник. Парень действительно одичал в степях и был крепок как дуб. На медведя он ходил один на один. В Сан-Антонио, где прежде жил Орлик, все знали, что нередко он уходил с ружьем месяца на два и всегда возвращался целым и невредимым. Черным его прозвали за смуглый от загара цвет кожи. Одно время даже поговаривали, будто он разбойничал на мексиканской границе, но это была неправда. Орлик приносил только звериные шкуры и иногда индейские скальпы, пока местный священник не пригрозил ему отлучением от церкви. Теперь в Боровине он один ни на что не обращал внимания и ни о чем не тревожился. Лес кормил его, поил и одевал.

И вот, когда поселенцы, потеряв голову, стали разбегаться, Орлик при поддержке остальных техасцев постепенно все прибрал к своим рукам. Когда он вызвал лес на бой, у всех мелькнула мысль: Орлик что-нибудь придумает.

Между тем солнце уже заходило. В вышине на черных ветвях железного дерева еще горели золотые лучи, потом они побагровели и, наконец, погасли. Дул северный ветер. Когда стемнело, Орлик взял ружье и ушел в лес.

Уже настала ночь, когда вдалеке, в черной лесной чаще, показалась большая золотая звезда, словно алела заря или всходило солнце; она росла со страшной быстротой, разливая кроваво-красное зарево.

– Лес горит! Лес горит! – слышались крики в лагере.

Тучи птиц с шумом поднялись со всех сторон леса, пронзительно свистя, щебеча и каркая. Скот в лагере жалобно замычал, выли собаки, люди метались в ужасе, не зная, не на них ли идет пожар, но сильный южный ветер гнал пламя в другую сторону. Тем временем вдали заалела вторая звезда, потом третья. Вскоре они слились с первой, и пожар забушевал на огромном пространстве. Пламя растекалось,

как вода, перебегало по сухим гирляндам лиан и дикого винограда, захватывая листья. Ветер срывал горящие листья, и они неслись, словно огненные птицы по всему лесу. Деревья раскалывались в пламени со страшным грохотом, напоминавшим пушечные выстрелы. Шум, треск ветвей, глухой рев огня, крик птиц и рычания зверей наполняли воздух. Громадные деревья раскачивались, точно столбы пламени. Перегоревшие на сгибах лианы срывались сверху и, размахивая пылающими, как сатанинские руки, ветвями, перекидывали искры и огонь с дерева на дерево. Небо побагровело, словно и там был пожар. Стало светло, как днем. Сплошное море огня хлынуло на лес, неся гибель и смерть, словно гнев божий.

Дым, жар и запах гари наполнили воздух. Люди в лагере, хотя им не угрожала опасность, заметались в тревоге, окликая друг друга.

Вдруг из пылающего леса показался в искрах и пламени Черный Орлик. Его закопченное дымом лицо было грозно.

Он встал в кругу поселенцев, которые обступили его, и, опершись на оружие, сказал:

– Больше вам не придется рубить лес. Я его сжег. Завтра у вас будет вдоволь земли.

Потом, подойдя к Марысе, проговорил:

– Ты должна быть моею, потому что я тот, кто сжег лес. Кто здесь сильнее меня?

Увидев его ярко горящие глаза, девушка задрожала всем телом, таким страшным он ей показался.

Впервые с минуты приезда в Боровину она благодарила бога, что Ясь далеко в Липинцах.

Между тем пожар распространялся все дальше и дальше, небо хмурилось, собирался дождь.

На рассвете кое-кто из поселенцев отправился было посмотреть пожарище, но нестерпимый жар не позволял близко подойти к лесу. На следующий день дым от пожара висел в воздухе, точно густой туман, так что в нескольких шагах человек не видел человека. Ночью стал накрапывать дождь, который вскоре перешел в страшный ливень. Быть может, пожар способствовал скоплению туч, но, кроме того, пора была весенняя, когда на нижнем течении Миссисипи и на реках Арканзас и Красной всегда идут сильные дожди. Вызывается это испарением воды, которой изобилует болотистый Арканзас, особенно весной, когда в далеких горах тают снега и разливаются ручьи и озера. От ливня поляна размякла и мало-помалу превратилась в пруд.

Люди мокли по целым дням и начали хворать. Часть поселенцев решила покинуть колонию и отправилась в Кларксвилл, но вскоре вернулась с известием, что река разлилась и переехать на другой берег невозможно. Положение становилось угрожающим: со времени прибытия поселенцев прошел уже месяц, съестные припасы подходили к концу, а ехать в Кларксвилл за новым транспортом было немыслимо,

Только Вавжону и Марысе голод угрожал меньше, чем другим, так как их оберегала могущественная рука Черного Орлика. Каждый день он приносил им по утрам дичь,

которую бил из ружья или ловил в капканы; над бревенчатым настилом, на котором лежал Вавжон, Орлик раскинул свой шатер, чтобы защитить от дождя старика и Марысю.

Приходилось пользоваться помощью Орлика, которую он почти навязывал, и вместе с тем обязываться ему, потому что денег он не брал и только настойчиво добивался руки Марыси.

– Разве я одна на свете,– говорила девушка,– ищи себе другую, как и я нашла другого.

Но Орлик отвечал:

– Хоть бы я весь свет исходил из конца в конец, другой такой, как ты, не найду. Ты для меня единственная на свете и должна быть моею. Ну, что ты будешь делать, когда отец умрет? Придешь ко мне, придешь сама, и я тебя схвачу, как волк ягненка, и унесу в лес, но не растерзаю, нет. Ты будешь моей, моя единственная. Кто тебя отнимет у меня? Кого я тут боюсь? Пусть приезжает твой Ясь: я хочу, чтобы он приехал сюда!

Что касается Вавжона, то Орлик был, видимо, прав. Старику становилось хуже день ото дня, порой он бредил, говорил о своих грехах, о Липинцах и о том, что бог ему не позволит их увидеть. Марыся проливала слезы над ним и над собой. Обещание Орлика поехать с ней хотя бы в Лиинцы, только бы она вышла за него замуж, было ей не радостно, а горько. Вернуться в Лиинцы, где живет Ясько, и вернуться чужой – ни за что! Лучше здесь умереть, под первым попавшимся деревом. Ей казалось, что так это и будет.

Тем временем новая угроза нависла над поселенцами.

Дождь все усиливался. Однажды в глухую ночь, когда Орлик, по обыкновению, ушел в лес, по лагерю пронесся отчаянный крик: «Вода! Вода!» Сразу проснувшись, поселенцы увидели белешую в темноте воду, которая с шумом плескалась о деревья. Тусклый рассеянный свет поблескивал сталью на бурно вздымавшихся волнах. С берега, где торчали пни, и из сожженного леса доносился шум стремительно хлынувшего потока. Со всех сторон послышались крики. Женщины и дети забирались в фургоны, мужчины во весь дух бежали па западный край поляны, где еще не были вырублены деревья. Вода уже доходила им до колен и быстро подымалась. Шум, доносившийся из лесу, все усиливался, смешиваясь с воплями ужаса, окликами и мольбами о спасении. Вскоре уже и крупный скот стал отступать под напором волн, перебегая с места на место. Течение становилось все стремительнее. Водой унесло овец, которые с жалобным блеянием призывали на помощь, пока не исчезли среди деревьев. Дождь лил как из ведра, и с каждой минутой положение становилось все более угрожающим. Отдаленный рокот сменился яростным ревом и гулом разбушевавшихся волн. Фургоны сотрясались под их ударами. Очевидно, река Арканзас и все ее притоки вышли из берегов. Это был не обычный ливень, а потоп: вода хлынула в лес и вырывала деревья с корнями, разбушевались стихии и несли ужас, мрак и смерть.

Один из фургонов, стоявший на опушке сожженного леса, упал. Послышался душераздирающий вопль находившихся в нем женщин: «Спасите!» Почти в ту же минуту несколько мужчин соскочили с деревьев и бросились на помощь, но волны подхватили их, закружили в водовороте и унесли в лес на погибель.

В иных фургонах женщины взобрались на полотняные крыши. Дождь шумел все громче, мрак сгущался. По бушующим волнам пронеслся то древесный ствол с вцепившейся в него человеческой фигурой, то темный силуэт зверя; то чья-то рука, на мгновение высунувшись из воды, исчезала в ней навсегда.

Яростный гул воды все возрастал, заглушая п отчаянный рев тонущих животных, и крики: «Иисусе! Иисусе, Мария!» На лугу образовались водовороты и омуты, фургоны исчезли.

Но что же случилось с Вавжоном и Марысей? Бревенчатый настил, на котором старик лежал в шатре Орлика, спас их, поплыв, как плот. Волны сначала покружили его по всей поляне, а затем понесли в лес, плот ударило об одно дерево, о другое и унесло течением куда-то в темную даль. Девушка, стоя на коленях подле больного отца, простирала руки к небу, взывая о помощи, но отвечали ей только удары волн, гонимых ветром... Шатер сорвало... да и плот мог разбиться с минуты на минуту, так как и впереди него, и сзади плыли вырванные с корнями деревья, которые могли их смять пли опрокинуть... Наконец плот врезался в какое-то дерево, и в ту же минуту с верхушки его, которая едва выступала из воды, послышался чей-то голос:

– Возьми ружье, и оба перейдите на ту сторону, чтобы плот не накренился, когда я прыгну...

Едва они исполнили приказание, как кто-то спрыгнул с дерева на плот. Это был Орлик.

– Марыся,– проговорил он твердо,– я сказал, что не оставлю тебя, и сдержал слово. Даст бог, спасу вас и от этой беды.

Он достал из-за пояса топор, срубил крепкий прямой сук, в один миг сделал из него нечто вроде весла, оттолкнулся от дерева и стал грести. Выбравшись на стремнину, они понеслись с быстротой молнии – куда? Они и сами не знали, но плыли. Время от времени Орлик отбрасывал в сторону попадавшие стволы и ветви или поворачивал плот, огибая стоявшее на пути дерево.

Его огромная сила, казалось, удвоилась, а зоркие глаза даже в темноте замечали малейшую опасность. Проходили часы, на месте Орлика всякий иной упал бы в изнеможении, а в нем даже не чувствовалось усталости. К утру они выбрались из лесов, и пред ними открылся широкий простор, без единого дерева. Зато вся окрестность казалась сплошным морем. Чудовищные желтые волны, покрытые гребнями пены, с ревом вздымались среди водной пустыни. Брезжил рассвет. Орлик, убедившись, что поблизости нет ни одного дерева, на минуту перестал грести и, повернувшись к Марысе, сказал:

– Теперь ты моя, потому что я вырвал тебя у смерти.

Голова его была обнажена, а мокрое лицо, разгоревшееся от борьбы с водой, дышало такой несокрушимой силой, что Марыся впервые не решилась ему напомнить о своем обете другому.

– Марыся,– мягко проговорил Орлик.– Марыся, моя ненаглядная!

– Куда мы плывем? – спросила девушка, чтобы переменить разговор.

– Эх, да не все ли равно! Лишь бы с тобой... желанная...

– Гребни, пока смерть еще близко.

Орлик снова взялся за весло. Между тем Вавжону становилось все хуже и хуже. Минутами его бросало в жар, потом жар спадал, но он делался все слабее и слабее. Слишком много лишений извело это старое, изможденное тело, и вот приближался конец и великий вечный покой. В полдень он проснулся и сказал:

– Марыся, видно, мне уже не дожить до завтрашнего утра. Ох, дочка, дочка! Лучше бы я не уезжал из Липинцев и не увозил бы тебя! Но бог милостив! Немало я горя видел, так авось он простит мне мои грехи. Схороните меня, как сможете, а тебя пусть Орлик свезет к старому господину в Нью-Йорк. Он добрый, пожалеет тебя, попроси у него на дорогу и поезжай в Липинцы. А я уже не вернусь. Боже, боже милосердный, дай хоть душе моей, словно птице, полететь в родные края...

Через минуту у него начался бред, он забормотал слова молитвы, но вдруг вскрикнул: «Не бросайте меня в воду, как пса». Потом ему, очевидно, вспомнилось, как он хотел утопить Марысю, и он взмолился: «Дочка моя, прости ты меня! Прости!..»

Девушка сидела у изголовья умирающего и рыдала... Орлик греб по-прежнему, но и его душили слезы.

К вечеру небо прояснилось. На закате солнце показалось над затопленной местностью, отражаясь в воде длинной золотистой лентой. Старик умирал. Бог, однако, смиловался над ним и послал ему тихую, легкую смерть. Сначала Вавжон жалобным голосом повторял: «Уехал я из родной земли», но потом в бреду ему показалось, что он возвращается на родину. Вот чудится ему, будто старый господин в Нью-Йорке дал ему денег на дорогу и на покупку земли и они едут с Марысей назад, на родину. Они на океане, корабль плывет день и ночь, матросы поют. Потом он видит порт в Гамбурге, из которого они выехали, какие-то города мелькают у него перед глазами, вокруг звучит немецкая речь, но поезд летит вперед, и Вавжон чувствует, что он все ближе к дому, от радости у него ширится грудь, иным, милым ароматом повеяло с родной стороны. Но что это? Уже граница? Бедное крестьянское сердце стучит, как молоток... Скорей, скорей! Боже мой, боже! Да вон уже поле, вон и груша Мацека... родные серые избы и костелы. Вот неподалеку крестьянин в барашковой шапке ходит за плугом. Вавжон протягивает к нему руки из вагона: «Хозяин! Хозяин!..», но не может ни слова вымолвить... Едут дальше. А там что? Город Пширембле, и за ним Липинцы. Они идут с Марысей по дороге и плачут. Уже весна. Цветет рожь... жужжат майские жуки... в Пширембле звонят в костеле... О господи! За что столько счастья ему, грешному? Еще перейти вон тот холм, а там уже крест, и начинаются Липинцы. Они уже не идут, а летят как на крыльях, вот они уже на холме у креста. Старик падает на колени, громко рыдает от счастья, целует землю, затем подползает к кресту и обнимает его обеими руками: наконец он в Липинцах! Да, это так, наконец он в Липинцах, и только его мертвое тело покоится на блуждающем но разлившимся рекам плоту, а душа улетела туда, где ждет ее счастье и покой...

Тщетно дочь причитает над ним и зовет: «Отец! Отец!» Бедная Марыся, он уже не вернется к тебе! Ему слишком хорошо в Липинцах.

Настала ночь. У Орлика весло уже вываливалось из рук, да и голод его донимал. Марыся, стоя на коленях возле покойного отца, прерывающимся голосом читала молитвы, а кругом до самого горизонта виднелась лишь бескрайняя водная пустыня.

Наконец они попали в русло какой-то реки, плот понесло течением с такой быстротой, что невозможно было им управлять. Орлик уже чувствовал, что силы его покидают, но вдруг вскочил и крикнул:

– Клянусь богом, там свет!

Он протянул руку, указывая куда-то вдаль. Марыся глянула: действительно, вдалеке будто мелькал огонек, отражаясь в воде длинной полосой.

– Это лодка из Кларксвилла! – взволнованно проговорил Орлик. – Видно, нас едут спасать. Только бы не разминуться с ними. Я спасу тебя, Марыся, поверь мне.

Он стал грести изо всех сил. Огонек все увеличивался, и в его красном свете уже можно было различить очертания большой лодки. Она была еще очень далеко, но расстояние между ними с каждой минутой уменьшалось. Вдруг Орлик заметил, что лодка не подвигается вперед.

Плот их подхватило сильным течением и несло в сторону, противоположную лодке.

Внезапно сук, которым греб Орлик, сломался. Они остались без весла. Течение относило их все дальше, огонек уменьшался. К счастью, через четверть часа плот наскочил на дерево, одиноко стоявшее в залитой водой степи, и застрял в его ветвях.

Они стали громко звать на помощь, но шум воды заглушал их голоса.

– Я выстрелю, – сказал Орлик, – они увидят вспышку, услышат грохот.

Он поднял вверх ружье, но вместо выстрела раздался глухой стук. Порох отсырел.

Орлик упал на плот. Надежды не было. С минуту он лежал точно мертвый, наконец встал и проговорил:

– Марыся... Другую девушку я давно бы силой увел в леса. Хотел я и с тобой так сделать, да не посмел, потому что полюбил тебя. Я бродил по свету один, как волк, люди боялись меня, а я тебя испугался. Видно, приворожила ты меня. А не захочешь ты быть моей, тогда лучше смерть. Жив не буду, а спасу тебя, Марыся, а если суждено мне помереть, ты пожалей меня, голубка, и помолись за меня. Чем я тебя обидел? Ведь я и слова худого тебе не сказал. Эх! Марыся! Живи счастливо, любушка моя, солнышко ты мое...

И прежде чем она поняла, что он хочет сделать, Орлик бросился в воду и поплыл. С минуту Марыся видела в темноте его голову и руки, рассекавшие воду. Но вскоре он исчез из виду. Орлик плыл к лодке, чтобы спасти девушку. Стремительное течение уносило его назад, но Орлик преодолевал его и плыл вперед. Если бы его подхватило другое течение, он бы, наверное, доплыл. Между тем, несмотря на нечеловеческие усилия, он еле-еле подвигался. Брызги пены то и дело заливали ему глаза; Орлик подымал голову, отыскивая огонек лодки. Набегавшие волны то отбрасывали его назад, то подымали вверх, дышать становилось все труднее, ноги начали неметь. В голове промелькнула мысль: «Не доплыву». Но вдруг словно кто-то шепнул ему на ухо, как будто любимый голос Марыси: «Спаси меня!» – и он опять отчаянно стал рассекать воду руками... Если бы Орлик повернул назад, течение донесло бы его до плота, но он и не думал об этом, так как огонек уже

приближался. Лодка плыла к нему; ее несло то же течение, с которым он боролся. Внезапно Орлик почувствовал, что ногу у него свело судорогой. Еще несколько отчаянных усилий... Лодка все ближе... «На помощь, спасите!» Последнее слово заглушила захлестнувшая его волна. Он стал тонуть. Волны уже катились над его головой, но он снова вынырнул. Вот уже лодка совсем близко. Уже слышен плеск весел и их стук об уключины. Орлик в последний раз напрягает голос и зовет на помощь. Должно быть, его услышали, потому что весла быстрее задвигались. Но Орлик снова скрылся, попав в стремительный водоворот. На мгновение он еще раз показался над водой, потом уже только рука его вскинулась вверх, и Орлик исчез в пучине...

Между тем Марыся, оставшись одна с трупом отца, смотрела, как безумная, на мелькающий вдали огонек.

Но течение уже несло его к ней. Вскоре из темноты выступила большая лодка. При свете факела весла двигались, точно красные ноги исполинского червяка. Марыся отчаянно закричала.

— Эй, Смит,— проговорил по-английски один из гребцов. — Пусть меня повесят, если я не слышал, как звали на помощь, и если не слышу опять.

Через минуту сильные руки перенесли Марысю в лодку, но Черного Орлика там не было.

Спустя два месяца Марыся вышла из больницы в Литтл-Роке и на собранные добрыми людьми деньги поехала в Нью-Йорк.

А денег этих было немного. Часть дороги ей пришлось идти пешком, но благодаря тому, что она уже немного говорила по-английски, ей удавалось иногда упрямить кондукторов провезти ее несколько станций даром. Многие с состраданием смотрели на эту бледную, изнуренную болезнью девушку с большими синими глазами, похожую скорее на тень, чем на человека, со слезами умоляющую о милосердии. Не люди издевались над ней, а жизнь и ее условия. Что было делать в американском водовороте, в этом гигантском «бизнесе» полевому цветку из Липинцев? Как жить? Гигантская колесница неизбежно должна была раздавить это хрупкое существо, как всякий воз давит попавшиеся ему на дороге полевые цветы...

Исхудалой, дрожащей от слабости рукой она дернула звонок. На Вотер-стрит в Нью-Йорке Марыся пришла за помощью к старому господину, уроженцу Познани.

Дверь отпер какой-то незнакомый человек.

— Мистер Златопольский дома?

— Кто это такой?

— Это уже старый господин,— ответила Марыся и показала карточку.

— Умер.

— Умер? А сын его? Вильям?

— Уехал.

– А дочь, Дженни?

– Тоже уехала.

Дверь закрылась. Девушка села на порог, утирая слезы. Вот она снова очутилась в Нью-Йорке, одна, без помощи, без крова над головой, без денег.

Что же ей делать? Остаться в Нью-Йорке? Ни за что! Она пойдет в порт, в немецкие доки, и умолит капитана какого-нибудь парохода взять ее с собой, а если он сжалится и пустит ее, она, хоть нищенствуя, пешком пройдет всю Германию и вернется в родные Липинцы. Там ее Ясько. Кроме него, теперь у нее уже никого нет на свете. Если он не примет ее, если позабыл, если оттолкнет, все же она хоть умрет близ него.

Марыся вошла в порт и на коленях стала молить немецких капитанов;.. Они бы, пожалуй, ее взяли: ее бы только подкормить немножко, будет красивая девушка. Они бы с удовольствием, но что делать? Не полагается по закону... да, наконец, соблазн и дурной пример матросам... Пусть уж лучше она оставит их в покое.

Ночевать Марыся ходила на ту же платформу, где ночевала с отцом в ту памятную ночь, когда он хотел ее утопить. Питалась тем, что выбрасывала на берег вода, как питались они с отцом в Нью-Йорке. К счастью, хоть было лето... тепло...

Каждый день, чуть брезжил рассвет, она ходила в немецкие доки и каждый день тщетно умоляла взять ее на пароход. Она выказывала чисто крестьянское упорство. Однако силы уже покидали ее. Девушка чувствовала, что если не уедет сейчас, то скоро умрет, как умерли все, с кем связала ее судьба.

Однажды утром она с трудом притащилась в порт, с мыслью, что это, вероятно, в последний раз, так как завтра у нее уже не хватит сил. Марыся решила не просить, а незаметно пробраться на первый попавшийся пароход, отправляющийся в Европу, и спрятаться где-нибудь в трюме. Когда пароход выйдет в море и ее найдут, то ведь не выбросят же ее в воду, а если и бросят, так что же? Не все ли равно, как умирать, раз надо умирать.

К несчастью, у сходней, ведущих на пароход, зорко следили за входящими, и при первой же попытке сторож ее прогнал.

Марыся молча отошла в сторону и села на сваю у воды, чувствуя, что у нее как будто начинается жар.

Она стала что-то бормотать про себя и улыбаться...

– Я теперь помещица, Ясько, а все равно я осталась тебе верна. Ты что же, не узнаешь меня?

Бедняжка помешалась. С той поры она ежедневно приходила в порт поджидать своего Яська. Люди привыкли к ней и иногда подавали милостыню. Она смиренно благодарила и улыбалась, как дитя. Так продолжалось месяца два. Но вот однажды она не пришла в порт, и с того дня ее больше не видели. Только на следующий день в полицейской газете сообщалось, что в порту, около самой воды, найдено тело девушки, фамилия и происхождение которой неизвестны.

НА МАЯКЕ

I

Однажды в Аспинвале, недалеко от Панамы, пропал без вести сторож с маяка. Случилось это во время бури, и все предполагали, что несчастный, должно быть, подошел к самому берегу скалистого островка, на котором стоит маяк, и набежавший вал снес его в море. Это предположение было тем более вероятно, что на следующий день не нашли его лодки, обыкновенно стоявшей тут же, у подножья маяка. Надо было как молено скорее нанять кого-нибудь на место погибшего сторожа – маяк имел немалое значение для местного пароходного движения, а также для судов, идущих из Нью-Йорка в Панаму. Залив Москитов изобилует мелями и рифами, между которыми трудно проходить даже днем, а ночью, когда часто над морем, согреваемым тропическим солнцем, поднимается туман, проход судов почти невозможен. Единственным путеводителем для многочисленных судов является тогда свет маяка. Найти сторожа было поручено пребывающему в Панаме консулу Соединенных Штатов. Но это была нелегкая задача, во-первых, потому, что подыскать его нужно было в течение двенадцати часов, во-вторых, сторож должен быть очень добросовестным человеком, а потому нельзя было принимать первого встречного, и в довершение всего кандидатов вообще не оказалось. Жизнь на маяке необыкновенно трудна и нисколько не привлекает ленивых южан, любящих бродяжничать. Сторож, охраняющий маяк, живет почти как узник. Только раз в неделю, по воскресеньям, он имеет право отлучаться с островка. Продовольствие и свежую воду ему ежедневно привозят из Аспинваля, причем лодка, доставив ему припасы, немедленно уезжает, и на всем островке, имеющем не более морга, не остается никого. Сторож живет на маяке и обязан содержать его в порядке: днем давать сигналы, вывешивая разноцветные флаги согласно показаниям барометра, а вечером зажигать фонарь. Работа на маяке была бы не трудна, если бы не приходилось подниматься наверх по крутой винтовой лестнице в четыреста с лишком ступеней, а сторож подчас совершает это путешествие по нескольку раз в день. Вообще это монашеская жизнь, даже больше чем монашеская – отшельническая. Неудивительно, что мистер Исаак Фальконбридж был крайне озабочен подысканием человека, способного заменить покойного, и легко понять его радость, когда в тот же самый день совершенно неожиданно явился желанный заместитель. Это был уже старый человек, лет семидесяти, а может быть и больше, но еще крепкий, бодрый, с военной выправкой. Волосы у него были совсем белые, лицо смуглое, как у креолов, но, судя по голубым глазам, он не был южанином. Выражение лица у него было подавленное и печальное, взгляд прямой и честный. Он сразу понравился Фальконбриджу. Оставалось только проэкзаменовать его, и между ними завязался следующий диалог.

- Откуда вы? – спросил консул.
- Я поляк.
- Что вы делали до настоящего времени?
- Странствовал по свету.
- Сторож на маяке должен сидеть на одном месте.
- Я нуждаюсь в отдыхе.

– Служили вы когда-нибудь? Можете ли представить свидетельства о том, что вы честно выполняли свой долг на государственной службе?

Старик вынул из-за пазухи сверток в шелковом линиялом платке, похожем на лоскут старого знамени, развернул его и сказал:

– Вот свидетельства. Этот крест я получил в тысяча восемьсот тридцатом году; второй – испанский крест, его мне дали во время карлистской войны; третий – французский, Почетного легиона; четвертый я получил в Венгрии. Потом я сражался в Соединенных Штатах против южан, там не дают крестов, но вот свидетельство.

Фальконбридж взял бумагу и принялся читать.

– Гм... Скавинский? Это ваша фамилия?.. Во время атаки вы собственноручно захватили два знамени... Да... вы были храбрым солдатом!

– Я сумею быть и добросовестным сторожем.

– Но там по несколько раз нужно подниматься па башню. Здоровые ли у вас ноги?

– Я прошел пешком плены[62].

– All right! Знакомы ли вы с морской службой?

– Я три года служил на китобойном судне.

– Вы перепробовали разные занятия?

– Я не знал только покоя.

– Почему?

Старик пожал плечами:

– Такова судьба.

– Боюсь, что вы слишком стары для работы на маяке.

– Сэр,– внезапно заговорил старик взволнованным голосом. – Я очень устал и измучен. Как видите, я много пережил. Именно о таком месте я в последнее время мечтал. Я стар и нуждаюсь в покое. Пора сказать себе: вот здесь ты наконец осядешь, это твоя гавань! Ах, сэр, это зависит только от вас. В другой раз такого места не найдешь. Какое счастье, что я оказался в Панаме... Умоляю вас... Видит бог, я разбит, как корабль, который потонет, если не войдет в гавань... Осчастливьте старика... Клянусь, я честный человек, но... я слишком устал... мне довольно скитаться...

Голубые глаза старика выражали такую мольбу, что Фальконбридж, у которого было доброе, простое сердце, почувствовал себя растроганным.

– Well[63],– сказал он. – Я принимаю вас. С этой минуты вы сторож маяка.

Лицо старика просияло невыразимой радостью,

– Благодарю вас.

– Можете ли вы сегодня же отправиться на маяк?

– Так точно.

– В таком случае – good bye![64] Еще одно слово: после первого же упущения по службе вы будете уволены.

– All right!

В тот же вечер, когда солнце зашло за перешеек и после лучезарного дня наступила без сумерек ночь, новый сторож, очевидно, был уже на своем посту: в положенный час маяк, как всегда, бросил на воду яркий сноп света. Ночь была тихая, спокойная и, как часто бывает в тропиках, насыщена светлым туманом, образующим вокруг луны радужный круг с мягкими расплывающимися краями. Начинался прилив, и море слегка волновалось. Скавинский стоял на площадке гигантского фонаря и снизу казался маленькой черной точкой. Он пытался собраться с мыслями и обдумать свое новое положение, но был еще слишком подавлен. Старик чувствовал себя как затравленный зверь, которому удалось наконец скрыться от погони где-нибудь на неприступной скале или в пещере. Наконец-то в его жизни настала пора покоя. Сознание безопасности наполняло его душу глубоким наслаждением. Теперь, на этой скале, он мог позабыть обо всех ударах судьбы, которая заставляла его скитаться по свету и измучила несчастьями и неудачами.

Он и правда был как корабль, разбитый бурей; она ломала на нем мачты, рвала канаты, паруса, окатывала волнами и, злобно швыряясь пеной, бросала с высоких гребней громадных морских валов в бездну – и все же он спасся от нее и ушел в гавань. Картины этой бури одна за другой проносились в его воображении, и по сравнению с ними особенно светлым казалось ему то тихое будущее, которое отныне предстояло ему. О главных событиях своей жизни старик рассказал Фальконбриджу, но о тысяче других приключений не упомянул. Несчастье преследовало его, и всякий раз, когда он разбивал свой шатер и разводил огонь, собираясь зажить на покое, откуда-то налетал вихрь, срывал шатер и, разметав огонь, гнал его самого на погибель. Поглядывая с площадки маяка на освещенные волны, старик вспоминал все, что пришлось ему испытать. Он сражался в четырех частях света и за время своих скитаний перепробовал свои силы почти во всех профессиях. Человек он был работающий и честный, и ему неоднократно удавалось скопить небольшое состояние, но, несмотря на величайшую осторожность, он всякий раз снова его неожиданно терял. Он добывал золото в Австралии, искал алмазы в Африке и был правительственным стрелком в Восточной Индии. Когда он завел в свое время в Калифорнии ферму, ее погубила засуха; тогда он стал торговать с дикими племенами, населяющими Центральную Бразилию, но однажды плот его разбился на реке Амазонке, сам он, безоружный и почти нагой, в течение нескольких недель блуждал по лесам, питаясь дикими плодами и поминутно подвергаясь опасности быть растерзанным хищными зверями. Он открыл кузницу в Арканзасе, но она сгорела во время пожара, истребившего весь город. Затем в Скалистых горах он попал в руки индейцев и только чудом был спасен канадскими стрелками. Тогда он поступил матросом на корабль, делавший рейсы между Багией и Бордо, а потом гарпунщиком на китобойное судно: оба судна потерпели крушение. Была у него фабрика сигар в Гаване, но его обокрал компаньон как раз тогда, когда он заболел вомиго. И вот он в Аспиивале – здесь, казалось, должны были кончиться его невзгоды. Да и что может грозить ему на этом скалистом островке? Ни вода, ни огонь, ни люди. Впрочем, люди причинили ему не много зла. Ему чаще случалось встречать хороших

людей, чем дурных. Зато, как ему казалось, его преследовали все четыре стихии. Люди, знавшие его, говорили, что ему просто не везет, и этим все объясняли. Сам он в конце концов стал маньяком. Он верил, что какая-то могущественная и мстительная сила преследует его всюду – на суше и на море. Но он не любил об этом говорить и лишь изредка, когда его спрашивали, какая же это сила, с таинственным видом указывал на Полярную звезду, отвечая, что это происходит оттуда...

Действительно, неудачи преследовали его с таким непонятным упорством, что легко могли сломить волю того, кто их испытывал. К счастью, у него было терпение индейца и могучая, спокойная сила сопротивления, присущая лишь честным, мужественным сердцам. В свое время в Венгрии Скавинский был весь исколот штыками, но, несмотря на полнейшую невозможность сопротивляться, не хотел сдаться. Точно так же не поддавался он в несчастье. Лез в гору упорно, как муравей. Если его стаскивали с горы сто раз, Скавинский спокойно отправлялся в путешествие в сто первый. Это был в своем роде необыкновенный чудак. У этого старого солдата, закаленного в стольких боях, испытавшего бог весть какие несчастья, прошедшего сквозь огонь и воду, было сердце ребенка. Во время эпидемии на Кубе у него был значительный запас хинина, он раздал его целиком больным, не оставив себе ни грана, и сам заболел.

Удивительнее всего в нем было то, что после стольких разочарований он не падал духом и продолжал надеяться, что все будет хорошо. Зимой он всегда оживлялся и предсказывал какие-то великие события. Он с нетерпением ждал их и мыслью о них жил целые годы. Но зимы проходили одна за другою, а Скавинский дождался лишь того, что голова у него совершенно побелела. Наконец он состарился и стал терять энергию. Его терпение напоминало теперь покорность судьбе. Прежнее спокойствие сменилось чрезмерной чувствительностью; закаленный солдат превратился в плаксу, готового пустить слезу по любому поводу. Кроме того, время от времени его терзала страшная тоска по родине, которую вызывали иногда самые незначительные причины: вид ласточек или каких-то серых птичек, похожих на воробьев, снег на горах или мелодия, напоминающая песни, слышанные в детстве... Наконец им овладела одна мысль – мысль об отдыхе. Она целиком захватила старика, поглотив все другие стремления и надежды. Для этого вечного странника теперь не было ничего желаннее, ничего дороже спокойного уголка, где он мог бы отдохнуть и тихо ждать своего последнего часа. Быть может, именно вследствие странных прихотей судьбы, которая бросала его по всем морям и странам, не давая передохнуть, Скавинский считал теперь величайшим счастьем на свете получить возможность не скитаться. Правду сказать, он вполне заслуживал такого скромного счастья, по так уже привык к разочарованиям, что думал об этом как о чем-то недостижимом, о чем можно только мечтать. Он не смел даже надеяться, как вдруг совершенно неожиданно, в течение двенадцати часов, получил место, как будто нарочно созданное для него. Неудивительно поэтому, что вечером, зажигая фонарь, старик был точно в чаду и, спрашивая себя, правда ли это, не смел ответить: «Да». А между тем действительность представляла ему неопровержимые доказательства: часы шли, и никто не гнал его с маяка. Старик впитывал в себя эти доказательства и убеждался. Могло показаться, что он впервые в жизни увидел море: на башне в Аспипвале пробило полночь, а он все не уходил со своей вышки и смотрел. Внизу, у ног его, играло море. Фонарь бросал в темноту гигантский круг света, и за пределами его взор старика терялся в совершенно черной, таинственной и страшной дали. Но даль эта, казалось, приближалась к свету. Огромные волны выступали из темноты, с ревом неслись к подножью островка, и тогда видны были их вспененные гребни, отливающие красным в свете фонаря. Прилив все усиливался, и вода постепенно заливала песчаные отмели. Таинственный говор океана становился все

явственнее, все громче и уже напоминал то залпы пушек, то шум гигантских лесов, то отдаленный многоголосый гул толпы. Порой наступала тишина – и тогда до слуха старика долетали какие-то глубокие, тяжелые вздохи, какие-то рыдания, потом опять громко гремели залпы. Наконец с запада подул ветер и рассеял туман, но нагнал черные разорванные тучи, которые закрыли луну. Ветер усиливался, валы с яростью пале-тали на островок, обдавая пеной подножье маяка. Издали доносился грохот надвигающейся бури. На темной бушующей поверхности моря блеснуло несколько зеленых фонариков, прикрепленных к мачтам идущих в гавань судов. Эти зеленые огоньки то подымались вверх, то падали вниз, то раскачивались из стороны в сторону. Скавинский спустился в свою комнату. Завыла буря. Там, на море, люди на кораблях боролись во мраке ночи с разбушевавшимися волнами, а здесь, в комнате, было спокойно и тихо. Даже рев бури едва проникал сквозь толстые стены маяка, и только мерное тик-так часов как бы убавкивало усталого старика.

II

Проходили часы, дни и недели... Матросы утверждают, что порой, когда море бушует, в ночной темноте какой-то голос зовет их по имени. Если зовет беспредельная морская даль, то, быть может, когда человек состарится, его зовут и иные беспредельные дали, более мрачные и таинственные; и чем более он измучен жизнью, тем желаннее ему эти зовы. Но, для того чтобы их услышать, нужна тишина. Кроме того, старость как бы в предчувствии могилы любит уединение. Для Скавинского маяк был уже почти могилой. Нет ничего более однообразного, чем жизнь на маяке. Если случается, что на такую должность нанимаются молодые люди, они неизбежно вскоре ее бросают. Вот почему сторожем маяка обычно бывает человек немолодой, угрюмый и замкнутый в себе. Когда он почему-либо уходит с маяка и возвращается к людям, то чувствует себя среди них как человек, пробужденный от глубокого сна. На маяке нет того множества мелких впечатлений, которые в обычной жизни приучают все связывать с собою. Все, с чем соприкасается сторож маяка, колоссально и лишено определенных форм. Здесь только небо и вода, и среди их беспредельности – одинокая человеческая душа. При такой жизни обитатель маяка постоянно пребывает в состоянии задумчивости, и из этой задумчивости ничто его не выводит, даже выполняемые им обязанности. Один день похож на другой, как зерна четок, и единственное разнообразие вносит, пожалуй, только перемена погоды. Однако Скавинский чувствовал себя здесь таким счастливым, каким не был еще никогда в жизни. Он вставал на заре, завтракал, чистил фонарь, а потом, усевшись на площадке, смотрел в морскую даль, и глаза его никогда не могли насытиться картинами, которые открывались перед ним. Обычно на безграничном бирюзовом фоне виднелись стаи распущенных парусов, так ослепительно сверкавших в лучах солнца, что от чрезмерного их блеска невольно щурились глаза. Порой суда, пользуясь попутным ветром – пассатом, шли длинной цепью, одно за другим, как вереницы чаек или альбатросов. Красные бакены, указывающие путь, мягко и легко колыхались на волнах; среди парусов ежедневно в полдень серебристым туманом поднимался густой дым. Это пароход из Нью-Йорка вез пассажиров и товары в Аспинваль, оставляя за собой длинную узкую полосу пены. С другой стороны площадки Скавинский видел как на ладони Аспинваль и его оживленный порт, а в нем – лес мачт, корабли и лодки; несколько дальше белели дома и башни города. С высоты маяка дома казались гнездами чаек, лодки – жуками, а люди – маленькими черными точками, движущимися по белой набережной. С утра легкий ветерок доносил с востока смутный гул городской жизни, заглушаемый гудками пароходов. В полдень наступал перерыв. Движение в порту прекращалось, чайки скрывались в расселинах скал, море успокаивалось и лениво катило волны, и тогда на суше, на воде и на

маяке наступала ничем невозмутимая тишина... Желтые пески после отлива блестели, точно золотые отсветы на поверхности моря; башня маяка отчетливо отражалась в лазури. Солнечные лучи потоками лились с неба на воду, на пески и скалы. В такую пору и стариком овладевала какая-то сладостная истома. Он чувствовал всю прелесть отдыха, которым пользовался теперь, и, надеясь, что он будет длительным, больше ничего не желал. Это было глубокое счастье, и он им наслаждался со всей полнотой, а так как человек легко осваивается с лучшей долей, то и Скавинский мало-помалу ободрился. «Если люди строят дома для инвалидов,— думал он,— то почему бы богу не приютить наконец на этой скале своего инвалида?» Время шло и утверждало его в этом убеждении. Старик сжился с маяком, с обрывом, с отмелью и одиночеством. Он познакомился также с чайками, которые гнездились в расщелинах скал, а по вечерам устраивали сборища на крыше маяка. Скавинский бросал им остатки своей пищи, и птицы вскоре настолько привыкли к нему, что, когда он появлялся с тарелкой на площадке, на него налетала буря белых крыльев, а он ходил между ними, как пастух среди овец. Во время отлива старик отправлялся на песчаные отмели и собирал вкусных улиток и красивые жемчужные раковины, которые оставляли на песке схлынувшие волны. Ночью, при свете маяка и луны, он ловил рыбу, водившуюся в огромном количестве в заливе. В конце концов он полюбил свою скалу и свой безлесный островок, поросший только какими-то мелкими растениями, из которых сочилась липкая смола. За бедность островка его вознаграждали прекрасные виды, открывающиеся с маяка. В полдень, когда воздух становился особенно прозрачным, можно было видеть весь перешеек, вплоть до Тихого океана. Он был покрыт пышной растительностью и казался Скавинскому сплошным огромным садом. Тут же, за домами Аспинваля, раскинулись роскошные букеты кокосовых пальм и бананов. Дальше, между Аспинвалем и Панамой, тянулся гигантский лес, над которым по утрам и к ночи колыхался красноватый туман. Всевозможные тропические деревья, переплетенные лианами и громадными орхидеями, поднимались из стоячей воды.

В подозрную трубу старик мог разглядеть не только деревья, не только широко раскинувшиеся листья бананов, но и стада обезьян, больших марабу и стаи попугаев, время от времени радужной тучей взвизгивающих над лесом. Скавинскому были хорошо знакомы подобные леса: после крушения на Амазонке он несколько недель скитался в таких чащах. Блуждая под этими чудесными зелеными, такими заманчивыми сводами, он видел в них таящую смертельную опасность. По ночам он слышал вблизи замогильные завывания пум и рев ягуаров, видел гигантских змей, качающихся на деревьях подобно лианам, и сонные лесные озера, кишасшие скатами и аллигаторами. Он знал, под каким ярмом живет человек в этих непроходимых чащах, где среди гигантских листьев, под которыми можно легко укрыться, роятся кровожадные москиты, древесные пиявки и громадные ядовитые пауки.

Скавинский сам все это видел, испытал и пережил, и теперь ему доставляло особенное наслаждение смотреть со своей башни па эти роскошные леса, восхищаться ими и вместе с тем чувствовать себя в полной безопасности. Маяк защищал его от всякого зла, и он только изредка покидал его по утрам в воскресные дни. Тогда он облачался в темно-синий мундир с серебряными пуговицами, увешивал грудь своими крестами и горделиво поднимал седую голову, слыша при выходе из церкви, как говорили креолы:

— У нас теперь очень порядочный сторож на маяке. И притом не еретик, хотя и янки!

Однако после обедни он тотчас возвращался на остров, и возвращался с радостью, потому что все еще не доверял материку. По воскресеньям Скавинский читал

испанскую газету, которую покупал в городе, или нью-йоркский «Геральд», взятый взаимнообразно у Фальконбриджа, и жадно искал в них известий из Европы. Бедное старое сердце! Даже на этом маяке, на другом полушарии, оно все еще билось для родины... Вначале, когда лодка, ежедневно доставлявшая ему провизию и воду, причаливала к острову, старик спускался со своей башни побеседовать со стражником Джонсом. Впоследствии, однако, он видимо одичал: перестал бывать в городе, читать газеты и беседовать о политике с Джонсом. Незаметно шло время, и по целым неделям он никого не видел и никто не видел его. Единственным признаком того, что старик жив, было исчезновение провизии, оставляемой на берегу, и свет на маяке, вспыхивающий каждый вечер с такой же точностью, с какой по утрам из воды поднималось солнце. Очевидно, Скавинский стал равнодушен ко всему. Причиной этого была не тоска по родине, а именно то, что даже она превратилась в покорность судьбе. Весь мир теперь сосредоточился для него на этом островке. Старик уже сжился с мыслью, что не оставит маяка до самой смерти, и просто забыл, что существует другая жизнь за пределами островка. В довершение всего Скавинский стал мистиком. Его ласковые голубые глаза приняли какое-то детское выражение и всегда были устремлены куда-то вдаль. Пребывая в постоянном одиночестве и видя пред собой лишь необъятную ширь моря и беспредельный небесный свод, старик постепенно утрачивал сознание своего «я», переставал существовать как отдельная личность и все более сливался с окружающей его природой. Он не задумывался над этим, а только бессознательно чувствовал. Наконец ему стало казаться, что небо, вода, его скала и маяк, золотистые песчаные отмели, надутые паруса и чайки, приливы и отливы – что все это представляет некое великое единое целое, одну огромную таинственную душу. Он потонул в этих мыслях, убажканный ими, впал в забытие в своем самоотречении, в этом состоянии полуяви, полусна нашел великое успокоение, подобное смерти.

III

Но вот настало пробуждение.

Однажды, спустившись со своего маяка после ухода лодки, доставившей ему провизию и воду, Скавинский заметил на берегу еще какой-то пакет. На толстой парусине, в которую был зашит пакет, были наклеены почтовые марки Соединенных Штатов и отчетливо написана его фамилия. Любопытство Скавинского было возбуждено, он поспешно разрезал полотно и увидел книги, взял одну из них, заглянул в нее и положил обратно; руки его сильно дрожали... Он закрыл руками глаза, словно не веря им, ему казалось, что это сон: книга была польская.

Что это значит?! Кто мог прислать ему книги? В первую минуту он забыл, что еще в начале своей службы на маяке прочитал однажды в газете, взятой у консула, об основании Польского общества в Нью-Йорке, что тогда же послал Обществу половину своего месячного жалованья, с которым ему здесь нечего было делать. Общество в благодарность прислало ему книги. Они попали к нему вполне естественным путем, но в первый момент старик растерялся, и это не пришло ему в голову. Польские книги в Аспинвале, на маяке, в его одиночестве – это было для него чем-то чрезвычайным, почти чудом. На него повеяло далеким прошлым. Ему померещилось, как тем морякам в ночной темноте, будто кто-то зовет его по имени, зовет бесконечно дорогим, но давно позабытым голосом. С минуту он сидел с закрытыми глазами и был почти уверен, что, когда откроет их, сон исчезнет. Но нет! Вскрытый пакет отчетливо выделялся на песке в ярких лучах полуденного солнца, а на нем лежала уже раскрытая книга. Когда старик снова потянулся за ней, он

услышал в тишине бение своего сердца. Это были стихи. На первой странице сверху крупными буквами было напечатано заглавие, а немного ниже фамилия автора. Фамилия эта не была чужда Скавинскому: ему было известно, что она принадлежит великому поэту, произведения которого он читал в тридцатых годах в Париже. Позже, сражаясь в Алжире и в Испании, Скавинский не раз слышал от своих соотечественников о все возрастающей славе великого певца, но в то время он не расставался с винтовкой и книгу даже в руки не брал. В 1849 году Скавинский уехал в Америку и за все время своей скитальческой жизни, исполненной невзгод и приключений, почти не встречался с поляками и ни разу не видел польских книг. И вот теперь он с бьющимся сердцем бережно перевернул заглавную страницу. Ему показалось, что в эту минуту на его одинокой скале совершается нечто торжественное.

Вокруг стояла невозмутимая тишина. Часы в Аспинвале пробили пять пополудни. Ни одно облачко не омрачало ясного неба, и лишь несколько чаек парило в лазури. Океан, казалось, дремал. Только прибрежные волны тихо журчали, мягко расплываясь по песчаным отмелям.

Вдали сверкали белые дома Аспииваля среди чудесных пальм. И правда, все кругом было как-то особенно торжественно, тихо и величественно. И вдруг среди этого покоя, царившего в природе, раздался дрожащий голос старика, он читал вслух, чтобы лучше понять:

Отчизна милая, Литва, ты как здоровье,—
Тот дорожит тобой, как собственною кровью,
Кто потерял тебя. И я, тоскуя ныне,
Лишь о тебе пою и плачу на чужбине.

Скавинский умолк. Буквы запрыгали у него перед глазами; в сердце что-то оборвалось и, как волна, поднималось все выше, выше, сдавливая горло и заглушая голос.

Через минуту старик овладел собой и снова начал читать:

О мать божия, ты светишь в Острой Бrame,
Твой чудотворный лик и в Ченстохове с нами.
И в Новогрудке ты хранишь народ от бедствий,
Не ты ли и меня спасла от смерти в детстве?
(Благодаря твоей божественной опеке
Я поднял мертвые, сомкнувшиеся веки
И сам сумел дойти до твоего порога.
За исцеленье сам благодарил я бога.)
Так нас на родину вернешь, явив нам чудо.

Его охватило такое волнение, что наконец он не выдержал и, зарывав, бросился на землю; его седые волосы смешались с прибрежным песком. Вот уже почти сорок лет, как он не видел родины, и бог знает, как давно не слышал родной речи, а теперь эта речь пришла к нему сама — такая любимая, такая родная и такая прекрасная! Она переплыла океан и нашла его, одинокого странника, на другом полушарии. В его рыданиях не было ни горечи, ни тоски, а лишь внезапно пробудившаяся безмерная любовь, перед которой все остальное было ничтожно. Плача, он словно молил далекую любимую родину простить его за то, что так уже состарился, так сжился с

этой одинокой скалой и так ушел в себя, что даже тоска его стала затихать. А теперь он «чудом возвращался», и оттого сердце в нем рвалось на части. Проходили минуты, одна за другой, а он все лежал. Чайки с криком слетались на площадку маяка, словно тревожась за своего старого друга. В этот час он обычно кормил их остатками своей еды, и несколько чаек, не найдя его на маяке, прилетело к нему. Число их все увеличивалось; хлопая крыльями, они стали кружиться над его головой и легонько его клевать. Шум крыльев разбудил его. Облегчив свою душу слезами, старик успокоился, лицо его сияло, глаза горели вдохновением.

Не сознавая, что делает, он отдал весь свой ужин птицам, которые с криком накинулись на еду, а сам опять взялся за книгу. Солнце уже проплыло над садами и девственными лесами

Панама и, медленно опустившись за перешеек, клонилось к другому океану, но и Атлантический еще сверкал, играя яркими красками; было совсем светло, и Скавинский продолжал читать:

Позволь душе моей перелететь отсюда
К лесам задумчивым, к зеленым луговинам...

Внезапно наступившие сумерки стерли буквы на белой странице. Старик откинул голову и, прислонясь к скале, закрыл глаза. И тогда та, чей «чудотворный лик сияет в Острой Бреме», перенесла его душу «к лесам задумчивым, к зеленым луговинам». В небе еще пламенели багряные и золотые полосы, и, озаренный их светом, он унесся в родные поля. В ушах его зашумели сосновые леса, зажурчали родные реки. Он видит все, как было. Все спрашивает его: «Ты помнишь?» О да, он помнит! Да он и видит – широкие поля, межи, луга, леса и деревушки. Уже ночь. Обычно в эту пору его маяк уже освещал морскую пучину – но теперь Скавинский в родной деревне. Опустив голову на грудь, старик спит. Перед глазами его быстро и беспорядочно проносятся образы прошлого. Он не видит родного дома – его уничтожила война, не видит ни отца, ни матери, потому что они умерли, когда он был ребенком, но вот его деревня – кажется, он только вчера ее покинул: ряд изб, огни в окнах, плотина, мельница, два пруда, в которых всю ночь напролет квакают лягушки... Однажды ночью он в своей деревне стоял на дозоре; теперь воспоминание об этой ночи внезапно встает перед ним в веренице видений. Он снова улан и стоит на часах; вдали светится корчма ярко горящими глазами, и шумит, и поет, и гудит в ночной тишине – топот, звуки скрипок и контрабаса, крики: «У-га! У-га!» Это уланы пляшут, высекая подковами огонь, а ему одному на коне так скучно. Часы лениво тянутся, наконец свет гаснет, куда ни кинешь взгляд – туман, густой туман: видно, это с лугов поднимаются испарения, застилая весь мир белой пеленой. Будто океан. Но нет, это луга: скоро в темноте затрещит дергач и закричит выпь в камышах. Ночь тиха и прохладна, настоящая польская ночь! Вдалеке без ветра шумит сосновый бор... словно море. Вскоре на востоке покажется светлая полоса, вот уже и петухи поют за плетнями, перекликаются друг с дружкой из хаты в хату. А вот журавли кричат в вышине. Улан чувствует себя бодрым и здоровым. Что это товарищи говорили о завтрашней битве? Ну что ж! И он пойдет, как пойдут с боевыми криками другие, в плеске знамен. Молодая кровь играет в жилах, хоть ее холодит ночной ветер. Но вот и рассвет, уже рассвет! Ночь бледнеет; из мрака мало-помалу выступают леса, ряды изб, мельница, тополя. Журавли колодцев скрипят, как жестяной флажок па маяке. Как прекрасна эта любимая земля в розовом сиянии зари! О родная, родная!

Тише! Бдительный часовой слышит, как кто-то приближается. Наверно, идут

проверять посты.

Вдруг над Скавинским раздается чей-то голос:

– Эй, старик! Вставайте. Что ото с вами?

Старик открывает глаза и удивленно смотрит: над ним склонился какой-то человек. Обрывки сновидений борются в нем с действительностью. Наконец видения бледнеют и исчезают. Перед ним стоит портовый стражник Дя;онс.

– Что с вами? – спрашивает Джоне. – Вы больны?

– Нет.

– Вы не зажгли фонарь и будете отстранены от должности. Судно из Сан-Жеромо село на мель; к счастью, никто не утонул, а то бы вас отдали под суд. Садитесь со мной в лодку, остальное узнаете в консульстве.

Старик побледнел: действительно, в эту ночь он не зажег фонаря.

Спустя несколько дней Скавинский был уже на палубе парохода, направляющегося из Аспинваля в Нью-Йорк. Бедняга потерял место. Снова ему предстояли скитания, снова ветер сорвал этот лист, чтобы вволю натешиться над ним, гоня неведомо куда – по морям и материкам. За эти несколько дней он сразу осунулся и сгорбился, только глаза его ярко блестели.

В новый жизненный путь Скавинский нес на груди свою книгу и время от времени прижимал ее рукой, как бы опасаясь, чтобы и она у него не пропала.

1880

ВСТРЕЧА В МАРИПОЗЕ

В Марипозе я был лишь проездом и столь же бегло посетил ее окрестности. Я бы, разумеется, задержался подольше и в городе, и в округе, если бы знал, что в десяти с чем-то милях от города живет в лесу прототип моего «смотрителя маяка». Недавно г-н М., одновременно со мною находившийся в Калифорнии и прочитавший «На маяке», рассказал мне о встрече со скваттером-поляком, поразительно на него похожим.

...По пути к Биг-Триз, то есть к группе гигантских калифорнийских деревьев, я заехал в Марипозу. До недавних лет этот город еще насчитывал около пятнадцати тысяч жителей, теперь же их в десять раз меньше. Известно, что в Новом Свете города растут как грибы, но часто и живут не дольше мотыльков[65]. Так было и с Марипозой. Пока в речушке Марпозе светилось золотистое дно, а на берегах оседали зеленоватые комочки с драгоценным металлом, здесь было полно американских горняков, гамбусинос[66] из Мексики и торговцев со всех концов света. Потом все они разъехались. «Золотые» города недолговечны, ведь золото раньше или позже иссякает. Ныне в Марипозе примерно тысяча жителей, а берега речки Марипозы уже снова покрылись зарослями плакучих ив, хлопкового дерева и всяческих кустарников. Там, где прежде по вечерам старатели распевали «I crossed

Mississippi»[67], ныне поют койоты. Город состоит из одной улицы, самое красивое здание на которой школа, второе место занимает «Капитолий»[68], третье – гостиница мистера Биллинга, к которой относятся также «гросери», «салун», то есть трактир, и «бейкери», или пекарня. Вдоль улицы красуются витрины еще нескольких лавок. Однако торговля здесь идет вяло. Лавки обеспечивают потребности только города, фермеров в окрестностях мало. Население во всем округе еще слишком немногочисленно, на большей его части шумят огромные леса, в которых кое-где живут скваттеры.

Когда наш дилижанс въехал в город, там царило необычное оживление – мы прибыли в пятницу, в торговый день. В этот день скваттеры привозят в «гросери» мед и запасаются различными видами провизии. Другие пригоняют скот, фермеры привозят зерно. Хотя эмигранты посещают Марипозу очень редко, было там и несколько эмигрантских фургонов, которые легко узнать по высокому белому верху и по тому, что между колес обычно бывает прикреплена цепь с собакой, енотом или медвежонком. Перед гостиницей было особеннолюдно, и хозяин ее, мистер Биллинг, сновал туда-сюда, разнося джин, виски и бренди. С первого взгляда он признал во мне иностранца, направляющегося к Биг-Триз, – подобные туристы составляют самую желанную для него клиентуру, и он с особой заботливостью принялся за мною ухаживать.

Это был человек уже немолодой, но очень проворный и быстрый. По его манерам и по лицу легко было догадаться, что он не пруссак. С чрезвычайной учтивостью он указал мне мою комнату и объяснил, что «брекфест» уже кончился, но, если я желаю, он тотчас подаст мне поесть в «дайнинг-рум».

– Вы, наверно, из Сан-Франциско?

– О нет, я из более далеких краев.

– Ол райт! Верно, едете к Биг-Триз?

– Да, туда.

– Если хотите взглянуть на фотографии этих деревьев, они висят внизу.

– Хорошо, я скоро спущусь.

– Долго ли собираетесь пробыть в Марипозе?

– Несколько дней. Мне надо отдохнуть, кроме того, я хочу увидеть окрестные леса.

– Охота здесь превосходная. Недавно пуму убили.

– Славно, славно. А пока я лягу вздремнуть.

– Гуд бай! Внизу есть гостиничная книга, в которой я прошу вас записать свою фамилию.

– Ладно...

Я лег и проспал до обеда, о котором оповестили ударами палки по жестяному горняцкому котлу. Я спустился вниз и прежде всего записал свое имя в книгу, не преминув поставить рядом со своей фамилией: «From Poland»[69]. Затем направился

в «дайнинг-рум». Торговля на рынке, видимо, уже прекратилась, приезжие отправились восвояси – за обеденный стол село лишь несколько человек: две фермерские семьи, какой-то господин без одного глаза и без галстука, местная учительница, которая, должно быть, постоянно жила в гостинице, да старик, по чьему костюму и оружию я мог заключить, что он скваттер. Ели мы в молчании, прерываемом лишь короткими фразами, вроде: «Я был бы весьма благодарен вам за хлеб», или «за масло», или «за соль». Таким манером сидящие далеко от хлеба, масла или соли просят сидящих поближе пододвинуть к ним эти продукты. Я чувствовал себя усталым, говорить не хотелось. Зато я разглядывал комнату, стены которой, как сказал мистер Биллинг, были увешаны фотографиями гигантских деревьев. Вот Father of the Forest, или «Отец леса», теперь уже срубленный. Не сумел все же устоять под бременем своих 4000 лет!

Высота 450 футов, в обхвате 112 футов. Славный папочка! с трудом веришь глазам своим и надписям. Grizzled Giant[70]: 15 локтей в диаметре. Да! Пожалуй, даже наши евреи призадумались бы, если бы им предложили доставить такое растение в Гданьск. Сердце прыгало в груди от радости, что вскоре я увижу в натуре, своими глазами эту группу деревьев, вернее, колоссальных башен, одиноко стоящих в лесу... со времен потопа. Я, варшавянин, собственными глазами увижу «отца», дотронусь до его коры и, может быть, кусочек ее привезу в Варшаву как доказательство для скептиков, что я действительно побывал в Калифорнии. Когда заберешься так далеко, кажешься самому себе каким-то необычным существом и невольно лелеешь мысль, как обо всем этом будешь рассказывать по возвращении и как скептики не будут тебе верить, что есть в мире деревья с обхватом в пятьдесят шесть локтей. Мои размышления были прерваны вопросом негра:

– Кофе черный? С молоком?

«Черный, как ты сам», – хотелось мне ответить, но ответ был бы неуместным, потому что негр был стар, с белой, как молоко, шевелюрой, и от старости еле ноги волочил.

Тем временем обед закончился. Все встали. Фермер-отец набил себе за обе щеки табак, мамаша, усевшись в кресло-качалку, принялась энергично раскачиваться, а дочка, светловолосая, пышнокудрая Полли или Кэтти, подошла к пианино, и минуту спустя я услышал:

Jankee Doodle is going down town...[71]

«Меня на «Янки Дудл» не поймаешь!» – подумал я. От Нью-Йорка до Марипозы играют мне эту песенку барышни на фортепьяно, солдаты на рожках, негры на банджо, дети на кусочках бычьих зубов. Да, забыл! Еще на пароходе преследовал меня «Янки Дудл». Со временем появится, наверно, в Америке болезнь «янкидудлофобия»!

Я закурил сигару и вышел на улицу. На землю спускались сумерки. Фургоны разъехались, эмигрантов тоже не было видно. Все вокруг затихло. Вид был восхитительный. Запад алел вечерней зарей, на востоке темнело. У меня на душе было радостно, светло. Жизнь казалась приятной, легкой, вольной. В садиках, окружавших дома, слышалось пенье, порой мелькнет среди кустов белое платье, блеснет пара голубых глаз. Чудесный был вечер! Жаль только, что в Америке принято по вечерам сжигать на улицах мусор. Запах дыма совсем некстати примешивается к аромату роз и запаху свежести, доносящемуся из ближнего леса. Временами из прилегавших к городку полей и чащ доносились раскаты ружейной

стрельбы, ведь почти все обитатели Марипозы охотники; наконец всякое движение прекратилось, кучки мусора догорали. На улице я встретил нескольких человек; не знаю, быть может, я невольно перенес свое настроение на других, по в мирных лучах заката их лица показались мне такими удовлетворенными, спокойными, счастливыми.

«Может, и в самом деле,— думалось мне,— здесь живут тихо, спокойно и счастливо, в этом глухом, затерянном среди лесов уголке. Может, и вправду, душа среди пресловутой американской свободы начинает лучиться, испускать вроде светляка тихий свет. Здесь ведь и не голодно, и не холодно, и места вдоволь, есть где расправить тело, раскинуть руки... И леса эти такие спокойные, ах, такие спокойные!..»

Несколько негров, шедших мне навстречу, пели довольно звучными голосами — к счастью, не «Янки Дудл», а «Серебряные нитки».

— Добрый вечер, сэр,— любезно сказали они, поравнявшись со мною.

И люди тут доброжелательные, вежливые. Когда придет старость, я, наверно, не раз подумаю об этой мирной Марипозе.

Сверху, с неба, донеслось до меня курлыканье журавлей, летевших куда-то к океану. Я разнежился, размечтался. Странный наплыв впечатлений! И в гостиницу я возвратился умиленный, полный сладкого томления. Нахлынули мысли о доме, о родных, и я тоже стал напевать, но не «Янки Дудл», о нет! Я пел:

У нас иначе, иначе, иначе!..

Тук, тук, тук!

«Любопытно, кто бы это мог быть?» — подумал я.

Тук, тук, тук!

— Come in[72].

Вошел хозяин. Черт возьми, что за страна! И у этого лицо такое растроганное. Подходит ко мне, крепко жмет руку и, не выпуская ее, откинув голову, глядит на меня так, точно собирается благословить.

Я стою с раскрытым ртом, удивление мое не уступает его растроганности.

— В гостиничной книге я увидел,— говорит хозяин,— что вы из Польши!

— Да, верно. А вы тоже поляк?

— О нет, я баденец.

— Но вы бывали в Польше?

— Нет, никогда...

— Так почему же...

Глаза мои раскрываются так же широко, как рот.

– Я,– говорит хозяин,– сражался под начальством Мерославского.

– Неужели?

– Какой это был герой! Величайший полководец в мире! Как я счастлив видеть вас... Он еще жив?

– Нет, умер.

– Умер! – повторил немец и сел, тяжело опустив руки на колени и поникнув головой на грудь.

Я стоял в растерянности. Я не разделял восторженного отношения мистера Биллинга к Мерославскому, но в ту минуту его энтузиазм был мне приятен и лестен. Между тем мистер Биллинг сумел победить свою скорбь, и его восхищение Мерославским излилось каскадами слов, с которыми не сравнились бы Ниагара или Йосемита-Фолз. До моего слуха доносились имена героев древности, затем средневековых, затем Вашингтона, Лафайета и Мерославского; дальше слышу я такие слова, как «свобода», «прогресс», «цивилизация»,– они сыплются сотнями, тысячами. Видимо, у нашего красноречивого генерала и рядовые были красноречивые.

– Это был идеальный человек! – восклицает в заключение мой хозяин.

«Был или не был, не в том суть! – думаю я. – Но факт тот, что, если в тебе, практичном немце, есть крупица идеального, то, по странному стечению обстоятельств, ты этим обязан поляку. Если бы не он, ergo[73] если б не мы, твоя мысль, быть может, никогда не поднялась бы выше долларов, бизнеса и прибылей твоей гостиницы. Ты бы только и знал, что с жадностью хватать туристов, направляющихся к Биг-Триз, да увиваться вокруг них, как вокруг меня, а вот теперь дух возвышенного веет в тебе, точно в трубах органа,– ты бросаешь слова, которые в Европе уже прокисли, как старое пиво, но не перестали быть благороднейшими из слов, когда-либо изобретенных человеческим языком. В старой Европе есть, быть может, лишь один уголок, где еще принимают эти слова всерьез и иногда произносят их со слезами на глазах, а иногда и с сокрушением, что другие люди пренебрегают этими сокровищами или попусту тарахтят ими как погремушками. Но что поделаешь... И в том краю тоже бывает порою трудно... О, еще как трудно! А все же какой славный немец – ни во что не ставит Садовую или Седан, знай только вспоминает Мерославского и баденские дела. Вот славный немец! Его адрес: гостиница Биллинга, Калифорния, округ Марипоза. Адрес такого немца стоит записать. Чтоб отыскать такого, надо было добраться до Марипозы!»

Ол райт!

Оп тем временем повторяет: «Ах, этот Мерославский» – и утирает глаза, явно утирает глаза. Золотое сердце!

– Мне так приятно видеть вас, будто выпил виски с имбирем! – говорит он.

Пожимает мне руку, пожимает второй раз, третий и движется к двери. Стоя на пороге, он вдруг звонко хлопает себя рукою по лбу.

– Ах,– говорит он,– совсем запомнил! Да ведь тут есть ваш земляк.

– В Марипозе?

– Нет, он живет в лесу. Но по пятницам приезжает с медом на рынок и остается переночевать. Старый человек. Хороший, очень хороший человек! Он тут живет уже лет двадцать. Еще никого тут не было, когда он появился. Завтра приведу его к вам.

– Как его зовут?

Немец начинает смущенно скрести себе затылок, как любой наш польский Бартек.

– O, I don't know! Не знаю! – говорит он. – Какое-то очень трудное имя.

Назавтра только я поднялся, как мой немец еще до завтрака привел ко мне земляка.

Я сразу узнал в нем старика, обедавшего накануне со мною за одним столом.

Был это человек высокого, даже очень высокого роста, но сильно согбенный годами. Седая голова, седая борода и голубые глаза, которые сразу впились в меня со странным вниманием.

– Оставляю вас одних,– сказал немец.

Мы остались одни и долго смотрели друг на друга в молчании. Правду сказать, я был несколько смущен видом этого старика, скорее похожего на Вернигору, чем на обычного поляка.

– Моя фамилия Путрамент,– промолвил старик. – Разве имя мое чуждо ушам твоим?

– Моя фамилия М., – ответил я. – Ваше имя я слышал. Кажется, вы из Литвы?

Мне действительно вспомнилось что-то из «Пана Тадеуша», что-то вроде «Путрамент с Пиктурной» в рассказе Протазия о процессах.

Старик приставил руку к уху.

– Как? – спросил он.

– Кажется, вы из Литвы?

– Говори громче, годы повредили слух мой, и старость моя глуха,– ответил пан Путрамент.

«Смеется он надо мной или я дурак? – подумал я. – Но старичок этот почему-то изъясняется языком библейских пророков. Каких оригиналов встречаю я здесь в Марипозе».

– Давно вы покинули родину? – спросил я.

– Уж двадцать лет обитаю я тут, и поистине ты первый, кого я узрел из родимой земли, отчего сердце мое взволновалось и душа возрадовалась.

Старик действительно говорил дрожащим голосом и, судя по его виду, был глубоко

взволнован. Что до меня, я был только удивлен. Я не прожил двадцать лет в лесу, поляков видел совсем недавно в Сан-Франциско, и у меня не было причины умиляться. Зато мне хотелось воскликнуть: что за стиль! Кабы со мною так говорил кто-нибудь целый день, я бы, наверно, взвыл... Брр!.. Между тем старик упорно всматривался в меня, и казалось, ум его напряженно работает. Несколько раз он как будто хотел заговорить, но останавливался. Видимо, он чувствовал, что говорит не так, как прочие люди. Речь его, однако, была вполне правильной, хотя и затрудненной.

– В далеком сем краю одеревенел язык мой и заоченели уста мои...

«Что правда, то правда!» – подумал я.

Но мое веселье исчезало. Мне становилось как-то не по себе, я испытывал угрызения совести. «Как он там ни говорит, этот старик, – думал я, – но он говорит с волнением, с глубокой печалью и искренне, а я как будто над ним посмеиваюсь».

И я невольно протянул ему обе руки. Он взял их, прижал к своей груди, повторяя:

– Земляк, земляк!

Такое глубокое чувство звучало в его голосе, что сердце у меня пребольно сжалось.

Что ни говори, передо мною была загадка – загадка странная, а быть может, и очень печальная. Теперь я уже смотрел на него, как смотрел бы на старого отца. Почтительно усадив его на стул, я сел рядом. Он все смотрел на меня.

– Что слышно в краю нашем? – спросил он.

Тут я дал волю языку, говорил и говорил без остановки, только стараясь произносить слова громко и отчетливо. Таким образом проговорил я с полчаса, и в зависимости от моих слов старик то грустно покачивал своей белой головой, то на его губах появлялась улыбка. Один раз он произнес знаменитую фразу Галилея и часто задавал мне вопросы все тем же торжественным, необычным, непонятным для меня слогом.

Все, что я ему рассказывал, интересовало его чрезвычайно. Вся душа его, казалось, сосредоточилась в его глазах и устах. Живя одиноко в лесу, он, возможно, целыми днями думал лишь о том, о чем я теперь ему рассказывал.

О, странный ты старик, странная порода людей, уносящих с собою в самые отдаленные края одну-единственную мысль и одно-единственное чувство! Тем и живете вы в лесах, в пустынях, у моря – тело свое уносите, но душу оторвать не можете – и бродите, будто очарованные, среди других людей! Но порода эта постепенно вымирает. Я вам рассказываю об одном из последних таких людей.

Мой рассказ кажется вымыслом, но он правдив. Путрамент, возможно, еще живет в своем лесу вблизи Марипозы. Из его слов я узнал следующее. Он был пасечник, как большинство скваттеров. И не слишком бедный. Пчелы зарабатывали ему на пропитание. Состарясь, он взял себе помощника, мальчика-индейца, смотреть за пасекой. Он сказал, что до сих пор еще охотится сам каждый день. Дичи вокруг Марипозы много: оленей, антилоп, всяческой птицы видимо-невидимо.

А вот медведей стало гораздо меньше. Его каньон один из самых красивых в окрестности. Возле дома протекает чудесный ручей со многими водопадами – кругом скалы да горы, а на них леса, дремучие леса... Тишина, покой... Он горячо приглашал меня к себе, но тогда мне пришлось бы для возвращения в Марипозу ждать следующей пятницы, и я с грустью отказался от приглашения. Говорил он все время языком Авраама и Иакова... Слова «почто», «поелику», «воистину», «доколе», «днесь» густо уснащали его речь. Порой мне чудилось, будто передо мною человек времен Гурницкого или Скарги, который прорыл себе под землю ход до самой Марипозы и тут воскрес либо жил здесь с допотопных времен, как соседние Биг-Триз. Но, кроме старинного слога, была в его речи странная торжественность – в нанизывании предложений, в обилии плеоназмов, в подробности описаний. Я наконец решил разгадать эту загадку.

– Скажите мне на милость, откуда у вас такой язык? Это язык не современный, язык устаревший, на нем в Польше уже не говорят.

Он усмехнулся.

– Единственная книга в доме моем – Библия Вуека, я читаю ее каждый день, дабы не забыть языка моего и не стать немым для речи предков моих...

Тогда-то я понял. Несколько десятков лет он в далекой Мари-позе не видел ни одного поляка, ни с одним не говорил. Зато читал Вуека, и немудрено, что не только слова, но и мысли складывались у него по библейскому образцу. Иного польского языка он уже не знал и знать не мог, он выкладывал лишь то, что там почерпнул. Но главное – он ни за что на свете не хотел забыть. Он взял себе в обыкновение читать вслух свою Библию каждое утро. Впрочем, больше ничего и не доходило до него из родного края – ничего, ниоткуда, разве что шум калифорнийского леса напоминал ему шум лесов литовских.

Когда мы прощались, я сказал:

– Через месяц я возвращаюсь на родину. Нет ли у вас там родных? Брата, свата, кого-нибудь, кому бы вы могли сообщить о себе?

Он задумался, как бы ища в памяти каких-нибудь самых дальних родственников, потом покачал головой:

– Никого... никого... никого...

И все же старик этот читал Вуека и не хотел забыть!

Мы простились.

– Господь да пребудет с тобою! – сказал он мне в виде напутствия.

Он сразу же уехал в лес, я через два дня – к Биг-Триз. Когда я сидел в дилижансе, мистер Биллинг так тряс мою руку, будто намеревался оторвать ее, чтобы оставить себе на память.

– Великий человек был, сударь, этот пан Мерославский... Гуд бай! Гуд бай! Sehr grosser Mann![74]

Четверть часа спустя меня окружали леса Марипозы. На следующий день утром я подумал: в эту минуту старик Путрамент в каньоне читает вслух свою Библию...

1882

БАРТЕК-ПОБЕДИТЕЛЬ

Героя моего звали Бартек Словик, но за его привычку таращить глаза, когда с ним разговаривали, соседи называли его Бартеком Лупоглазым. С соловьем у него действительно было мало общего, зато его умственные способности и поистине гомерическая наивность снискали ему прозвище Глупый Бартек. Это прозвище было самым популярным, и, вероятно, именно оно войдет в историю, хотя у Бартека было еще и четвертое – официальное. Так как слова «человек» и «еловик» звучат для немецкого уха почти одинаково, а немцы любят во имя цивилизации переводить варварские славянские названия на более культурный язык, то в свое время при составлении воинских списков произошел следующий диалог.

– Как тебя зовут? – спросил у Бартека офицер.

– Словик.

– Шлоик? Ach, ja, gut[75].

И офицер записал: «Mensch»[76].

Бартек был родом из деревни Гнетово; подобные названия деревень очень распространены в княжестве Познанском и других землях бывшей Речи Посполитой. Кроме земли, хаты и двух коров, были у него еще пегая лошадь и жена Магда. Благодаря такому стечению обстоятельств он мог жить спокойно, согласно с мудростью, заключавшейся в строках.

Конь мой пегий, женка Магда,
Что захочет бог, и так даст!

И в самом деле, жизнь его складывалась именно так, как хотел бог, но когда бог дал войну, Бартек огорчился не на шутку. Прислали ему уведомление – явиться на военную службу. Нужно было бросать хату, землю и все отдать на бабье попечение. Народ в Гнетове был большей частью бедный. Бартек зимой, бывало, ходил на фабрику и этим поддерживал хозяйство, а теперь что? Кто знает, когда кончится война с французом? Магда как прочла повестку, так и принялась ругаться:

– Ах, чтоб им пусто было! Чтоб они ослепли! Хоть ты и дурак... Да мне-то тебя жалко: французы тебе спуска не дадут: либо голову снесут, либо еще что!..

Бартек чувствовал, что баба говорит правильно. Французов он боялся как огня, и у него тоже щемило сердце. Что ему сделали французы? Зачем, почему ему идти туда, на эту страшную чужбину, где нет ни одной доброй души? Когда сидишь в Гнетове, кажется: ни так, ни этак, одним словом, как всегда, а как велят идти, тут сразу поймешь, что дома лучше, чем где бы то ни было. Да уж теперь ничем не поможешь – такая судьба, нужно идти! Бартек обнял бабу, потом десятилетнего Франека, потом сплюнул, перекрестился и пошел из хаты, а Магда – за ним. Простились они без особых нежностей. Она и мальчишка плакали, а он повторял: «Ну, будет, будет!» –

и так вышли на дорогу.

Тут только они увидели, что во всем Гнетове творится то же, что и у них. Вся деревня высыпала: дорога так и запружена призванными. Мужчины идут на железнодорожную станцию, а бабы, дети, старики и собаки их провожают. Тяжело на душе у рекрутов, только у тех, кто помоложе, торчат трубки в зубах; для начала есть уже пьяные, некоторые хриплыми голосами поют:

Рученьке Скшинецкого с ясным перстеньком
Не взмахнуть уж сабелькой пред своим полком!

Кое-кто из немцев – гнетовских колонистов – со страху затыкнул «Wacht am Rhein». Вся эта пестрая, разношерстная толпа, среди которой поблескивают штыки жандармов, с шумом и гамом выходит за околицу. Бабы обнимают своих «солдатиков» за шею и причитают; какая-то старуха показывает свой единственный желтый зуб и грозит кулаком в пространство. Другие проклинают; «Пусть же вам бог оплатит за наши слезы!» Слышны крики: «Франек! Казька! Юзек! Прощайте!» Лают собаки, звонят колокола в костеле. Ксендз читает отходную. Ведь многие из тех, что идут сейчас на станцию, не вернутся домой. Война забирает всех, но не всех отдает назад. Заржавеют плуги па полях, ибо Гнетово объявило войну Франции. Гнетово не могло примириться с возрастающим влиянием Наполеона III и приняло близко к сердцу вопрос об испанском престоле. Колокольный звон провожает толпу, растянувшуюся по дороге. Вот и распятие – шапки и каски срываются с голов. Золотистая пыль поднимается по дороге: день стоит сухой и ясный. По обеим сторонам дороги шелестят созревающие хлеба, время от времени легкий ветерок пролетает над полями и колышет тяжелые колосья. В голубом небе парят жаворонки и в самозабвении заливаются песнями.

Станция! Толпа еще больше. Тут уже рекруты из Верхней Кривды, из Нижней Кривды, из Вывлашинец, из Недоли, из Убогова. Шум, крики, суматоха! Стены па станции облеплены манифестами. Здесь война «во имя бога и отечества». Ополченцы пойдут защищать свои семьи, жен, детей, хаты и поля, которым грозит враг. Видно, французы особенно ожесточились на Гнетово, на Верхнюю Кривду и Нижнюю Кривду, на Вывлашинец, Недолю и Убогово. Так, по крайней мере, кажется тем, кто читает афиши. К станции прибывают все новые и новые толпы. Дым от трубок наполняет зал и заволакивает афиши. Шум стоит такой, что трудно что-нибудь понять; все бегает, зовут, кричат. С перрона доносится немецкая команда; резкие слова ее звучат отрывисто, твердо, решительно.

Раздается звонок, потом свисток. Издали слышно шумное дьщанье паровоза. Все ближе, все явственнее чудится, будто это приближается война.

Второй звонок! Дрожь пробегает по спинам. Какая-то баба кричит: «Едом! Едом!» Так она зовет своего Адама, но другие бабы подхватывают это слово и кричат: «Едут!» Чей-то особенно пронзительный голос добавляет: «Французы едут!», и в одно мгновение паника охватывает не только баб, но и будущих героев Седана. Толпа мечется. Тем временем поезд останавливается на станции. Во всех окнах – фуражки с красными околышами и мундиры. Солдат – как муравьев в муравейнике. На угольных платформах чернеют мрачные орудия с длинными стволами. Открытые платформы оцетинились целым лесом штыков. Солдатам, верно, приказали петь, так как весь поезд содрогается от сильных мужских голосов. Силой и мощью веет от этого поезда, которому конца не видно.

Но вот рекрутам приказывают строиться; кто может, еще раз прощается; Бартек взмахнул ручищами, как мельничными крыльями, и вытаращил глаза:

– Ну, Магда! Прощай!

– О! Бедный мой муженек!

– Не увидишь ты меня больше!

– Ох! Не увижу!

– Ничего не пожелаешь?

– Сохрани тебя мать божья и помилуй...

– Прощай; смотри за хатой.

Баба с плачем обхватила его шею руками.

– Да хранит тебя бог!

Наступает последняя минута. Визг, плач и причитанья баб на время заглушают все. «Прощайте! Прощайте!» Но вот солдаты уже отделены от беспорядочной толпы; вот они уже образуют черную плотную массу, которая формируется в квадраты, прямоугольники и начинает двигаться с точностью и четкостью машин. Команда: «Садись!» Квадраты и прямоугольники ломаются посередине, вытягиваются длинными лентами по направлению к вагонам и исчезают в их глубине. Вдали свистит паровоз и выбрасывает клубы серого дыма. Теперь он дышит, как дракон, извергая струи пара. Причитания баб переходят в один сплошной вопль. Одни закрывают глаза фартуками, другие протягивают рука к вагонам. Рыдающими голосами выкликают они имена мужей и сыновей.

– Прощай, Бартек! – кричит снизу Магда. – Да не лезь, куда не пошлют. Божья мать храни тебя... Прощай! О господи!

– А за хатой смотри, – отвечает Бартек.

Внезапно цепь вагонов дрогнула, они стукнулись друг о друга – и тронулись.

– Помни, что у тебя жена и ребенок, – кричала Магда вслед уходившему поезду. – Прощай! Во имя отца, и сына, и святого духа! Прощай!..

Поезд шел все быстрее, увозя воинов из Гнетова, из обоих Кривд, из Недоли и из Убогова.

II

В одну сторону плетется в Гнетово Магда с толпой баб и плачет, а в другую сторону – в серую даль – несется поезд, ошестинившийся штыками. И в нем Бартек. Серой дали конца не видно. Гнетово тоже едва разглядишь, только вдали зеленеет липа да золотится шпиль колокольни, на котором играет солнце. Вскоре расплылась и липа, а золотой крест стал казаться блестящей точкой. Пока светилась эта точка, Бартек смотрел на нее, но когда и она исчезла, совсем загоревал мужик. Страшная тоска охватила его, он почувствовал, что пропал. Тогда он стал смотреть

на унтер-офицера, потому что после бога не было над ним большей власти. Что с ним теперь ни случится, за все отвечает капрал, а сам Бартек теперь ничего не знает и ничего не понимает. Капрал сидит на лавке и, зажав коленями ружье, курит трубку. Дым поминутно застилает тучей его хмурое и сердитое лицо. Но не только Бартек смотрит на это лицо, на него смотрят все глаза из всех углов вагона. В Гнетове или Кривде всякий Бартек или Войтек сам себе хозяин, всякий должен думать о себе и за себя, ну а теперь на это есть капрал. Велит он смотреть направо – будут смотреть направо, велит налево – будут смотреть налево. Каждый спрашивает его взглядом: «Ну как? Что же с нами будет?» А он и сам знает столько же, сколько они, и был бы рад, если б какое-нибудь начальство дало ему соответствующий приказ или разъяснение. Мужики даже расспрашивать боятся, потому что теперь война и всякие там военные суды. Что можно, чего нельзя – неизвестно, во всяком случае им неизвестно, но их пугает самый звук таких слов, как «Kriegsgericht»[77] которых они даже хорошенько не понимают, отчего еще больше боятся.

В то же время они чувствуют, что этот капрал теперь им нужнее, чем на маневрах под Познанью, потому что он один все знает, за всех думает, а без него они – никуда. Между тем унтеру, должно быть, надоело держать ружье, он сунул его Бартеку, Бартек бережно его взял, затаил дыхание, выпучил глаза и уставился на капрала, как на икону, но легче ему от этого не стало.

Ох, должно быть, плохо дело, потому что и капрал как с креста снятый. На станциях – песни, крики, капрал командует, суетится, ругается, чтоб показать себя перед начальством; но как только поезд трогается, все затихает, затихает и он. Ему тоже мир теперь открылся с двух сторон: одна светлая и понятная – это его хата, жена и перина, другая темная, совсем темная – это Франция и война. Этот вояка, как и вся армия, охотно бы позаимствовал у рака его рачью повадку. Гнетовских солдат одушевлял тот же «воинственный» пыл, – это было очевидно, так как находился он не в глубине души, а тут же на спине: каждый тащил на ней ранец, шинель и прочее военное снаряжение – и всем было очень тяжело.

Тем временем поезд шипел, гудел и летел дальше. На каждой станции прицепляли новые вагоны и паровозы. На каждой станции только и можно было увидеть каски, пушки, лошадей, штыки пехотинцев и уланов. Наступал ясный вечер. Солнце разлилось огромным красным заревом, высоко в небе плыли стаи маленьких легких облачков с алевшими от заката контурами. Поезд наконец перестал забирать на станциях вагоны и людей и летел, сотрясаясь, все вперед, в эту багряную даль, словно в море крови. Из открытого вагона, где сидел Бартек с другими гнетовцами, видны были деревни, села, местечки, башенки костелов, аисты, стоявшие в гнездах на одной ноге, отдельные хаты, вишневые сады. Все это быстро мелькало, все было красное. Солдаты стали смелее перешептываться, потому что унтер-офицер, подложив сумку под голову, уснул с фарфоровой трубкой в зубах. Войтек Гвиздала, гнетовский мужик, сидевший рядом с Бартеком, толкнул его локтем:

– Слушай, Бартек...

Бартек повернул к нему лицо с задумчивыми, выпученными глазами.

– Что смотришь, как теленок, которого ведут на убой? – шептал Гвиздала. – Да ты, бедняга, и в самом деле идешь на убой, и наверняка...

– Ой, ой! – застонал Бартек.

– Боишься? – спросил Гвиздала.

– Да как же не бояться...

Заря стала еще краснее. Показывая на нее рукой, Гвиздала снова зашептал:

– Видишь ты этот свет? Знаешь, глупый, что это такое? Это кровь. Тут Польша, наша родина, значит... Понятно? А вон там вдалеке, где полыхает, – это есть Франция...

– И скоро мы туда доедем?

– А тебе к спеху? Говорят: страсть как далеко, да ты не бойся, французы нас сами встретят...

Бартек стал усиленно работать своей гнетовской головой. Через минуту он спросил:

– Войтек!

– Чего тебе?

– А скажи на милость, что это за народ такой – французы?

Тут пред ученостью Войтека сразу раскрылась пропасть, в которую легче было провалиться с головой, чем вылезть назад. Он знал, что французы – это французы. Кое-что слышал о них от стариков: французы-де всегда и всех били; знал, наконец, что они чужаки, но как это растолковать Бартеку, чтобы и он понял* какие они чужие?

Прежде всего он повторил вопрос:

– Что это за народ?

– Ну да.

Войтек знал три народа: в середине «поляки», по одну сторону «москали», по другую «немцы». Но немцы были разных сортов. И, предпочитая точности ясность, он сказал:

– Что за народ французы? Как тебе сказать, вроде немцев, только еще похуже.

А Бартек на это:

– Ах, стервы!

До этой минуты он питал к французам только одно чувство-чувство неопишуемого страха. Но лишь теперь этот прусский ополченец проникся к ним подлинной патриотической ненавистью. Однако он не все еще уразумел как следует и потому спросил опять:

– Так, значит, немцы будут с немцами воевать?

Тут Войтек, как второй Сократ, решил идти путем сравнений и ответил:

– А разве твой Лыска с моим Бурым не грызутся?

Бартек раскрыл рот и с минуту смотрел на своего учителя.

– А ведь верно.

– Вот и австрияки – те же немцы, – продолжал Войтек, – а разве наши с ними не дрались! Старик Сверщ был на этой войне, так он рассказывал, что Штейнмец кричал им: «Ну, ребята, на немцев!» Только с французом не так-то легко.

– Боже ты мой!

– Француз ни одной войны не проиграл. Он как пристанет к тебе, уж у него не вывернешься, не беспокойся! А народ у них рослый – раза в два либо в три выше наших мужиков. Бороды они отращивают, как евреи. А некоторые черны, как черти. Такого как увидишь, молись богу...

– Ну, так чего ж мы на них идем? – спрашивает с отчаянием Бартек.

Это философское замечание было, может быть, не так уж глупо, как показалось Войтеку, который, очевидно, под влиянием официальных внушений, поспешил ответить:

– И по-моему, лучше бы не идти. Да не пойдём мы, придут они. Ничего не поделаешь. Ты читал, что было напечатано? Пуще всего они ополчились против наших мужиков. Люди сказывают, они потому так зарятся на нашу землю, что хотят водку провозить контрабандой из Царства Польского, а правительство-то им не дает – оттого и война. Теперь понял?

– Как не понять, – покорно ответил Бартек.

Войтек продолжал:

– А до баб они охотники, как пес до сала...

– Стало быть, к примеру сказать, они и Магду бы не пропустили?

– Да они и старухам спуску не дают!

– О! – воскликнул Бартек таким тоном, как будто хотел сказать: «Ну, ежели так, то у меня держись!»

Это ему показалось уж чересчур. Водку пусть себе возят из Польши, но насчет Магды – шалишь! Теперь мой Бартек стал смотреть на войну с точки зрения собственного интереса и почувствовал даже некоторое облегчение при мысли, что столько войск и орудий выступает в защиту Магды от этих охальников-французов. Кулаки у него невольно сжались, и к страху перед французами примешалась... ненависть к ним. Он пришел к убеждению, что тут уж ничего не поделаешь, нужно идти. Тем временем заря погасла. Стемнело. Вагон стало сильнее трясти на неровных рельсах, и в такт толчкам покачивались вправо и влево каски и штыки.

Прошел час, другой. Из паровоза летели миллионы искр и скрещивались в темноте с огненными полосками и змейками. Бартек долго не мог заснуть. Как искры в воздухе, в голове его мелькали мысли о войне и о Магде, о Гнетове, французах и

немцах. Ему казалось, что если бы он и захотел, все равно не мог бы подняться с лавки, на которой сидел. Наконец он забылся в нездоровом полусне. И тотчас же на него толпой налетели видения: сначала он увидел, как его Лыска грызется с Войтековым Бурым, так что шерсть летит клочьями. Он схватился было за палку, чтобы их разнять, но вдруг видит уже другое: сидит возле Магды француз, черный, как мать-земля, а Магда довольна — смеется, скалит зубы. Другие французы насмеются над Бартеком и показывают на него пальцами... Это, верно, паровоз тарыхтит, а ему кажется — французы кричат: «Магда! Магда! Магда! Магда!» Бартек орет: «Заткните глотки, разбойники, пустите бабу!» А они: «Магда! Магда! Магда!» Лыска с Бурым заливаются, все Гнетово кричит: «Не давай бабу!» А он... Связан он, что ли? Он ринулся, рванул, веревки лопнули. Бартек схватил француза за чуб и вдруг...

Вдруг он чувствует сильную боль, как будто его кто ударил изо всей мочи. Бартек просыпается и вскакивает на ноги. Весь вагон проснулся, все спрашивают, что случилось. Оказывается, бедняга Бартек во сне схватил за бороду унтер-офицера. Теперь он стоит, вытянувшись в струнку, и держит под козырек, а унтер размахивает руками и кричит, как бесноватый:

— Ach, Sie dummes Vieh aus dor Polakej! Hau' ich dem Lum-mel die Fresse, das ihm die Zahne sektionenweise ans dem Maui faerausfliegen werden![78]

Унтер просто хрипит от бешенства, а Бартек все стоит, прижав пальцы к виску. Солдаты кусают губы, чтобы не рассмеяться, так как боятся унтер офицера, с уст которого еще слетают последние громы:

— Em polnischer Oclise! Oclise aus Podolien![79]

Наконец все стихает. Бартек садится на прежнее место. Он чувствует, что щеки его начинают пухнуть, а паровоз, как назло, твердит свое: «Магда! Магда! Магда!»

Бартеку становится очень тоскливо.

III

Утро. Рассеянный бледный свет падает на сонные, измученные лица. На скамьях вповалку спят солдаты: одни — свесив голову на грудь, другие — запрокинув назад. Встает заря и заливает розовым сиянием весь мир. Прохладно и свежо. Солдаты просыпаются. Лучезарное утро вырывает из тумана и мрака какую-то неведомую им страну! Эх! Где-то теперь Гнетово, где Большая и Малая Кривда, где Убогово? Тут уж чужбина и все по-другому. Кругом пригорки, поросшие дубняком; в долинах — дома, крытые красной черепицей с черными балками на белых стенах, увитых виноградом,— красивые, как господские усадьбы. Кое-где костелы с остроконечными колокольнями, кое-где высокие фабричные трубы с клубами розового дыма. Зато народ кишмя кишит, как в муравейнике, то и дело мелькают деревни и города. Поезд, не останавливаясь, пронесется мимо множества маленьких станций. Должно быть, что-то случилось: повсюду толпы. Солнце медленно выходит из-за гор, и мужики один за другим начинают вслух молиться. Их примеру следуют остальные; первые лучи солнца освещают мужицкие молитвенно сосредоточенные лица.

Тем временем поезд останавливается на большой станции. Тотчас его окружает толпа народу: получены с поля сражения вести. Победа! Победа! Деша пришла несколько часов назад. Все ждали поражения, а когда их разбудили хорошей вестью, радости не было конца. Вскочив с постели, полуодетые люди выбегали из домов и спешили на

станцию. Кое-где на крышах уже развеваются флаги, все машут платками. В вагоны приносят пиво, табак, сигары. Возбуждение неопишное, лица сияют. «Wacht am Rhein» – словно буря ревет... Все плачут, обнимаются от радости. Unser[80] Фриц разбил врага наголову! Взяты орудия, знамена! В порыве великодушия толпа отдает солдатам все, что у нее есть. Солдаты подбадриваются и тоже начинают петь. Вагоны содрогаются от сильных мужских голосов, а толпа с удивлением слушает непонятные слова песни. Гнетовцы поют: «Бартек, ты мой Бартек, ох, не теряй надежды!» «Die Polen, die Polen!»[81] – как бы поясняя, повторяет толпа и теснится к вагонам, восторгаясь осанкой солдат и поддерживая собственное веселье анекдотами о невероятной храбрости этих польских полков.

Щеки у Бартека распухли, что при его рыжих усах, выпученных глазах и огромной костлявой фигуре делает его особенно страшным. На него глядят как на редкостного зверя. «Вот какие защитники у немцев! Уж этот задаст французам!» Бартек довольно ухмыляется: он тоже рад, что французов поколотили. Теперь, по крайней мере, не придут они в Гнетово, не собьют с толку Магду, не заберут его землю. Бартек улыбается, но тогда лицо у него еще сильнее болит; он морщится от боли и кажется действительно страшным. Зато ест он с аппетитом гомеровского героя. Гороховая колбаса и кружки пива исчезают в его глотке, как в пропасти. Ему дают сигары, пфенниги – он все берет.

– А ничего, добрый народ эта немчура,– говорит он Войтеку и через минуту прибавляет: – А французов-то, вот видишь, побили!

Однако скептический Войтек омрачает его радость. Войтек прорицает, как Кассандра:

– Французы всегда так: наперед дадут себя поколотить, чтобы сбить с толку, а потом как возьмутся, так только щепки полетят.

Войтек не знает ни того, что его мнение разделяет добрая половина Европы, ни тем более того, что вся Европа ошибается вместе с ним.

Едут дальше. Все дома, насколько хватает глаз, увешаны флагами. На некоторых станциях гнетовцы долго простаивают, потому что везде полно поездов. Войска со всех сторон немецкой земли спешат на подмогу своим победоносным братьям. Поезда украшены зелеными ветками. Уланы насаживают на пики букетики цветов, которые им поднесли по дороге. Большинство уланов – поляки. Слышно, как они громко переговариваются в вагонах, окликают друг друга:

– Как живете, братки? Куда бог несет?

А то из поезда, несущегося по соседним путям, грянет знакомая песня:

В Сандомире с краю хата,
Кличет панночка солдата...

Тотчас Бартек с товарищами подхватывает на лету:

Не зайдешь ли на часочек?
Я не съем тебя, дружочек.

Насколько все тосковали, уезжая из Гнетова, настолько теперь преисполнились бодрости и воодушевления. Однако первый поезд, прибывший из Франции с первыми ранеными, сразу портит настроение. Он останавливается в Дейце и долго стоит, пропуская тех, что спешат на поле битвы. Но, чтобы всем перебраться через кельнский мост, нужно несколько часов. Бартек бежит вместе с другими поглядеть на больных и раненых. Одни едут в закрытых вагонах, другим не хватило места, и они лежат в открытых; этих хорошо видно. При первом же взгляде на них геройский дух Вартена улетучивается.

– Войтек, поди сюда! – кричит он в ужасе. – Смотри, сколько народу француз перепортил!

И в самом деле, есть на что посмотреть! Лица измучены и бледны; многие почернели от пороха или боли, залиты кровью. На возгласы всеобщей радости они отвечают лишь стонами. Иные проклинают войну, французов и немцев. Запекшиеся, почерневшие губы поминутно просят воды; воспаленные глаза почти безумны. И тут же, среди раненых, застывшие лица умирающих – иногда спокойные, с синими кругами у глаз, иногда искаженные судорогой, с испуганными глазами и оскаленными зубами.

Бартек впервые видит кровавые плоды войны. В голове его снова все путается; он стоит в толпе, разинув рот, и смотрит как одурелый; его толкают со всех сторон, наконец жандарм дает ему прикладом по шее. Бартек ищет глазами Войтека и, найдя его, говорит:

– Войтек! Да что же это, боже!

– Так будет и с тобой.

– Господи Иисусе, пресвятая богородица! И как же это люди убивают друг друга! Да если какой мужик поколотит другого, жандарм потащит его в суд, а там ему нагорит!

– Ну а теперь тот выходит лучше, кто больше народу перепортил. А ты, дурак, думал, здесь будут холостыми зарядами стрелять, как на маневрах, или по мишеням, а не по живым людям?

Тут сразу сказалась разница между теорией и практикой. Наш Бартек ведь был солдатом, ходил на маневры и ученья, стрелял сам и знал, что для того и война, чтобы людей убивать, но теперь, когда он увидел кровь раненых и ощутил уже войны, ему стало так нехорошо, так тошно, что он едва на ногах устоял. И он снова проникся уважением к французам, которое уменьшилось, лишь когда они добрались из Дейца в Кельн. На центральном вокзале они увидели первых пленных. Их окружала огромная толпа, народ и солдаты смотрели на пленных с гордостью, но еще без ненависти. Пробивая себе дорогу локтями, Бартек протиснулся вперед, взглянул на вагон и изумился.

В вагоне, как сельдей в бочке, набилось французских пехотинцев – маленьких, тощих, грязных, в рваных шинелях. Многие протягивали руки за скудным подаванием, которым их оделяла толпа, поскольку стража этому не препятствовала. Бартек со слов Войтека составил себе о них совсем другое представление. Душа его покинула пятки и вернулась на свое место. Он оглянулся, нет ли поблизости Войтека. Войтек стоял рядом.

– Что же ты говорил? – спросил Бартек. – Да это заморыши какие-то; дашь одному

раз, а четверо повалятся.

– Да, что-то помельчали,– отвечал тоже разочарованный Войтек.

– А по-каковски они лопочут?

– Да уж не по-польски.

Успокоенный в этом отношении, Бартек пошел дальше вдоль вагонов.

– Сплошь голытьба! – сказал он, окончив смотр линейных войск.

Но в следующих вагонах сидели зуавы. Они-то заставили Бартека призадуматься. Сидели они в закрытых вагонах, так что нельзя было удостовериться, в самом ли деле они вдвое или даже втрое выше, чем обыкновенные люди. В окна видны были только длинные бороды и угрюмые темные лица старых солдат с грозно сверкающими глазами. Душа Бартека снова направилась в пятки.

– Эти пострашнее,– тихо шепнул он, словно боясь, что его услышат.

– Ты еще не видел тех, что не сдались в плен,– сказал Войтек.

– Господи боже ты мой!

– Еще увидишь!

Насмотревшись на зуавов, они пошли дальше. Но вот от следующего вагона Бартек отскочил как ошпаренный.

– Караул! Войтек, спасай!

В открытое окно было видно темное, почти черное лицо тюркоса с белыми закатившимися глазами. Должно быть, он был ранен, так как лицо его было искажено страданием.

– Ну что? – говорит Войтек.

– Да это черт, а не солдат! Боже, смилуйся надо мной грешным!

– Ты погляди, какие у него зубищи!

– Да провались он совсем! Не стану я на него смотреть!

Бартек умолк, но через минуту спросил:

– Войтек!

– Чего?

– А что, если такого да перекрестить,– не поможет?

– Язычники нашей святой веры не понимают.

Но вот сигнал садиться. Через минуту поезд трогается. Когда стемнело, Бартек все

видел перед собой черное лицо тюркоса и страшные белки его глаз. Чувства, волновавшие в этот момент гнетовского воина, не предвещали его будущих подвигов.

IV

Генеральное сражение под Гравелоттом, в котором Бартеку вскоре пришлось участвовать, убедило его лишь в том, что в бою есть на что глазеть, но делать там нечего. Сначала ему и его лодку было приказано стоять с ружьем к ноге у подошвы холма, покрытого виноградниками. Вдали гремели пушки, вблизи проносились конные полки с топотом, от которого содрогалась земля, мелькали то уланские флажки, то кирасирские палаши. Над холмом в голубом небе с шипением пролетали гранаты, словно белые облачка; потом дым наполнил воздух и застлал горизонт. Казалось, бой, как гроза, проходит стороной, но это продолжалось недолго.

Спустя некоторое время вокруг полка Бартека началось какое-то странное движение. Возле него стали строиться другие полки, а в интервалы менаду ними подвозили орудия, моментально выпрягали и поворачивали жерлами к холму. Вся долина заполнилась войсками. Теперь со всех сторон гремит команда, скачут адъютанты. А наши рядовые перешептываются: «Ох, и достанется же нам!»— либо с тревогой спрашивают друг друга: «Скоро, что ли, начнется?» — «Верно, скоро».

Приближается что-то неведомое, таинственное, может быть смерть... В дыму, застилающем холм, что-то страшно кипит и бурлит. Все ближе слышится гулкий рев пушек и ружейный треск огня. Издалека доносится какой-то неясный грохот: это картечь. Вдруг грянули только что поставленные орудия — и разом содрогнулись воздух и земля. Над полком Бартека что-то зашипело. Смотрят — летит не то роза, не то тучка, а тучка эта шипит и хохочет, скрежещет, воеет и ржет. Поднимается крик: «Граната! Граната!» Как вихрь, летит эта птица войны все ближе, вдруг падает, разрывается! Раздается оглушительный треск, грохот, как будто мир рушится, и проносится вихрь, словно внезапно налетела буря. В рядах, стоявших ближе к орудиям, замешательство, слышится команда: «Сомкнись!» Бартек стоит в первой шеренге с оружием на плече, голова у него задрана кверху, воротник подпирает подбородок, поэтому зубы не стучат. Нельзя ни шелохнуться, ни выстрелить. Стой! Смирно! А тут летит вторая граната, третья, четвертая, десятая! Вихрь рассеивает дым с холма, французы уже согнали с него прусские батареи, поставили свои и теперь поливают огнем долину. Поминутно из виноградников вылетают длинные белые ленты дыма. Пехота под прикрытием орудий спускается еще ниже, чтобы открыть ружейный огонь. Вот они уже на середине холма. Теперь их отчетливо видно, потому что ветер относит дым. Что это, виноград зацвел маком? Нет, это красные шапки пехотинцев. Внезапно они исчезают в высоких виноградных лозах; их совсем не видно, лишь кое-где развеваются трехцветные знамена. Вдруг одновременно в разных местах вспыхивает ружейный огонь — частый, лихорадочный, неравномерный. Над этим огнем непрерывно завывают гранаты, скреживаясь в воздухе. На холме время от времени раздаются крики, им отвечает немецкое «ура». Пушки в долине непрерывно изрыгают огонь. Полк стоит непоколебимо.

Однако огонь уже окружает и его. Пули жужжат, как мухи или слепни, и со страшным свистом пролетают вблизи. Их все больше: вот уже свистят мимо уха, носа, мелькают перед глазами; их тысячи, миллионы. Странно, что еще кто-то стоит на ногах. Вдруг возле Бартека раздается стон: «Господи Иисусе!», потом: «Сомкнись!», опять: «Иисусе!» — «Сомкнись!» Наконец все сливается в один непрерывный стон, ряды сдвигаются все тесней, команда становится все поспешней, свист все продолжительнее, непрерывнее, ужаснее. Убитых вытаскивают за ноги.

Страшный суд!

– Боишься? – спрашивает Войтек.

– Еще бы не бояться,– отвечает наш герой, щелкая зубами.

Однако оба стоят – и Бартек, и Войтек,– им даже в голову не приходит, что можно убежать. Приказано стоять – ну и стой! Бартек лжет. Он не так боится, как боялись бы тысячи на его месте. Дисциплина подавляет его воображение, и оно не в силах нарисовать ему весь ужас действительного положения. Тем не менее Бартек полагает, что его убьют, и делится этой мыслью с Войтеком.

– Небо не прохудеет, если одного дурака убьют! – сердито отвечает Войтек.

Эти слова заметно успокаивают Бартека. Можно подумать, что самое важное для него было знать, продырявится небо или нет. Успокоенный в этом отношении, он терпеливо продолжает стоять, хотя очень жарко и пот течет по его лицу. Между тем огонь становится таким ужасным, что ряды тают на глазах: убитых и раненых уже некому вытаскивать. Хрипенье умирающих сливается со свистом снарядов и грохотом выстрелов. По движению трехцветных знамен видно, что пехота, скрытая виноградниками, придвигается все ближе и ближе. Картечь летит тучей, опустошая ряды. Людей охватывает отчаяние.

Но в этом отчаянии слышится ропот нетерпенья и бешенства. Если бы им приказали идти вперед, они ринулись бы как буря. Им уже не стоит на месте. Какой-то солдат, сорвав с головы фуражку, изо всей силы швыряет ее оземь:

– Эх! Двум смертям не бывать!

При этих словах Бартек испытывает такое облегчение, что почти перестает бояться. Раз двум смертям не бывать, то, собственно говоря, о чем тут особенно беспокоиться? Эта мужицкая философия лучше всякой другой, так как придает бодрости человеку. Бартек и прежде знал эту истину, но ему приятно было ее еще раз услышать, тем более что битва стала превращаться в побоище. Вот полк, не сделавший ни одного выстрела, уже наполовину уничтожен. Солдаты из других разбитых полют тут беспорядочными толпами,– и только они, эти мужики из Гнетова, большой Кривды, Малой Кривды и Убогова, сдерживаемые железной прусской дисциплиной, еще стоят. Но в их рядах уже чувствуется некоторое колебание. Еще минута, и оковы дисциплины порвутся. Земля под ногами становится мягкой и скользкой от крови, и ее сырой запах смешивается с удушливым запахом гари. Местами ряды уже не могут сомкнуться; им мешают горы трупов. У ног людей, которые еще стоят, лежат другие люди – в крови, в предсмертных судорогах или безмолвии смерти. Грудь не хватает воздуха. В рядах поднимается ропот:

– На бойню привели!

– Никто живым не уйдет!

– Still, polnisches Vieh![82] – отозвался голос офицера.

– Тебе-то хорошо за моей спиной...

– Steht der Kerl da![83]

Вдруг раздается чей-то голос:

– Под твою защиту...

А Бартек подхватывает:

– Отдаем себя, пресвятая богородица!

И вскоре хор польских голосов уже взывает к Ченстоховской божьей матери:

– Моления наши не отвергни!..

А из-под ног им вторят стоны: «О Мария! Мария!»

И мать божия, верно, услышала их, потому что в ту же минуту на взмыленном коне подлетел адъютант. Раздается команда: «В атаку! Ура! Вперед!» Гребень штыков внезапно опускается, ряды вытягиваются в длинную линию и бросаются к холму искать штыками врагов, которых не могли найти глаза. Однако от подошвы холма наших героев отделяет не менее двухсот шагов, и это расстояние нужно преодолеть под убийственным огнем... Не погибнут ли все до одного, не побегут ли вспять? Погибнуть они могут, но отступить не станут: пруссаки знают, что нужно играть этим польским мужикам во время атаки. Среди грохота орудий и ружейного огня, среди дыма, сумятицы и стонов громче труб и рожков несется в небо гимн, от звуков которого каждая капля крови так и бурлит в их груди. «Ура! – отвечают Матеки. – Пока мы живем». Их охватывает воинственный пыл, лица их горят. Они несутся, как буря, по грудам человеческих и конских трупов, через горы разбитых пушек, гибнут, но идут вперед с криком и пением. Вот они уже добежали до виноградников и скрылись в их зелени. Только песня гремит да изредка блеснет штык. Вверху огонь бушует все сильнее. А внизу продолжают играть рожки. Залпы французов становятся все чаще, все лихорадочней, как вдруг-

Вдруг все смолкает.

Тогда внизу старый боевой волк Штейнмец закуривает фарфоровую трубку и говорит довольным тоном:

– Им только это заиграй! Дошли молодцы! -

Через несколько минут одно из гордо развевавшихся трехцветных знамен подпрыгивает кверху, потом склоняется и падает...

– Эти не шутят! – говорит Штейнмец.

Трубы снова играют тот же самый гимн. Второй познанский полк идет на подмогу первому.

В виноградниках – штыковой бой.

А теперь, Муза, воспой моего Бартека, чтоб узнали потомки о его подвигах. Страх, нетерпение, отчаяние слились в его сердце в одно чувство бешенства, а когда он услышал гимн, каждая жилка в нем напряглась, как железная проволока. Волосы у него стали дыбом, перед глазами замелькали искры. Он забыл обо всем на свете, забыл даже, что «двум смертям не бывать», и, сжав ружье могучими ручищами, бросился вместе с другими вперед. На бегу он раз десять спотыкался, разбил себе

нос, измазался весь землей и кровью, которая текла у него из носу, и, взбешенный, снова побежал вперед, ловя воздух раскрытым ртом. Он таращил глаза, чтобы увидеть в зелени хоть одного француза, как вдруг увидел сразу троих возле знамени. Это были туркосы. Вы думаете, Бартек отступил? Нет! Теперь он бы и самого сатану схватил за рога! Он ринулся к ним; турки с воем бросились на него; два штыка, как два жала, вот-вот вонзятся ему в грудь, но тут мой Бартек как схватит ружье за ствол, словно шкворень, да как махнет раз, да еще раз... Только страшный крик раздался в ответ – и два черных тела в судорогах упали на землю.

Тогда к третьему, что держал знамя, подбежало на помощь с десятков туркосов. Бартек, как фурия, бросился сразу на всех. Они выстрелили – что-то блеснуло, грохнуло, и в ту же минуту в клубах дыма заревел хриплый голос Бартека:

– Дали маху!

И опять его ружье описало страшный круг, и опять в ответ послышались вопли. Туркосы в ужасе попятились при виде этого ошалевшего от бешенства великана, и, то ли это послышалось Бартеку, то ли они что-то кричали по-арабски, только ему показалось, что из их широких ртов вылетал крик:

– Магда! Магда!

– А, Магды вам захотелось! – завыл Бартек и одним прыжком очутился среди врагов.

К счастью, в эту минуту подоспели к нему на помощь Матеки, Войтеки и другие Бартеки. В винограднике завязался рукопашный бой, которому вторили треск ружей и свистящее дыхание сражающихся. Бартек бушевал, как ураган. Закопченный дымом, залитый кровью, похожий скорее на зверя, чем па человека, он, не помня себя, каждым ударом валил людей, ломал ружья, проламывал головы. Руки его двигались со страшной быстротой машины, сеющей гибель. Добравшись до знаменосца, он схватил его своими железными пальцами за горло. У знаменосца глаза вылезли на лоб, побагровело лицо, он захрипел и выпустил из рук древко.

– Ура! – крикнул Бартек и, подняв знамя, замахал им в воздухе.

Вот это-то подымающееся и опускающееся знамя видел снизу генерал Штейнмец.

Но мог он еще видеть лишь одно мгновение, потому что уже в следующее Бартек этим самым знаменем раскроил чью-то голову в кепи с золотым шнурком.

Тем временем его товарищи бросились вперед.

Бартек на минуту остался один. Он сорвал знамя, спрятал его за пазуху и, схватив обеими руками древко, побежал вслед за своими.

Толпы туркосов с диким воем бросились к орудиям, стоявшим на вершине холма, а за ними с криком бежали Матеки и, догнав, били их прикладами и штыками.

Зуавы, стоящие у орудий, встретили тех и других ружейным огнем.

– Ура! – крикнул Бартек.

Мужики добежали до пушек. Возле них снова завязался рукопашный бой. В ту минуту

на помощь первому подоспел второй познанский полк. Древко знамени в могучих ручищах Бартека превратилось в какой-то адский цеп. Каждый удар его расчищал широкую дорогу в сомкнутых рядах врага. Ужас охватил туркочов и зуавов. Там, где дрался Бартек, они отступали. Через минуту Бартек сидел на пушке, как на гнетовской кобыле.

Но не успели солдаты заметить, что он взобрался на нее, как он уже оседлал вторую и свалил возле нее другого знаменосца.

– Ура, Бартек! – крикнули солдаты.

Победа была полная. Мужики захватили все орудия. Французская пехота бежала, по другую сторону холма снова наткнулась на прусский отряд и сложила оружие.

Однако Бартек, преследуя противника, захватил и третье знамя. Надо было его видеть, когда он, усталый, облитый потом и кровью, пыхтя, как кузнечный мех, спускался вместе с другими с холма, неся на плечах три французских знамени. Французы! Тьфу! Плевать ему на них! Рядом с Бартеком шел исцарапанный, весь в ссадинах Войтек. Бартек сказал ему:

– Что ж ты болтал? Да это же дрянь просто: у них и силы-то никакой нет. Поцарапали нас с тобой, как котята, – вот и все. А их – чуть когохватишь, глядь – из него уж и дух вон.

– Кто ж тебя знал, что ты такой вояка, – ответил Войтек, которого подвиги Бартека заставили смотреть на него другими глазами.

Но кто же не замечал этих подвигов! История, весь полк и большая часть офицеров с удивлением смотрели на этого огромного мужика с жидкими рыжими усами и вытаращенными глазами. «Acli Sie verfluchter Polacke!» – сказал ему сам майор и дернул его за ухо, а Бартек от радости осклабился во весь рот. Когда полк снова выстроился у подошвы холма, майор показал его полковнику, а полковник – самому Штейнмецу.

Тот осмотрел знамена и велел их спрятать, а потом принялся разглядывать Бартека. Наш Бартек снова стоит, вытянувшись в струнку, и держит ружье на караул, а старый генерал смотрит на него и с удовольствием качает головой. Наконец он что-то говорит полковнику. Отчетливо слышно слово: «унтер-офицер».

– Zu dumm, Excellenz! – отвечает майор.

– А вот увидим, – говорит его превосходительство и, повернув коня, подъезжает к Бартеку.

Бартек уже и сам не знает, что с ним делается. Вещь, не слыханная в прусской армии: генерал разговаривает с рядовым! Его превосходительству это тем легче, что он умеет говорить по-польски. К тому же этот рядовой захватил три знамени и две пушки.

– Ты откуда? – спрашивает генерал.

– Из Гнетова, – отвечает Бартек.

– Хорошо. Как тебя зовут?

- Бартек Словик.
- Менш,— переводит майор.
- Мене! – повторяет Бартек.
- А ты знаешь, за что бьешь французов?
- Знаю, вашство...
- Скажи!

Бартек, заикаясь, бормочет: «За... за...» – и замолкает. К счастью, ему вдруг приходят на память слова Войтека, и он, чтобы не сбиться, быстро выпаливает:

- За то, что они такие же немцы, только еще похуже, и стервы!

Старое лицо его превосходительства начинает подергиваться, словно его превосходительство сейчас изволит расхохотаться. Однако через минуту его превосходительство обращается к майору и говорит:

- Вы были правы.

Мой Бартек, довольный собою, браво стоит навытяжку.

- Кто выиграл сегодня сражение? – снова спрашивает генерал.
- Я, вашество,— без малейшего колебания отвечает Бартек.

Лицо генерала снова подергивается.

- Правильно, правильно, ты! Ну, вот тебе награда...

Тут старый воин откалывает Железный крест со своей груди, затем нагибается и прикалывает его к груди Бартека. Веселое настроение генерала передается по рангу полковнику, майорам, капитанам и так вплоть до унтер-офицеров. После отъезда генерала полковник со своей стороны дает Бартеку десять талеров, майор – пять и так далее. Все, смеясь, повторяют, что это он выиграл битву, вследствие чего Бартек чувствует себя на седьмом небе.

Странное дело. Один только Войтек не особенно доволен нашим героем.

Вечером, когда они оба сидят у костра и рот Бартека так же плотно набит колбасой, как сама колбаса горохом, Войтек говорит с укором:

- И глуп же ты, Бартек. Ох, как глуп!..
- А что? – прожевывая колбасу, мычит Бартек.
- Что ж ты, голова, наболтал генералу про французов, что они немцы?
- Да ведь ты сам говорил...

– Должен ведь ты понимать, что генерал и офицеры тоже немцы.

– Ну так что ж?

Войтек пришел в замешательство.

– А то, что раз они немцы, то не нужно им этого говорить, все-таки это нехорошо...

– Да ведь я про французов сказал, а не про них.

– Эх, да ведь когда...

Войтек вдруг оборвал свою речь. По-видимому, он хотел сказать что-то совсем другое: хотел объяснить Бартеку, что нельзя плохо отзываться о немцах при немцах, но у него запутался язык.

V

Немного времени спустя королевская прусская почта привезла в Гнетово следующее письмо:

«Да славится имя господи нашего Христа и его пречистой матери! Дражайшая Магда! Что у тебя слышно? Тебе-то хорошо в хате под периной, а я тут всю воюю. Стояли мы у большой крепости Мец, и была тут битва, и тут я так этих французов разделал, что вся инфантерия и артиллерия удивлялись. И сам генерал удивлялся и сказал, что я выиграл эту баталию, и дал мне крест. А теперь меня все офицеры и унтер-офицеры очень уважают и мало бьют по морде. Потом мы маршировали дальше, и была другая баталия – забыл только, как это место называется, – и я опять их разделал и взял четвертое знамя, а одного, самого главного, кирасирского полковника, повалил и забрал в плен. А когда наши полки будут отсылать домой, так мне унтер-офицер советовал, чтоб я написал «рекламацию» и остался в солдатах, потому что па войне только спать негде, зато жрешь сколько влезет и вино в этой стороне везде есть, потому что народ богатый. А потом мы жгли одну деревню, так ни детям, ни бабам спуска не давали, и я тоже. А костел сгорел дотла – они тоже католики, и людей тоже сгорело немало. Теперь мы идем на самого ихнего царя, и война скоро кончится, а ты поглядывай за хатой и за Франеком, а в случае не доглядишь, я тебе бока наломаю, чтоб ты знала, что я за человек. Благослови тебя бог.

Бартоломей Словик».

Бартеку, очевидно, война пришлась по вкусу, и он теперь смотрел на нее как па подходящее для себя ремесло. Он стал самоуверен и шел теперь в бой, как прежде на какую-нибудь работу в Гнетове. На грудь его после каждого сражения сыпались медали и кресты, и хоть в унтер-офицеры его не произвели, однако все считали его первым солдатом в полку. Он был дисциплинирован и обладал слепой храбростью человека, который не сознает угрожающей ему опасности. Эта храбрость не вызывалась, как на первых порах, бешенством. Теперь ее источником были опыт и вера в себя. К тому же его могучее здоровье выдерживало любые трудности, походы и лишения. Люди вокруг него болели, тощали, ему одному все было нипочем; он только все более дичал и становился свирепым прусским солдатом. Теперь он не

только бил французов, но и стал их ненавидеть. Изменились также и другие его понятия. Он превратился в солдата-патриота и слепо боготворил своих начальников. В следующем письме он писал Магде:

«Войтека разорвало пополам, по па то и война, понятно? А был он дурак, потому что говорил, что французы – те же немцы, а французы – это французы, а немцы – наши».

Магда в ответ на оба письма изругала его на чем свет стоит.

«Дражайший Бартек, пред алтарем со мной венчанный,– писала она. – Накажи тебя бог! Сам ты дурак, басурман, если вместе с колбасниками народ католический губишь. А того не понимаешь, что колбасники-то лютеранской веры, а ты, католик, им помогаешь. Понравилось тебе воевать, бродяга, потому что можно бездельничать да драться, пьянствовать и других обижать, постов не блюсти и костелы жечь. Чтоб тебя на том свете в аду хорошенько поджарили за то, что ты этим бахвалишься и не разбираешь ни старых, ни малых. Вспомни, баран ты этакий, что в святой вере нашей золотыми буквами написано про польский народ от сотворения мира и до Страшного суда: в тот: день господь всемогущий не будет милостив к таким скотам, как ты, а потому и опомнись, турка ты этакий, пока я тебе башку не проломила. Посылаю тебе пять талеров, хоть мне тух трудно и помочь некому, а хозяйство идет плохо. Обнимаю тебя, дражайший Бартек.

Магда».

Мораль, заключавшаяся в этом письме, произвела на Бартека весьма слабое впечатление. «Ничего баба в службе не смыслит,– думал он,– а туда же суется». И воевал по-старому. Отличался он чуть ли не в каждом сражении, так что в конце концов на него обратили внимание люди поважнее Штейнмеца. Когда же потрепанные познанские полки были отправлены в глубь Германии, он по совету унтер-офицера подал «рекламацию» и остался в строю. Таким образом он очутился под Парижем.

Письма его теперь были полны презрения к французам. «В каждой битве они улепетывают, как зайцы»,– писал он Магде. И писал правду. Но осада пришлась ему не по вкусу. Под Парижем приходилось по целым дням лежать в траншеях, слушать орудийную пальбу, частенько рыть окопы и мокнуть. А главное, было жаль прежнего полка. В том, куда его перевели в качестве добровольца, его окружали по большей части немцы. По-немецки он немного болтал и раньше, когда работал на фабрике, но, как говорится, с пятого на десятое. Теперь он стал делать быстрые успехи. Тем не менее в полку его звали *em polnischer Ochs*, и только кресты и страшные кулаки защищали его от обидных шуток. Но после нескольких сражений он приобрел уважение новых товарищей и мало-помалу начал сживаться с ними. В конце концов его стали считать своим, так как он прославил весь полк. Бартек счел бы себя оскорбленным, если б кто-нибудь назвал его немцем, но сам он себя звал, в отличие от французов, «*ein Deutscher*»[84]. Ему казалось, что это совсем разные понятия, к тому же он не хотел, чтобы его считали хуже других. Но вот произошел случай, который мог бы заставить Бартека сильно призадуматься, если бы это не было так трудно для его геройского ума. Однажды несколько команд из его полка было послано против вольных стрелков: устроили засаду – и стрелки в нее попались. На этот раз Бартек не увидел красных шапок, бросавшихся врассыпную при

первых же выстрелах; отряд состоял из старых солдат, остатков какого-то иностранного легиона. Оказавшись окруженными со всех сторон, они отчаянно защищались и наконец ринулись на пруссаков, чтобы штыками расчистить себе путь через кольцо врагов. Дрались они с таким ожесточением, что часть их пробилась сквозь вражеские ряды. Остальные не сдавались живыми, зная, какая участь ожидает вольных стрелков. Отряд, в котором был Бартек, взял в плен только двоих. Вечером их поместили в сторожке лесника. Поутру их должны были расстрелять. Несколько солдат поставили у дверей, а Бартек должен был находиться внутри сторожки у разбитого окна, вместе со связанными пленниками.

Один из них был уже немолодой человек, с седеющими усами и безучастным выражением лица; другому на вид было лет двадцать с небольшим: светлые усики чуть пробивались на его нежном, почти девичьем лице.

— Вот и конец,— сказал младший,— пуля в лоб — и конец.

Бартек вздрогнул так, что даже ружье звякнуло у него в руке: юноша говорил по-польски.

— Мне-то все равно,— равнодушно сказал старший,— клянусь богом... все равно. Я уже столько натерпелся, что с меня довольно.

У Бартека под мундиром сердце билось все сильнее.

— Пойми,— продолжал старший,— нам уже спасения нет. Если тебе страшно, думай о чем-нибудь другом либо ложись спать. Жизнь — подлая штука! А мне, как бог свят, все равно.

— Мне матери жаль! — глухо ответил младший.

И, очевидно, желая заглушить волнение или обмануть самого себя, он принялся насвистывать, но вдруг перестал и воскликнул с глубоким отчаянием:

— Черт бы меня побрал! Я даже не простился с нею!

— Ты, что же, убежал из дому?

— Да. Я думал: немцев побьют, познанцам легче будет.

— И я так думал. А теперь...

Старший махнул рукой и что-то тихо прибавил, но его последние слова заглушило завывание ветра. Ночь была холодная. Время от времени налетал порывами мелкий дождик. Кругом стоял лес, черный, как траурный креп. По углам сторожки свистел ветер и, словно пес, завывал в трубе. Лампу, чтоб не задуло, повесили высоко над окном, и мигающий огонек освещал почти всю сторожку, но Бартек, стоявший у самого окна, оставался в тени.

И может быть, лучше, что пленные не видели его лица. С мужиком творилось что-то странное. Сначала его охватило удивление, и он вытаращил глаза на пленников, стараясь понять, что они говорят. Значит, они пришли бить немцев, чтобы познанцам стало легче, он бил французов, чтобы познанцам стало легче. И этих вот обоих утром расстреляют! Что же это? Как же в этом разобраться? А что, если заговорить с ними? Если им сказать, что он их земляк, что ему их жалко? Вдруг

что-то сдавило ему горло. Но что он им скажет? Спасет их, что ли? Тогда и его расстреляют! Беда! Что же это с ним делается? Жалость душит его так, что он не может устоять на месте.

Страшная тоска нападает на него, откуда-то издалека, из Гнетова. Неведомый гость в солдатской душе – сострадание – кричит ему прямо в душу: «Бартек! Спасай своих, ведь это свои!», а сердце рвется домой, к Магде, в Гнетово, и так рвется, как никогда! Довольно с него и Франции, и войны, и сражений! Все явственней слышится голос: «Бартек! Спасай своих!» Эх, провались совсем эта война! За разбитым окном чернеет лес, шумят, как в Гнетове, сосны, и в этом шуме звучат слова: «Бартек! Спасай своих!»

Что ему делать? Убежать с ними в лес, что ли?

Все, что привила ему прусская дисциплина, содрогается при этой мысли... Во имя отца и сына! Ему, солдату, дезертировать? Никогда!

Между тем лес шумит все громче, все заунывнее свищет ветер.

Вдруг старший пленный говорит:

– А ветер-то, как у нас осенью...

– Оставь меня в покое, – удрученно отвечает младший.

Однако через минуту он сам несколько раз повторяет:

– У нас, у нас, у нас! Боже мой! Боже мой!

Глубокий вздох сливается со свистом ветра, и пленники снова лежат молча...

Бартека начинает трясти лихорадка.

Хуже всего, когда человек не отдает себе отчета в том, что с ним происходит. Бартек ничего не украл, но ему кажется, что он что-то украл и боится, как бы его не поймали. Ничто ему не угрожает, но он чего-то ужасно боится. Ноги у него подгибаются, ружье валится из рук, что-то душит его, точно рыдания. О чем? О Магде или о Гнетове? О том и о другом, но и младшего пленника ему так жаль, что он не может совладать с собой.

Минутами Бартеку кажется, что он спит. Между тем непогода на дворе все усиливается. В свисте ветра все чаще слышатся странные восклицания и голоса.

Вдруг у Бартека волосы встают дыбом. Ему чудится, что в глубине сырого темного бора кто-то стонет и повторяет: «У нас, у нас, у нас!»

Бартек вздрагивает и ударяет прикладом об пол, чтобы очнуться.

Как будто он пришел в себя... Он оглядывается: пленники лежат в углу, мигает лампа, воет ветер – все в порядке.

Свет падает прямо на лицо молодого пленника. Оно совсем как у ребенка или девушки. Но закрытые глаза и солома под головой придают ему вид покойника.

С тех пор как Бартек называется Бартеком, никогда он не испытывал такой жалости. Что-то явственно сжимает ему горло, его душат рыдания.

Между тем старший пленник с трудом поворачивается на бок и говорит:

– Покойной ночи, Владек.

Наступает тишина. Проходит час, и с Бартеком в самом деле творится что-то неладное. Ветер гудит, словно гнетовский орган. Пленники лежат молча. Вдруг младший, с усилием приподнявшись, зовет:

– Кароль!

– Что?

– Спишь?

– Нет.

– Знаешь, я боюсь... говори, что хочешь, а я буду молиться.

– Молись!

– Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое, да придет царствие твое...

Рыдания заглушают слова молодого пленника... По вот снова слышится его прерывающийся голос:

– Да будет... воля... твоя!..

«Господи Иисусе! – стонет что-то в груди у Бартека. – Господи Иисусе!»

Нет, он не выдержит больше! Еще минута – и он крикнет: «Панич, да ведь я польский мужик!» А потом через окошко... в лес... Будь что будет!

Вдруг в сенях раздаются мерные шаги. Это патруль, с ним унтер-офицер. Сменяют караул.

На другой день Бартек с утра был пьян. На следующий день – тоже.

* * *

Потом были новые походы, стычки, передвижения... И мне приятно сообщить, что наш герой пришел в равновесие. После той ночи у него появилось только маленькое пристрастие к бутылке, в которой всегда можно найти вкус, а подчас и забвение. Впрочем, в сражениях он стал еще более свирепым. Победа шла по его следам.

VI

Снова прошло несколько месяцев. Была уже середина весны. В Гнетове вишни в садах стояли усыпанные белым цветом, а поля сплошь зазеленели молодыми всходами. Однажды Магда, сидя перед хатой, чистила к обеду мелкий проросший картофель, скорей пригодный для скотины, чем для людей. Но была весна, и нужда заглянула в

Гнетово. Это было видно и по лицу Магды, почерневшему и полному заботы. Быть может, чтобы отогнать ее, баба, полузакрыв глаза, напевала тонким протяжным голосом:

Ой, мой Ясек на войне!
Ой, письмо он пишет мне.
Ой, и я пишу ему!
Ой, я женка ведь ему.

Воробьи на черешнях чирикали так, словно хотели ее заглушить, а она, не прерывая песни, задумчиво поглядывала то на собаку, спавшую на солнце, то на дорогу, пролегавшую мимо хаты, то на тропинку, бежавшую через огород и поле. Может, потому поглядывала Магда на тропинку, что вела она напрямиком к станции, и так судил бог, что в этот день она поглядывала на нее не напрасно. Вдали показалась какая-то фигура; баба приложила руку козырьком ко лбу, но ничего не могла разглядеть: солнце слепило глаза. Проснулся Лыска, поднял голову и, отрывисто тьякнув, принялся нюхать, насторожив уши и к чему-то прислушиваясь. В то же время до Магды донеслись неясные слова песни. Лыска вдруг сорвался и во весь дух помчался к приближавшемуся человеку. Магда слегка побледнела.

– Бартек или не Бартек?

И она вскочила так порывисто, что лукошко с картофелем полетело на землю; теперь уж не было сомнения – Лыска прыгал на грудь Бартеку. Баба бросилась вперед и от радости закричала что есть мочи:

– Бартек! Бартек!

– Магда! Это я! – ревел Бартек в кулак, как в трубу, и прибавлял шаг.

Он открыл ворота, задел за засов, чуть не свалился, покачнулся и упал прямо в объятия жены.

Баба затараторила:

– А я-то думала, уж не вернешься... Думала: убили его! Ну-ка, покажись! Дай насмотреться! Похудел-то как! Господи Иисусе! Ах ты, бедняга! Милый ты мой! Воротился, воротился!

Она на минуту отрывала руки от его шеи и смотрела на него, потом снова обнимала.

– Воротился! Слава богу! Милый ты мой Бартек!.. Ну, что? Пойдем в хату... Франек в школе. Немец тут все допекает ребят. Мальчишка здоров. Только лупоглазый, как ты. Ох, давно бы тебе вернуться! Одной-то мне как управиться? Беда, прямо беда!.. Хата разваливается. В амбаре крыша течет. Ну, что? Ох, Бартек, Бартек! И как это я тебя еще впжу в живых! Сколько тут хлопот было у меня с сеном! Чемерницкие помогали. Да что толку! Ну как, ты-то здоров? Ох, и рада же я тебе! Как рада! Бог тебя уберег. Пойдем в хату. Господи ты боже! То ли это Бартек, то ли не Бартек! А это что у тебя? Господи!

Теперь только Магда заметила длинный шрам, тянувшийся через все лицо Бартека – от левого виска до подбородка.

– А ничего... Кирасир один меня смазал, ну да и я его... В больнице лежал.

– Господи Иисусе!

– Пустяки,

– И отощал же ты, как скелет.

– Ruhig![85] – отвечал Бартек.

Он был действительно худ, черен, оборван. Настоящий победитель! К тому же он еле держался на ногах.

– Да ты что? Пьян?

– Ну вот... слаб еще.

Он был слаб, это верно! Но и пьян, так как при его истощении ему хватило бы и одной рюмки водки, а он выпил на станции целых четыре. Но зато дух и вид у него были как у настоящего победителя. Такого вида у него прежде никогда не бывало!

– Ruhig! – повторял он. – Мы кончили Krieg![86] Теперь я пан, понятно? А это видишь? – Тут он показал на свои кресты и медали. – Поняла, каков я? А? Links, rechts! Neu! Stroll![87] Сено! Солома! Солома! Сено! Halt![88]

Последнее «halt» он крикнул так пронзительно, что баба отскочила на несколько шагов.

– Ты что, ошалел?

– Как поживаешь, Магда? Когда тебе говорят: как поживаешь, то значит, как поживаешь?.. А по-французски знаешь, мусью?.. Мусью, мусью! Кто мусью? Я – мусью. Поняла?

– Да что с тобой?

– А тебе что за дело? Was?[89] Донэ динэ![90] Понимаешь?

На лбу Магды стали собираться тучи.

– Это ты по-каковски болтаешь? Ты что же, совсем разучился по-польски? Ах ты, колбасник! Верно я говорю! Что из тебя сделали?

– Дай поесть!

– Пошел в хату!

Всякая команда производила на Бартека неотразимое впечатление, которому он не мог противиться. Услышав «пошел!», он выпрямился, вытянул руки по швам и, сделав пол-оборота, зашагал в указанном направлении. На пороге опомнился и с удивлением посмотрел на Магду.

– Ну, что ты, Магда! Что ты!

– Пошел! Марш!

Он пошел в хату, но упал на самом пороге. Только теперь водка по-настоящему ударила ему в голову. Он запел и, озираясь по сторонам, стал искать в хате Франека. Даже сказал: «Morgen, Keri!»[91] – хотя Франека не было. Потом расхохотался, сделал один чересчур большой шаг, два слишком маленьких, крикнул «ура» и повалился на постель. Вечером он проснулся трезвый, бодрый, поздоровался с Франеком и, выпросив у Магды несколько пфеннигов, предпринял триумфальный поход в корчму. Слава о доблестях Бартека опередила его: многие солдаты других рот того же полка вернулись в Гнетово раньше Бартека и всюду рассказывали о его подвигах под Гравелоттом и Седаном. Поэтому, когда разнеслась весть, что победитель в корчме, все прежние товарищи поспешили с ним повидаться.

И вот сидит Бартек снова за столом, но никто бы его теперь не узнал. Оп, прежде такой смиренный, стучит сейчас кулаком по столу, надувается, словно индюк, и, словно индюк, балбочет:

– А помните, ребята, когда я в тот раз французов разделал, что сказал Штейнмец?

– Еще бы не помнить!

– Болтали про французов, пугали, а они самый квелый народ. Was? Салат жрут, как зайцы, да и уплетают не хуже зайцев. Пива – и того не пьют, одно только вино.

– Верно.

– Стали мы как-то жечь одну их деревню, а они руки этак сложили и кричат: «Питье, питье!»[92] По-ихнему, значит, они пить дадут, только не трогай. Но мы на это не пошли.

– А понять можно, что они лопочут? – спросил молодой парень.

– Ты не поймешь – потому глуп, а я понимаю. Донэ дю пен![93] Понимаешь?

– Что это вы говорите?

– А Париж видели? Вот там были баталии одна за другой. Только мы всякий раз их били. Нет у них настоящего начальства. Так люди говорят. Плетень-то, говорят, хорош, да колья плохи. И офицеры у них плохие, и генералы плохие, а у нас хорошие.

Старый Мацей Кеж, умный гнетовский мужик, покачал головой:

– Ох, выиграли немцы войну, страшную войну выиграли, и мы им немало помогли, а какая нам от того прибыль – одному богу известно.

Бартек вытаращил на него глаза.

– Что это вы говорите?

– А то, что и прежде немцы нас пи во что ставили, а теперь так носы задирают, словно и бога над ними нет. А будут еще хуже издеваться над нами, да уж и сейчас издеваются.

– Неправда! – изрек Бартек.

В Гнетове старик Кеж пользовался таким уважением, что вся деревня думала его головой и никто не смел ему перечить, но Бартек был теперь победитель и сам имел вес.

Тем не менее все посмотрели на него с удивлением и даже, пожалуй, с негодованием.

– Ты что? С Мацеем будешь спорить? Что ты!

– А что мне ваш Мацей? Я и не с таким говорил, понятно? Ребята! Не говорил я со Штейнмецем? Что? А Мацей врет, так и врет. Теперь нам лучше будет.

Мацей с минуту смотрел на победителя.

– Ох, и глуп же ты! – сказал он.

Бартек стукнул кулаком по столу, да так, что все рюмки и кружки подскочили.

– Still der Kerl da! Hen, Stroh!..[94]

– А ты тише, не ори! Спроси лучше, глупая твоя голова, у ксендза или у пана.

– А ксендз разве был па войне? Или пан был? А я был. Не верьте, ребята. Теперь-то уж нас будут уважать. Кто войну выиграл? Мы выиграли! Я выиграл! Теперь чего ни попрошу, мне все дадут. Захочу я стать помещиком во Франции – и стану. Наши полки были самые лучшие. Так и в приказах писали. Теперь поляки пошли в гору. Понятно?

Кеж махнул рукой, встал и пошел прочь. Бартек одержал победу и на политическом поприще. Молодежь осталась с ним, смотрела на него, как на икону, а он продолжал:

– Я чего ни захочу, все мне дадут. Не будь меня, не то бы было! Старый Кеж – дурак. Понятно? Начальство велит бить – значит, бей! Кто надо мной станет издеваться? Немцы? А это что? – И он опять показал на свои кресты и медали. – А за кого я лупил французов? Не за немцев, что ли? Я теперь лучше всякого немца, потому что ни один немец не получил столько медалей. Пива сюда! Я со Штейнмецем говорил, с Подбельским говорил. Пива сюда!

Смахивало на то, что будет попойка. Бартек начал петь:

Trinb, trink, trink,
Wenn in meiner Tasche
Noch ein Thaler klingt![95]

И он вытащил из кармана горсть пфеннигов.

– Нател! Я теперь пап! Не хотите? Ох, и не такие деньги водились у нас во Франции, только все куда-то девалось. Мало ли мы там пожгли да людей поубивали. Уж кого там только не было... одних французишек...

Настроение пьяных быстро меняется. Неожиданно Бартек сгреб со стола монеты и заголосил:

– Смилуйся, боже, над душой моей грешной...

Потом оперся локтями о стол, уткнул лицо в кулак и замолчал.

– Ты что это? – спросил какой-то пьяный.

– Чем я виноват? – угрюмо пробормотал Бартек. – Сами лезли. А жалко мне их было: ведь земляки. Господи, помилуй! Один был, как зорька, румяный. А наутро побелел как полотно. А потом их, еще живых, засыпали... Водки!

Настала минута томительного молчания. Мужики с удивлением переглядывались.

– Что это он городит? – спросил кто-то.

– Совесть, видно, заговорила.

– Из-за войны этой самой и пьет человек, – пробормотал Бартек.

Он выпил рюмку, потом другую. С минуту помолчал, потом сплюнул и неожиданно опять пришел в хорошее настроение.

– Вы-то небось не говорили со Штейнмецем? А я говорил! Ура! Пейте, ребята! Кто платит? Я!

– Ты, пьяница, платишь, ты! – раздался голос Магды. – Вот я тебе заплачу, не бойся!

Бартек посмотрел на жену стеклянными глазами.

– А ты со Штейнмецем говорила, а? Ты кто такая?

Магда, не отвечая, повернулась к сочувствующим слушателям и принялась причитать.

– Ой, люди добрые, видите вы мой стыд, мою горькую долю. Вот он, воротился... Я-то, дура, ему обрадовалась, как порядочному, а он воротился пьяный. И бога забыл, и по-польски забыл. Чуть выспался, протрезвился, опять пьянствует и трудом моим, потом расплачивается. А где ты взял эти деньги? Не я ли их потом-кровью заработала? Ой, люди добрые, уж не католик он, не человек, а немец окаянный, по-немецки лопочет да жить норовит людской кривдой. Ой, отступник, ох...

Тут баба залилась слезами, но потом опять повысила голос на октаву:

– Глупый-то хоть и всегда он был, да зато был добрый, а теперь что из него сделали?... Ждала я его и вечером, ждала я его и утром – и вот дождалась. Ни тебе радости, ни тебе утешения! Боже милостивый! Чтоб тебя разорвало, чтоб ты навек немцем остался!

Последние слова она произнесла, жалобно причитая, почти нараспев. А Бартек на это:

– Молчи, не то поколочу!

– Бей, руби голову, сейчас руби, убей, прикончи, кровопийца! – иступленно кричала баба и, вытянув шею, обратилась к мужикам: – Смотрите, люди добрые!

Но мужики предпочли поскорее убраться. Вскоре в опустевшей корчме остались только Бартек да баба с вытянутой шеей.

– Что ты шею-то вытянула, как гусь, – бормотал Бартек, – иди домой.

– Руби! – повторяла Магда.

– А вот и не отрублю, – отвечал Бартек и засунул руки в карманы.

Тут корчмарь, желая положить конец ссоре, потушил единственную свечу. Стало темно и тихо. Через минуту в темноте раздался визгливый голос Магды:

– Руби!

– А вот не отрублю! – отвечал торжествующий голос Бартека.

В лунном свете можно было видеть две фигуры, шедшие из корчмы. Одна из них, впереди, причитала в голос: это была Магда; за нею, понутив голову, смиренно следовал герой Гравелотта и Седана.

VII

На беду, Бартек воротился таким слабым, что несколько дней не мог работать. А в хозяйстве до зарезу были нужны мужские руки. Магда выбивалась из сил и работала с утра до ночи. Соседи Чемерницкие помогали ей, чем могли, но этого было недостаточно, и хозяйство понемногу приходило в упадок. Магда задолжала колонисту Юсту, немцу, который когда-то купил в Гнетове пятнадцать моргов пустоши и завел на ней лучшее во всей деревне хозяйство. Были у Юста и деньги, которые он давал займы под высокие проценты. Давал он прежде всего помещику, пану Яжинскому, имя которого красовалось в «золотой книге» и который именно по этой причине должен был поддерживать блеск своего рода на соответствующей высоте; давал Юст и мужикам. Магда уже полгода должна была ему несколько десятков талеров, которые частью вложила в хозяйство, частью переслала Бартеку во время войны. Все было бы ничего. Бог дал хороший урожай, и долг можно было бы заплатить из будущей жатвы, лишь бы только приложить руки к делу. Но, к несчастью, Бартек не мог работать. Магда не очень-то этому верила и даже ходила к ксендзу за советом, как бы расшевелить мужика, но он действительно не мог работать. Стоило ему хоть немного утомиться, как он начинал задыхаться и жаловаться на ломоту в пояснице. Так он и сидел по целым дням перед хатой, курил фарфоровую трубку с изображением Бисмарка в белом мундире и кирасирской каске и смотрел на мир усталыми, сонными глазами человека, кости которого еще не отдохнули от перенесенных трудов. При этом он размышлял немножко о войне и победах, немножко о Магде, немножко обо всем – и ни о чем.

Раз, когда он так сидел, издали послышался плач возвращавшегося из школы Франека.

Бартек вынул изо рта трубку.

– Эй, Франек! Что с тобой?

– Да, «что с тобой»... – всхлипывая, повторил Франек.

– Чего ты реवेशь?

– Как же мне не реветь, если мне дали по морде...

– Кто тебе дал по морде?

– Кто же, как не пан Беге!

Пан Беге исполнял обязанности учителя в Гнетове.

– А имеет он право давать тебе по морде?

– Значит, имеет, раз дал.

Магда, которая копала в огороде картофель, перелезла через плетень и с мотыгой в руке подошла к ребенку.

– Ты что там наделал? – спросила она.

– Ничего я не наделал... А просто Беге обозвал меня польской свиньей и дал мне по морде, а потом сказал, что раз теперь они французов завоевали, то нас будут ногами топтать, потому что они всех сильнее. А я ему ничего не сделал, только он меня спросил, кто самая важная особа на свете, а я сказал, что святой отец, а он дал мне по морде, а я начал кричать, а он обозвал меня польской свиньей и сказал, что как теперь они французов завоевали...

Франек было опять начал: «А он сказал, а я сказал», но Магда зажала ему рот рукой и, обратившись к Бартеку, закричала:

– Ну, слышишь, слышишь! Иди вот вой с французами, а потом немец будет бить твоего ребенка как собаку да еще изругает. Иди вот вой... Пусть пруссак убивает твоего ребенка – вот тебе награда! О, чтоб тебе...

Тут Магда, растроганная собственным красноречием, тоже принялась плакать, а Бартек вытаращил глаза и разинул рот от изумления. Изумление его было так велико, что он не мог слова вымолвить и прежде всего не мог попятить, что яге произошло. Как же так? А его победы... С минуту еще он сидел молча, потом глаза его заблестели, кровь бросилась в лицо. Изумление так же, как испуг, у людей глупых часто переходит в ярость. Бартек вдруг вскочил и пробормотал, стиснув зубы:

– Я с ним поговорю!

Идти было недалеко. Школа находилась тут же, за костелом. Пап Беге стоял у крыльца, окруженный поросятами, которым он бросал куски хлеба.

Это был человек высокого роста, лет под пятьдесят, еще крепкий, как дуб. Сам он не был толст, только лицо у него было очень упитанным. А с этого лица смотрели смело и энергично большие рыбы глаза.

Бартек подошел к нему вплотную.

– За что это ты, немец, бьешь моего ребенка? Was? – спросил он.

Пан Беге отступил на несколько шагов, смерил его глазами без тени страха и флегматично сказал:

– Пошел вон, польский турак.

– За что бьешь ребенка? – повторил Бартек.

– И тебя побью, польская хама! Теперь мы вам покажем, кто тут пан. Пошел к черту, иди жалуйся в суд... Убирайся!

Бартек схватил учителя за плечи и изо всей силы стал его трясти, крича хриплым голосом:

– Да ты знаешь ли, кто я такой? Знаешь, кто французов лупил? Знаешь, кто со Штейнмецем разговаривал? За что бьешь ребенка, прусская морда?

Рыбьи глаза пана Беге вылезли на лоб не хуже, чем у Бартека, но пан Беге был сильный человек и решил одним ударом освободиться от противника.

Он размахнулся и дал здоровенную оплеуху герою Гравелотта и Седана. Тут мужик вышел из себя. Голова пана Беге закачалась из стороны в сторону, как маятник, с той только разницей, что эти движения были гораздо быстрее.

В Бартеке снова проснулся страшный истребитель тюркосов и зуавов. Напрасно двадцатилетний сын Беге Оскар, парень могучего сложения, поспешил на помощь отцу. Завязалась борьба, непродолжительная, но страшная. Сын упал наземь, а отец взлетел в воздух. Бартек поднял руки кверху и понес его, сам не зная куда. К несчастью, перед домом стояла бочка с помоями, которые бережно сливала для свиней пани Беге. Вдруг в бочке что-то булькнуло. Через минуту были видны только отчаянно дрыгающие в воздухе ноги пана Беге. Жена его выскочила из дома:

– Помогите! Спасите!

Однако она не растерялась, перевернула бочку и выплеснула мужа вместе с помоями па землю.

Из соседних домов высыпали колонисты и бросились на помощь соседям.

Несколько немцев накинулись на Бартека и принялись колотить его палками и кулаками. Произошла общая свалка, в которой было трудно отделить Бартека от его врагов: десяток тел сбились в одну кучу, и все они судорожно извивались.

Вдруг из этой кучи выскочил, как шальной, Бартек и во всю мочь побежал к плетню.

Немцы ринулись за ним, но тут раздался страшный треск – плетень закачался, и в ту же минуту в железных ручищах Бартека очутилась здоровенная жердь.

Он повернулся к ним, взбешенный, с пеной на губах, размахивая своей жердью; все бросились врассыпную.

Бартек погнался за ними.

К счастью, он никого не догнал. За это время он опомнился и стал отступать к дому. Ах, если бы перед ним были французы! Его отступление обессмертила бы история.

Дело было так: нападающие в числе около двадцати человек собрались с силами и опять двинулись на Бартека.

Он медленно отступал, как дикий кабан, преследуемый собаками. Время от времени он останавливался; тогда останавливались и его преследователи. Жердь внушала им почтительный страх.

Но они продолжали бросать в Бартека камнями, и метким ударом кто-то ранил его в лоб. Кровь заливала ему глаза. Он почувствовал, что ослабевает. Покачнувшись раз, другой и, выпустив жердь из рук, упал.

– Ура! – закричали колонисты.

Но, прежде чем они до него добежали, Бартек опять поднялся. Это их остановило. Раненый волк мог еще быть опасен. Кроме того, отсюда уже было недалеко до первых хат, и издали видно было, как несколько парней со всех ног бегут к полю сражения. Колонисты отступили к своим домам.

– Что случилось? – посыпались вопросы.

– Немцев малость пощупал, – ответил Бартек. И упал без чувств.

VIII

Дело приняло серьезный оборот. В немецких газетах появились необычайно трогательные статьи о преследованиях, которым подвергается мирное немецкое население со стороны темной варварской массы, разжигаемой антиправительственной агитацией и религиозным фанатизмом. Беге стал героем. Этот тихий и скромный учитель, сеятель просвещения на далеких окраинах, этот истинный апостол культуры среди варваров, первый пал жертвой беспорядков. К счастью, за ним стоят сто миллионов немцев, которые не позволят, чтобы и т. п.

Бартек не знал, какая угроза собирается над его головой. Напротив, он думал, что все прекрасно кончится, и был совершенно уверен, что выиграет дело в суде. Ведь Беге побил его ребенка и первый его ударил, а потом па него напало столько народу! Должен же он был защищаться? Да еще и голову камнем проломили. И кому? Ему, о ком постоянно упоминалось в приказах, ему, который «выиграл» битву под Гравелоттом, который разговаривал с самим Штейнмецем, ему, который имел столько крестов и медалей! В его голове положительно не укладывалось, как это немцы могли обо всем этом не знать и как смели его так обидеть. Равным образом не мог он понять и того, как это Беге мог сказать гнетовцам, что теперь немцы будут топтать ногами их за то, что они, гнетовцы, так здорово били французов при всяком удобном случае. Что касалось его самого, то Бартек был убежден, что суд и правительство примут его сторону. Там-то ведь будут знать, что он за человек и что делал на войне. А уж Штейнмец наверно заступится за него. Ведь он из-за этой войны и обеднел, и хату заложил, – но откажут же ему в справедливости.

Между тем в Гнетово приехали за Бартеком жандармы. Они, по-видимому, ждали

ожесточенного сопротивления, так как приехали впятером, с заряженными ружьями. Но они ошиблись. Бартек и не думал сопротивляться. Велели ему сесть в бричку – он сел. Только Магда была в отчаянии и упорно повторяла:

– Ох, нужно было тебе так с французами воевать? Вот же тебе, бедняга, за это, вот!

– Молчи, дура, – отвечал Бартек и весело улыбался всю дорогу, поглядывая на прохожих.

– Я им покажу, кого они обидели! – кричал он из брички.

И он ехал в суд со всеми своими крестами на груди, как триумфатор.

Суд действительно оказался к нему милостивым. Признав наличие смягчающих вину обстоятельств, Бартека приговорили только к трем месяцам тюрьмы. Кроме того, его приговорили к штрафу в сто пятьдесят марок в пользу семьи Беге и других «оскорбленных действием» колонистов.

«Однако преступник, – говорилось в судебном отчете «Posepег Zeitung», – по объявлении приговора не только не проявил ни малейшего раскаяния, но разразился такими грубыми ругательствами и так бесстыдно стал выставлять свои мнимые заслуги перед государством, что можно только удивляться, как прокурор не возбудил против него нового дела за оскорбление суда и немецкого народа».

Между тем Бартек спокойно вспоминал в тюрьме свои подвиги под Гравелоттом, Седаном и Парижем.

Однако мы совершили бы несправедливость, утверждая, что поступок пана Беге не вызвал никакого публичного осуждения. Напротив, напротив! В одно дождливое утро в рейхстаге выступил некий польский депутат и принялся весьма красноречиво доказывать, что в Познани изменилось отношение к полякам; что за мужество и потери, понесенные познанскими полками в эту войну, надлежало бы больше заботиться о нуждах населения познанской провинции; и, наконец, что пан Беге в Гнетове злоупотреблял своим положением учителя, позволяя себе бить польских детей, обзывать их «польскими свиньями» и говорить, что после этой войны пришлые люди будут топтать ногами аборигенов. И пока депутат это говорил, за окном лил и лил дождь, а так как в такие дни людей одолевает сонливость, то зевали консерваторы, зевали национал-либералы и социалисты, зевал центр, ибо все это происходило еще до эпохи «культурной борьбы».

Наконец от этой польской кляузы палата перешла к «очередным делам».

Тем временем Бартек сидел в тюрьме, вернее, лежал в тюремной больнице, так как от удара камнем у него открылась рана, полученная еще на войне.

Когда у него не было жара, он все думал, как тот индюк, который окошел от дум. Бартек не окошел, но ничего не выдумал.

Однако изредка в минуты, которые в науке называются *lucida intervalla*, ему приходило в голову, что, может быть, напрасно он так «лупил» французов...

Для Магды наступило тяжелое время: надо было платить штраф, а денег взять было неоткуда. Гнетовский ксендз хотел ей помочь, но оказалось, что в кассе нет и

сорока марок. Гнетово было бедным приходом, да старичок и не знал никогда толком, куда у него уходят деньги. Пана Яжинского не было. Говорили, что он поехал в Царство Польское свататься к какой-то богатой панне.

Магда не знала, что ей делать.

Об отсрочке уплаты штрафа нечего было и думать. Что ж тут делать? Продать лошадей, коров? Хлеба еще стояли в поле, время и без того было трудное. Приближалась жатва, в хозяйстве нужны были деньги, а они все вышли. Магда в отчаянии ломала руки. Подала в суд несколько прошений о помиловании, ссылаясь на заслуги Бартека, но ей даже не ответили. Приближался срок платежа, а с ним секвестр.

Она молилась и молилась, с горечью вспоминая прежнее время, до войны, когда они жили в достатке, а Бартек вдобавок еще зарабатывал зимой на фабрике. Пошла она к кумовьям признаться денег, но и у тех не было. Война всех разорила. К Юсту пойти она не смела, потому что уже и так была ему должна и даже процентов не платила. Между тем Юст сам неожиданно к ней явился.

Однажды в полдень Магда сидела на пороге своей хаты, празднично сложив руки, потому что от горя силы ее совсем оставили. Она смотрела на реявших в воздухе золотых мушек и думала: «Какие же эти насекомые счастливые: летают куда им вздумается и ни за что не платят...» Порой она тяжело вздыхала, и с побледневших губ ее срывалось тихое: «Боже мой, боже мой!» Вдруг у ворот показался загнутый книзу нос Юста; из-под носа торчала изогнутая трубка. Магда побледнела. Юст окликнул ее:

– Morgen!

– Как поживаете, пан Юст?

– А мои деньги?

– Ах, золотой мой пан Юст, потерпите немного. Нет у меня денег, что делать? Мужика моего взяли, штраф за него надо платить, а я никак концы с концами свести не могу. Лучше бы мне помереть, чем этак мучиться изо дня в день... Уж вы подождите, золотой мой пан Юст!

Она расплакалась и, наклонившись, смиренно поцеловала толстую красную руку пана Юста.

– Вот пан приедет, я у него возьму займы и отдам вам.

– Ну, а штраф из чего заплатите?

– Ох, не знаю. Коровенку, видно, продать придется,

– Я вам еще дам займы.

– Бог вам пошлет за это, золотой мой пан! Вы хоть и лютеранин, хороший человек. Верно я говорю. Если бы все немцы были такие, как вы, все бы их благословляли.

– Только я без процентов не дам.

- Знаю, знаю.
- Нужно будет написать расписку на все.
- Хорошо, золотой мой пане, пошли вам бог!
- Вот я поеду в город, тогда составим акт.

Юст побывал в городе и составил акт, но Магда прежде сходила посоветоваться с ксендзом. Однако что ж тут было делать? Ксендз сказал, что срок слишком короток, а проценты слишком высоки, и очень жалел, что пан Яжинский уехал: был бы он здесь, наверное, помог бы. Магда не могла ждать до тех пор, пока все имущество пустят с молотка, и согласилась на условия Юста. Она взяла займы триста марок, то есть вдвое больше, чем нужно было, чтобы заплатить штраф, так как хозяйство тоже требовало денег. Бартек ввиду важности акта должен был скрепить его своей подписью. Магда нарочно ходила к нему для этого в «карцер». Победитель был очень удручен, подавлен и болен. Он было написал жалобу, указав на все причиненные ему обиды, но статьи «Posener Zeitung» настроили правительственные сферы неблагоприятно по отношению к нему. Разве власти не долиты расширить опеку над мирным немецким населением, «которое в последнюю войну дало столько примеров любви к отечеству и принесло столько жертв»? Понятно, что жалобу Бартека отклонили. Не удивительно п то, что это его окончательно надломило.

- Ну, теперь мы совсем пропадем,— сказал он жене.
- Совсем,— повторила Магда.

Бартек о чем-то задумался.

- Крепко они меня обидели,— сказал он.
- А Беге мальчишку обижают,— добавила Магда.— Ходила я его просить, а он меня же обругал. Ох, беда, теперь немцы у нас в Гнетове всем заправляют. Никого и не боятся.
- И верно, они всех сильнее,— печально проговорил Бартек.
- Я простая баба, но скажу тебе: всех сильнее бог.
- Он наше прибежище,— добавил Бартек.

С минуту оба молчали. Потом Бартек снова спросил:

- Ну, а что Юст?
- Если бог пошлет урожай, как-нибудь с ним расплатимся. Может, пан поможет, хотя он и сам кругом должен немцам. Еще до войны говорили, что придется ему продать Гнетово. Вот разве на богатой женится...
- А скоро он вернется?
- Кто его знает! В усадьбе говорят, что скоро с женой приедет. Уж немцы его прижмут, как воротится. И везде эти немцы!

Так и лезут со всех сторон, как клопы! Куда ни повернись – в городе ли, в деревне ли, – везде немцы... Верно, за грехи наши. А помощи – ниоткуда.

– Может, ты что придумашь? Ты баба умная.

– Что я придумую, ну что? Разве я по доброй воле взяла у Юста деньги? По правде сказать, так и хатенка наша, и земля – все теперь его. Юст хоть лучше других немцев, а и он своего не упустит. Не даст он мне отсрочки, как и другим не давал. Будто я такая дура, не понимаю, зачем он мне деньги сует! Да что делать, что делать, – говорила она, ломая руки. – Придумывай ты, коли умен. Французов-то ты умел бить, а вот что станешь делать, когда крыши у тебя над головой не будет, хлеба куска не станет?

Герой Гравелотта схватился за голову.

– Господи Иисусе!

У Магды было доброе сердце, ее тронуло горе Бартека, она прибавила:

– Молчи, родной, молчи! Да не трогай ты головы – рана-то еще не зажила. Только бы бог урожай дал! А рожь такая поднялась, что хоть целуй землю, и пшеница тоже. Земля-то не немец – не обидит. Хоть из-за твоей войны плохо земля вспахана, а растет все так, что душа радуется.

Магда улыбнулась сквозь слезы.

– Земля-то не немец... – повторила она еще раз.

– Магда, – сказал Бартек, уставясь на нее своими выпученными глазами. – Магда!

– Ну, что?

– А ведь ты... такая...

Бартек чувствовал к ней великую благодарность, но не умел ее выразить.

IX

Магда в самом деле стоила десятка других баб. Она иной раз круто обходилась со своим Бартеком, но была к нему искренне привязана. В минуты гнева, как, например, тогда в корчме, она и при людях называла его глупым, но тем не менее хотела, чтобы люди о нем думали иначе. «Мой Бартек только прикидывается глупым, а он хитрый», – говаривала она. А Бартек был так же хитер, как его лошадь, и без Магды никак бы не мог управиться с хозяйством, да и вообще ни с чем. Теперь, когда все свалилось на ее бедную голову, она принялась суетиться, хлопотать, бегать куда-то, просить – и наконец добилась-таки помощи. Через неделю после посещения мужа в тюремной больнице она опять к нему прибежала, запыхавшаяся, сияющая, счастливая.

– Как живешь, Бартек, колбасник ты этакий? – радостно закричала она. – Знаешь, пан приехал! Женился он, молодая пани как есть ягодка. И взял же он за нею всякого добра, ой-ой!..

Действительно, гнетовский помещик женился и приехал с молодой женою и в самом

деле взял за нею немало «всякого добра».

– Ну, так что с того? – спросил Бартек.

– Молчи, глупый! – ответила Магда. – Ох, и запыхалась же я!.. О господи!.. Пришла это я поклониться пани, смотрю: выходит она ко мне, будто королева, а сама молоденькая, как весенний цветик, и собой хороша, словно зорька... Вот жара-то!.. Не продохнешь...

Магда подняла фартук и стала утирать им мокрое от пота лицо. Через минуту она опять заговорила прерывающимся голосом:

– А платье-то на ней лазоревое, как василек. Повалилась я ей в ноги, а она мне ручку дала... Поцеловала я... А ручки-то у нее пахучие и маленькие, как у ребенка... Ну в точности как святая на иконе, и добрая, и беду людскую понимает. Стала тут я просить ее помочь... Дай ей бог доброго здоровья!.. А она говорит: «Что в моих силах, говорит, все сделаю». А голосок у нее такой, что как скажет слово, так у тебя на душе просветлеет. Стала я ей рассказывать, какой у нас в Гнетове народ несчастливый, а она отвечает: «Эх, не в одном только Гнетове». Тут уж я разревелась. И она тоже... Как раз пан вошел, увидал, что она плачет, и давай ее целовать – и в губы-то, и в глаза. Господа не такие, как вы! Вот она и говорит: «Сделай для этой женщины, что сможешь!» А он отвечает: «Все на свете, чего захочешь!» Спаси ее мать божья, ягодку мою золотую! Пошли ей деток да здоровья! А пан тут и говорит: «Сильно вы виноваты, отдались немцу в руки, но я, говорит, вас выручу и дам денег для Юста».

Бартек почесал затылок.

– Да ведь и пан был у немцев в руках.

– Ну так что же? Пани-то ведь богатая! Теперь они могут всех немцев в Гнетове купить, – значит, пану все и можно говорить. Выборы, говорит пан, скоро будут, так пусть, мол, люди за немцев не голосуют, а я, говорит, и Юсту заплачу, и Беге приструню. А пани его за это обняла, а пан про тебя спрашивал и сказал, что если ты болен, так он потолкует с доктором, чтоб он тебе свидетельство написал, что ты не можешь сейчас сидеть. Если, говорит, не выпустят его совсем, так лучше зимой ему отсидеть, а теперь, говорит, жатва скоро, так он по хозяйству нужен. Понял? Вчера пан в городе был, а сегодня доктор в Гнетово приедет: пани его пригласил. Этот – не немец. Он и свидетельство напишет. А зимой будешь в тюрьме сидеть, как король какой, и тепло тут, и жрать дадут даром, а теперь отпустят домой работать. Самое главное, что Юсту заплатим, а пан, может, и процентов не возьмет. Осенью если не все ему отдадим, так я пани подождать попрошу. Награди ее мать божья... Понял?

– Добрая пани, что и говорить! – весело сказал Бартек.

– Выйдешь, смотри поклонись ей в ноги, поклонись, а не то я тебе твою рыжую башку оторву! Только бы бог урожай дал! Видишь теперь, откуда спасение? От немцев? Дали они тебе хоть

грош за твои дурацкие медали? А? По башке вот дали – и дело с концом. В ножки поклонись пани, я тебе говорю!

– Почему же не поклониться! – бойко ответил Бартек.

Судьба, казалось, снова улыбалась победителю. Через несколько дней ему заявили, что по болезни его освобождают до самой зимы. Однако перед этим ландрат велел ему явиться к себе. Бартек повиновался, но душа у него снова ушла в пятки. Тот самый мужик, который с одним только ружьем захватывал знамена и орудия, боялся теперь больше смерти любого мундира; в душе его появилось глухое бессознательное чувство, что его преследуют, что с ним могут сделать, что захотят, что есть над ним какая-то огромная сила, враждебная и злая, которая сотрет его, вздумай он оказать малейшее сопротивление! И вот не дыша он стоял перед ландратом, как некогда перед Штейнмецем: руки по швам, втянув живот и выпятив грудь колесом. Кроме ландрата, тут было еще несколько офицеров; война и военная дисциплина вновь воочию предстали перед Бартеком. Офицеры смотрели на него через золотые пенсне гордо и презрительно, как и подобает смотреть прусским офицерам на простого солдата и вдобавок польского мужика; он продолжал стоять навтыжку, а ландрат что-то говорил повелительным тоном. Он не просил, не уговаривал, а приказывал и угрожал. В Берлине умер депутат, назначены новые выборы.

– Du polnisches Vieh[96], попробуй только голосовать за пана Яжинского, попробуй!

Тут брови офицеров сдвинулись, образуя грозные львиные складки. Один, покусывая кончик сигары, повторил за ландратом:

– Попробуй!

А у героя Седана и дух замер. Услышав наконец желанное: «Пошел вон!» – он, сделав пол-оборота налево, вышел и вздохнул с облегчением. Ему было приказано голосовать за папа Шульберга из Большой Кривды. Над приказом он не раздумывал, но дышал с облегчением, потому что шел в Гнетово, потому что к жатве он будет дома, потому что пан обещал заплатить Юсту.

Вот и последние городские дома. Вокруг раскинулись желтеющие поля. На ветру колыхались тяжелые налитые колосья и, задевая друг друга, шелестели сладким для мужицкого слуха шелестом. Бартек был еще слаб, но солнце пригревало его. «Эх, хорошо жить на свете, – думал измученный солдат. – И до Гнетова уже недалеко».

Х

Выборы! Выборы! Головка пани Марии Яжинской занята только ими; ни о чем другом она не думает, не говорит, не мечтает.

– Вы, пани, великий политик, – говорит ей сосед-шляхтич, припадая губами к ее маленьким ручкам, а «великий политик» краснеет, как вишня, и отвечает с пленительной улыбкой:

– О, мы агитируем как только можем!

– Пан Юзеф будет депутатом! – с уверенностью говорит шляхтич, а «великий политик» отвечает:

– Я бы очень хотела этого, и не только ради Юзя, но (тут «великий политик» совсем непolitично краснеет как рак) ведь это общественное дело.

– Настоящий Бисмарк! Как бог свят! – восклицает шляхтич и снова целует

маленькие ручки, после чего они начинают совещаться о методах агитации.

Шляхтич берет на себя Нижнюю Кривду и Убогово (Большая Кривда для них потеряна, так как принадлежит папу Шульбергу), а пани Мария намерена заняться прежде всего Гпетовом. У нее уже головка разламывается от множества забот. Но она не теряет времени. Каждый день ее можно видеть на улице, когда она обходит хаты. Одной рукой она поднимает платье, а другой держит зонтик, а из-под платья выглядывают маленькие ножки, которые бодро топчут, преследуя великие политические цели. Пани Мария заходит в хаты, говоря по дороге всем, кого видит за работой: «Бог в помощь». Она навещает больных, привлекает на свою сторону людей, помогает, где может. Несомненно, она бы делала это и без политики, потому что у нее доброе сердце, но ради политики – тем более. Чего бы она только не сделала ради этой политики? Она только не смеет признаться мужу, но ей страшно хочется поехать на крестьянский сход, и она даже придумала речь, какую следовало бы произнести на этом сходе. Что это за речь! Что за речь! Правда, она вряд ли осмелилась бы ее произнести, но если бы осмелилась, ну-ну! Зато, когда до Гнетова дошло известие, что власти разогнали сход, «великий политик» разревелся с досады в своей комнате, разорвал платок и весь день ходил с красными глазами. Напрасно муж просил ее не «безумствовать» до такой степени. На следующий день агитация в Гнетове велась с еще большей горячностью. Теперь пани Мария ни пред чем не отступает. В один день она успевает побывать в двадцати хатах и везде так громко бранит немцев, что мужу приходится ее останавливать. Но опасности тут нет никакой. Люди встречают ее с радостью, улыбаются ей и целуют руки, потому что она такая красивая, такая розовая, что у всякого, кто ее видит, на душе светлей. Доходит черед и до Бартековой хаты. Лыска ее не пускает, но Магда сгоряча стучает его поленом по голове.

– Ох, ясная пани! Золото мое, красавица, ягодка моя! – восклицает баба и припадает к ее руке.

Бартек согласно уговору с женой бросается пани в ноги, маленький Франек сначала целует ей руку, потом запускает палец в рот и погружается в восторженное созерцание.

– Я надеюсь, – говорит, поздоровавшись, молодая пани, – я надеюсь, Бартек, что ты будешь голосовать за моего мужа, а не за пана Шульберга.

– Зоренька моя, – восклицает Магда, – да кто же здесь станет голосовать за Шульберга, чтоб его паралич разбил! – Тут она целует у панн руку. – Не гневайтесь, моя ясная панн, но как станешь говорить о немцах, язык свой не удержишь.

– Муж мне сказал, что заплатит Юсту.

– Благослови его бог! А ты что стоишь, как пень? – обращается Магда к мужу. – Он, пани, у меня неразговорчивый.

– Так будете голосовать за моего мужа? – спрашивает пани. – Да? Вы поляки, мы поляки – будем поддерживать друг друга.

– Да я ему голову оторву, если он не будет за пана голосовать, – говорит Магда.

– Ну, что ты стоишь, как пень? Уж очень он у меня неразговорчивый. Да ну, пошевеливайся!

Бартек снова целует у пани ручку, по упорно молчит и мрачнеет, как ночь. В мыслях у пего ландрат.

* * *

Наконец наступает день выборов. Пан Яжинский уверен в победе. В Гнетово съезжаются соседи. Они уже вернулись из города, уже проголосовали и теперь ждут в Гнетове известий, которые должен привезти ксендз. Потом будет званный обед, а вечером Яжинские поедут в Познань и затем в Берлин. Некоторые деревни избирательного округа голосовали еще вчера. Сегодня будут известны результаты. Настроение у всех превосходное. Молодая пани слегка возбуждена, но полна надежд. Она улыбается и принимает гостей с таким радушием, что все, как один, признают: пан Яжинский нашел в Царстве Польском настоящее сокровище. Правда, ото сокровище не может спокойно усидеть на месте, перебегает от одного гостя к другому и заставляет каждого по сто раз повторять, что «Юзе будет избран». Но, право, она не честолюбива и не из тщеславия хочет стать женой депутата: ее юной головке пригрезилось, что ей с мужем действительно предстоит исполнить важную миссию. Сердечко у нее бьется совсем как под венцом, и радость озаряет красивое личико. Ловко лавируя между гостями, она подходит к мужу, тянет его за рукав и шепчет ему па ухо, как ребенок, который хочет подразнить: «Господин депутат!» Он улыбается, и оба невыразимо счастливы. Обоим хочется как следует расцеловаться, но при гостях неловко. Все поминутно поглядывают в окно, так как дело действительно серьезное. Умерший депутат был поляк, и немцы впервые в этом округе выставляют своего кандидата. По-видимому, победоносная война придала им храбрости, и именно поэтому собравшимся в гнетовской усадьбе так важно, чтоб был выбран их кандидат. Еще до обеда гремят патриотические речи. Молодая пани к ним не привыкла, поэтому они ее особенно волнуют. Минутами ее охватывает беспокойство: а что, если при подсчете голосов устроят какое-нибудь мошенничество? Но ведь в комитете заседают не только немцы? Старшие гости объясняют пани, как производится подсчет голосов. Она слышала это уже сотни раз, но хочет услышать еще. Ах, ведь сейчас решается, будет иметь население в парламенте защитника или врага! Это скоро станет известно, даже очень скоро, так как на дороге вдруг подымается облако пыли. «Ксендз едет! Ксендз едет!» – повторяют присутствующие. Пани бледнеет. Все заметно взволнованы. Несмотря на уверенность в победе, последняя минута заставляет сильнее биться сердца. Но нет, это не ксендз, это приказчик приехал верхом из города. Может быть, он что-нибудь знает? Вот он привязывает лошадь и быстро идет к дому. Гости с хозяйкой во главе выбегают на крыльцо.

– Есть известия! Есть? Выбран наш пан? Что? Да поди сюда! Ты наверное знаешь? Результаты объявлены?

Вопросы сыплются градом, мужик бросает шапку в воздух.

– Наш пан выбран!

Пани опускается на скамейку и прижимает руку к трепещущей груди.

– Виват! Виват! – кричат соседи. – Виват!

Из кухни высыпает прислуга.

– Виват! Немцы побиты! Да здравствует депутат! И пани депутатша!

– А ксендз? – спрашивает кто-то.

– Сейчас приедет, – отвечает приказчик, – последние голоса подсчитывают...

– Подавайте обед! – кричит пан депутат.

-- Виват! – повторяют соседи.

Все возвращаются в залу. Теперь гости уже спокойно поздравляют пана и пани, только сама пани не может сдержать свою радость и на глазах у всех бросается мужу на шею. Однако никто не видит в этом ничего предосудительного, напротив, все растроганы.

– Ну, живем еще! – говорит сосед из Убогова.

Между тем у крыльца раздается стук экипажа, и в залу входит ксендз, а за ним старый Мацей из Гнетова.

– Ждем, ждем вас! – кричат собравшиеся. – Ну, каким большинством?

Ксендз с минуту молчит и вдруг словно в лицо этой всеобщей радости бросает резко и коротко два слова:

– Избран... Шульберг.

Минута изумления, град тревожных, торопливых вопросов, на которые ксендз снова отвечает:

– Избран Шульберг!

– Но как? Что случилось? Каким образом? Приказчик ведь говорил совсем другое. Что Ніе случилось?

В эту минуту пан Яжинский выводит из залы бедную пани Марию, которая кусает платок, чтоб не разрыдаться или не упасть в обморок.

– Какое несчастье! Вот несчастье! – повторяют гости.

Вдруг с другого конца деревни доносится какой-то неясный гомон, как будто возгласы радости. Это гнетовские немцы торжествуют свою победу.

Супруги Яжипские снова возвращаются в залу. Слышно, как молодой пан в дверях говорит пани: «Il faut faire bonne mine»[97]. Но молодая пани уже не плачет, глаза у нее сухи, только лицо пылает.

– Расскажите же, как все это случилось? – спокойно спрашивает хозяин.

– Да как же, милостивый пан, этому было не случиться, – говорит старый Мацей, – если здешние гнетовские мужики голосовали за Шульберга.

– Кто же?

– Как? Здешние?

– А то как же! Я сам видел, да и все видели, как Бартек Словик голосовал за Шульберга...

– Бартек Словик? – переспрашивает панн.

– А то как же! Теперь-то его все ругают, баба его ругает, а мужик катается по земле, плачет. Но я сам видел, как он голосовал...

– Такого из деревни надо гнать! – говорит сосед из Убогова.

– Да ведь все, милостивый пан,– говорит Мацей,– все, кто был на войне, голосовали, как он. Говорят, будто им приказали...

– Злоупотребление! Форменное злоупотребление! Неправильные выборы! Насилие! Мошенничество!– слышатся возмущенные голоса.

Невеселый обед был в тот день в гнетовской усадьбе.

Вечером пан и пани уехали, но уже не в Берлин, а в Дрезден.

Между тем Бартек сидел в своей хате, несчастный, проклинаемый и отверженный всеми,– даже для собственной жены он был теперь чужим, и она за целый день не сказала ему ни слова.

* * *

Осенью бог дал урожай, и пан Юст, получивший землю Бартека, радовался выгодному дельцу.

Спустя несколько дней по дороге из Гнетова шли три человека: мужик, баба и ребенок. Мужик согнулся и был больше похож на старика нищего, чем па здорового мужчину. Шли они в город, потому что в Гнетове не могли найти работу. Лил дождь. Баба выла в голос с тоски по своей хате и родной деревне. Мужик молчал. Дорога была пустынна: ни телеги, ни человека, только крест простирал над ней свои промокшие от дождя руки. Дождь шел все сильнее. Смеркалось.

Бартек, Магда и Франек шли в город, так как герою Гравелотта и Седана предстояло еще сидеть зимой в тюрьме по делу Беге.

Пан и пани Яжинские все еще гостили в Дрездене.

1882

САХЕМ

В городе Антилопе, расположенном у реки того же названия, в штате Техас, все от мала до велика спешили на цирковое представление. Оживление жителей было понятно, так как со времени основания города сюда впервые приехал цирк с танцовщицами, акробатами и музыкантами. Город возник недавно. Еще пятнадцать лет тому назад здесь не только не было ни одного дома, но и во всей ближайшей округе не было белых. На небольшом пространстве, образуемом разветвлением реки, как раз на том месте, где находится Антилопа, стояло индейское селение под названием Чиаватта. Это была столица племени Черных Змей; в свое время они так досаждали

поселенцам соседних немецких колоний: Берлина, Грюнденау и Гармонии, что жизнь колонистов стала невыносимой. Правда, индейцы только защищали свой «территориум», который правительство штата Техас закрепило за ними на вечные времена торжественнейшими трактатами; но какое дело было до этого колонистам Берлина, Грюнденау и Гармонии? Верно только одно, что они отбирали у племени Черных Змей землю, воду и воздух, а взамен несли цивилизацию; краснокожие же благодарили их на свой манер, то есть снимали с их голов скальпы. Такое положение не могло продолжаться долго. Однажды в лунную ночь четыреста поселенцев из Берлина, Грюнденау и Гармонии, призвав на помощь мексиканцев из Ла-Ора, напали на спящую Чиаватту. Успех правого дела был полный. Чиаватта была сожжена, а все ее жители, не исключая женщин и детей, поголовно вырезаны. Уцелели только небольшие отряды воинов, бывшие в это время на охоте. Из самого селения никому не удалось спастись, главным образом потому, что его кольцом охватили разветвления реки, которая, разлившись, как обычно весной, окружила поселок огромным водным пространством. Но именно такое местоположение Чиаватты, погубившее индейцев, пришлось по сердцу немцам. Отсюда трудно спастись бегством, но зато здесь удобно защищаться. Учитывая это, колонисты из Берлина, Грюнденау и Гармонии стали перебираться туда, и вот в мгновение ока на месте дикой Чиаватты возникла цивилизованная Антилопа. Через пять лет она насчитывала уже две тысячи жителей.

На шестой год на противоположном берегу нашли, залежи ртути, эксплуатация которых удвоила число жителей. Еще через год на городской площади по суду Линча были повешены и остальные девятнадцать воинов из племени Черных Змей, схваченные в близлежащем лесу Мертвых, — и с тех пор уже ничто не препятствовало расцвету Антилопы. В городе выходили две газеты и один журнал. Железная дорога соединяла Антилопу с Рио-дель-Норте и Сан-Антонио; на Опунция-гассе высились три школы, в том числе одна высшая. На площади, где были повешены последние воины из племени Черных Змей, построили благотворительное заведение; пасторы каждое воскресенье проповедовали с церковных кафедр любовь к ближнему, уважение к чужой собственности и прочие необходимые в цивилизованном обществе добродетели, а один лектор, попавший сюда проездом, прочел даже как-то раз в Капитолии доклад «О правах наций».

Жители побогаче поговаривали о том, что нужно бы основать университет и что городу должно посодействовать в этом направлении правительство штата. Антилоповцам повезло. Торговля ртутью, апельсинами, ячменем и вином давала им превосходные доходы. Они были добродетельны, трудолюбивы, бережливы, несколько педантичны и толсты. Кто посетил бы в последнее время Антилопу, насчитывающую уже более десяти тысяч жителей, тот не узнал бы в богатых местных купцах тех беспощадных завоевателей, которые пятнадцать лет тому назад сожгли Чиаватту. Дни они проводили в лавках, мастерских и конторах, вечера просиживали в пивной «Под золотым солнцем» на улице Гремучих Змей. Слушая их немного медлительную и гортанную речь, возгласы: «Mahlzeit! Mahlzeit!»[98] и эти флегматичные разговоры: «Nun ja, wissen Sie, Herr Miiller, ist das aber moglicli?»[99], звон пивных кружек, шипение пива, плеск пролитой на пол пены, наблюдая их невозмутимость и самодовольство, глядя на филистерские, заплывшие жиром лица, на рыбы глаза, можно было подумать, что находишься в какой-нибудь пивной в Берлине или в Мюнхене, но никак не на пепелище Чиаватты. Но в городе уже все было ganz gemutlich[100], и о сожженной Чиаватте никто не вспоминал. И вот в этот вечер люди спешили в цирк: во-первых, потому, что после трудового дня развлечение равно приятно, как и полезно; во-вторых, потому, что жители гордились его приездом. Всем известно, что цирк не приедет в первый попавшийся городишко, и прибытие труппы достопочтенного мистера Дина подтверждало в известной мере вес и

значение Антилопы.

Однако была и третья, может быть и самая важная, причина всеобщего любопытства. Дело в том, что второй номер программы возвещал следующее: «Прогулку по проволоке, натянутой на высоте пятнадцати метров от земли, совершит в сопровождении музыки знаменитый гимнаст Красный Ястреб, сахем (вождь) Черных Змей, последний потомок царского рода и единственный оставшийся в живых из всего племени: 1) прогулка, 2) прыжки Антилопы, 3) танец и песнь Смерти». Где-где, а в Антилопе этот сахем мог возбудить величайший интерес. Достопочтенный мистер Дин рассказывал в пивной «Под золотым солнцем», что пятнадцать лет тому назад он нашел по пути в Санта-Фе на Плянос-де-Торнадо старого умирающего индейца с десятилетним мальчиком. Старик, правда, умер от ран и истощения, однако перед смертью успел рассказать, что этот мальчик – сын убитого сахема Черных Змей и наследник его титула.

Трупка приютила сироту, и со временем он стал ее первым акробатом. Впрочем, достопочтенный мистер Дин только здесь, «Под золотым солнцем», узнал, что некогда Антилопа была Чиаваттой и что знаменитый канатоходец будет подвизаться на могиле своего племени. Известие это привело директора в великолепное настроение, ибо теперь можно было наверняка рассчитывать на great attraction[101] только бы суметь как можно лучше использовать эффект. Разумеется, добродетельные антилоповцы помчались в цирк, чтобы показать вывезенным из Германии женам и сыновьям, никогда в жизни не видевшим индейцев, последнего из племени Черных Змей и сказать при этом: «Смотрите-ка, вот таких, всех до единого, мы вырезали пятнадцать лет тому назад». «Ach, Herr Jeh!» – как приятно услышать возглас изумления из уст Амальхен и маленького Фрица. По всему городу только и слышалось: «Сахем! Сахем!»

Дети уже с самого утра подсматривали в щели дощатого балагана, и их лица выражали смешанное чувство страха и любопытства; а мальчики постарше, охваченные уже более воинственным духом, возвращаясь из школы, грозно маршировали, сами не понимая, зачем они это делают. Восемь часов вечера. Дивная ясная звездная ночь. Дуновение ветра приносит из-за города благоухание апельсиновых рощ, к которому в городе примешивается запах солода. Цирк сияет заревом огней. Перед главным входом горят и дымятся огромные смоляные факелы. Ветерок колеблет клубы дыма и языки яркого пламени, озаряющего темные очертания только что выстроенного круглого балагана с остроконечной крышей и усеянным звездами американским флагом на верхушке. Перед входом сгрудилась огромная толпа. Некоторые не смогли пробиться к кассе, а у иных просто не было денег на билеты. Все глазают на повозки трупки и особенно на полотняный занавес главного входа, где изображена битва белых с краснокожими. В те минуты, когда занавес приоткрывается, видно освещенное помещение буфета со множеством стеклянных кружек на прилавке. Но вот занавес раздвигается совсем, и толпа входит внутрь. Пустые проходы между лавками наполняются шумом людских шагов, и вскоре темная подвижная масса овладевает всеми проходами сверху донизу. В цирке светло как днем, так как, несмотря на то, что не успели провести газовое освещение, огромная люстра, состоящая из пятидесяти керосиновых ламп, заливают арену и зрителей потоками света. В ее сиянии видны раскормленные, с жирными подбородками головы любителей пива, молодые женские лица и прелестные мордашки детей с вытаращенными от любопытства глазами. На всех лицах застыло одно и то же, столь свойственное посетителям цирка выражение любопытства и глупого довольства. Среди шума, разговоров, прерываемых возгласами: «Frisch Wasser! Frisch Bier!»[102] – чувствуется, что все с нетерпением ждут начала. Наконец раздается звонок, появляются шесть конюхов в блестящих ботфортах и выстраиваются двумя шеренгами от выхода из

конюшен на арену. Сквозь их ряды на арену вылетает разгоряченный конь без седла и узды, а на нем – легким облаком из муслина, лент и тюля – танцовщица Лина. Начинается бешеная скачка под звуки музыки. Лина так прекрасна, что, обеспокоенная ее видом молоденькая дочь пивовара с Опунция-гассе, Матильда, склоняясь к уху молодого Флосса с этой же улицы, тихонько спрашивает его, любит ли он еще ее. Между тем конь скачет, дыша, как локомотив, щелкают бичи, несколько выбежавших на арену вслед за танцовщицей клоунов визжат и отпускают друг другу пощечины, сверкающей молнией мелькает танцовщица. Гремят аплодисменты. Что за великолепное представление! Но первый номер быстро кончается. Наступает второй. Слово «сахем! сахем!» передается из уст в уста. Никто уже не обращает внимание на клоунов, продолжающих награждать друг друга пощечинами. В это время конюхи вносят деревянные козлы свыше десяти футов высотой и ставят их по обеим сторонам арены. Оркестр перестает играть «Янки Дудл», раздаётся мрачная ария командора из «Дон-Жуана». Между козлами натягивают проволоку. Внезапно со стороны входа взлетает сноп красных бенгальских огней и заливают арену кровавым светом. Сейчас в его сиянии появится грозный сахем, последний из племени Черных Змей. Но что это? Выходит не сахем, но сам директор труппы, достопочтенный мистер Дин. С низким поклоном обращается он к публике и просит «великодушных и уважаемых джентльменов, а также прекрасных и не менее уважаемых леди вести себя с чрезвычайным спокойствием, не аплодировать и сохранять полную тишину, «так как вождь находится сегодня в крайне раздраженном состоянии и более обыкновенного дик и злобен». Эти слова производят немалое впечатление: странное дело! – те же самые почтенные граждане Антилопы, которые пятнадцать лет тому назад вырезали население Чиаватты, испытывают теперь чрезвычайно неприятное чувство. Минуту назад, когда прекрасная Лина исполняла свои трюки на коне, они радовались, что сидят близко, почти возле самого барьера, откуда все так прекрасно видно, а теперь они посматривают с явной тоской на верхние ряды и в противовес всем законам физики находят, что внизу куда более душно, чем наверху.

Но неужели этот сахем еще что-нибудь помнит? Ведь он с малых лет воспитывался в труппе достопочтенного мистера Дина, состоящей преимущественно из немцев. Возможно ли, чтобы из его памяти еще не изгладились впечатления раннего детства? Это казалось неправдоподобным. Окружение и пятнадцать лет работы в цирке, исполнение разных трюков ради аплодисментов публики должны были сделать свое дело.

Чиаватта! Чиаватта! Ведь вот они, немцы, тоже на чужой земле, вдали от родины, но не думают о ней больше, чем им позволяет это бизнес. Прежде всего нужно есть и пить. Об этой истине должен хорошо помнить каждый обыватель и последний вождь из племени Черных Змей.

Эти размышления неожиданно прерывает какой-то дикий свист со стороны конюшен – и на арене появляется с трепетом ожидаемый сахем. По толпе пробегает взволнованный шепот: «Это он! Это он!» – и наступает тишина. Только шипит бенгальский огонь, все время горящий у входа. Все взгляды устремлены на вождя, который должен выступить сейчас на могиле своего племени. Индеец действительно заслуживает внимания. Он выглядит по-королевски величественно. Плащ из белых горностаев – атрибут вождя – покрывает его высокую и столь дикую фигуру, что он напоминает плохо прирученного ягуара. В его как бы вылитом из меди лице есть что-то орлиное, на нем светятся холодным блеском поистине глаза индейца: спокойные и как будто равнодушные, но в то же время зловещие. Он всматривается в публику, словно выискивая себе жертву; в довершение ко всему он вооружен до зубов. На голове его развеваются перья, у пояса висят томагавк и нож для

скальпирования, и только в руке вместо лука он держит длинный шест, который служит ему для сохранения равновесия. Остановившись на середине арены, он неожиданно издает военный клич. Негг Gott![103] – ведь это же клич Черных Змей! Кто уничтожил Чиаватту, тот хорошо запомнил это страшное завывание. Но – поразительная вещь! – у тех, которые пятнадцать лет тому назад не испугались тысячи таких воинов, сейчас выступил холодный пот при виде одного. Но вот директор, приблизившись к сахему, начинает что-то говорить, как бы желая умиротворить и успокоить его. Дикий зверь почувствовал узду – уговоры подействовали, и через минуту сахем уже раскачивался на проволоке. Устремив взгляд на люстру, он продвигается вперед. Проволока сильно прогибается под ним, иногда ее совсем не видно, и тогда кажется, что индеец повис в воздухе. Он идет точно в гору, делает шаг вперед, отступает и снова идет вперед, удерживая равновесие. Его раскинутые руки, покрытые плащом, похожи на исполинские крылья. Вот он зашатался... падает! Нет! Вихром срывается короткое, отрывистое «браво!» и умолкает. Лицо вождя делается все более грозным. В его глазах, устремленных на люстру, загорается зловещий огонь. Все встревожены, но никто не нарушает тишины. Тем временем сахем приближается к другому концу проволоки, останавливается – и неожиданно из его груди вырывается песнь войны.

Как странно! Вождь поет по-немецки. Но это вполне понятно. Очевидно, он забыл язык своего племени. Впрочем, никто не обращает на это внимания. Все слушают песню, которая растет и крепнет. Это не то пение, не то какой-то безгранично тоскливый вой, дикий и хриплый, полный зловещих нот.

Он пел: «Каждый год после великих дождей пятьсот воинов выходили из Чиаватты на тропу войны или на великий весенний лов. Когда они возвращались с войны, их украшали скальпы, когда возвращались с охоты, то привозили мясо и шкуры буйволов, а жены радостно встречали их и танцевали в честь Великого Духа.

Чиаватта была счастлива! Женщины хозяйничали в вигвамах, дети, подрастая, превращались в красивых девушек и храбрых воинов. Воины умирали на поле славы и отправлялись охотиться вместе с духами своих предков в серебряные горы. Их топоры никогда не обагрятся кровью женщин и детей, ибо воины Чиаватты были благородными мужами. Чиаватта была могущественна. Но пришли из-за далеких морей бледнолицые и бросили огонь на Чиаватту. Не в бою победили Черных Змей бледнолицые воины, но прокрались ночью, как шакалы, и обагрили ножи свои кровью спящих воинов, женщин и детей...

И вот нет Чиаватты, а на ее месте бледнолицые построили свои каменные вигвамы. Погибшее племя и сожженная Чиаватта зывают к мести».

Голос вождя становится все более хриплым. Раскачиваясь на проволоке, он кажется теперь каким-то зловещим вестником мести, парящим высоко над человеческой толпой. Даже директор выражает явное беспокойство. В цирке воцарилась гробовая тишина.

Вождь продолжает дальше: «От целого племени осталось только одно дитя. Было оно маленьким и слабым, но поклялось Духу Земли, что отомстит, что увидит трупы бледнолицых мужчин, женщин и детей, увидит пожар, кровь!»

Последние слова перешли уже в бешеный рев. По цирку, подобно внезапным порывам вихря, пронесся шум. В головах замелькали, оставшись без ответа, тысячи вопросов. Что предпримет сейчас этот взбесившийся тигр? Чем он угрожает? Хочет отомстить? Он? Один? Остаться или бежать? Или, может быть, защищаться? Но как?

– Was ist das? Was ist das?[104] – раздались испуганные женские голоса.

Вдруг нечеловеческий вопль вырвался из груди вождя, он закачался еще сильнее, вскочил на деревянные козлы, стоящие под люстрой, и поднял шест. Страшная мысль молнией пронеслась в головах: он разобьет люстру и зальет цирк потоками горящего керосина. Из груди зрителей вырвался общий крик. Но что это? С арены кричат: «Стой! Стой!» Вождя уже нет. Он соскочил и исчез в проходе. Не сжег цирк? Куда же он девался? Но вот он выходит снова, запыхавшийся, измученный, страшный. В руках он несет жестяную миску и, протягивая ее зрителям, говорит умоляющим голосом: «Was gefällig für den letzte der Schwarzen Schlangen!»[105] У зрителей отлегло от сердца. Значит, все это следовало по программе? Значит, это всего-навсего уловка директора, рассчитанная на большой эффект? Сыплются доллары и другие монеты. Как же отказать последнему из племени Черных Змей – в Антилопе, на пепелище прежней Чиаватты. У людей есть сердце...

После окончания представления сахем пил пиво и ел клецки в пивной «Под золотым солнцем». Видно, влияние среды сыграло свою роль. Он пользовался в Антилопе огромной популярностью, в особенности у женщин. Сплетничали даже...

1883

ЖУРАВЛИ

Тоска по родине, ностальгия, терзает главным образом тех, кто по каким-либо причинам никак не может вернуться на родину, но и те люди, для кого возвращение зависит целиком от их желания, испытывают порою приступы этого недуга. Повод может быть любой: восход или закат солнца, воскресивший в памяти зори на родине, звуки чужой песни, в которых послышится родной ритм, группа деревьев, напомнившая издали родную деревню, – и этого довольно! Тотчас охватит сердце безмерная, неодолимая тоска, и внезапно появляется чувство, будто ты лист, оторвавшийся от далекого, по любимого дерева. И в такую минуту человек должен либо возвратиться, либо, коль есть у него немного воображения, – творить.

Когда-то – тому уж немало лет – жил я на побережье Тихого океана, в местности, называвшегося Энехейм-Лендинг. Мое общество состояло из нескольких матросов-рыбаков, в большинстве норвежцев, и немца, у которого эти рыбаки столовались. Днем они бывали в море, а по вечерам развлекались покером, в который, прежде чем он стал любимой игрой модных дам в Европе, давным-давно играли во всех американских тавернах. Был я там совершенно одинок и проводил время, бродя с винтовкою по пустынной степи или по берегу океана. Я осматривал песчаные отмели, которые образовались в широком устье реки при ее впадении в океан, шлепал по мелководью, разглядывая неведомых рыб, ракообразных и огромных морских львов, гревшихся на нескольких скалах, торчавших в устье. Напротив него находился песчаный островок, весь усеянный чайками, альбатросами и кроншнепами, – настоящая птичья республика, густонаселенная, шумная, крикливая. Временами, в дни затишья, когда водная гладь становилась почти фиолетовой с золотым отливом, я садился в лодку и на веслах плыл по направлению к островку, где пеликаны, не привыкшие к виду человека, смотрели на меня скорее с удивлением, чем со страхом, словно спрашивая: «Что это за морской котик, какого мы до сих пор не видавали?» Часто любовался я с того островка сказочно прекрасным заходом солнца, превращавшим все вокруг в сплошное море золотых, опаловых и огненных тонов, которые, переходя в великолепный багрянец, постепенно угасали, пока на

аметистовом фоне неба не засияет луна и дивная субтропическая ночь не окутает небо и землю.

Пустынный край, неоглядные морские дали, непривычное обилие света настраивали меня на мистический лад. Я проникся истиной пантеизма, и у меня бывало чувство, что все окружающее это одна великая душа, которая проявляет себя в виде океана, неба, степи или сосредоточивается в таких мелких представителях живого, как птицы, рыбы, моллюски и вереск. Иногда мне думалось также, что эти песчаные холмы и пустынные отмели населяют невидимые существа, вроде древнегреческих фавнов, нимф или наяд. Как начнешь размышлять, во все это трудно верить, но когда живешь наедине с природой и в полном одиночестве, невольно начинаешь допускать такую возможность. Жизнь превращается в некое полудремотное состояние, в котором больше видений, чем мыслей. Что до меня, я только остро сознавал окружавший меня безграничный покой и чувствовал, что мне в нем хорошо. Порой думал о будущих «Письмах с дороги», порой, как юноша, — о какой-то незнакомке, которую мне когда-нибудь случится узнать и полюбить, — и в этом состоянии праздности ума, на пустынном, светлом побережье, среди невысказанных мыслей, неназванных желаний, в полусне-полуяви, я чувствовал себя счастливым, как никогда в жизни.

Но как-то вечером я задержался на островке и возвращался на берег уже затемно. Меня нес прилив, грести почти не приходилось.

В других местах приливы бывают бурными, но в этом краю вечного покоя воды затопляют песок мягко, и волна не бьет с шумом о берег. Меня окружала такая тишина, что метрах в ста от суши я мог бы расслышать человеческую речь. Однако берег был пуст. Я слышал только стук весел об лодку да тихий плеск потревоженной ими воды.

Вдруг с высоты донеслись громкие голоса. Я поднял голову, но ничего не смог разглядеть в темном небе. Когда же голоса раздались во второй раз и прямо надо мною, я узнал курлыканье журавлей.

Очевидно, целая стая пролетала над моей головой куда-то по направлению к острову Санта-Каталина. Но мне вспомнилось, что я не раз вслушивался в такие звуки, когда еще мальчиком, школьником, ездил домой на каникулы, — и вдруг меня охватила безумная тоска. Воротясь в свою каморку, которую я снимал в доме немца, я не мог уснуть. В мозгу проносились картины родного края: то сосновый бор, то широкие поля с рядами груш по межам, то крестьянские хаты, то сельские костелы, то белые дома среди густых садов. Целую ночь тосковал я по этим картинам. Утром, выйдя, как обычно, на песчаные отмели, я почувствовал, что и этот океан, и небо, и степь, и прибрежные холмы, и скалы, на которых выгреваются котики, — все это мне совершенно чужое, и у всех у них ничего нет общего со мною, как и у меня с ними. Еще вчера я включал себя в здешний мир и полагал, что мой пульс бьется в такт с пульсом этой величественной природы; нынче я задавал себе вопрос: зачем я здесь и почему не возвращаюсь? Чувство покоя и наслаждение этой жизнью улетучились бесследно. Мне показалось, что время, которое прежде так ласково и умиротворяюще отмеряли мне океанские приливы и отливы, тянется невыносимо. Я начал думать о родине, обо всем, что там осталось по-прежнему, и о том, что с ходом времени изменилось. Америка и мое путешествие перестали занимать меня полностью, зато в голове все гуще теснились видения, состоявшие из одних лишь воспоминаний. Отвлечься от них я не мог, хотя они мне не доставляли радости. Напротив, в них было много печального, даже горького, когда я сравнивал нашу сонную, беспомощную жизнь с бурной американской. Но чем более беспомощной и

сонной виделась мне наша жизнь, тем больше завладевала она моей душой, тем дороже была мне, тем сильнее я по ней тосковал. В последующие дни эти видения становились все отчетливее, наконец воображение принялось их разматывать, упорядочивать, прояснять и складывать в единый художественный замысел. Я начал создавать себе свой мир.

А через неделю, когда в какую-то ночь норвежцы ушли в море, я сел в своей каморке – и из-под моего пера появились такие слова: «В деревне Баранья Голова, в канцелярии волостного войта, царила полнейшая тишина...»

Вот так благодаря журавлям возникли на берегу Тихого океана «Наброски углем».

1895

ПРИМЕЧАНИЯ

СТАРЫЙ СЛУГА, Впервые опубликовано 20 ноября 1875 года в «Газете польской».

ГАНЯ. Повесть печаталась в «Газете польской» со 2 января по 9 февраля 1876 года.

НАБРОСКИ УГЛЕМ. Написано в июле – сентябре 1878 года во время пребывания Сенкевича в Калифорнии. Публиковалось с 8 по 23 января 1877 года в «Газете польской».

Имогена – героиня пьесы Шекспира «Цимбелин»; воплощение верной жены.

КОМЕДИЯ ОШИБОК. Рассказ был написан в Сан-Франциско в ноябре – декабре 1877 года, 30 января – 4 февраля 1878 года печатался в «Газете польской».

В ПЕРИЯХ. Над этим рассказом Сенкевич работал в Париже в сентябре – октябре 1878 года и опубликовал его в июле следующего года в «Газете польской».

АНГЕЛ. Написано, по-видимому, под конец 1878 года в Париже. Опубликовано в № 218 «Газеты польской» за 1880 год. Некоторые критики увидели в рассказе не только продолжение линии, намеченной в «Набросках углем», но и известное влияние концепций французского натурализма. В консервативной прессе писателя упрекали в «черном взгляде на мир»).

ЯНКО-МУЗЫКАНТ. Рассказ написан в первые месяцы 1879 года и в том же году опубликован в газете «Курьер варшавский». В России «Янко-музыкант» стал самым популярным из рассказов Сенкевича: только до 1917 года он издавался около 40 раз. Рассказ публикуется в переводе В. Г. Короленко. Он снабдил перевод следующими примечаниями:

Громница – восковая свеча, получаемая накануне пасхи у всенощной; ее держат за образами в переднем углу и приписывают ей сипу талисмана во время грозы. Ее же зажигают у одра умирающего. Стрига – душа ребенка, умершего до крещения. Ян –

Иван. Капылюха – шляпа с широкими полями. Коморник – имеет в польском языке несколько значений, между прочим – межевщик, землемер. Здесь это слово значит: нанимательница квартиры в чужом доме. Двояки – два горшка, соединенные ушком. Карбовый – надсмотрщик. Обертас – танец.

ОРСО, Рассказ написан в первой половине 1879 года в Париже или во Львове, опубликован 23 марта 1880 года в «Курьере варшавском».

ЗА ХЛЕБОМ. Повесть была начата, как предполагают, в 1879 году в Риме. Уже в феврале следующего года в Варшаве автор выступает с ее публичным чтением, причем первоначальный вариант отличался от окончательного (в Америку прибывал жених Марыси, Ясько). Первая публикация – в «Газете польской» (с 24 апреля по 4 июня 1880 г.) и почти одновременно в «Дзеннике познаньском». Сенкевич, много занимавшийся во время пребывания в Америке проблемами польских эмигрантов, по возвращении на родину рассказывал в лекциях и в печати о их положении. Говоря о поводах к эмиграции, писатель называл в их числе голод, отсутствие политических свобод и уговоры агентов. Эмиграция ради заработка затронула во второй половине XIX века все польские земли: до начала первой мировой войны в США эмигрировало из Германии около 600 тысяч поляков, из Австро-Венгрии такое же количество (преимущественно крестьян), а из Россия в США и Бразилию – свыше 750 тысяч.

НА МАЯКЕ. Опубликовано в конце 1881 года в варшавском еженедельнике «Нива». Сенкевич дал к изданию такое примечание: «Этот рассказ основан на действительном происшествии...» Прототипом героя был Мечислав Селлява, уроженец Витебской губернии, но биография его была совсем иной (Селлява был гораздо моложе, 1838 г. рождения).

Отчизна милая, Литва... – Начало поэмы Адама Мицкевича «Пан Тадеуш» (1834) в переводе С. Мар.

ВСТРЕЧА В МАРИПОЗЕ. Написано 18– 19 апреля 1882 года в Варшаве и в том же месяце опубликовано в «Слове». Инициалом «М» обозначен в начале рассказа Кароль Бенни (1843– 1916), известный варшавский врач, встречавшийся с Сенкевичем в Америке и друживший с ним до конца жизни.

БАРТЕК-ПОБЕДИТЕЛЬ. Над этим рассказом Сенкевич работал в феврале – апреле 1882 года в Варшаве. В мае он опубликовал его в «Слове». Достоин внимания то обстоятельство, что в июле 1914 года германские судебные власти в Познани постановили уничтожить все «находящиеся в продаже экземпляры книги, содержащей эту новеллу», мотивируя это тем, что подобные произведения могут «подстрекать говорящее по-польски население к деятельному участию в движении, которое имеет целью освобождение от мнимой тирании, и к борьбе против Германии».

САХЕМ. Написано 28 февраля 1883 года, 2 марта напечатано в краковском «Часе».

ЖУРАВЛИ. Датируется декабрем 1895 года.

Б. Стахеев

Примечания

1

Молодой Жеромский в дневниковой записи 1888 года приводит, со слов одного из друзей, любопытное свидетельство популярности Сенкевича у широкого читателя. Он рассказывает, как в провинции на почте заранее собирались люди, ждавшие очередного номера «Слова», и после прихода газеты почтовый чиновник читал им главы «Потопа». «Эти люди, – пишет Жеромский, – побросав работу, прождали несколько часов на почте, чтобы услышать продолжение романа».

2

М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 24. М., Гослитиздат. 1953, с. 47.

3

А. П. Чехов. Поли. собр. соч. и писем в 30-ти томах. Письма, т. 6. М., «Наука», 1978, с. 54.

4

Не переусердствуйте, мсье Анри (фр.).

5

Велик бог! Бог милостив! (араб.)

6

Комедия окончена! (лат.)

7

Вот смелый юноша! (фр.)

8

В защиту Архия (лат.).

9

Иначе (лат.).

10

Вольнодумцам (фр.).

11

Господ сенаторов (лат.).

12

Для блага общества (лат.}.

13

Единогласно (лат.).

14

В конце концов! (фр.)

15

Нефтеработки (англ.).

16

Леруа – ликер.

17

Господи Иисусе! (нем.) (искаженная в просторечии форма: «Je» вместо «Jesus»).

18

Объявление (англ.).

19

Отлично! (англ.)

20

Да (англ.).

21

Все в порядке! (англ.)

22

Прошу прощения, мисс Морис! (англ.)

23

Речь (англ.).

24

Бродяги (англ.).

25

Я перешел Миссисипи, я перейду и Миссури! (англ.)

26

Боже, благослови тебя, капитан, и тебя, Лилиан! (англ.)

27

Твой поляк (англ.)

28

Простите, мои капитан (англ.).

29

Мой дорогой, мой дорогой, мой. супруг! (англ.)

30

Пусть будет так – и ура в честь вас обоих! (англ.)

31

Это твой дом? (англ.)

32

Моя крошка! Моя душечка! (англ.)

33

Это он! Это он! (англ.)

34

Ах, разбойник! (англ.)

35

Я твоя жена? (англ.)

36

Кто превратил божью истину в ложь, и чтит творение, в служил: ему больше, чем творцу, кто из них благословен навеки? (англ.)

37

Скалистые горы! Скалистые горы! (англ.)

38

Находчивый, ловкий (англ.).

39

Доброго пути! (англ.)

40

Что за прекрасная страна Италия! (фр.)

41

Какое счастье отыскать там таланты и помогать им... (фр.)

42

На помощь! (англ.)

43

Что это? (англ.)

44

Где немецкое отечество? (нем.)

45

Что? (нем.)

46

Что такое Липинец? (нем.)

47

Брат (нем.).

48

Теперь я немец (нем.).

49

Счастья! (нем.)

50

Послушайте! (англ.)

51

Да, отец! (англ.)

52

Всему миру (лат.)

53

Country – области (англ.).

54

Rye-bread – ржаной хлеб (англ.).

55

Car – железнодорожный вагон (англ.).

56

City – город (англ.).

57

Lumber – строевой лес (англ.).

58

Canyon – здесь: ущелье с золотыми россыпями (англ.).

59

Shingle – камень (англ.).

60

Creek –речка (англ.).

61

Фулишнровать (от англ. foolish) – считать дураком.

62

Плены – так называются неизмеримые степи между Нью-Йорком и Калифорнией.
(Примеч. автора.)

63

Хорошо (англ.).

64

До свидания! (англ.)

65

Здесь, возможно, у автора ассоциация со словом «марипоза» (исп. mariposa

означает «бабочка», «мотылек»).

66

Гамбусинос – золотоискатели (исп.).

67

«Я пересек Миссисипи» (англ.).

68

Здесь в значении «мэрия».

69

Из Польши (англ.).

70

Седой Гигант (англ.).

71

Янки Дудл идет в город (англ.).

72

Войдите (англ.).

73

Следовательно (лат.)

74

Очень великий человек! (нем.)

75

Ах, так, хорошо (нем.).

76

Человек (нем.).

77

Военный суд (нем.).

78

Ах ты, глупая польская скотина! Я тебе, олуху, набью морду так, что из пасти только осколки зубов полетят! (нем.)

79

Польский бык! Бык из Подолии! (нем.).

80

Наш (нем.).

81

Поляки, поляки! (нем.)

82

Молчать, польские скоты! (нем.)

83

Смирно, ты там! (нем.)

84

Немец (нем.).

85

Молчать! (нем.)

86

Войну (нем.).

87

Левой, правой! Сено! Солома! (нем.)

88

Стой! (нем.)

89

Что? (нем.)

90

Дайте есть! (фр.)

91

Доброе утро, малец! (нем.)

92

Pille – пощадь (фр.)

93

Дайте хлеба! (фр.)

94

Тихо, ты там! Сено, солома! (нем.)

95

Пей, пей, пей,

Пока в моем кармане

Звенит еще хоть талер! (нем.)

96

Ты, польская скотина (нем.)

97

Нужно делать хорошую мину (фр.).

98

За ваше здоровье! (нем.)

99

Но, знаете, господин Мюллер, возможно ли это? (нем.)

100

Тихо и спокойно (нем.).

101

Грандиозный аттракцион (англ.)

102

Холодной воды! Холодного пива! (нем.)

103

Господи боже! (нем.)

104

Что это, что это? (нем.)

105 Подайте, что можете, последнему из Черных Змей! (нем.)